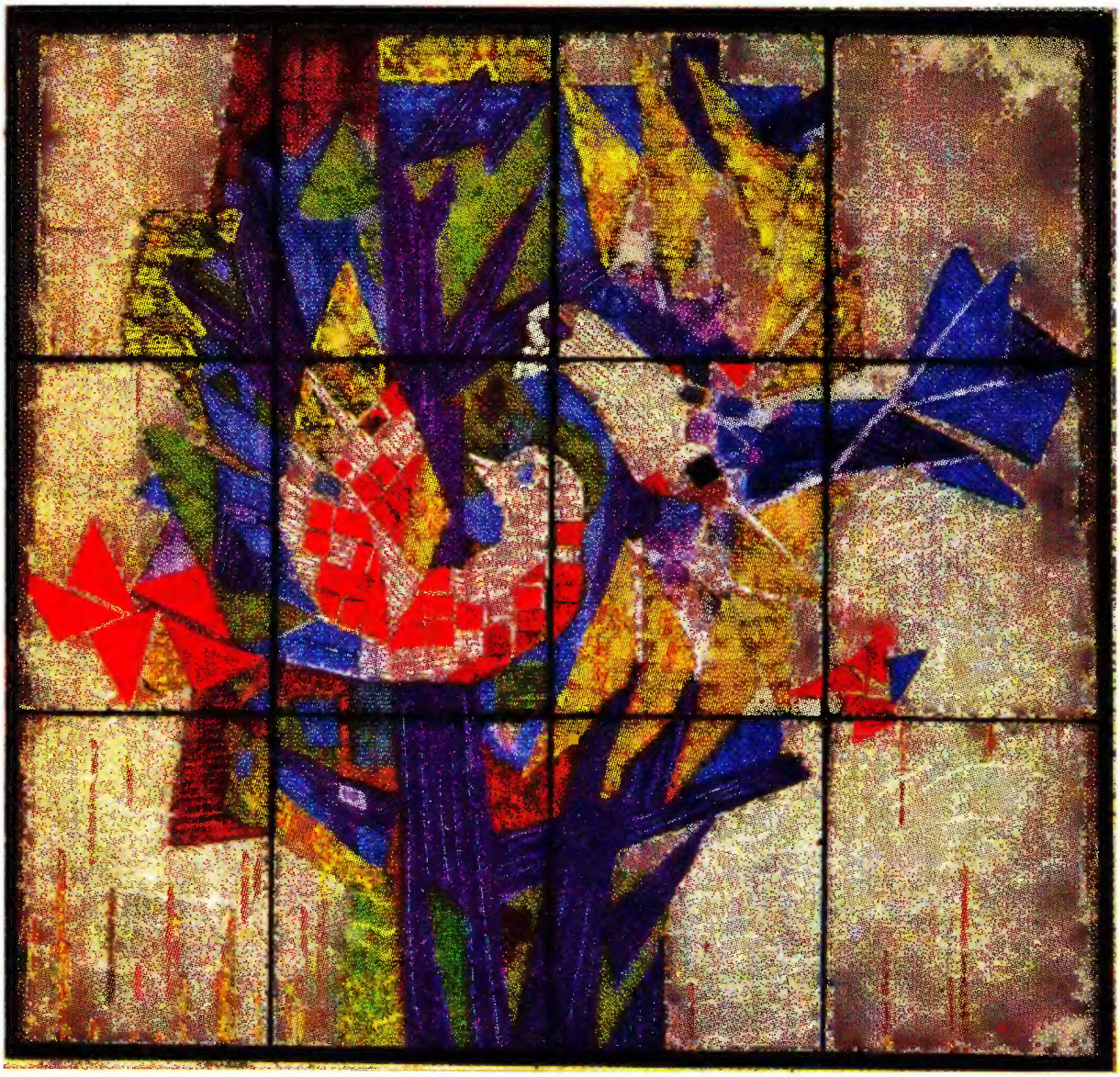


Иностранная литература

9

1967

Иностранная литература

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

РОМАНЫ

ХУАН ГОЙТИСОЛО — Особые приметы (Окончание) 9

РАССКАЗЫ

ТОУРИР БЕРГССОН — Награда 154
СВАНТЕ ФЕРСТЕР — Я коллекционер, как вам, вероятно, известно 158
КАРЕЛ ЧАПЕК — Скандальная афера Йозефа Голоушека (Памфлет) 173

СТИХИ

ДАНИЭЛ ФИЛИПИ — Открытие любви . . 3
ИМРЕ ЧАНАДИ — Стихи 149
ИЗ ФРАНЦУЗСКОЙ ПОЭЗИИ — АНРИ МИШО (Вступительная статья Самария Великовского) 161

9

СЕНТЯБРЬ

1967

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ»

Москва

ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

ПЕТР БЕЗРУЧ (К столетию со дня рождения поэта) 193

КРИТИКА

Т. БАЛАШОВА — Социальная панорама и поиски философского жанра 197

Г. ЗЛОБИН — После абсурда (Американская драматургия 60-х годов. Проблемы и стиль) 206

Т. МОТЫЛЕВА — Бульвар Монпарнас, 89 . 215

ЧТО ЧИТАЮТ СЕГОДНЯ

ГАРОЛЬД ГРИФФИН — Жизнь и литература (Письмо из Канады) 223

КУЛЬТУРА И СОВРЕМЕННОСТЬ

Заметки на полях зарубежных газет и журналов

ВЛ. РУБИН — Банкротство «Энкаунтера» . 228

Н. БРАГИН — Искусство Эллады под пятой фашистской диктатуры 230

НАШИ ГОСТИ

Л. СИМОНЯН — О драматургии парадоксов (Фридрих Дюрренматт в «Иностранной литературе») 234

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО ЗА РУБЕЖОМ

БОРИС СЛУЦКИЙ — Югославский скульптор Иван Мештрович 237

ПУБЛИЦИСТИКА

МИЦОС АЛЕКСАНДРОПУЛОС — Суд над убийцами Ламбракиса 247

СРЕДИ КНИГ

ИЗДАНО В СССР

Б. Полевой — Книга о пламенном сердце. ◆ Л. Зонина — Блицкарьера Ле Герна. ◆ Радий Фиш — Поэзия турецкого народа 263

ИЗДАНО ЗА РУБЕЖОМ

В. Злыднев — Сияние «неосвещенных дворов». ◆ М. Иванова — Границы фантастического. ◆ Н. Павлова — О театре — для театра 267

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ

Хроника 273

АВТОРЫ ЭТОГО НОМЕРА 287

На обложке: АДАМ КУРЦ (ГДР). Декоративное изображение на цветном стекле.

ДАНИЭЛ ФИЛИПИ

ПОЭМА

Перевод с португальского М. САМАЕВА

На перекрестках
на стенах баров и учреждений на стеклах трамваев
на бульварах и в скверах
даже на паперти церкви
даже
в лавчонке куда никто не заходит
рядом с рекламой последних моющих средств
и на перронах вокзалов
где прячется наша надежда на бегство
повсюду
листы объявлений

Огромные буквы кричат
что недавно в дождливый вечер
мужчина и женщина
встретились в баре отеля
и там
под всхлипы джаза и гул разговоров
случайно открыли
что существует любовь
Оба изголодались по нежности
у обоих сохранились сердца
Молчанье таило в себе неизбежность
того что случится
И открытость внезапной улыбки явилась началом
А после
а после вышли в дождливую темень
и канули бог весть куда

Мужчина и женщина
Объявления
Сообщенья по радио и телевиденью

Полиция нравов сбивается с ног
Рыщут по улицам и переулкам
Подозрительна каждая дверь
Выследить их
задержать
пока не упущено время
Открыта любовь
Не исключена эпидемия

Применять к укрывателям самые строгие санкции
Вызвать войска из провинции
Держать наготове пожарных Призвать резервистов Создать
отряды самообороны
Особым декретом вступают в силу законы военного времени
Все эти меры оправданы возможностью страшных
последствий
Чувство ответственности должно быть проявлено каждым
Необходимо их выследить задержать уличить
прежде чем нечто подобное отзвуку детства
посеет смятенье в умах благонамеренных граждан

Школы закрыть Наш священный долг
уберечь от заразы детей
Как сообщает агентство
в одном из предместий во время урока
некий мальчик просил дать ему алую розу
Услышав отказ
он разрыдался и плакал все время
пока ему объясняли что ее аромат ядовит

Директор школы потом показал что несчастный ребенок
подвержен длительным приступам молчанья и грусти
Хорошо что болезнь обнаружена вовремя
Он уже изолирован
Возможно подобные случаи
повторяются Чрезвычайно важно установить
диагноз заболевания в ранней стадии

Изучим опыт погибших концентрационных систем
с тем чтобы сразу вытравить всю заразу
Под угрозой судьба водородных бомб и расовых норм
без которых немыслима наша цивилизация
Внимание
Всякий имеющий хоть малейшее подозрение
обязан прийти в полицию
Указать свое имя и адрес Обещано
что лица дающие сведенья
не будут караться если те окажутся ложными
В каждом районе нужно создать
комитеты гражданской бдительности

В опасности город и вся
цивилизация Запада
А посему
правительственным указом отменяются все свободы как то
неприкосновенность личности и прочее прочее прочее
Где-то в городе любят
тихонько целуются
и плачут от радости
забыв об опасностях ночи
Нужно найти их
Они где-то рядом с вами
Прислушивайтесь

Возможно они поют это очень опасно
Один солдат услышав их пенье выронил карабин
и спрятал в ладонях лицо
Потом в Трибунале
он сознался что их голоса
ему напомнили детство
ветер на горных склонах
цветы на зеленых лугах
Его разумеется приговорили к расстрелу
У стенки он вдруг запел и пришлось затыкать ему рот
Но даже тогда его лицо излучало свет
беспричинного счастья

Если поиски проводить в соответствии с планом
выследить их не стоит труда
в парке или в кино
на одной из узких улиц предместья
в храме когда играет орган
или в лодке откуда льется ночная музыка
опознать их жилище легко На кровле его поет
неизвестная зоологам птица
а у порога лучится невиданный алый цветок
Значит здесь
Разбивайте замок и врывайтесь
Цельте в сердце
одежду обоих сжечь
Возможно заметите
что они расплываются в воздухе
как наважденья
Тогда оглядитесь
У женщины могут быть дети

Но возможно
вас охватит внезапный страх и желанье бежать
Значит погибли и вы
В этом случае дуло к виску
и нажать спусковой крючок
Этого требуют высшие соображения
Если кто-нибудь воспротивится обыску
спросит кто вы и что вам собственно нужно
вы знаете как поступить

Друг он вам или брат
ел за вашим столом или ходил с вами в школу
неважно
Возможно когда вы возьмете его на прицел
он посмотрит на вас с таким отвращеньем
что взгляд его мутной тоской расплывется в вашей душе
В этом случае знайте
от спокойствия вас отделяет
один милосердный выстрел

Утренний выпуск Последняя новость
Их видели Они проходили
не разнимая рук
по улочке утопавшей в цветущих акациях
Один не назвавший себя старик уверял
что в груди его стал разливаться странный покой
Он почуял дыханье весеннего поля
теплое прикосновенье далеких лет
И ему показалось что птицей на волю вырвался его голос

При дознанье один зараженный он был офицер утверждал
что на лбу мужчины и женщины отчетливо видел звезды
и что воздух вокруг был пропитан тончайшей музыкой
Их жесты выглядели естественными
а взгляды рассеянными
Начинает казаться
что положение достигает своей кульминации
Поставленный голос диктора
Уличные объявленья
Цвета крови газетные заголовки

НАЙТИ ИХ ПОКА НЕ ПОЗДНО

Отныне молчанье рассматривается как потворство
Нельзя ограничивать жизнь разговорами о делах
контрабандой лекарствами
надеждой на повышенье
катаньем в автомобиле или хожденьем в кино
Нельзя просиживать все вечера за рюмкой в кафе
и утоляться купленной наспех нежностью
в то время как где-то в уличном лабиринте
мужчина и женщина прячут свою любовь

Нужно идти до конца
Греховные рецидивы детства
из каждого сердца должны быть вырваны с корнем
Разумеется нам для этого понадобится больше тюрем

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЕ СООБЩЕНИЕ ДЛЯ ПРЕССЫ

Имеются все основанья считать
что двое бежавших скрываются где-то в городе
Аэропорт закрыт Отменены все рейсы

Набережные патрулируются По всему
городу перекрыто движенье гражданского транспорта
На всех вокзалах переодетые инспектора
Наша лучшая в мире полицейская система
обеспечит успех операции

Всему населению быть начеку
Выслеживать беглецов дело гражданской совести
Не стесняться в расходах
Правительством выделен специальный кредит
Министром финансов введен налог
на общественное спасение
Запрещается выходить на улицу после шести
Силы порядка будут стрелять в любого
кто выйдет минутой позже
Так этой ночью гвардейцы близ маяка
застрелили греческого моряка возвращавшегося
на корабль
Когда к нему подошли он что-то пробормотал
потом закатил глаза и скончался
Греческий консул по его словам
был тронут принесенными ему извинениями

ТЕПЕРЬ ПРОГРАММА ДЖАЗОВОЙ МУЗЫКИ

Веселитесь Развлекайтесь Но главное не забывайте
о мужчине и женщине
угрожающих судьбам нации
Мы взываем к вашим гражданским чувствам
Вопрос поставлен ребром Разрешить его наша задача
тем паче что в ваших же интересах
возвращение жизни в нормальную колею

Рылись в архивах Но узнали немного
Таких как он можно встретить на каждом шагу
Работал на производстве
По субботам вечерами кино
По воскресеньям как придется
Да увлекался научной фантастикой
Соседи разводят руками Подумать только
вроде бы человек как человек
Вежливый такой серьезный
Домой приходил непоздно
Поужинав ложился
и сразу же засыпал
Но вот однажды не пошел на работу
А вечером в тот же день
появился в баре отеля
откуда вышел примерно в девять
вместе с женщиной
и исчез
Все что известно о ней заставляет предполагать
что речь идет о весьма заурядной особе

Ни одной достойной упоминанья черты Говорят
любила кошек Но и это неточно
Работала на чулочной фабрике секретаршей
Волос не красила За развлеченьями не гналась
И на работу не вышла лишь раз за четыре года
тогда с отцом ее случился удар
В комнате у нее обнаружили письмо от подруги
последний номер журнала мод
и куклу которую ей подарили когда ей было семь лет.

Установленс что они не были даже знакомы
до того рокового вечера
когда повстречались в баре отеля
и улыбнувшись друг другу случайно открыли
что существует любовь
а потом взявшись за руки погрузились
в пучину ночного города

Необходимо найти их где бы они ни скрывались
пока не поздно пока
их любовь как река не затопила площади
улицы переулки дворы и дома
Полиция и войска поставлены на ноги
Вся операция рассчитана с математической точностью
Кольцо вокруг беглецов сжимается все тесней

(Но все равно в душе поет
надежда-сумасбродка
Там где кончается печаль
там где кончается печаль
горит во тьме горит одно
распахнутое в ночь окно)

ХУАН ГОЙТИСОЛО

Особые приметы

РОМАН

Перевод с испанского П. ГЛАЗОВОЙ

Глава V

итая передовицы «Франс-суар» в кафе мадам Берже, Альваро всегда изумлялся настойчивости, с какой в них твердилось о желтой опасности, и находил удовольствие в том, чтобы воображать хитроумные военные планы проникновения этой опасности в простодушный и неподготовленный западный мир: посылка по почте бандеролью пропагандистской литературы, экспорт хитрых и улыбчивых мажордомов в добропорядочные семьи и — современный троянский конь — мирное паломничество полутора миллионов китайцев в Лурд; статьи предсказывали катастрофу, щедро подтверждая свои пророчества цитатами из Шпенглера, Ортеги, Кейзерлинга и Дени де Ружмона. Однако в результате путешествия, во время которого он за несколько недель объехал Голландию, Бельгию, Швецию и Западную Германию и повидал поезда и вокзалы, битком набитые эмигрантами из Галисии, Эстрамадуры, Кастилии или Андалузии, Альваро пришел к совершенно определенному заключению, что истинную экспансию осуществляют не азиаты, а гораздо более близкие и с каждым днем все более многочисленные испанцы.

Славные наследники открывателей Тихого океана и первопроходцев Ориноко, храбрых завоевателей Мексики и героев Перуанского похода теперь захватывали и покоряли языческую, девственную, неисследованную Европу, бесстрашно растекаясь по ее обширной и загадочной территории, не останавливаясь ни перед границами, ни перед препятствиями, и, соперничая с Франсиско Писарро, отважно переходили через Альпы и Орельяну, спускались в долину Рейна, проникали, словно спелеологи, в черные бездонные колодцы угольных пещер Севера — оккупировали необъятные индустриальные рейнские комплексы, творя дела,

---

Окончание. Начало в № 8.

которые были по плечу какому-нибудь новоявленному Монтесуме. Искатели счастья стекались со всей Испании, захватив с собой духовный и исторический багаж своей родины — прародительницы, гордой матери семнадцати стран, которые молятся, поют и выражают мысли на испанском языке.

Как во времена, предшествовавшие падению Римской империи, лукавые захватчики просочились в высокоразвитые страны Общего рынка, а за ними по пятам коварно следовало закаленное воинство женщин, которые медленно, но верно завладевали кухнями, гардеробами и кладовыми в семьях средних буржуа, приучая европейцев к паэлье, оливковому маслу, чесночному супу и кровопусканию, снова — после провала в несколько веков — вводя в повседневный обиход язык Сервантеса у многих тысяч чужеземных очагов, что было поистине чудесным культурным излучением для страны, где годовой доход на душу населения все еще не превышает скромной цифры в двадцать тысяч песет.

Альваро видел их на платформах во Франкфурте, где они поглощали огромные ломти хлеба с колбасой, видел, как они брели по улице Монблан в Женеве с чемоданами внушающих тревогу размеров, как спорили из-за цен в тавернах Амстердама,— они были вездесущи, эти низкорослые, смуглые испанцы, с красивыми волнистыми волосами, темными густыми волосами, которые так привлекают англосаксонок,— испанцы в узких выцветших джинсах, нарочно скроенных так, чтобы подчеркнуть рисунок ягодиц, ягодиц тореро и танцовщиков. Блудный сын угрюмого испанского нагорья, эмигрант улыбался важному голландскому господину, который пытался рассказать ему о том, как восхитительно провел отпуск на побережье Бискайского залива, а испанец улыбался и говорил, что лучше всего на свете живется в Испании, что уехал он только для того, чтобы, как говорится, людей посмотреть и себя показать, что солнце, женщины и вино в Андалузии — пальчики оближешь и что если когда-нибудь он, голландский господин, снова приедет туда, то он, Франсиско Лопес Фернандес, улица Доктора Пастера, 29, в Утрере, приглашает его к себе домой вместе с женой и детишками, и тогда уж он увидит, что такое гаспачо по-андалузски и чесночный суп, а если к тому же его путешествие придется на время ярмарки в Севилье, то они оба, голландский господин и Франсиско Лопес Фернандес, оставят своих супруг и детишек на улице Доктора Пастера, 29, сами же загуляют напропалую, потому что нигде на свете не бывает так весело, как в квартале Триана, и нигде на свете нет девушек с такой грациозной походкой и с такими глазами — это говорит он, Франсиско Лопес Фернандес, и уж это точно, как пить дать.

Он видел, как они громко разговаривали и отпускали грубые комплименты девушкам в переходах метро, с неизменным картонным чемоданом, для страховки аккуратно перевязанным веревкой, видел, как они показывают местным жителям бумажку, на которой корявыми буквами выведен адрес товарища, или же разбирают по слогам непонятное им название станции, видел их, своих шумливых соотечественников, хвастунов, разговаривавших, как опытные донжуаны, если им на пять минут случалось остаться в туалете бара один на один со старой пьянчужкой-уборщицей или удавалось за десять франков заполучить беззубую проститутку на бульваре Шапель,— невысокие испанцы: метр семьдесят пять росту, пережившие двадцать пять, тридцать, а то и тридцать пять лет голода и лишений, исходившие весь Пиренейский полуостров от края и до края в поисках работы и жилья — какой-нибудь пронумерованной лачуги или пещеры, за которую пришлось бы ежемесячно платить триста песет; и вот в стране, куда они иммигрировали, они поддерживают духовную и человеческую связь с матерью-родиной, внимательно читая отчеты о всех национальных состязаниях по футболу в

«Марке» или «Вида депортива» и ни с того ни с сего вдруг объявляют забастовку в знак протеста против ненавистной европейской кухни, где не употребляют бобов, а затем с шумным торжеством возвращаются на родину, рассказывая о своих необычайных сексуальных подвигах пораженным землякам, начинающим верить в романтику и полную приключений эмигрантскую жизнь, стоит им увидеть немецкий фотоаппарат или аляповатые позолоченные часы — символ современного богатства.

За десять лет парижской ссылки Альваро познал все превратности непрочной и всепожирающей любви к своему народу. Он последовательно восхищался своими соотечественниками, любил их, идеализировал; потом они наскучили ему, он стал их презирать, избегать; в свое время он затевал с ними волнующие разговоры в грязных барах или в поездах, в вагонах второго класса; он фотографировал их неприютные бараки и общежития, приглашал их к себе домой, чтобы глубже проникнуть в их жизнь и лучше разобраться в их нуждах, трудностях и надеждах, прежде чем приняться за съемку документального фильма, который так и не увидел света; на приглашение они являлись по нескольку человек сразу, а потом и целыми семьями, со стариками и ребятишками, и забивали всю комнату — это страшно злило Долорес, которая приходила в уныние от одного только упоминания об этих бессмысленных сборищах представителей всех испанских провинций, которые обычно кончались всеобщей пьянкой с непременной горой окурков, битой посуды, громким пением и сердитыми жалобами соседей.

Нашествию Хуанов и Хуан, казалось, не будет конца. Постепенно Альваро стал реже соглашаться на встречи, придумывая неотложные дела, и на пылкое приглашение распить бутылку испанского коньяка отвечал отказом и любезной, но непреклонной улыбкой. Его восторженные братские чувства длились ровно столько, сколько потребовалось времени на съемку фильма. Как только фильм был отснят, он стал отговариваться неотложными делами, когда его спрашивали по телефону, не выходил открывать, когда звонили у дверей, если слышал шаги своих соотечественников, которые невозможно было спутать ни с чем, и тут же уходил из дому, если видел, что они рыскают поблизости. Нелегко было их отвадить. Это была тяжкая задача, но посетители все-таки поняли. С тем же упорством, с каким раньше Альваро искал их общества, теперь он избегал не только этого общества, но даже просто их физического присутствия, изо всех сил желая навсегда забыть о самом их существовании, хотя полностью этого ему никогда не удавалось.

Начало демонстрации было назначено на двенадцать часов, но нетерпение, овладевшее Альваро и его друзьями, было слишком велико, и они вышли на станции метро Каталунья без десяти одиннадцать. Рикардо и Пако ожидали их в кафетерии на проспекте Лус. Галерея была почти пуста. Несколько зевак бесцельно бродили между колоннами, их можно было сосчитать по пальцам. В баре сидела только старая сеньора, пожиравшая пирожные, и двое мужчин в форме железнодорожников.

За два предшествующих дня он и его друзья наводнили город листовками. Накануне машины, с предусмотрительно смененными номерами, объехали рабочие кварталы, разбрасывая листовки; не были забыты и зрители, пришедшие на трибуны посмотреть футбол и корриду. Кому-то даже удалось разбросать целую пачку с памятника Колумбу.

Разработанный университетским координационным комитетом план сводился к следующему: пока народ будет толкаться у газетного киоска в «Каналетас», студенты проберутся небольшими группами по улицам св. Анны, Кануда, Буэн Сусесо и Тальерс. Основная масса манифестантов пройдет по улице Пелайо к месту сбора, что послужит сигналом к нача-

лу демонстрации. Манифестанты спустятся по Рамблас до улицы Фернандо и, если полиция не помешает, направятся к муниципалитету.

Рикардо, Пако, Артигас с сестрой вышли из метро на Вергара. На углу улиц Пелайо и Бальмес стояло больше десятка джипов, а рядом с кинотеатром курили двое *серых* с автоматами через плечо — они молча наблюдали за толпой, которая бурлила у магазинов, портняжных мастерских, одежных и обувных лавок. Пешеходов, направлявшихся в сторону Рамблас-де-лос-Эстудиос, было заметно больше, чем тех, кто шел к Университетской площади. Рикардо сказал, что наверняка многие здесь ждут только сигнала, чтобы собраться в назначенном месте.

Они смешались с толпой и пошли без определенной цели, стараясь отличить настоящих манифестантов от тех, кто попал сюда случайно и не отдавал себе отчета в том, что означало их присутствие здесь в такой важный момент. Но пока что было трудно понять, кто здесь и зачем. Пако показал на группу рабочих и заметил, что они, видно, тоже пришли сюда неспроста.

У станции метро Пелайо стояло несколько полицейских патрулей. На углу замер тип в шляпе и дымчатых очках, наблюдавший за движением толпы. Когда они отошли достаточно далеко, Рикардо сказал, что несколько месяцев назад этот человек приходил к нему домой и пытался прощупать его.

— Он специалист по университетским делам. Мы еще встретим таких типов, подпирающих стенки.

У фонтана, собравшись группами, болтали люди. Артигас с сестрой подошли послушать, о чем они говорят, а Рикардо и Пако направились к бару «Каналетас». На тротуаре несколько их товарищей так же, как и они, приглядывались к прохожим. Оказалось, что у фонтана громко спорили о результатах финальных игр на Кубок генералиссимуса. Артигас сказал, что это делается, должно быть, для отвода глаз.

Они пошли вниз по Рамблас, смешавшись с молчаливой толпой. Время от времени им попадались навстречу товарищи по факультету, бросавшие на них возбужденные, вопросительные взгляды. На углу св. Анны и Кануда стояли патрули *серых*. Часы показывали без двадцати двенадцать.

Они решили еще раз пройтись по улице Тальерс. Там Артигас увидел студента, друга Антонио, который быстрым шагом шел им навстречу. Взволнованно, дрожащими губами он сообщил, что полиция многих арестовала и около двадцати джипов перекрыли доступ на площадь Кастилии.

— В каком направлении движется основная группа?

— Не знаю. Я ушел до того, как все собрались.

Они вернулись на Рамблас. Там их друзья тоже расхаживали по тротуару, делая вид, что рассматривают витрины. Две студентки фармацевтического факультета с преувеличенным вниманием разглядывали вертушку с открытками для туристов. Рикардо и Пако уже ушли из бара «Каналетас», и несколько минут друзья тщетно пытались их разыскать среди тех, кто спорил о футболе. Все на улице обстояло внешне вполне нормально. Полицейский агент в штатском все так же неподвижно стоял на углу, наблюдая за происходящим.

Знакомые лица мелькали все чаще. Артигас узнал писателя Х., художников-абстракционистов — мужа и жену, нескольких служащих из крупного барселонского издательства. Но среди этого множества незнакомых людей невозможно было установить, где же основная группа манифестантов. Вот, например, мужчина в коричневых перчатках — он пришел на демонстрацию или же нет? А молодой человек в кожаной куртке, болтающий с продавщицей сигарет, кто он? Просто футбольный

болельщик или тайный сотрудник полиции? И Артигас, и его сестра, шагавшая рядом, тщетно строили на этот счет догадки.

Несколько минут без толку они бродили с места на место. Группки студентов то собирались, то распадались у газетных киосков и вокруг болельщиков. Ни в одном из условленных мест не заметно было ни малейшего оживления. Прохожие спокойно шли мимо магазинов на улице Пелайо, а на углу Кануда и св. Анны все так же выжидали *серые*. Куранты Вифлеемской церкви пробили двенадцать.

Напротив «Капитолия» они встретили Антонио, Пако и Рикардо. Те только что побывали на Университетской площади и сказали, что полицейские разогнали там основную группу манифестантов. Студенты поодиночке пробираются к «Каналетас». Полиция у многих отбирает студенческие билеты, но пока, сказали они, никого не арестовали.

Они вновь оказались в толпе; вокруг мелькали раздосадованные, растерянные лица. Около сотни студентов прогуливались по Рамблас, как парни и девушки в провинциальных городках на воскресном гулянии. В кафе и магазинах многие в нерешительности ожидали знака, чтобы присоединиться к манифестантам. Болельщики все так же самозабвенно спорили о футболе, а в боковых улочках не было видно ни души.

В двенадцать двадцать у выхода из метро появился Энрике с двумя товарищами — студентами экономического факультета, членами комитета по координации: энергично жестикулируя и что-то выкрикивая, они пытались привлечь внимание толпы. Последовала короткая заминка — многие студенты явно колебались. Наконец вокруг вновь прибывших собралась небольшая горстка людей, а остальные поспешили ретироваться, свернув в боковые улицы. Тут же кто-то развернул транспарант.

Все дальнейшее произошло в считаные секунды: несколько агентов в штатском набросились на группу студентов. Последовал стремительный обмен оскорблениями и ударами. Толпа бесстрастно наблюдала за происходящим, и, пробившись сквозь стену зевак, Артигас увидел Энрике с разбитой губой — с двух сторон его держали полицейские. Все трое сели в джип, стоявший на углу площади Каталонии, и, мгновенно набрав скорость, машина исчезла.

Альваро сразу почувствовал смертельную усталость, он словно оглох от уличного шума, от гула человеческих голосов. Стрелки часов показывали двенадцать двадцать шесть. И только когда он встретил Антонио и его друзей, увидел их потерянные глаза, он понял настоящий смысл происшедшего. Он никак не хотел поверить этому, и тем не менее все было ясно.

Демонстрация провалилась.

Завсегдатаи кафе, в котором бывал Альваро, явно принадлежали к необычному виду рода человеческого. Заведение это находилось на полпути между Новым мостом и перекрестком у «Одеона», его грязные и немало повидавшие стены были залеплены рекламой всевозможных вин и аперитивов: сюда стекались одна за другой наплывавшие с Пиренейского полуострова волны эмигрантов, которых выбрасывал за его пределы случай или прихоти политики. Преодолев дьявольскую полосу препятствий после разгрома республики в 1939 году, они прошли через забитые дороги, пробрались на перегруженных судах, перелезли через колючую проволоку, вынесли голод и вшей Сен-Сиприена и Аржелес-сюр-Мэр, нацистские лагеря уничтожения и наконец разбились у этих стен, где они, словно старинные, пришедшие в ветхость парусники, бросали якоря у столов, покрытых пепельницами и пустыми бокалами, и у

никелированной стойки кафе мадам Берже, с ее пресловутыми черствыми рогаликами, старой астматической кофеваркой «Эспрессо», выплевывающей густой кофе, и пожелтевшим, никогда не читанным текстом закона «О мерах против лиц, появляющихся в общественных местах в нетрезвом виде».

Насколько Альваро удалось заметить, представители каждого археологического пласта поддерживали чисто поверхностный контакт с представителями предшествующих и последующих пластов, подчиняясь негласным, но тщательно соблюдаемым правилам приоритета. Свежие напластования — к ним принадлежал и Альваро — состояли из политических эмигрантов или интеллектуалов, которые, как правило, пересекли Пиренеи во второй половине пятидесятых годов — с паспортом или без оного — после более или менее длительного пребывания в Карабанчеле или тюрьме Модело или же после участия в студенческом движении или в какой-нибудь эпизодической демонстрации протеста. Все они были молоды и окружены ореолом недавнего изгнанничества, исключая, конечно, тех, кто покинул родину из-за какой-нибудь семейной ссоры, увольнения со службы или просто-напросто, как и сам Альваро, в поисках новых и более приветливых горизонтов. Во второй пласт входили уже поседевшие эмигранты 40-х — начала 50-х годов, бывшие узники концентрационных лагерей в Альбатере или Миранда-дель-Эбро, тайком перешедшие границу, чтобы присоединиться к французским маки накануне провалившейся попытки вторжения через долину Аран, или стремительно скрывшиеся после разгрома Испанской университетской федерации,— эмигранты страшных лет террора, голода, засух и карточек. В третьем пласте были беглецы Пертюса и Аликанте, долгие месяцы интернированные в песках Лангедока, а затем вынужденные строить Атлантический вал, чудом спасшиеся от газовых камер Освенцима, ветераны проигранной гражданской войны, которые поглядывали на всех остальных свысока: так владелец унаследованного от дедов состояния взирает на спекулянтов-нуворишей, разбогатевших в военные годы, так аристократ древнего рода смотрит на коммерсанта, получившего благородное звание волею властей или за сомнительные услуги, оказанные режиму. Если же копнуть глубже, то геолог мог бы найти помимо этих трех мощных пластов остатки более древних напластований, осевших на дне убогого парижского кафе после жестоких репрессий более раннего времени.

Когда представители самого свежего слоя переступали порог кафе мадам Берже, они считали своим долгом объяснить другим все, что произошло в стране до того момента, когда они ее покинули, и повторяли это до тех пор, пока не замечали неожиданно для самих себя, что их рассказ не только никого не интересует, но и является непростительной бестактностью, которая, правда, была простительной для новичка, не знающего тонких правил, установленных в эмигрантской иерархии в зависимости от выслуги лет. Мало-помалу горячность новичков остывала, и они приучались помалкивать, изображая внимание на лице, и коротко отвечали на вопросы старшего поколения с само собою разумеющейся скромностью учеников, робеющих перед мудростью и глубокой эрудицией уважаемого профессора. Проходили недели, месяцы, годы, и наконец бывшие новички сами получали право недоуменно поднимать брови, рассеянно ковырять во рту зубочисткой или же пренебрежительно разворачивать газету посреди сбивчивой и лихорадочной речи более молодых изгнанников. Это означало, что они стали ветеранами и включились в существующий порядок вещей, превратились в эмигрантов с ироническим взглядом на происходящее, раз и навсегда познавших историческую правду и те рациональные средства, при помощи которых будут искоренены все болячки Испании в тот — уже близкий — день, когда

все переменится и они с триумфом вернутся на родину, чтобы одарить ее сокровищами своего опыта, накопленного за годы долгого и «плодотворного» отсутствия.

Эта благоприятная для Испании эволюция их мыслей и чувств сопровождалась все более безжалостной критикой Франции и французов, словно забвение далекой, идеализируемой родины компенсировалось обнаружением все новых, доселе даже не подозреваемых пороков в той единственной реальной и ощутимой действительности, которая их окружала. Оба эти чувства — восхищение и пренебрежение — были тесно связаны друг с другом и зависели от свойств характера и количества лет, проведенных эмигрантом во Франции. Вновь прибывшие появлялись в кафе, очарованные мифом о Париже и прельстительным блеском малокровной французской культуры, жаждущие любви, жизненного опыта и знакомства с запретными книгами. Как и Альваро в те дни, когда он встретился с Долорес, они делили свободные часы между фильмотекой, где смотрели старые фильмы, спектаклями ТНП для студентов, лекциями о литературе и искусстве в Сорбонне; они влюблялись подряд во всех блондинок Латинского квартала и университетского городка, чувствовали себя счастливыми оттого, что живут в краю, где любовь так доступна, были потрясены свободой и независимостью француженок (или немок и скандинавок) и изо всех сил старались правильно произносить слова на языке народа, чьих классиков они глотали одного за другим, стремясь побыстрее заполнить пробелы своего ограниченного ультракатолического образования. Так шло до тех пор, когда они, заплатив дорогой ценой за опыт, вдруг обнаруживали в себе мужскую гордость, свойственную испанской расе, и неожиданно ужасались скандальной неверности француженок (или немок и скандинавок), которые наутро забывали оброненные ночью жаркие клятвы в любви и вечной преданности ради — это уж совсем невозможно было понять! — объятий какого-нибудь женоподобного итальянского студента или дюжего и черного как сажа стипендиата из Того или Камеруна, чем ввергали своего предыдущего воздыхателя в бездну ревности, любовной тоски и безысходной горечи, открывая ему самым грубым образом глаза на истинную сущность француженок (или немок и скандинавок), столь непохожих на строгих и верных иберийских самок. Это открытие срывало мистический покров и с остальных ценностей, после чего все французское общество в целом попадало на скамью подсудимых.

С этого момента робкие, офранцузившиеся было представители свежего геологического пласта начинали с негодованием говорить о продажности, грубости и мещанстве французов, забывали о своем, с таким трудом приобретенном французском произношении, по-испански раскатисто произносили звук «р» и спешно старались придать себе вид чистокровных иберийцев, отращивали баки и висячие усы, а в глазах у них появлялась невесть откуда взявшаяся истома, долженствующая выделять их среди безличной, серой и ничем не примечательной толпы французов. Вместо того чтобы терять драгоценное время в фильмотеке, Сорбонне или в ТНП, они теперь предпочитали собираться своей компанией в кругу испанцев в затхлом заведении мадам Берже и вспоминать за чашкой вонючего французского кофе исторические обстоятельства, предшествовавшие их эмиграции, или же слушать повествования эмигрантов второго и третьего археологического пласта о прорыве фронта на Эбро, взятии Бельчите и разгроме итальянцев под Гвадалахарой, сравнивая в ходе содержательной и приятной беседы обуржуазивание французского рабочего, только и думающего о своем «ситроене» и летнем отпуске, с благородством и достоинством многострадального испанского пролетария и противопоставляя унылому обилию плодородных полей Нормандии разнообразие и живописность пустынного, аскетического пейзажа

Кастилии: пересохшие реки, раскаленные камни, выжженный солнцем кустарник. Никто уже не произносил с юношеским восторгом имен Бодлера и Рембо, а если и упоминал о француженках (или немках и скандинавках), то лишь затем, чтобы очернить их, а заодно дать понять другим собеседникам, что перечень донжуанских похождений говорящего достаточно длинен и подтверждает самым категорическим образом заслуженную репутацию половой потенции иберийца и что если говорящий и женится наконец, то исключительно на честной и здоровой испанской эмигрантке, будущей матери его детей. При этом более молодым эмигрантам доверительно рассказывалось о позорном паническом бегстве французов в июне 1940 года, о решающей роли испанцев в маки, после чего разговор естественным образом переходил на тему о том, что современная французская философия имеет явно тевтонские корни, а музыка Вагнера оказала определяющее влияние на творчество Клода Дебюсси. Далее предавались анафеме и безвкусность столь незаслуженно разрекламированной французской кухни, и отвратительные французские вина, появившиеся, впрочем, на свет только благодаря массовому вывозу во Францию лоз из Риохи. Наконец после полных тоски воспоминаний о сыре из Ронкалеса и колбасах из Кантимпало все приходили к мнению — единодушному, как это ни странно для столь многочисленного собрания испанцев,— что такого чистого, свежего и целебного воздуха, как на Гвадарраме, нет больше нигде на свете, сеньоры, во всем мире нигде.

Тело его покрылось испариной. Он морщился от непрекращающейся острой боли в боку, в висках стучало.

Когда он открыл глаза, двое сидели у картотеки, поглощенные чтением газет. Усатый повесил пиджак на спинку стула и время от времени стряхивал пепел с сигареты, постукивая ею о край стола. Высокий машинально поглаживал складки брюк. Пол был усеян окурками, а в комнате дурно пахло застоявшимся табачным дымом.

— Хочешь попробовать? — спросил через несколько минут Высокий.— Первоклассный херес. Родригес привез вчера...

Усатый сложил газету пополам и приблизил ее к лампе. По движению его губ было видно, что читает он по складам.

— Хорошо, налей глоток, не больше...

Высокий плеснул в оба стакана и, прежде чем отпить из своего, понюхал.

— От одного запаха окосеешь!

— Читал? — Усатый оторвался от газеты и пригубил вино.

— Что?

— Луис Мигель получил право отрезать у быка два уха.

— Где?

— В Аликанте.

— Хотел бы я посмотреть на него в Мадриде или Маэстрансе.— Высокий снова поднес стакан к самому носу.— Когда быку подпиливают рога, а трибуны ломятся от иностранцев, даже новичок может блеснуть.

— Нет, ты послушай: «Когда появился второй бык, Луис Мигель показал себя настоящим артистом...»

— Видно, подкупил этого писаку.

— «...Четыре или пять раз он блестяще пропустил быка у самой груди, выполнив несколько поистине феноменальных пассов правой...»

— Эти журналисты за двадцать дуро родную мать продадут.

— «...Потом он с львиной отвагой вонзил шпагу в холку быка и еще раз подтвердил свою славу великого маталора...»

— А я тебе говорю, что настоящий тореро, как Ордоньес, доказывает это на арене в Маэстрансе или в Вентасе.

— Послушай еще: «Публика вскочила на ноги, приветствуя великолепную работу нашего тореро номер один — люди охрипли от крика и отбили себе ладони. Песок арены навсегда впитал в себя память о блистательных верониках».

— Все это говорит только о том,— сказал Высокий,— что автора хорошо подмазали. Когда я видел Луиса Мигеля в Севилье, дело кончилось скандалом, а на другой день газеты все свалили на быков.

Усатый бросил газеты на пол и пустил к потолку колечко дыма.

— Прекрасный херес...

— Это Родригес вчера купил. Если бы мы вовремя не спохватились, он бы один выдул все.— Высокий смаковал содержимое стакана.— Так вот: Луис Мигель хорош для кино. Настоящий тореро — это совсем другое.

— А сколько раз ты его видел?

— Один раз. Но уверяю тебя, с меня достаточно.

— Чтобы оценить настоящего артиста, нужно увидеть его за хорошей работой, когда он в ударе.

— Первоклассного тореро сразу видно, стоит ему появиться на арене. Луис Мигель не такой и таким никогда не будет.

— Я видел Ордоньеса на последней фиесте, и мне твой Ордоньес не понравился.

— Настоящий тореро начинает с нуля и достигает вершин благодаря таланту.— Высокий заговорил громче.— Вспомни Манолете. Он начал, как говорится, без штанов, а когда погиб, зарабатывал миллионы.

— Вот будет коррида, где они выступят оба, тогда и посмотрим, кто лучше.

Усатый бросил сигару на пол и неожиданно повернулся на стуле в другую сторону.

— Эй, малый,— он обращался к нему.— Ты любишь бой быков?

— Я?

— Ты, конечно... Кто же еще?

— Не знаю.— Энрике говорил с трудом. По мере того как он приходил в себя, боль в боку становилась все острей.

— Ну, парень, ты что, ни разу не был на корриде?.. Папа с мамой тебя никогда не водили в «Монументаль»?

— Нет.

— Вот это да! Куда же они, черт подери, ходили развлекаться? — Усатый внимательно разглядывал его.— Но в кино-то, надеюсь, ты видел Ордоньеса и Луиса Мигеля... В кинохронике хотя бы...

— В кино — да.

— Ага, все-таки видел!.. Я так и знал, что ты мне голову морочишь! Ты, наверно, видел корриду в «Нодо», правильно я говорю?

— Да.

— Ну вот, что и требовалось доказать. И кто же тебе больше нравится: Ордоньес или Луис Мигель?

— Не знаю... Собственно говоря...

— Э-э, не темни. Ты платил за билеты в кино, да или нет?

— Да.

— Небось развалился в кресле и смотрел, так?

— Да.

— То-то и оно! А ты стесняешься. Смотреть корриду — не преступление. Мы вот с товарищем это дело любим. Точно?

— Спрашиваешь! — сказал Высокий.

— Мы оба любители, и нам интересно знать твое мнение.— Темные глаза Усатого в упор смотрели на него.— Он болеет за Ордоньеса, я — за Луиса Мигеля. Мы уже не первый год спорим на этот счет и никак не договоримся.

Высокий встал и лениво потянулся. Свет лампы отбросил на стену его укороченную тень.

— Так,— сказал он.— Ну, кто же из двух тебе больше нравится?

— Не знаю,— ответил Энрике.— Не помню.

— Не говори, что не помнишь, это неправда.— Усатый словно увещевал его.— В кино-то ведь ты ходил? Сидел себе в кресле и смотрел на обоих, мог сравнить... Ну пошевели-ка мозгами.

— Не знаю.

— Нет знаешь. Ты, видно, парень робкий и стесняешься сказать... Ну же, будь умницей. Подумай!

— Ордоньес или Луис Мигель? — настаивал Высокий.

— Думай, думай.— Усатый присел около него на корточки. Он чуть не умолял: — Скажи мне тихонечко, на ухо.

Наступила короткая пауза. Из глаз Энрике посыпались искры, и ему показалось, что он проваливается в колодец.

— Ордоньес,— еле выговорил он.

— Ну, видишь? — Усатый ласково потрепал его по плечу.— Я так и знал, что ты не будешь нас обманывать.— Он повернулся к Высокому и показал пальцем на Энрике.— Слышишь! Он говорит, что ему нравится Ордоньес.

— Это точно? — спросил Высокий.

— Да,— выдавил Энрике.

— Хорошо, малый. Тогда мы тебе его сейчас представим.

И Энрике услышал, как кто-то протопал к двери в коридор, в скважине повернулся ключ. Высокий исчез и через несколько минут появился еще с двумя людьми. Энрике с усилием повернул голову. Наручники врезались ему в запястья, и руки, лиловые и распухшие, кровоточили.

Высокий молча смотрел на него, рядом с ним стояли два дюжих типа в тренировочных костюмах. У левого через руку было переброшено мокрое полотенце, словно салфетка у официанта.

— Ты заявил, что благоговеешь перед ним? — сказал Усатый, ткнув пальцем в левого.— Вот он, пожалуйста, сейчас он тобой займется... Мы его между собой зовем Ордоньесом... А этот, что рядом с ним,— этот как раз и есть тот, который тебе не нравится... Его мы зовем Луисом Мигелем.

Первой мыслью, которая приходила в голову испанцам, появлявшимся в кафе мадам Берже, испанцам, еще полным иллюзий и проектов, не успевшим отряхнуть с ботинок пыль Полуострова, была мысль о необходимости создания Национального объединения интеллигентов в изгнании. И первым этапом к достижению этой желанной и отдаленной цели должен был стать журнал, где бы могли выражать свои взгляды и вести диалог представители всех политических течений, а также художественная интеллигенция. После приезда в Париж Альваро побывал больше чем на десятке предварительных заседаний, где долгими вечерами шли споры о названии, формате, составе редакционного совета, бюджете и авторах будущего издания. Он потерял многих друзей, без конца редактируя черновики и передовые статьи, постепенно скоплявшиеся в ящике его стола вперемежку с письмами родственников, газетными вырезками и бесполезными сценариями так и не появившихся на свет кинофильмов. Художники, славные лишь тем, что были родственниками Тапиеса, нудные профессора с академическим, безликим стилем, музыканты, заявившие о своем героическом решении не писать ни единой ноты, пока не падет нынешний режим в Испании,— причудливое сообщество ископаемых, прятавшихся за догмы, как средневековые рыцари за свои кованые блестящие доспехи,— все они стекались в кафе мадам

Берже, чтобы спорить, обсуждать, стирать в порошок, изрекать яростные анафемы и редактировать гневные письма.

Все эти пылкие проекты, как показало время, остались на бумаге. Те, кто вновь выступал с идеей создания журнала и подбирал будущих сотрудников, с горячностью работали дни и ночи, отдавая все свободные часы бесполезным визитам в издательства и тщетно взывая о материальной поддержке. Мало-помалу дело заходило в тупик, назначенные встречи начинали откладываться по никому не известным причинам, в действие вступали скука, терпимость, усталость. Организаторы окончательно забывали о своих обязанностях и переписке, а заседания откладывались на неопределенный срок. Затем наступал промежуточный период, когда будущие редакторы старались по мере возможности избегать встреч, несколько стыдясь своей неудачливости и опасаясь упреков, которые заставили бы их оправдываться. И наконец последняя фаза — к этому моменту много воды утекало под мостами Сены,— они вновь начинали непринужденно приветствовать друг друга, ни словом не упоминая о журнале и ничуть не удивляясь тому, что никто не заговаривает на эту тему, как если бы этого проекта и не существовало. Они были рады увидеться вновь, поспорить о возвышенном и повседневном, втайне чувствуя себя коллегами по неудавшемуся, но великому начинанию, о котором все молчаливо обязались не говорить.

Таким образом — и за сравнительно короткий срок — Альваро побывал в качестве кинокритика в редакционных советах многих журналов, названия которых он забыл, но которые роднило то, что ни один так и не вышел в свет, хотя на них было затрачено немало юношеской энергии и задора.

Мало-помалу по мере того, как рвались корни, привязывавшие Альваро к детству и к родной земле, он чувствовал, что его кожа покрывается грубыми рубцами; сознавал бессмысленность изгнания и в то же время невозможность возвращения. Четыре стены кафе мадам Берже приняли его, как и стольких других изгоев, чтобы переварить и превратить в еще один элемент самого верхнего археологического пласта, представители которого с тоской вспоминали об Испании, дурно говорили по-французски и в тысячный раз спорили с друзьями об исторической необходимости создания журнала. Через несколько лет, став таким же непроницаемым, как и его предшественники, он научился относиться с иронической доброжелательностью к энтузиазму более молодых эмигрантов, а однажды — этот день навсегда остался болезненно свежим в его памяти,— когда группа только что прибывших из Испании оживленно обсуждала на террасе очередной проект создания журнала, он принес из своей студии папку, где хранились предыдущие проекты, и с улыбкой вручил ее им.

В тот вечер, ожидая Долорес в вестибюле Школы изящных искусств, Альваро отчетливо, каким-то внутренним чувством ощутил, что он навсегда распростился с молодостью.

«Было, значит, нас трое: Тонет, Малыш; Кордобес, фартовый такой парень; и я, Франсиско Ольмос Карраско, к услугам вашей милости. В порту, сеньор судья, все всегда ясно, кто с чем и почему, без всякой бодяги, а позавчера вечером, то есть в понедельник, Тонет, Кордобес и я, мы, значит, крепко поддали с Маноло, это парень из Таррагоны, богач, у него целых двенадцать лодок, и всегда при нем мех с местным вином, крепким, как кровь быков Миуры; когда пьешь с Маноло, и кто тебе больше не нужен, всегда будешь доволен, потому и пристроился к нам некий Гомес Молина, бесстыжая его морда, никогда не упустит где можно задаром выпить и всегда, гад, подзуживает мужи-

ков и над девчонками измывается, а язык у него такой, что — тьфу, господи; клянусь вам, сеньор судья, собрались мы, значит, в понедельник вечером, позавчера, Тонет, Кордобес и ваш покорный слуга, встретились с Маноло, и вот сидим мы, едим, пьем вино, Кордобес разговаривает с девчонками, а я стал танго танцевать, и все так по-хорошему, все друг другом довольны, как и должно быть между теми, кто с морем дело имеет, и вот появляется этот самый Гомес Молина, а морда у него такая, что не дай вам бог во сне увидеть, и тут-то все и началось, сеньор судья, из-за этого гада, который нужен был нам как рыбе зонтик, пришел и сразу к подружке Маноло подкатывается и давай такие анекдоты рассказывать, что та уже покраснела как рак, а Маноло — он добрый такой парень, телок и все молчит, а у меня уж мочи нет терпеть, и не желаю я, чтобы при людях с Маноло и его девчонкой так бесстыдничали, и тогда я встаю и говорю этому малому — он здоровый такой,— осторожней, мол, на поворотах, и он, правда, потом уже больше к ней не приставал, но рожу такую скорчил, бандит бандитом, и говорит мне: выйди-ка, мы на улице потолкуем, но Тонет и Маноло нас разняли, и мы гуляли вовсю, вроде ничего и не случилось, а потом Маноло ушел спать со своей, а мы с Кордобесом выходим, и Гомес Молина снова настырно так пристает, пойдем еще выпьем, а мы говорим — нет, а он вроде как глухой и опять говорит, я же заплачу, и зовет с собой в бар в Китайский квартал и начинает опять со зла поливать Тонета. Вы, говорит, каталонцы, никого не уважаете и вообще, а Кордобес, чтобы беды не было, такси останавливает, и вот, представляете, мы опять втроем, и, конечно, Гомес Молина тоже с нами поехал, хотя и нужен он нам, как собаке пятая нога, едем, значит, в пятый район, и все было бы хорошо, как и бывает между веселыми людьми, потому что завелись мы с этого таррагонского вина порядочно, вино это, сеньор судья, первый сорт, вам советую попробовать, все было бы, говорю вам, вполне ничего, если бы мы не зашли в бар, где полно этих субчиков — из тех, что от властей стараются держаться подальше, все они вроде дружки этого Гомеса Молины, ну, там мы еще поддали, но тихо так, благородно, и если бы не эта сволочь, этот самый Гомес Молина, ему петь, видите ли, захотелось, а официантка — гулящая такая баба, за словом в карман не полезет — показывает ему на объявление: петь и танцевать запрещается — и еще кое-что добавляет, тьфу, господи, даже слова ее вспомнить противно, а Гомес Молина опять начинает насчет каталонцев прохаживаться и мамашу их поминать, ну, а хозяин бара сам каталонец и посылает нас по-каталонски куда подальше: сукины дети, говорит, ублюдки, с извинения сеньора судьи; вообще, значит, запахло тут жареным, и я, чтобы нам не перепало, выхожу с Тонетом на улицу, а этот Гомес Молина, представляете, сразу же за нами и опять начинает честить каталонцев, что никого они не уважают, ни фига и вообще, ну, вы понимаете, смотрю я на него и говорю: или ты заткнешься, или я тебе так врежу, что мама родная не признает, и дальше в таком же духе, а он достает перо такое вот здоровое и острие так и блестит, а я достаю бутылку из-под пива, мне один малый ее на всякий случай дал, отбиваю у нее горлышко и наставляю на него, чем тебе не кинжал, и тут, клянусь вам всеми святыми, я даже до него пальцем не дотронулся, свистят в свисток, бросаются на меня откуда ни возьмись двое *серых* — и трах меня дубинкой по голове; как я жив остался, даже и не знаю, хотя я, сеньор судья, к властям со всем почтением, и говорю им: это же не я, ну не я, это все сволочь Гомес Молина, он же каталонцев материл, но они и слушать не хотят и знай себе долбают дубинками меня по кумполу... Ну, а когда я проснулся, то никакого Гомеса Молины, ни Кордобеса, ни Тонета не было, а только трое таких же бедолаг вроде меня, и все мы, значит, в камере сидим. Что болит, спрашивает один, подожди немного, это еще только цветочки, мне в прошлом

году так здесь всыпали, что я восемь дней на карачках ползал, а я им говорю, ни в чем я не виноватый вовсе, это же все один дерьмовый малый каталонцев честил и все такое, но никто меня не слушает, молчат все, и тогда я говорю одному: а ты здесь за что? А он мне говорит, что его замели с марафетом на улице св. Рафаэля, а я, говорит другой, спутался с двумя француженками, заплатили они мне вполне прилично, да вот меня прихватили эти гады из тайной полиции, бумаг при мне не было, вот я и попался, а третий, молоденький такой, голубь, молчит все и на вопросы не отвечает, я у него опять спрашиваю, а он ни за что, говорит, это все ошибка, кто-то перепутал, ты сам перепутал, говорит ему марафетчик, я же тебя тыщу раз вечером у кино видел, педик ты, ну а я, значит, проклинаю себя за такую невезуху, и тут дверь открывают, входит еще один малый, ему еще больше перепало, чем мне, и по-каталонски начинает так выражаться, что аж уши вянут, а потом говорит, вообще просто кемарил на скамейке на Рамблас, всего-то и делов, ничего такого не сделал, а два фараона с дубинками как взяли его сонного в оборот. Будешь знать, говорит марафетчик, как дрыхнуть где не положено, ты что, не знаешь, что, если оборванцы на улицах валяются, это же неприятно для иностранных туристов, а мы теперь в европейцы вышли, дура, и нас, того и гляди, в Общий рынок принять могут, новичок так и вскипел: а иди ты, говорит, в общую задницу. И тут дверь опять открывается, и заталкивают к нам бухого такого малого в заблеванном костюме. Я требую свидания с сеньором комиссаром, кричит молоденький, он же мне сказал, чтобы я зашел к нему погодя, скажите ему, что я должен сказать ему кое-что очень важное. Не волнуйся, детка, говорит ему марафетчик, отдыхай себе спокойненько, причешись как следует, глаза подведи, тебя же скоро снимать будут анфас и в профиль, если только они еще тебя в прошлый раз не сняли, ведь ты же известный на всю Барселону педик; оставьте меня в покое, кричит молоденький, я хочу видеть комиссара, сколько же нас тут будут держать, это говорит уже тот, что спутался с француженками, а молоденький кулачками стучит в дверь, марафетчик нам тут и говорит, что в девять нас всех посадят в тюремную карету и отвезут в полицейское управление, там нас сфотографируют, а потом отделают по первое число, так уж в управлении положено... Когда я снова проснулся — уже после девяти это было,— меня всего разломило, а стражник открывает дверь, все мы на улицу выходим, перед этим нас по двое наручниками сцепили, садимся, значит, мы в машину, а там полно народу, все кричат: не толкайтесь, и один опять матерится, а потом машина поехала, нас качает, из угла в угол бросает, мы же как сардины в банке там были, а наручники мне в руку врезаются, и то и дело грузовик останавливается, людей к нам все подсаживают, воздуха нам уже не хватает, сволочи, не толкайтесь, орет марафетчик, а в полицейском управлении нас выстроили и отобрали у нас авторучки, шнурки от ботинок, часы, ремни и бумажники, где же сеньор комиссар, кричит молоденький, спускают нас в подвал, и тут мы видим, ведут парня, он даже и не идет вовсе, под руки его волокут двое *серых*, мать родная, что же из него сделали, видно, это ворюга, говорю я, нет, говорит марафетчик, это студент, позавчера нескольких из них сцапали у кафе «Каналетас», и стражник меня заталкивает в камеру, а я уже больше не могу, хватаюсь за ручку двери и ору, я же ни в чем не виноватый, это же все Гомес Молина, сука, он же был вдрабадан пьяный и все каталонцев ругал, говорил про каталонцев, что они, мол, никого не уважают и вообще...»

Во время одного из первых посещений кафе мадам Берже Альваро пригласили на устроенный старыми республиканскими партиями митинг,

целью которого, как можно было прочесть на скромно отпечатанной на стеклографе программе, была «выработка единой политической линии, способной немедленно и навсегда покончить с пагубными раздорами, вызванными изгнанием и распыляющими силы эмиграции». В пригласительном билете было указано десятка два деятелей со смутно знакомыми Альваро фамилиями, тут были представители самых разных группировок.

За несколько часов до начала митинга Альваро бродил по Латинскому кварталу в компании юной голландки, одержимой страстью к нормандским воинам, черной магии и оккультным наукам. Он познакомился с нею случайно, стоя в очереди в библиотеке св. Женевьевы. Пропуская время от времени по глотку кальвадоса и изъясняясь на более или менее непонятном языке, она повлекла его за собой сначала в фильмотеку на улице Ульм (пришли они туда как раз в тот момент, когда кассу закрыли), потом на лекцию в Клуб Четырех Ветров на тему «Кибернетика и современный человек» (во время лекции чудесное создание из Голландии вздремнуло немножко, а проснувшись, стало бурно аплодировать лектору, прервав его в середине выступления). Затем они очутились на собрании, созванном ЮНЕФ (Национальным союзом французских студентов) в знак протеста против плохого питания в студенческих столовых (эта манифестация была разогнана префектурой при помощи кулаков и дубинок, что, к счастью, несколько привело голландку в чувство), и под конец она затащила его в какой-то литературный салон, полный бледных юношей с газельими глазами, после чего совершенно неожиданно скрылась, оставив Альваро в обществе почтенной дамы лет шестидесяти, с накладными ресницами и крашеными волосами. После обмена несколькими натянутыми улыбками и зондажа на тему «Et vous ecrivez oussi, sans doute»[1] собеседница осведомилась о национальности Альваро: «Ah, c'est bien d'être Espagnol»[2],— что разверзло перед ним опустошающую бездну тоски, смятения и беспомощности.

Все остальное — вынужденный визит в кафе мадам Берже и последующее присутствие на митинге республиканских партий — было логическим следствием этого вечера, начавшегося при столь недобрых предзнаменованиях. Альваро, у которого голова шумела после многочисленных p'tits calva[3], стал приходить в себя, лишь когда очутился в вестибюле одного из залов парижской Академии наук, где величественно возвышался покрытый пылью бюст в камзоле и парике; надпись под ним гласила: «Жорж Луи Леклерк де Бюффон, Монбар, 1707 — Париж, 1788». Собравшиеся в вестибюле испанцы, одетые в несколько поношенные пальто и плащи, казалось, ожидали прибытия подкрепления, прежде чем войти в негостеприимный и холодный зал, украшенный по случаю встречи красно-желто-фиолетовым флагом республики 1931 года.

Альваро сел на одно из мест в первых рядах и огляделся. Присутствующие — их было немногим более сотни, все эти люди вышли из среднего возраста, по мнению Альваро, приближались к шестому десятку, некоторых он знал в лицо по кафе мадам Берже: старого генерала Карраско, который в ожидании дня, когда наконец восторжествует республиканская законность, вел тщательный подсчет своего жалованья с апреля 1939 года, учитывая при этом прогрессирующую дороговизну, вызванную девальвацией песеты, а также повышение в чин бригадного генерала, согласно выслуге лет; бывшего министра торгового флота правительства в изгнании, про которого злые языки в кафе утверждали, будто дома у него потрясающая флотилия игрушечных кораблей, которые пла-

[1] Вы, конечно, тоже пишете *(франц.)*.
[2] Ах, как хорошо быть испанцем *(франц.)*.
[3] Рюмок кальвадоса *(франц.)*.

вают в ванне: двух арагонских анархистов — друзей детства Дуррути. Узнав Альваро, они поздоровались с ним легким наклоном головы. Социальное происхождение и профессию остальных было трудно установить. Двое мужчин в первом ряду были одеты с чрезвычайной тщательностью, отличающей представителей коммерции. Рядом с Альваро старик вытирал мокрый кончик носа заношенным красным платком. В зале сидело около дюжины женщин, был какой-то молодой человек в вельветовой куртке.

На эстраде зажегся свет. В тот же миг кто-то сзади швырнул в зал пачку листовок, они взлетели вверх и посыпались на головы немногочисленным присутствующим. Альваро услышал чьи-то поспешные шаги, у дверей началась суматоха, несколько человек из публики сорвались с мест и кинулись вдогонку за злоумышленником, успевшим уже выбежать из зала. Альваро поймал на лету один из листков и прочел: «СКАЖЕМ «НЕТ» ПРОИСКАМ РАСКОЛЬНИКОВ!» На эстраду стремительно — не по летам проворно — взошел какой-то пожилой человек и попросил публику сохранять спокойствие.

— Дамы и господа, товарищи, — начал он зычным голосом,— мы убедительно просим извинить организаторов встречи за этот достойный сожаления инцидент, который отнюдь не является злобной выходкой какого-то одного лица. Нет, это лицо выполняло приказ группы политиканов, больше всего на свете боящихся расстаться с весьма удобной для них позицией пассивного выжидания и бездеятельности и потому всячески препятствующих нашей инициативе, цель которой — восстановить согласие и сплоченность всех честных сил эмиграции.

Раздались редкие, но очень громкие хлопки — видимо, сила была призвана в этом случае компенсировать малочисленность. Сосед Альваро влез на кресло и несколько раз прокричал:

— Возмутительная провокация!

Полковник Карраско в негодовании что-то горячо объяснял толпившимся вокруг него дамам, грозя исчезнувшему смутьяну набалдашником трости. Экс-министр торгового флота и арагонские анархисты присоединились к толпе преследователей. Через несколько минут они вернулись, размахивая в возбуждении руками и крича.

— Призываю к тишине, господа, призываю к тишине,— настойчиво повторил человек, стоявший на эстраде.— Дикая выходка, свидетелями которой мы сейчас стали, не должна внести смущения в наши умы, как и вызвать у нас мстительную жажду ответить бесчинством на бесчинство. Нас с вами привело в этот зал общее стремление разорвать порочный круг взаимной ненависти и мелочных раздоров, ибо они парализуют политические силы эмиграции. Героический испанский народ вот уже двадцать лет ждет, когда же мы наконец создадим единую политическую платформу, самое существование которой нанесло бы сокрушительный удар по тем, кто ведет раскольническую политику и для кого кровь и страдания народа — это только...

Публика шумно зааплодировала, прервав оратора. На эстраду поднялся тщедушный лысый человечек в очках. Его сопровождали два других старичка, в темных, так же как и он, костюмах. Воспользовавшись удобной минутой, в зал на цыпочках вошли опоздавшие. Человек с зычным голосом обернулся к трем старичкам, заулыбался и провозгласил:

— Среди нас присутствует один из великих творцов конституции 1931 года, бесстрашный паладин непобедимого дела нашей республики, выдающийся полемист доктор Карнеро, человек, стяжавший себе всемирную славу.

Раздались еще более шумные аплодисменты, доктор Карнеро поклонился направо и налево, затем встал за кафедру и вынул из внутреннего кармана своего длиннополого пиджака несколько листков бумаги.

Вновь грянул взрыв рукоплесканий. Доктор Карнеро поблагодарил публику легким наклоном головы, старательно пристроил на носу очки и разложил на кафедре свои бумажки.

— Дамы и господа! — Обращение прозвучало с такой силой, что Альваро показалось, будто оратор говорит в микрофон.— Биографы рассказывают, что однажды ранним январским утром римляне были удивлены, увидев старца Микеланджело, который брел по улице, держась за стены домов. Его спросили, куда он идет, дрожа от холода и немощи, и он самым обычным тоном ответил: «Я иду в школу. Быть может, я там узнаю что-нибудь новое для себя». Шестидесятилетнего Хоакина Косту, нашего великого Учителя, парализованного после полиомиелита, как-то раз вызвали в Мадрид, где ему предстояло выступить в палате депутатов с материалами, разоблачающими гнусный законопроект, состряпанный оголтелыми мауристами. Прямо с вокзала, не заехав даже в гостиницу помыться с дороги, этот благородный страдалец попросил отвезти себя в Атеней, где через несколько часов друзья нашли его ушедшим с головой в книги, целыми кипами громоздившиеся перед ним на столе...

Происходившее было ново и непривычно для Альваро, однако удивление первых минут прошло, и он стал осторожно коситься по сторонам, наблюдая за реакцией слушателей,— своему впечатлению он не доверял, так как слишком устал, да к тому же давало себя чувствовать и действие выпитых p'tits calva. Господин, открывший собрание, и оба компаньона доктора Карнеро заняли на эстраде места справа от трибуны и благоговейно внимали неторопливому течению речи оратора, их лица излучали тихий восторг. Старичок с красным платочком, сидевший возле Альваро, весь расплылся в блаженной улыбке. Полковник Карраско, опершись на набалдашник трости, казалось, окаменел от внимания. Его соседи одобрительно кивали головами, время от времени обмениваясь умиленными взглядами, выдававшими полнейшее единомыслие. Альваро остро ощутил свою непричастность к этому братскому сообществу и, ища спасения, устремил взгляд на экс-министра торгового флота: черты бывшего министра изображали самое неподдельное восхищение; со всей возможной почтительностью смотрели на оратора арагонские анархисты; парень в вельветовой куртке застыл, осклабившись, чуть ли не в экстазе. Молитвенная тишина царила в зале, как в церкви в минуты причастия, и чуть хрипловатый голос доктора Карнеро заполнял помещение, обретая то вибрирующую мелодичность, то металлическую резкость, то суровость, то драматические или насмешливые интонации.

— «Вашему интеллекту недостает тонкости»,— заявил как-то Луису Бонафу некий читатель, изъяснявшийся весьма жеманно и походивший всей своей повадкой на выученика иезуитской коллегии. На что титан из Пуэрто-Рико (я имею в виду не только остров Антильского архипелага, но также популярное кафе на площади Пуэрта-дель-Соль) возразил: «С меня довольно и того, что интеллект мой достаточно мощен и с одинаковой силой проникает в глубь предмета и охватывает его вширь, а прочее меня волнует не больше прошлогоднего снега». В высшей степени справедливая точка зрения: прочее додумываешь сам, оно — как бы мелочь на чаевые, пустяковое дополнение к сумме основных расходов. Хулио Ферри говорил, что талантливость по существу зла. Но инерция и апатия не суть проявления доброты, нет, это проявления уклончивости и нежелания что-либо делать; иными словами, они равнозначны отречению человека от своей сущности, от самого себя, от солидарности с другими людьми, равнозначны тореадорской игре с принципами морали, неуважению к окружающему тебя миру. Политик и публицист должен обладать сердцем, пламенным, как огнедышащий вулкан, и щедрым,

как девственный тропический лес. Его мысли и чувства должны быть слиты воедино, спаяны намертво. Он должен действовать, ни на минуту не забывая, что политика — это сражение, вечный бой. Завитушки изысканного красноречия, манерные украшения и финтифлюшки, быть может, и уместны где-нибудь в будуаре, в дамской парикмахерской или в гостиной, где собираются разряженные светские куклы, но им нечего делать на поле сражения и на ринге, там, где решаются вопросы, от которых иной раз зависят исторические судьбы целого века или народа, а ныне — и самое существование расселившихся по лицу земли потомков обитателей Ноева ковчега...

Публика упоенно ловила каждое слово, глядя на оратора почти с набожным благоговением, и Альваро снова окинул взглядом господ, сидевших на сцене — полковника Карраско, старичка с красным платочком, экс-министра торгового флота, арагонских анархистов, юношу в вельветовой куртке — и, не выдержав, закрыл глаза и отдался гипнотическому журчанию речи доктора Карнеро. Он был очень рад, что ему представился этот неожиданный случай проникнуть в совершенно непонятный для него и тем не менее реально существующий мир. После неудачной попытки попасть в фильмотеку и бесполезного стояния в очереди, после часов, зря потраченных на лекцию по кибернетике, на студенческий митинг ЮНЕФ, на посещение экстравагантного литературного салона это уже было что-то. В желудке у него бродили, вызывая изжогу, выпитые p'tits calva, они томили усталостью его глаза и голову, но он пытался настроиться на ту же волну, что и все эти исполненные восхищения, почтительности и внимания мужчины и женщины, одобрительно качавшие головой и улыбавшиеся так, словно у них была какая-то общая, бесконечно дорогая им всем тайна: хорошо поставленный, богатый оттенками голос оратора обволакивал, баюкал их:

— Нет, это не тот прямой и верный путь, о котором говорил Кларет Брамин, полагающий, будто сила умозрения способна сделать его спасителем миллионов людей, если он заставит их заняться созерцанием собственного пупа, избрал ошибочный метод. Не молитвы, нет, энергия нервных клеток — вот что движет Историей. Четверть века назад полдюжины отважных энтузиастов попытались повторить в Испании чудо пророка Моисея. Подобно многим другим, они полагали, что держат в руке волшебный жезл и стоит только ударить им по бесплодной скале, как из камня брызнет живая вода. Но они, эти испанцы, были не столько пророками и чародеями, сколько персонажами Менье. Они, видите ли, полагали, что слова суть семена, что человеческая речь имеет какое-то значение, а писать — это то же, что действовать. Начертав на своих скрижалях эти заповеди, наши реформаторы предприняли многотрудную попытку направить историческое развитие Испании в новое русло. А между тем действительность, окружавшая их, была далеко не обнадеживающей: вокруг простирались вековые тяжелые льды, над ними висела туча окаменелого мрака; воздух, которым они дышали, предвещал смерть от отека легких. Крестьяне в былые времена, устав от извечной безнадежной борьбы на своем неблагодарном клочке земли, в отчаянии бросали мотыгу оземь и падали рядом с ней на борозду...

И чудо наконец свершилось, помогли закрытые глаза, взгляд, обращенный внутрь себя; к невыразимой своей радости, Альваро почувствовал, что и его укачал, заворожил, насквозь пропитал, забрал в плен, окутал, как пеленою, убеждающий голос доктора Карнеро. Его вдруг переполнило горячее, опьяняющее сознание принадлежности к человеческому коллективу, спаянному едиными интересами, которые еще неведомы ему, но которым он теперь был привержен всем сердцем. И только об одном он глубоко сожалел: здесь не было юной голландки, а между тем ее умиротворяющее спокойствие и растительно-ясная чистота могли бы так

чудесно увенчать для него это празднество человеческой солидарности, дружбы и мира.

— Нам не нужна вторая реставрация,— продолжал оратор,— нам не нужна монархия, которая вновь станет кормить нас сладенькими обещаниями. Вы хотите навязать нам второе Сагунто, а мы требуем предоставить слово испанскому избирателю, то есть всему взрослому населению страны, включая женщин. Пусть испанский избиратель сам выразит свое свободное, недвусмысленное, зрело обдуманное мнение. Любое иное решение вопроса попросту неприемлемо. После всего, что вынесли рядовые испанцы, постоянно унижаемые в своем гражданском и человеческом достоинстве, это было бы издевкой, которой они не снесли бы. Нет, уж лучше тупик, в котором Испания пребывает ныне. Теперь зло, по крайней мере, очевидно, оно пробуждает недовольство внутри страны и стремление оказать помощь недовольным извне, а это приближает час выздоровления. Реставрация монархии по существу не изменила бы политической атмосферы в стране, это была бы мошенническая уловка, которая парализовала бы наши силы, внеся разброд в наши ряды. Она нанесла бы последний удар по нашим надеждам на нормализацию положения и установление подлинной демократии у нас на родине. И без того мы, республиканцы, идем на жертву, когда, стремясь к сохранению гражданского мира, в своем безграничном уважении к демократическим и либеральным установлениям, склоняемся пред волею народа, отступаемся от принадлежащей нам по праву главенствующей роли и соглашаемся предстать перед учредительным трибуналом Нации на равных условиях с нашим противником, режимом, царящим ныне в Испании. Но мы уверены: верховная власть Нации полностью подтвердит наше право...

Теперь уже можно было не пробегать взглядом по рядам слушателей, можно было не утруждать себя: он и с закрытыми глазами видел перед собой исполненные благоговейного пыла лица трех старичков на эстраде, и старика с красным платочком, и экс-министра торгового флота.

Зачарованный, подобно всем остальным, текучей кантиленой, струившейся из уст доктора Карнеро, Альваро чувствовал себя неофитом, приобщаемым к некоему ритуальному таинству, или зрителем интереснейшего спектакля, разыгрываемого, увы, на незнакомом языке. Во всяком случае он был необычайно доволен, что день закончился для него этим незабываемым актом человеческого братства, его даже перестала мучить противная отрыжка от p'tits calva, и несколько смягчилась грусть, вызванная отсутствием прелестной голландки, которую он жаждал заключить в страстные объятия. А неутомимый доктор Карнеро продолжал торжественно вещать, оттеняя каждую мысль выразительной жестикуляцией:

— Все усилия теперь должны быть направлены на немедленное восстановление нашей дорогой, священной для всех нас Республики. Если же по причинам, от нас не зависящим, мы не сумеем этого добиться, пусть сама страна скажет свое веское и спокойное слово — в противном случае ни о каком восстановлении чего бы то ни было не может идти и речь. С другой стороны, поскольку мы не можем бесконечно стоять перед трагической альтернативой отрицания режима и пренебрежения интересами народа, необходимо как можно скорее найти выход из тупика. Где этот выход, спросите вы меня... При наличии политической ситуации, когда ни монархические, ни республиканские элементы не обладают достаточным перевесом, чтобы утвердить себя, а будущий политический строй еще не вырисовывается со всей определенностью, власть поневоле приобретает неустойчивый, временный, переходный характер; ее задача сводится к обеспечению наиболее важных, наиболее существенных демо-

кратических свобод до той минуты, когда Нация миролюбиво, сознательно и свободно изберет ту форму правления, какую сочтет нужной, и поставит у власти людей, которые смогут лучше всего выразить ее интересы и подведут прочный фундамент под ее новые политические институты, осуществляя свою деятельность в условиях гласности и в полном соответствии с волей народа...

Альваро витал уже где-то в совершенных эмпиреях, среди серафимов и херувимов, прерогатив трона, высших принципов, полномочий, разделения власти, равных прав представительства, глаза его были сладко закрыты, во рту отдавало перегаром от p'tits calva, и он не обратил внимания на стук открывшейся двери, поскольку в зал все время входили опоздавшие. Но на этот раз вслед за хлопаньем двери раздался громкий взбудораженный топот ног, и Альваро, удивленный и возмущенный не меньше, чем остальные, обернулся ко входу. Какие-то личности, опрокидывая стулья и разбрасывая пачки листовок, рвались к трибуне, где доктор Карнеро продолжал говорить, хотя никто уже его не слушал. В общем гвалте и суматохе, среди визга женщин, площадной брани мужчин, треска оплеух и хряста зуботычин, гремели выкрики вторженцев:

— Долой раскольников! Мумии — в музей!

На головы сидевших сыпались листовки.

— Старье на свалку!

— Хулиганство!

— Раскольники!

— Вон отсюда, негодяи!

— Всех вас — в музей!

Шум набирал силу, и Альваро, очутившийся в самой гуще сражения, вдруг увидел величественную фигуру полковника Карраско: с прытью офицерика, только что выпущенного из Академии, полковник браво фехтовал своей заслуженной тростью, наседая на отступающего противника. Публика плотной стеной загородила проход. Попытка наглецов прорваться к трибуне потерпела провал, они отступали к выходу. Старичок с красным платочком вцепился одному из вторженцев в загривок и остервенело царапал его своими сухонькими пергаментными ручонками. В дверях потасовка вспыхнула с новой силой, замелькали кулаки, послышались ругательства, и на головы присутствующих опять посыпался дождь листовок — еще гуще прежнего. В последний миг кто-то из «негодяев» метнул в сторону эстрады тухлое яйцо. Описав идеальную параболу, снаряд с кощунственной точностью шлепнулся на ворох бумажек, разложенных оратором на кафедре, торжественной и строгой, как литургия.

Голова доктора Карнеро упала на грудь — он поник, сраженный непоправимостью постигшей его бесшумной катастрофы. Смутьяны были выдворены, но публика не успокаивалась, люди кричали и спорили, не обращая внимания на зычноголосого господина, который патетически жестикулировал, призывая восстановить тишину.

— Товарищи... Дух согласия, объединивший нас в этот великий день...

— Конституция тридцать первого года мертва! — орал, стоя на стуле, экс-министр торгового флота.— И если мы хотим возродиться из пепла прошлого...

— Испанский народ скажет свое слово...

— Наши ошибки обязывают нас взглянуть...

— Только национальное единство поможет нам свергнуть...

Минутами рев в зале достигал оглушительной силы. Ораторы патетически потрясали воздетыми руками и, срывая голоса, перебрасывались репликами. С импровизированных трибун в разных концах зала

провозглашались самые несхожие и противоречивые политические программы. Зычноголосый сделал последнюю, отчаянную попытку восстановить порядок, он яростно захлопал в ладоши и, воспользовавшись минутным затишьем, драматически воскликнул:

— Будем откровенны... Испанская эмиграция не выдвинула ни одного подлинно крупного деятеля, который смог бы объединить вокруг себя разобщенные, дезориентированные силы...

— Не выдвинула ни одного крупного деятеля?!

Вопрос прозвучал как гром среди ясного неба. Альваро увидел человека лет шестидесяти, стоявшего, подобно другим, на стуле. По стремительности и свободе жеста нетрудно было угадать в нем человека, привыкшего к публичным выступлениям.

— А про меня вы забыли?!

Все смолкли, повинуясь властной интонации, с какой это было сказано. Сквозь муть, внезапно застлавшую глаза, Альваро увидел его сжатый кулак и вздувшиеся на лбу синие вены.

— На выборах в кортесы в тридцать третьем году я баллотировался по избирательному округу Мансанарес и получил на шесть тысяч пятьсот голосов больше, чем кандидат реакционного блока, оправшегося...

К горлу Альваро вдруг подкатила тошнота, он отрыгнул сильней, чем прежде, почувствовал во рту омерзительный вкус p'tits calva и выскочил в вестибюль, но до уборной добежать не успел — его вырвало. Припав лбом к тумбе, украшенной бюстом с надписью «Жорж Леклерк де Бюффон, Монбар, 1707 — Париж, 1788», он обильно и долго извергал содержимое своего желудка, и какая-то старушка в черном, судя по виду, деятельница Армии спасения, сострадательно смотрела на его муки, — она забрела сюда случайно и спешила покинуть зал в недоумении и страхе перед столпотворением, которое там происходило. Подойдя к Альваро и похлопывая его ласково по плечу, она повторяла с акцентом, выдававшим в ней русскую:

— Alors, jeune homme, ça ne va pas ?[1]

Они назначили встречу в кафе на углу, метрах в двадцати от дома, где жил адвокат. Когда подошли Артигас и Пако, Антонио прогуливался по противоположному тротуару, нетерпеливо покуривая сигарету. Завидев их, он помахал рукой и пересек улицу. Темный макинтош и портфель придавали ему вид конспиратора с карикатуры.

— Будь я полицейским, я бы тебя немедленно задержал: уж больно вид у тебя подозрительный,— сказал Пако.— У тебя что, одеть больше нечего?

— А так чем плохо?

— Волосы бы хоть остриг... Попомните мое слово, погорим мы из-за твоего дурацкого вида, все погорим.

— Зря ты это, — возразил Антонио. — Абсолютно безобидная внешность. Только сейчас сидел в автобусе с парочкой *серых*. Даже развлекался: под самым носом у них доставал из портфеля лист с подписями — ухом не повели.

— Прыгай, прыгай — допрыгаешься. И с шевелюрой распростишься, будь спокоен. Они тебя, когда сцапают, первым делом остригут наголо.

— Есть вести от Энрике? — спросил Артигас.

— Нет, ничего.

— Моя сестра была у его матери. Знаешь, что ей старуха сказала? — Артигас смотрел на него в упор.— Что во всем виноват ты.

— Я?

— Ты, сударь, ты. Такую закатила речугу, битых три часа разоря-

[1] Что, молодой человек, пошло не впрок? *(Франц).*

лась. Дурные товарищи! Безбожные книжки!.. Сестра от нее еле ноги унесла.

Они облокотились на стойку бара, и Пако заказал три кофе.

— Пишущую машинку выкупил?

— Выкупил.

— Надо поскорей размножить. Если еще кто-нибудь подпишет, впечатаем потом.

— В час у меня встреча с Гаспарини.

— Я перешлю текст Альваро, чтобы передал во французские газеты.

— Альварито...— произнес Антонио.— Хотел бы я знать, где его черти носят... Перемахнул через границу — и все, как в воду канул.

— Слишком многого ты от него хочешь. Я думаю, он про отца родного забыл, не то что про нас с тобой. Один с нашего факультета заходил к нему в Париже, говорит: пьет без просыпу.

— Ему теперь все до лампочки, мы и наши дела,— заметил Пако.— Испохабился в своем Париже.

— Бросьте, ребята, чего вы на него взъелись.... Сами же не видели?

— Не верится? — спросил Артигас.— Люди зря болтать не станут. Ты у Пако спроси, он подтвердит, он тоже слышал, когда тот рассказывал.

— Ладно вам... Зачем мы сюда пришли? Встретиться с кем надо или Альваро косточки перемывать?

— И то верно,— согласился Артигас.— Закругляйтесь, ребята, опоздаем.

Пако заплатил за кофе и, выйдя на улицу, показал пальцем на деревянную скамью.

— Я вас тут подожду.

— Ты что?

— А то, что втроем — это уже целая делегация.

— Ну, конечно, ты, как всегда,— в кусты,— сказал Артигас.

— Оставайся ты, если хочешь. С Антонио пойду я.

— Нет. Пойдем мы с Артигасом. А ты подожди здесь.

Пако следил за ними, пока они не скрылись в парадном. По бульвару мирно шли люди. На перекрестке посреди пешеходной дорожки стоял на тумбе полицейский-регулировщик и с театральной аффектацией величественными мановениями рук дирижировал отнюдь не бойким в этой части города уличным движением. Толкая перед собой коляску с младенцем, проплыла кормилица. Две дамы в мантильях и с молитвенниками в руках шушукались о чем-то, возвращаясь из церкви. Прошел, опираясь на трость с серебряным набалдашником, тщательно одетый пожилой господин. Судя по всему, люди были довольны жизнью, от них веяло спокойной уверенностью, словно некая каменная стена ограждала их от любых неприятных неожиданностей и тот мир, в котором они обитали, был изначален, вечен и не будет ему конца, ибо он неустанно повторяет себя и тем самым увековечивает. Пако в нерешительности постоял перед скамейкой, потом опустился на нее, вытащил пачку «Румбо» и закурил. Щупленький человечек в потертом габардиновом плаще, сидевший рядом, читал себе под нос газетные заголовки. «В Сан-Себастьян-делос-Рейес Маноло Куэвас и Карлос Риберо стяжали право на уши». Пако представил себе, какую рожу скорчит Тускетс, когда узнает о цели их визита, на лице его появится сокрушенное выражение, а глаза забегают от страха: «Поверьте мне, в условиях Испании тщетно и пытаться...» По тротуару напротив типичная «средняя» горожанка вела за руку светловолосого мальчика, нарядного, как картинка из модного журнала. Пропуская два вынырнувших слева такси, регулировщик остановил машины, спускавшиеся к площади Каталонии. Человечек в потертом плаще не мог оторваться от своей газеты. «В Сан-Себастьян-де-лас-Куэвас Маноло

Рейес и Карлос Риберо стяжали право на уши». Прошла влюбленная парочка, мальчишка протащил ящик с бутылками, еще одна женщина в костюме кормилицы проплыла, толкая перед собой колясочку. «Средняя» горожанка исчезла вместе с мальчиком в дверях галантерейной лавки. Полицейский продолжал регулировать движение жестами заводной куклы. «В Уши-де-лас-Куэвас Маноло Риберо и Карлос Рейес стяжали право на Сан-Себастьяна». Откинувшись в кресле и потягивая вино из кубка в стиле Карла I, адвокат скорбел о горестной участи своих соотечественников: «Все это бесполезно, друзья мои... Бедная Испания!» Двое вооруженных полицейских, стоявших на посту у дверей банка — «оборотный капитал 2 000 000 000 песет»,— подошел к газетному киоску поболтать с продавщицей. «В Маноло-де-лос-Карлос Сан-Себастьян Уши и Рейес Куэвас стяжали право на Риберо». Сигарета показалась ему противной, он бросил ее и закурил другую. Мимо все шли и шли барселонцы, видимо, очень довольные прогулкой и счастливые сознанием, что сегодняшний день точь-в-точь такой же, как и все остальные, что он не чреват опасностью перемен или нежелательных потрясений. А насчет застенков жандармерии, так мало ли какие дурацкие недоразумения случаются на белом свете; даже при самой отличной настройке возможно появление досадных помех и шумов, способных на какой-то миг нарушить идеальное звучание самого лучшего радиоприемника. «В Куэвас-де-Сан-Маноло Себастьян Карлос и Уши Риберо стяжали право на Рейеса». Обе кормилицы, стоя у своих колясочек, вели оживленную беседу. «Средняя» испанка вышла из магазина, держа за руку своего нарядного мальчика, и остановилась у газетного киоска. А в доме на одном из этажей бывший глава Каталонской автономной республики извергал потоки слов: «Каждый народ имеет то правительство, которого он заслуживает...» Нынешний порядок вещей никогда уже не изменится, твердая рука предусмотрительнейшего из кормчих ведет корабль надежным путем, так что он никогда, никогда не наскочит на непредвиденный риф. Кормилицы, дети, влюбленные, «средние» горожанки могут спать спокойно, могут даже на ходу спать, видеть на ходу сны, жить во сне, в спячке провести жизнь,— счастливые винтики безупречно работающей машины, бессмертные в силу бессмертия механизма, следящего за стереотипностью и точной симметрией каждого движения. «В Сан-Риберо-де-лос-Себастьян Уши Рейес и Риберо Маноло стяжали право на Карлоса». Человечек перехватил его косой взгляд и желчно сложил газету.

Почти в ту же секунду из парадного вышли Антонио и Артигас. Они о чем-то возбужденно спорили, и, заметив издали Пако, Антонио остановился и стукнул кулаком по ладони.

— Ну и сволочь, ох и сволочь!

— Что такое? — спросил Пако.— Подписал?

— Потаскухин сын! — Антонио вскинул дымившиеся яростью глаза на балконы адвокатской квартиры и зло сплюнул: — Не захотел, паразит!

Кафе мадам Берже представляло собой четырехугольный зал площадью около восьмидесяти шести квадратных метров. Тут было девять столов и три десятка стульев — правда, количество стульев доходило иногда до тридцати пяти. Вдоль стен стояли две длинные скамейки. Освещалось кафе лампами дневного света, на стенах висели зеркала, керамические кувшинчики для цветов, прейскуранты, реклама всевозможных вин и непременный текст закона «О мерах против лиц, появляющихся в общественных местах в нетрезвом виде».

Хотя контингент посетителей с течением времени претерпевал некоторые изменения, все же человек, вернувшийся в Париж после несколь-

ких лет отсутствия, мог быть уверен, что, завернув к мадам Берже, встретит в ее заведении немало знакомых лиц. Представители различных археологических пластов по-прежнему неутомимо выступали с нескончаемыми монологами об Испании и испанском народе, не слушая чужих монологов,— со стороны это походило на радиомешанину в эфире, когда на одной волне попеременно звучат обрывки передач разных станций. Репертуар забавных случаев и трагических историй был все тот же, и посетителя, давно не заходившего к мадам Берже, охватывало странное ощущение, что время остановилось.

Но даже и в те вечера, когда Альваро не бывал в кафе, а это случалось, когда им овладевал очередной приступ безволия и он валялся на диване, дожидаясь возвращения Долорес и тупо глядя на старые, подпертые контрфорсами дома улицы Вьей-дю-Тампль,— даже за глаза Альваро мог свободно и точно воссоздать разговоры завсегдатаев, как если бы он слышал их собственными ушами.

— Декларация Бестейро застала меня на фронте под Альбасете, и, когда марокканцы окружили деревню, я спрятался у приятеля — его сестра была фалангистка...

— ...У меня тоже был такой случай накануне восстания в Фигольсе, при втором правительстве Асаньи...

— ...Подамся, думаю, на Альбасете, и вдруг по радио передают, что Мадрид пал и фашисты победили...

— ...Барселонский профсоюз послал меня уполномоченным, вести переговоры с представителями хозяев...

— ...А дом у них как раз рядом со столовой общественного призрения, я и подумал: а вдруг подведу приятеля, нехорошо будет. Не предупреждая, вылез ночью через окошко — и ходу...

— ...Добрался до станции, и надо же — сунулся на платформу, а там — отряд гражданской гвардии. Лейтенант у них был по прозвищу Паленое Рыло...

— ...Шутка ли, всю провинцию пехом протопали, я да еще двое из нашей дивизии, оба коммунисты...

— ...а гад такой, хуже прилипчивой заразы, и через весь лоб шрам вот этакий; повстанцы Абд-эль-Керима удружили. Бог шельму метит...

— ...идем через Мадригерас, селение есть такое, и вдруг сзади: «Стой, ни с места!»...

— ...мы его после, в начале войны, расстреляли...

— ...мы как припустим бежать, куда твоя гончая — со всех ног. Думали, фалангисты...

— ...Не успел на платформу соскочить — жандармы! Тычут карабинами в морду...

— ...и вдруг слышу — голос знакомый. Гляжу, силы небесные, комиссар нашей бригады — переодетый. Не знаю, где уж он себе раздобыл форму Иностранного легиона...

— ...Со мной, братец, в Брунете еще и не такое было...

...Дни, недели, месяцы, годы уходили на воспоминания, споры, разглагольствования, брань по адресу французов, перетряхивание изрядно запылившегося прошлого, пророчества о неминуемом, близком крушении режима; все говорили, никто никого не слушал. И теперь, когда Альваро вернулся на родину, все, слышанное в кафе мадам Берже, вновь проходило перед ним так же отчетливо и живо, как в далекие вечера, когда он лежал на диване у окна мансарды и смотрел на тихо уходящую в сумерки перспективу серых крыш и труб, совершенно такую же, как у Карапаччо. И вновь он с горечью говорил себе: эгоцентризм, зависть, злая взбалмошность у нас, испанцев,— в крови, мы впитываем это с молоком матери; если в Испании царит нетерпимость, причиной тому прежде всего то, что в глубине души каждый испанец предан мани-

хейской ереси. И, отрезанный от мира океаном ночи, лишний и ненужный, неизвестно зачем живущий на свете, растение без корней, он со смешанным чувством горестного изумления и злорадного отвращения приходил к выводу, что в Испании нечем дышать оттого, что испанцы сами отравили ее своим дыханием.

«Зарвались на этот раз мнение было единодушным они зарвались невероятно просто невероятно тем более что речь идет не о каких-то никому не известных личностях а о молодых людях из лучших семейств сыновьях мучеников и жертв красного террора людей столько выстрадавших в годы войны мало того все эти юноши получили образование в дорогих коллежах и были воспитаны в истинно католическом духе кое-кто даже принадлежал к числу благоговейных чтителей Непорочного сердца девы Марии и по обету ревностно исполнял все благочестивые упражнения установленные церковью для святых Первых пятниц каждого месяца а несколько лет спустя окончив коллежи они в безукоризненно сшитых смокингах появлялись в ложах театра «Лисео» были деятельными участниками юношеской музыкальной ассоциации вращались в высшем барселонском свете встречались со сливками нашего общества их можно было видеть и на манеже конно-спортивного клуба и в плавательных бассейнах Королевского клуба любителей поло повсюду где бывали наши дочери очаровательные скромные девушки из состоятельных семейств проводившие время в кругу прекрасно воспитанных молодых людей в будущем известных врачей солидных адвокатов дипломатов высшего ранга, а также достойных наследников отцовских шелкоткацких и тюлево-кружевных фабрик предприятий высокодоходных и процветающих несмотря на все непостоянство конъюнктуры и волнения вызванные проведением в жизнь государственного плана стабилизации и несмотря на печальные последствия сокращения банковских кредитов сокращения явившегося причиной стольких трудностей стольких слез и огорчений и вот среди этих высокодостойных представителей нашего молодого поколения непременных участников любительских спектаклей и завсегдатаев киноклубов быть может вздыхающих втайне о благонравных целомудренных и чистых выпускницах католических школ «Асунсьон» или «Хесуса и Марии» затесалось несколько растленных потерявших совесть юнцов и подумать только что наши дочери эти невинные создания могли попасть под влияние слизняков которым дай только волю и они уничтожат весь цветущий сад нашей родины ибо для них нет ничего священного мы с вами согрели на своей груди ядовитых змей воспитали воронов готовых выклевать нам глаза расточителей и мотов которым ничего не стоит пустить по ветру зорко охраняемый капитал нашего достоинства капитал нашего упорства капитал нашей чести капитал нашего доброго имени капитал нашего капитала иными словами пустить по ветру все нравственное богатство и все имущество самых родовитых самых безупречных семейств нашего города создавших себе состояние на Кубе на Филиппинах во время Всемирных выставок 1888 и 1929 годов дрожавших за свою жизнь и добро перед «пистолетчиками» ИФА [1] и этими волками в овечьей шкуре окопавшимися в каталонском Генералидаде [2] и в правительстве Республики тридцать первого года будь она трижды проклята автономисты видите ли да может мы наши национальные обычаи любим покрепче их и уж во всяком случае отплясывать по воскресеньям сардану в наших каталонских шапочках с кистью мы умеем ничуть не хуже чем они но разница в том что когда

[1] Наемные убийцы; в данном случае имеются в виду члены Иберийской федерации анархистов.

[2] Генералидад — существовавшие в годы Республики автономные органы власти Каталонии.

мы отправлялись в вожделенный Париж во времена французского Народного фронта мы возносили благодарственную хвалу богоматери Монсерратской оградившей нас от подобных политических экспериментов эти молитвы были первым шагом на пути в Главную ставку в Бургосе на пути к победному возвращению вместе с марокканскими маврами и союзными христианами к триумфальному маршу с вытянутой вперед по тогдашнему обычаю рукой мы страстно желали победы немцам обожали музыку Вагнера снарядили героическую «Голубую дивизию» на благородный подвиг окончательного искоренения коммунизма в многострадальной России подписывались на журнал «Сигнал» и регулярно ходили смотреть кинохронику фирмы «Уфа» а потом после сорок пятого стали подписываться на бюллетень американского посольства и на нарядный красочный «Лайф» издаваемый на испанском языке мы пережили глубочайшее разочарование ибо ошибки Адольфа Гитлера при всех его благих намерениях оказались роковыми мы были поражены ужасом узнав о зверском убийстве Муссолини и благодарили бога за прозорливость непобедимого вождя чья высокая государственная мудрость обеспечила мир нашей стране и стала надежным залогом нерушимости ее социального порядка ибо доколе власть пребудет в руках каудильо никто не посмеет посягнуть на наши священные социальные установления он надежно оградил нас от всех непредвиденных случайностей судьбы это мы били стекла в Британском институте в день когда послы иностранных держав покидали нашу страну мы горды нашим непримиримым иберийским индивидуализмом ибо он ярчайшее выражение нашего духа и наше отличие от других испорченных и вырождающихся наций мы с энтузиазмом взираем на грандиозные манифестации в поддержку нашего режима и всем сердцем приветствуем марши протеста против происков наших врагов мы радовались заключению испано-американского соглашения и конкордату с Ангельским Пастырем и оплотом догмата о деве Марии нашим святым отцом преисполненным любви к невинным агнцам и детям папою Пием XII который будет в грядущем сопричислен к лику святых какая великолепная увертюра к нашему триумфальному вступлению в НАТО оградив себя протекционистскими тарифами ибо без них в Европе Общего рынка не проживешь мы наконец стали европейцами у нас даже официально разрешено появляться женщинам на пляжах в «бикини» на наших экранах демонстрируются фривольные французские фильмы а в кабаре устраиваются полуподпольные вечера стриптиза и только тут мы наконец спохватились и содрогнулись от ужаса перед лицом всепроникающего зла ведь оно могло но господь не допустил этого могло увлечь в пучину любого из наших детей опасные книги неореалистические фильмы встречи с ловко замаскированными вражескими агентами действительно от заразы нет спасения именно на нее и ссылаются отцы совращенных молодых людей их чувства их стыд понятны но попытка обелить негодяев не имеет оправдания никакие родительские слезы и уверения тут не помогут сколько бы эти отцы-ротозеи ни твердили будто их бедные дети ни в чем не повинны будто их вовлекли обманом а сами они якобы не сознавали что делают и на что посягают и не подозревали что нити преступной организации ведут за границу мы знаем чей приказ выполняли эти слизняки они руководствовались подстрекательскими лозунгами изрыгаемыми в эфир «Пиренаикой» [1] им посылало инструкции эмигрантское отребье шайка обанкротившихся политиканов и уголовных преступников пытающихся вести извне подрывную деятельность против наших социальных и государственных устоев их поддерживала гнусная горстка мошенников предателей озлобленных нигилистов вну-

[1] «Пиренаикой» обычно называют в Испании Пиренейскую радиостанцию «Независимая Испания».

три страны эти потерявшие совесть юнцы ни перед чем не останавливались они покрыли позором седины своих отцов в молодости бойцов соматен[1] активных сторонников переворота Примо де Ривера жертв бесчеловечных гонений в годы Республики героев примкнувших в Бургосе Сан-Себастьяне Саламанке к нашему великому освободительному движению германофилов до самой смерти Адольфа Гитлера и страстных американофилов после смерти Рузвельта членов всевозможных почтенных общественных организаций жертвователей никогда не скупившихся на дела благочестия не остававшихся глухими к нуждам церкви и католических миссионерских орденов мы пытались отвернуться от фактов поверить невероятному ибо нас переполняло сострадание к несчастным отцам и к нам самим ведь беда будь на то воля божия могла посетить и наш дом мы ставили себя на место этих людей так горько униженных своими отпрысками втоптавшими в грязь трижды священное родительское имя и с чувством глубочайшего душевного потрясения думали когда же наконец будет положен предел распространению страшного вируса и подлым вражеским проискам да ибо перед нами именно враг улики собранные полицией да поможет ей во всех начинаниях ее святой патрон архангел Гавриил не оставляют места для сомнений какие могут быть сомнения полиция наша организация образцовая вдохновляемая в своей деятельности свыше споспешествуемая во всех своих начинаниях покровительством небесного посланца господа нашего и если наш народ надежно огражден от любой опасности и все наше общество может вкушать плоды спокойствия и порядка то этим мы обязаны неусыпной зоркости самоотверженности беззаветной бдительности нашей полиции хотя разумеется полиция не может нам выдать гарантии на все случаи жизни и по правде сказать скандальные происшествия запятнали доброе имя далеко не одной порядочной и благосостоятельной семьи то мы вдруг узнаем что жена с лучшим другом своего лучшего в городе дома наставляет рога мужу то выясняется что наследник богатейшего состояния безнадежный гомосексуалист то по неопытности оступится какая-нибудь юная наследница и бедняжке спешно приходится предпринимать путешествие в Швейцарию но в конце концов все это не более чем мелкие вполне извинительные грешки и мы поступаем благоразумно когда предаем их забвению ибо человеческая природа слаба и легко поддается соблазнам плоти но на сей раз речь идет о проступке столь возмутительном что его не загладишь никаким раскаянием никаким обещанием исправиться в деле замешаны молодые люди из лучших семейств пользующихся всеми благами социального мира и единения царящими в нашей стране мира и единения которых не ведали ни наши отцы ни деды и мир этот столь полон столь всеобъемлющ что молодому поколению он представляется чем-то само собой разумеющимся а между тем в действительности он отнюдь не есть что-то само собой разумеющееся нет он подобно драгоценному цветку взлелеян неусыпными заботами человека который бодрствует день и ночь на своем посту и стоит на страже основ нашего общественного порядка мы же никак не желаем отрешиться от своего национального порока критиканства и зачастую испытываем недовольство нам видите ли мало того что есть нам подавай птичье молоко но при всем том следует признать что единственное чего мы никогда не теряем это надежды она живет в нас до последнего вздоха а когда к надежде присоединяются вера и любовь это уже немалая ценность ценность которая высоко котируется на бирже духа и общим знаменем нашей молодежи при всей ее требовательности было и останется одно-единственное имя обладающее поистине магической си-

[1] Соматен (от каталонского «som atente» — «мы начеку») — вооруженные отряды каталонской буржуазии, использовавшиеся в борьбе против рабочего класса.

лой воздействия на сердца имя гремящее подобно торжественной клятве на всем пространстве Испании на этой гигантской растянутой шкуре боевого быка имя гордо вознесенное к небу и непобедимый меч мудро указующий нам подобно негасимому семафору новые пути в обход черной бездны парламентаризма и свободы печати дабы мы тихо и мирно могли дожить до времени когда в своем любовно свитом коконе вырастет и достигнет зрелости юный отпрыск и наследник нашей двухсотлетней королевской династии которому предстоит разумеется это будет не скоро очень не скоро обеспечить преемственность власти и нерушимость социального мира в нашей стране мы знаем молодость и прекраснодушие суть синонимы мы знаем что энтузиазм даже дурно направленный отличительнейшая из черт тех семейств которые из рода в род подавали нации высокий пример инициативы как во внешней торговле так и в текстильной промышленности в банковском деле в организации страховых обществ но бывают случаи когда молодость прекрасное воспитание и богатство не извиняют а лишь усугубляют вину юнцы взявшие на себя роль уличных агитаторов шептунов и распространителей заведомо лживых слухов и порочащих нашу страну выдумок выродки которые могли оказаться нашими сыновьями а в будущем и мужьями наших целомудренных добродетельных дочерей но благодарение богу не являются и не станут ни тем ни другим несмотря на всю симпатию которую мы питаем к их глубокопорядочным родителям чью скорбь искренне разделяем эти потерявшие стыд отщепенцы должны получить по рукам да так чтобы другим наперед неповадно было надо положить конец оголтелым попыткам вновь открыть дорогу в нашу страну мутному потоку ожесточенных фанатиков которые мечтают отбросить нас назад к мрачным временам кровавого рабства да мы требуем жестоко наказать тех кто забыл об элементарной признательности и благодарности кто в своем безумии хочет вновь ввергнуть нас в пучину чуждой нашему народу демократии в омерзительное царство торжествующего плебея перечеркнув одним взмахом руки духовные ценности тысячелетней цивилизации которая на протяжении веков была славой и светочем Истории цивилизации простершей свое благотворное влияние на весь мир ибо это она открыла и заселила новые материки водрузила на них святое распятие воздвигла величественные соборы подарила диким странам книгу и плуг пшеничный колос и испанский язык навсегда поселила в каждом испанском сердце нетленное чувство национального достоинства и независимости а эти люди в своем бесплодном негативизме не только посягают на наш мир и покой они видите ли желают установить какой-то иной мир исходя при этом из своего предвзятого революционного взгляда на человека тогда как человек это всего лишь творение божие мы должны еще больше повысить нашу бдительность в борьбе с этим вирусом никакие предупредительные меры не могут считаться чересчур крутыми мы кто поистине родился вторично в тот великий день который ныне с дистанции лет предстает перед нами во всем своем величии подобно горной вершине поднявшейся на водоразделе исторических эпох мы знаем что все взращенное и расцветшее по нашу сторону водораздела уходит корнями в недра этого могучего горного массива питается неиссякающими чудесными источниками национального героизма да мы не боимся говорить о чудесных источниках о чуде ибо что иное как не чудо подняло нас из могил».

Завсегдатаев кафе мадам Берже иногда поджидали сюрпризы.

Вообще-то разговоры велись довольно однообразные. Переворошив в памяти прах гражданской войны, переходили к обсуждению нынешнего бедственного положения Испании и последних событий. Разогнана

студенческая демонстрация. Недовольство фалангистов — они даже петицию подали. Упали закупочные цены на испанские оливки. Заявление Личного совета принца дона Хуана Бурбонского. Итоги формулировались четко и категорически: «Франкистский режим разлагается на глазах». «Судорожные маневры диктатуры свидетельствуют, что она уже не способна противостоять растущему натиску объединенных сил трудящихся». «Испанская экономика — корабль без кормила». «Внутренние противоречия обостряются». Слова висели в продымленном воздухе, как магические заклятья, вся сила которых — в повторении. На откидной доске стойки дремал, свернувшись клубком, черный кот мадам Берже. За окном на улице Ансьен Комеди шла мимическая сцена между двумя бездомными: мужчина и женщина расположились на ночь над отдушиной метро и все время о чем-то спорили; видимо, они принесли эту ссору из каких-то очень далеких времен и все обвиняли друг друга в чем-то и что-то запальчиво друг другу доказывали; казалось, они сейчас плюнут и разойдутся в разные стороны, но разойтись они никак не могли и вдруг с неожиданной нежностью принимались мириться, чтобы через минуту начать все сначала. Однако в иные дни молодежь из самых верхних археологических напластований ни с того ни с сего вдруг покидала гладко укатанные тракты политических дискуссий и пускалась — никто бы не мог сказать, почему это происходило,— в воспоминания о своих любовных приключениях, доводя их таким образом — как бы мимоходом, разумеется,— до сведения прочих посетителей кафе.

В один из таких вечеров, когда, казалось, были преданы забвению все беды Испании и никто не хотел возвращаться к давно пережитой, навязшей в зубах горечи прошлого, компания молодежи пригласила Альваро поразвлечься.

Это случилось вскоре после приезда Энрике. Приглашение исходило от двух мадридцев из студенческого городка. Энрике познакомился с ними во дворе тюрьмы в Карабанчеле, недели за две до своего освобождения. Один из них, долговязый, предложил собраться в ателье своей приятельницы, художницы-норвежки: она нимфоманка, курит марихуану, и у нее вышла какая-то темная история с торговцем наркотиками,— словом, норвежка теперь редко бывает в ателье и разрешила своему другу пользоваться помещением когда ему угодно. Остается только позвонить девочкам, уверял он, и можно закатить шикарный пижамный бал, а уж там все пойдет как по маслу. В ателье есть радиола и куча пластинок, вина — залейся, хватит на целый полк.

Долговязый отправился за ключом, а остальные вместе с Альваро двинулись в бар «Ром с Мартиники». Настроение у всех сразу повысилось, они шли весело взвинченные, словно ватага школяров, впервые рискнувших отведать в известном заведении запретный плод. В их воображении теснились картины любовных утех. А над их головами простиралось тусклое, затянутое мутью парижское небо. С рынка на улице Бюси доносились выкрики торговцев, расхваливающих свой товар.

— Ты куда? — спросил Энрике.

— Куплю сигарет и позвоню Мишель. Она любит такие сборища.

— Ладно. Мы будем на террасе.

Альваро свернул на бульвар Сен-Жермен, дошел до «Old Navy» и из телефона-автомата набрал знакомый номер с улицы Бельвиль.

— Алло.

Голос Мишель прозвучал у самого его уха, печальный, мягкий, благоуханный, чуть сонный.

— C'est moi.

— Je suis fatiguée. Ça fait plus de quatre heures que je regarde la lampe au plafond sans fermer les yeux. C'est tellement crevant... Je ne sais pas si je tiendrai jusqu'au bout.

— Pourquoi la regardes-tu ?
— Je ne sais pas.
— Dis-moi. Qu'est-ce que tu fais cette après-midi ?
— Je te l'ai déjà dit. Je regarde la lampe.
— Non, sans blague. Tu as la soirée libre ?
— Pourquoi me le demandes-tu ?
— Je suis avec des amis. Je voulais t'emmener à l'atelier d'un copain pour boire et écouter des disques.
— J'ai chaud. Je me sens incapable de bouger.
— J'emprunterai un ventilateur pour toi.
— C'est vrai ?
— Je te jure.
— Merde. J'ai arrêté de regarder la lampe. C'est de ta faute, tu m'entends ?
— Je t'attends à la Rhûmerie Martiniquaise.
— Mais, qui sont tes amis ?
— Des copains que j'ai connu au café.
— Des Espagnols ?
— Oui.
— J'aime pas les Espagnols. Je n'aime pas les gens d'aucun pays sous-développé. Ils sont tous petits et horriblement sales.
— Mes amis sont très grands et très propres.
— Tu crois qu'il y aura des disques de Miles Davis ?
— Certainement.
— Et je pourrai me foutre à poil ?
— Tu pourras faire ce que tu veux.
— Bon. Alors je viens. [1]

Альваро вышел на бульвар Сен-Жермен. Начиналось время отпусков, и уличное движение заметно сократилось. Возле «Ла Перголы» бородатые студенты поставили старый автомобиль. Он был раскрашен в клеточку, как шахматная доска. Энрике, Солер, Баро и вся компания сидели за двумя угловыми столиками на террасе «Мартиники».

---

[1] — Это я.
— Ах, как я устала. Битых четыре часа пролежала, не отводя глаз от лампы под потолком. Вот пытка... Если так пойдет дальше, надолго меня не хватит.
— Так зачем же ты на нее смотришь?
— Не знаю.
— Послушай, что ты сегодня делаешь?
— Я же говорю. Гляжу на лампу.
— Нет, кроме шуток. Вечер у тебя не занят?
— А что?
— Да вот собрались мы тут с друзьями. Я хотел позвать тебя в ателье к одному приятелю. Вино будет, потанцуем, пластинки послушаем.
— Жарко. Меня так разморило, нет сил с места сдвинуться.
— Я достану для тебя вентилятор.
— Правда?
— Честное слово.
— Черт. Я даже на лампу перестала смотреть. Слышишь? Из-за тебя.
— Так я жду в баре «Ром с Мартиники».
— А кто эти твои приятели?
— Знакомые по кафе.
— Испанцы?
— Да.
— Не люблю испанцев. Вообще не люблю мужчин из слаборазвитых стран. Они все — недомерки и все — жуткие грязнули.
— Нет, мои приятели все — богатыри и все — образцовые чистюли.
— А ты не знаешь, пластинки Майлза Дэвиса будут?
— Что за вопрос!
— А если я захочу устроить стриптиз?
— Можешь делать все, что взбредет в голову.
— Ладно. Тогда я пойду *(франц.)*.

— Дозвонился?

— Она сейчас придет.

— Есть у меня одна девочка... Заводная,— сказал мадридец. Он похлопал себя по карманам, нашел бумажник, открыл его и вынул фотографию.— Ну как?

— Француженка?

— Немка. Темперамент, скажу я вам, нет слов...

— Так что ж-ты,— обратился к нему Баро.— Давай приглашай.

— Ее сейчас нет в Париже. Уехала вчера повидать родителей. Они у нее во Франкфурте.

— Елки-палки! Нам бы таких парочку — и порядок.

— У меня еще датчанка есть, на смену... Вот эта, в плаще, блондиночка... Сам снимал, в парке Монсо. Посмотрим, может, она дома.

Мадридец встал и направился к телефону. Карточка датчанки пошла по рукам. Когда все нагляделись, Солер вспомнил, что и у него есть бумажник. Там тоже кое-что нашлось.

— Мою посмотрите. Какова?.. Будьте спокойны, мух на потолке не считает.

— Это та, с которой ты познакомился в очереди в фильмотеку?

— Другая. Ту я давно бросил, месяца три уже... Эта мне больше нравится.

— Откуда она?

— Из Аргентины, а по происхождению англичанка. Родители послали ее в Париж учиться, будет художником-керамистом.

— Поди пригласи ее. Мы в ателье дадим ей парочку уроков бесплатно.

— Сегодня она прийти не сможет.

— Почему?

— Съела вчера что-то и, видно, отравилась. Теперь лежит... Пришлось утром звонить врачу.

— Глядите, ребята! — вырвалось у Солера.— Вот это да! Лакомый кусочек! — По тротуару, лениво покачивая бедрами, шла мулатка, девушка лет шестнадцати, с формами взрослой, вполне сложившейся женщины. На ней была красная юбка в обтяжку и блузка, обнажавшая плечи.

— Voulez-vous boire quelque chose, mademoiselle ?

— On vous offre le verre.

— Arretez-vous. Soyez gentille.[1]

— Дешевка ты задрипанная... Ишь, задом-то так и крутит!.. Эй, мадемуазель!

— Ты что?

— Попробую догнать...

— Если уговоришь — с тебя причитается.

— Попытка не пытка.

Солер ринулся вслед за девушкой. Она шла в сторону церкви Сен-Жермен-де-Прэ. У садика он с ней поравнялся. Со своего наблюдательного пункта на террасе Альваро видел, как Солер вьется возле нее, нашептывая таинственные комплименты,— галантный повеса былых времен, да и только! Но мулатка даже головы не повернула, только прибавила шагу.

Мадридец вернулся из телефонной будки.

— Нет дома,— объяснил он.— Хозяйка пансиона говорит, что она куда-то уехала.

---

[1] — Не согласитесь ли выпить с нами, мадемуазель?
— Выпейте стаканчик.
— Куда же вы? Постойте, красотка *(франц.)*.

— А в Клюни? Может, там отвалится?

— В Клюни — без толку, сидит, наверно, в кино со своей сестрицей.

Солер и мулатка затерялись в толпе. По тротуару прошла девушка в терракотовых брючках и блузке.

— Mademoiselle, s'il vous plait...

— Voulez-vous vous asseoir avec nous ?[1]

— А где же Луис? — спросил мадридец.

— Не знаю. Пока что-то не видно.

Блондинка удалялась в сторону «Одеона». Гибралтарец, говоривший с андалузским акцентом, рассказывал про какую-то замужнюю француженку. Она служит в бюро путешествий. У него с ней налаженная прочная связь.

Мимо террасы прошла шатенка, красавица, под руку с негром. У пешеходной дорожки затормозила машина с открытым верхом, битком набитая белокурыми девушками. Мадридец только присвистнул.

— Подходящий товарец. Нам бы таких пяток — в самый раз. Не понимаю, чего этот Луис нас тут манежит... Куда он пошел за ключом, не помнишь?

— Слушай, тебя, кажется, зовут,— перебил его Баро.

— Меня?

— Да, тебя. Гарсон зовет.

— Мосье Алонсо?

— Смотри-ка, правда... Кто бы это мог быть?

— Датчанка, наверно.

— C'est vous, monsieur Alonso ?

— Oui.

— On vous appelle au téléphone.[2]

Мадридец исчез в дверях бара. Мгновение спустя из толпы прохожих вынырнул Солер. На его губах играла победоносная улыбка. Мулатки рядом с ним не было.

— Как дела, ребята?

— Ну что, послала тебя к чертовой бабушке?

— К бабушке? — Солер вынул из кармана исписанный клочок бумаги.— А этого не хочешь?

Он сунул им бумажку под нос и тут же аккуратно ее сложил и спрятал.

— Что это?

— Ее адрес. Завтра в одиннадцать утра я ей звоню.

— Да ты покажи хоть получше. Мы же ничего не разобрали.

— Нашел дурака! Чтоб телефон списать и самому позвонить?

— Не трави, знаю я эти байки... Спорю, что она тебя отшила.

— Спорь не спорь, дорогуша, а девочка эта моя как пить дать... Адрес записан, фамилия записана, чего еще надо?..

— Раз ты ее так покорил,— съехидничал Баро,— ты б ее сюда привел, а?

— Ее ждет подруга, они договорились встретиться. Неловко же так сразу... Уж будь спокоен, я не я буду, если мы с ней завтра утром не отправимся в одно местечко.

— А что это за местечко?

— Ну уж это, позвольте, никого, кроме нас с ней, не касается.

Показался мадридец, он шел к ним, лавируя между столиками. Лицо у него было кислое.

---

[1] — Послушайте, мадемуазель...
— Не хотите ли посидеть с нами? *(Франц.)*

[2] — Это вы, господин Алонсо?
— Да.
— Вас зовут к телефону *(франц.)*.

— Датчанка звонила?

— Нет, Луис.

— Чего он там копается?

— Не знает, куда девал ключ... Вроде бы отдал привратнице, чтобы она уборку сделала, а у привратницы заперто.

— Вот дьявол! — вырвалось у Энрике.— Теперь что будем делать?

— Он сказал, что поищет привратницу, может, она в баре сидит. Она другой раз днем заходит туда посидеть.

— Провели вечерок! — отозвался Баро.— А я только было разогнался... Слушай, а он не врет?

— Насчет чего?

— Насчет ключа. Темнит он, по-моему.

— Нет,— возразил мадридец.— Я эту норвежку знаю. Ингой зовут... А кроме того, я там был, в этом ателье, как-то разок заскочил с Луисом.

— Подходящая обстановочка?

— Лучше не придумаешь... Четыре дивана и бар, огромный, вот этакий, весь бутылками набит...

— Да, кадришек бы нам теперь парочку-другую.

— Видал? Вон идет... Мадемуазель!

— Voulez-vous boire un verre ? [1]

Девушка прошла мимо них, поднялась по ступенькам террасы и остановилась перед их столиками. Ее лицо выражало предельную усталость и беспредельную скуку, но это лишь придавало ей очарование.

— Salut,[2] — произнесла она, глядя на Альваро.

— О! Ты с ней знаком.

— Les copains dont je t'avais parlé [3] — Мишель, моя приятельница.

Их учтивые ответы слились в дружный хор. На секунду воцарилось восхищенное молчание. Мишель была одета в старенькие шорты и короткую, выше пояса, кофточку. В промежутке между ними виднелся смуглый живот с мягко выступающим завитком пупка.

— Assieds-toi.

— Je suis morte,— проговорила она.— Qu'est-ce que je pourrai bien boire ?

— Je ne sais pas. Un rhûm ?

— J'ai déjà vidé une demi bouteille à la maison.

— Alors prends un café.

— Un rhûm double avec beaucoup de glace,— заказала она. Oh, ne m'approche pas, je t'en supplie... Il fait si chaud... Je voudrais être toute nue...

— Attend qu'on soit à l'atelier.

— Pendant le trajet en taxi j'ai décidé d'épouser un Esquimaux. Ça doit être marrant de faire l'amour sur la glace, tu ne crois pas ?

— J'ai jamais essayé. [4]

---

[1] Выпьем стаканчик? *(Франц.)*

[2] Привет *(франц.)*.

[3] Это ребята, про которых я тебе говорил *(франц.)*.

[4] Присаживайся.

— Сейчас помру. Чего бы мне такого выпить?

— Не знаю. Рому хочешь?

— Я уже дома полбутылки выхлестала.

— Тогда закажи кофе.

— Двойной ром, только побольше льда, пожалуйста. Ах, не трогай меня, сделай одолжение!.. Ну и жарко же! Раздеться бы догола...

— Подожди уж до ателье.

— Пока я ехала в такси, я решила, что выйду замуж за эскимоса. Любовь на ледяном ложе — блеск, правда?

— Не знаю, не пробовал *(франц.)*.

— Tu devrais. Je suis sûre qu'à Paris il y a des endroits où on peut baiser dans des chambres frigoritiées. Sûre et certain.

— Je ne suis pas convaincu que le froid est bon pour l'homme, tout à moins sur ce plan-là.

— Mais, au contraire, c'est excitant, voyons... C'est un truc connu... Le froid endurcit le sexe... C'est la chaleur qui le ramollit. [1]

Мимо террасы неторопливо прошли, чуть приметно покачивая бедрами, две изысканно одетые девушки. Вся компания впилась в них глазами. Мишель, проследив за взглядами мужчин, неприязненно поморщилась.

— Черт побери!.. Вот таких бы курочек нам в ателье с полдюжины — и живем...

— Что толку, ключа-то нет...

— Он сказал, что позвонит еще раз.

— А ты ему верь побольше, паршивцу. Как-то мы с ним договорились встретиться в «Мабийоне», он обещался сводить меня на новую картину Ивенса. И не пришел, скотина!

Официант подал двойной ром. Мишель выпила его залпом, с жадностью, от которой мужчинам стало не по себе, и заказала снова двойной.

— Je voudrais encore plus de glace. [2]

— Вот дает! — изумился Баро.— Видал? С одного маху — и не поморщилась!

— Qu'est-ce qu'il dit ?

— Rien.

— C'est pas vrai,— Мишель уставилась на Баро с выражением тихой ярости.— Il parle de moi.

— Il a été surpris de ta façon de boire.

— Je n'aime pas qu'on me regarde comme ça. Je déteste le regard sournois des gens des pays sous-developpés. Dis-lui que je suis lesbienne. [3]

— Надо бы сходить узнать, что там у него стряслось,— заметил андалузец.

— Возьми и сходи,— отрезал Энрике.

— Так по-дурацки терять время! — злился Солер.— Где, ты говоришь, эта его студия?

— На улице Сент-Андрэ-дез-Ар.

— Monsieur Alonso au téléphone. [4]

— Иди скорей. Это Луис.

Мадридец вернулся понурый. Мишель смотрела на него в упор.

— Ну, что? — спросил Солер.

— Ничего. Ключа нет.

— Я же говорил! — торжествующе изрек Баро.— Свистун он и балаболка, а мы уши развесили на его бабьи сказки.

— Он обещал снова позвонить.

— С меня хватит,— бросил Энрике.

---

[1] — А ты бы попробовал. Ручаюсь, в Париже найдется не одно заведение, где есть морозилки, чтобы целоваться на холоде. Это уж точно.

— Я не убежден, что холод людям полезен, по крайней мере в дзнном случае.

— Что ты! Наоборот, холод возбуждает. Да, да... Это же известный способ... Холод повышает половую способность... А жара ослабляет *(франц.)*.

[2] Только, пожалуйста, еще побольше льда *(франц.)*.

[3] — Что он сказал?

— Ничего.

— Неправда. Он отпустил что-то на мой счет.

— Его удивило, как ты пьешь.

— Я не люблю, когда на меня так глядят. Терпеть не могу этот затаенный взгляд у людей из слаборазвитых стран. Скажи ему, что я лесбиянка *(франц.)*.

[4] Мосье Алонсо к телефону *(франц.)*.

— Может, другое какое место найдется?

Гарсон снова поставил на стол двойную порцию рома. Мишель зажмурила глаза, словно собиралась принять касторку, и опять опрокинула рюмку одним глотком.

— Qu'est-ce qui se passe maintenant ? — голос у нее разом осип.

— La clef a disparu,— ответил Альваро.

— Ce qu'ils sont emmerdants ces Espagnols... Vous êtes tous des propres à rien.

— C'est de la faute de la concierge,— объяснил Солер.

— Des sous-developpés,— твердила Мишель.— Maintenant je comprends pourquoi vous avez perdu la guerre civile.[1]

Час спустя они все еще сидели на террасе бара «Ром с Мартиники». Мишель снова и снова заказывала двойные порции рома со льдом и горящими глазами смотрела на приятелей Альваро. Потом Энрике предложил отправиться в поход по кабакам улицы Ла-Юшет, и компания мало-помалу разбрелась. Друзья Альваро вились вокруг Мишель, словно рой назойливых, сентиментальных трутней.

Кончилось тем, что они начали демонстрировать ей народные испанские песни и приглашать в гости, каждый к себе: в Андалузию, Кастилию, Каталонию, Эстремадуру.

— Si vous venez avec moi à Almodóvar del Campo vous connaîtrez ce qu'il y a de plus beau au monde.[2]

В такси, по дороге домой на улицу Бельвиль, Мишель скомкала листок, на котором они записали свои адреса, и выбросила его в окошко.

— Ah, mon chéri,— всхлипнула она.— Tu te rends compte?[3]

В беглом свете проносившихся витрин Альваро увидел ее прекрасные глаза, полные сверкающих, безудержных, пьяных слез.

— Je me demande ce qui est vrai chez vous... En tout cas, l'amour est bel et bien un mythe.[4]

Они появились в номере гостиницы — на третьем этаже массивного здания с современным лифтом и ковром на лестнице — утром, в десять часов двадцать три минуты. Незадолго до них в номер заглянула горничная с подносом: она принесла утренний кофе, недопитая чашечка еще дымилась на ночном столике. В раскрытом чемодане высилось стопкой полдюжины чистых рубашек. Рядом, на комоде, лежал фотоаппарат и билет на самолет Барселона — Милан, через Ниццу. Сквозь прикрытую дверь ванной слышался приглушенный плеск воды.

— Сеньор Гаспарини?

Тот, что вошел первым, был в габардиновом, бурого цвета макинтоше с поясом. Вошедший отступил в сторону, и тогда появился второй, господин лет сорока, лысый, в синем.

— Полиция,— произнес он просто и протянул удостоверение со своим номером и фотографией, но ни прочесть, ни даже увидеть Гаспарини ничего не успел — так быстро полицейский спрятал книжицу обратно в

---

[1] — А теперь в чем дело?
— Пропал ключ.
— Ну и зануды же эти испанцы... Жалкие ничтожества — вот вы кто.
— Это привратница виновата.
— Слаборазвитые. Теперь я понимаю, почему вы потерпели поражение в гражданской войне *(франц.)*.

[2] Поедемте со мной в Альмодовар-дель-Кампо, вы увидите самое красивое место на свете *(франц.)*.

[3] Ах, мой дорогой. Нет, ты можешь себе представить такое? *(Франц.)*

[4] Хотела бы я знать, есть в вас хоть что-то настоящее... Любовь-то уж во всяком случае у вас одна трепотня *(франц.)*.

карман. Инстинктивным движением Гаспарини застегнул пуговицы пижамы.

— Чему обязан честью?..

— Это визит вежливости,— ответил лысый.— Через службу порядка мы осведомлены, что вы приехали в наш город, и нам захотелось обменяться с вами некоторыми впечатлениями.— Он сунул руку в карман и достал пачку папирос.— Угощайтесь.

— Спасибо. Сейчас только закурил свою.

— Мы, собственно, собирались навестить вас тотчас по вашем приезде — вы могли бы оказать нам известные услуги, а мы по мере возможностей помогли бы вам освоиться в чужом городе, кое-что подсказали бы. Но работа, работа, знаете ли. За всем не углядишь. Вот и дотянули до последней минуты.— Он улыбнулся краешком губ.— Вы уж нас извините.

— Вы очень любезны. Я действительно здесь в отпуске, если можно так выразиться....

— Погода только что-то не радует... Чтобы в мае пять дней кряду солнце не выглянуло! Сплошные дожди. Даже и не припомню такого...

— Вы, стало быть, приехали отдохнуть, сеньор Гаспарини?

— Да, как турист.

— Нам это говорят все иностранцы. Современный темп жизни, городской шум, перенапряжение нервной системы. Вот и ищут люди, где бы отдохнуть, в тишине, в спокойствии...— Лысый обвел взглядом комнату.— Вы, наверно, уже изъездили наш город вдоль и поперек.

— Да, сударь.

— Рад за вас,— произнес лысый.— Иностранцев не пускают к себе лишь те государства, которым есть что скрывать. Вот они и не позволяют туристам свободно передвигаться по своей территории... А мы — пожалуйста. Кто бы к нам ни приехал — все дороги, все двери открыты. И если гость с должным уважением относится к законам нашей страны, он может чувствовать себя здесь как дома и делать все, что ему заблагорассудится... Взять хотя бы вас. Разве мы чинили вам какие-либо препятствия при въезде в Испанию?

— Нет, никаких.

— Туризм — наша лучшая пропаганда. Да, да, именно так. Я полагаю, вы и сами убедились, что у нас царит социальный мир и безукоризненный общественный порядок... А между тем за границей газеты пишут о нас бог весть что. И знаете ли почему?

— Нет,— ответил Гаспарини.

— Потому что большинство журналистов, приехав к нам, рассказывают не о том, что они здесь увидели, а запираются у себя в номере на ключ и принимаются строчить небылицы одна вздорнее другой.— В голосе лысого вдруг зазвучали жесткие нотки.— Как бы вы расценили подобные действия, сеньор Гаспарини? Порядочно так поступать?

— Простите, минутку. В ванной открыт кран, как бы не потекло через край.

Он отворил дверь в ванную и, проходя мимо зеркала, на секунду задержался взглядом на своем отражении. Взъерошенные со сна волосы и отросшая за сутки щетина старили его. Он закрыл кран, разорвал открытку Антонио на мелкие клочки, бросил их в унитаз и спустил воду. Проходя обратно, он перед зеркалом провел по лицу влажной ладонью и поспешно причесал волосы. Полицейский в габардиновом макинтоше спокойно, будто так и положено, перетряхивал вещи в его чемодане.

— Разумеется, и у нас, как в любой стране, находятся недовольные,— заговорил лысый.— Кто по невежеству, а кто... Есть, знаете ли, любители ловить рыбку в мутной воде. Но эта ничтожная горстка люди-

шек не имеет в нашем обществе социальной опоры, она никого не представляет. Ясно?

— Этот господин, ваш спутник...

— О, пусть это вас не смущает...— Лысый расплылся в улыбке.— Маленькая человеческая слабость — любопытство! Он непременно должен всюду сунуть свой нос.— Лысый повернулся к комоду и словно бы задумался, увидев билет на самолет.— Вы улетаете сегодня?

— Да, сударь.

— Когда же вы должны быть в аэропорту?

— Кажется, в два часа... На обороте указано.

— Опоздай мы немного, и вы бы вернулись к себе на родину, не доставив нам удовольствия с вами познакомиться... Поверьте, мы бы глубоко об этом сожалели... Этот аппарат — немецкий?

— Да, сударь.

— Вы хорошо фотографируете?

— Как любитель, не больше.

— Обожаю фотографию.— Лысый несколько мгновений созерцал «лейку», затем внезапно запустил руку в кармашек чемодана.— Как жаль, что фотоаппараты так дороги... Если мне когда-нибудь посчастливится побывать в Германии, прежде всего куплю фотоаппарат. Говорят, они там вдвое дешевле, чем у нас.— Рука вынырнула из кармашка с добычей — это был конверт с фотографиями и негативами.— Вы позволите?

— У вас есть ордер на обыск?

— О, помилуйте, я ведь прошу у вас разрешения.— Лысый извлек снимки из конверта и стал их один за другим разглядывать.— Простое любопытство, я же вам объяснил. Я тоже в свободное время увлекаюсь фотографией. На прошлой неделе шурин одолжил мне «кодак», я повел своих детишек в зоопарк и снимал их на фоне тигров и львов... Тридцать шесть кадров нащелкал. Я вам их после покажу.

Габардиновый макинтош обнаружил записную книжку. Не произнося ни слова, он пробежал глазами номера телефонов и стал просматривать листки календаря. Гаспарини имел обыкновение записывать даты и часы предстоящих встреч.

— В какой день вы к нам прибыли, сеньор Гаспарини?

— В пятницу будет неделя.

— Ах, да, вижу, вижу... Arrivo a Barcellona [1], у вас разборчивый почерк...

— Хорошо долетели?

— По какому праву?..

— Что ни говорите, а самое лучшее средство сообщения — все-таки самолет, удобно, быстро.— Габардиновый макинтош учтиво улыбался.— Вот тут у вас я вижу: lunedi nuove maggio [2], свидание с неким Антонио... Припоминаете?

— Антонио?

— Да, в понедельник, девятого числа. В книжке записано: «двенадцать часов — Антонио». Подойдите, взгляните сами.

— Ах, это? Вспомнил. Случайный знакомый. Разговорились в кафе. Потом ходили по улицам.

— А его адрес вы записали?

— Нет. Мы просто так поболтали и разошлись... Я даже фамилии его не знаю.

— Телефона он, конечно, вам тоже не оставил?

— Нет, не оставил.

Наступило молчание. Габардиновый макинтош закурил сигарету.

---

[1] Прибыл в Барселону *(итал.)*.

[2] Понедельник, девятого мая *(итал.)*.

Лысый продолжал разглядывать фотографии. Выражение лица у него было мечтательное.

— Вы знакомы с неким Энрике Лопес Рохасом? — спросил габардиновый макинтош.

— Как вы сказали? Энрике Лопес Рохас?..

— Совершенно верно.

— Нет. Среди моих знакомых нет людей с таким именем.

— Может быть, вы встречались с каким-нибудь Лопес Рохасом в Италии?

— И в Италии не встречался.

— Вы в этом уверены, сеньор Гаспарини?

— Абсолютно.

— Странно. Когда мы его задержали, у него в тетради оказался ваш адрес... Вы ведь живете в Милане, улица Торкио, дом номер пятнадцать, верно?

— Да, сударь.

— На допросе он показал, что знаком с вами. И добавил, что вы и некий профессор Болонского университета...

— Повторяю: не имею понятия, о ком вы говорите.

— В таком случае позволю себе сообщить вам об этом человеке кое-какие сведения... Это юноша из превосходной семьи. Во время гражданской войны красные зверски убили его отца. Брат его матери сражался на нашей стороне в полку Пресвятой девы Монсерратской и погиб на поле боя... Вот, я захватил с собой его фотографию. Теперь узнаете?

— Я уже сказал вам, что человек, о котором вы говорите, мне незнаком.

— Прошлым летом он провел несколько недель в Италии и привез с собой инструкции относительно организации забастовок и студенческих беспорядков... Вернувшись на родину, он связался с кучкой нежелательных элементов. При аресте мы имели возможность убедиться, до какой грязи он докатился: порнографические открытки, рисунки... Совершенно растленный тип. Кстати, знаете, что он нам говорил о вас?

— Не знаю, и это меня не интересует. Я уже сказал...

— Как вам угодно, сеньор Гаспарини. Я только хотел дать вам некоторое представление об его моральном облике...

— Он был привлечен к ответственности как уголовный преступник, — добавил лысый.

— Его несчастная мать вначале не хотела верить, что он мог так подло, так бессовестно опозорить отцовское имя... Мы такие же люди, как и все, сеньор Гаспарини. Когда мы ей открыли всю правду — да, для меня лично тяжелые это были минуты, можете поверить...

— Эти снимки — ваши? — внезапно спросил лысый.

— Да, сударь.

— Вы сами снимали?

— Да, сударь.

— Вы позволите мне высказать вам свое мнение, сеньор Гаспарини?.. Так сказать, точку зрения рядового испанского фотографа-любителя.

— Пожалуйста.

Лысый закурил новую сигарету и неторопливо, с наслаждением затянулся.

— Мне кажется, что истинного лица нашей страны вы увидать не сумели... На ваших снимках какая-то сплошная беспросветность: лачуги, печальные детские лица. К чему этот перекос? Неужели действительно вы полагаете, что это и есть Испания? Нет, просто у вас были дурные гиды.

— Никаких гидов у меня не было,— запротестовал Гаспарини.

— А если бы мы приехали к вам и вместо того, чтобы фотографировать ваши достопримечательности, новые здания, те или иные приметы ваших достижений, стали бы нарочно выискивать и снимать какие-то нищие закоулки и помойные ямы, а потом вернулись бы в Испанию и заявили: «Вот полюбуйтесь, господа, это — Италия»? Что бы вы тогда сказали, сеньор Гаспарини? Вы бы это восприняли как оскорбление. Вы были бы возмущены нашим поступком... Как и всякий добрый патриот... Когда, вы говорите, вам надо ехать в аэропорт?

— В час дня.

— Отлично.— Лысый взглянул на свои часы.— Теперь без десяти одиннадцать. Уверен, за полтора часа я успею доказать вам, как вы заблуждаетесь... Не будете ли вы любезны одеться?

— Одеться?

— Мы с вами проедемся в машине по городу — небольшая прогулка — и по дороге кое-что сфотографируем... Я видел, у вас в чемодане есть еще две катушки неиспользованной пленки.

— Это приказ?

— Это вежливое приглашение, сеньор Гаспарини. Я был бы крайне огорчен, если бы вы уехали из Испании, не уяснив себе некоторых элементарных вещей... Страна у нас прекрасная, люди живут спокойно и счастливо. Я покажу вам, какие у нас кафе в новых кварталах, покажу монумент Победы, школы профессионального обучения... Вы увидите подлинную Испанию, о которой вы и не подозревали: счастливых мужчин и женщин, смеющихся детей... С художественной точки зрения ваши снимки выполнены слабо. Вы их слишком перетемнили, они все на одно лицо, ужасное однообразие. Поэтому, если вас не обидит, мы их уничтожим... Мне бы не хотелось, чтобы ваши знакомые в Италии имели основание вас осуждать, сеньор Гаспарини... Надеюсь, скоро выглянет солнце и мы сможем сделать снимки эффектнее этих.

Старое кафе мадам Берже удостаивали при случае своим посещением путешественники, носившие весьма громкие имена.

В толпе политических эмигрантов и студентов-бездельников — последние приезжали в Париж лишь затем, чтобы трепать ботинки на мостовых Латинского квартала и вести существование, которое показалось бы бессмысленным в любом другом месте земного шара,— в этой толпе завсегдатаев Альваро за десять лет своего парижского изгнания смог бы насчитать дюжину писателей и людей искусства, отправившихся во Францию в надежде — как это ни трудно — завоевать Париж. В кругах прогрессивно настроенной французской интеллигенции их принимали с распростертыми объятиями, и этот пылкий прием внушал им на какой-то миг обманчивую уверенность, что счастье наконец им улыбнулось: пробил великий час триумфа, вершина славы достигнута, покорена раз и навсегда. Легковерными подёнками кружились они в лучах своей славы по литературным салонам Левого берега — эфемерное воплощение образа и духа Испании — и затем исчезали.

Стоило лишь появиться испанцу с длинными баками и угрюмыми черными глазами, как его засыпали приглашениями. Ужины, собрания, встречи. Женщины преследовали его настойчивыми взглядами. Мужчины чуть ли не в молитвенном экстазе ловили каждое его слово. Он был героем дня, славным наследником бойцов гражданской войны, несчастной жертвой диктатуры, навязанной стране Гитлером и Муссолини при гнусном пособничестве западных демократий. «Qu'est-ce que nous pouvons faire pour vous?» [1] — спрашивали его с трепетом благоговейного

[1] Что мы можем для вас сделать? *(Франц.)*

преклонения и восхищения, и, если в ответ он страдальчески морщился, хмурил брови или замыкался в презрительном молчании, всеобщее сочувствие катастрофически перерастало в приступ коллективного мазохизма: восторженные амфитрионы со сладострастным остервенением начинали обвинять во всех бедах, терзающих Испанию, самих себя, c'est de notre faute, nous sommes tous des coupables [1], а он, он упивался, он пил до дна этот восхитительный, нежданный час своего торжества, эту награду таланту, чья участь — живое олицетворение трагедии народа, предательски запроданного в вековую кабалу угнетателям и палачам и все же непокоренного. И вдруг — горькое похмелье! — общественное мнение, восхищение и любовь, загипнотизированные магическими шапками «Франс-суар», ни с того ни с сего разом переключались на венгерских беженцев или тибетских повстанцев. Мгновенная перемена декораций, и наутро уже новый герой, вчера еще никому не известный, идет нарасхват, уже его наперебой приглашают на вечера и приемы, уже вокруг него кипит ажиотаж восторгов и энтузиазма, точь-в-точь как неделю назад вокруг испанца. А испанец, на минуту обласканный общим вниманием и внезапно лишившийся своего мимолетного ореола, чувствует себя как побежденный, низвергнутый с трона венценосец, которого если и приглашают на рауты, то только из жалости, и при этом дают понять, чтобы впредь он подобной любезностью не злоупотреблял, да и не очень-то на нее рассчитывал.

С некоторыми из этих героев на час Альваро был знаком. Они появлялись в кафе мадам Берже, ошарашенные своим падением, и никак не могли прийти в себя. Они жили воспоминаниями о блистательном своем прошлом и с каждым днем все неотличимей сливались с остальной массой студентов и эмигрантов, подстерегая, не без злорадства, момент, когда очередной честолюбец попытается пройти по канату к заветной цели и сорвется.

В широкие окна галереи лился вечерний свет, Альваро отдыхал, растянувшись в шезлонге. Ему вспомнился день, когда Солер привел в кафе новоиспеченного лауреата премии «Планета». Звали его Фернандес. Он настрочил с полдюжины романов — в Испании они пользовались славой бестселлеров — и по здравом размышлении решил предпринять поездку в Париж, чтобы предложить их издателю, который выпускал произведения Хемингуэя на французском языке. Едва только новое лицо переступило порог зала, разговоры, как по команде, смолкли, и представители всех археологических напластований один за другим придвинулись к гостю. Они жаждали услышать светлую весть, принесенную им этим послом испанской культуры.

— Почему именно издателю Хемингуэя?

— Мне было бы приятно, если бы «Люди без компаса» вышли в свет в той же серии, что «Старик и море».

— Вы любите Уильяма Фолкнера?

— Уильям Фолкнер — дутая величина. Мои любимые писатели — Моэм и Викки Баум.

— Вы знакомы с произведениями Сартра?

— Жена моя как-то перелистала одну его книжку, говорит, что он пишет гнусности.

— А Кафка вам нравится?

— Я его не читал.

— Что вы думаете о Роб-Грийе?

— Как вы сказали?..

— Каково ваше отношение к «новому роману»?

---

[1] Это наша вина, мы все — соучастники преступления *(франц.)*.

— Мы с женой по-французски — ни бе ни ме. Обходимся испанским — нам хватает.

— Сколько времени вы работали над своим последним романом?

— Восемь дней.

— Вы правите ваши рукописи?

— Никогда. Ударишься в фиоритуры, потеряешь непосредственность.

— Какой повествовательной манеры вы придерживаетесь?

— Повествовательная манера — выдумка бездарностей. Сервантес теорий не разводил, а написал «Дон-Кихота».

— Каковы ваши ближайшие творческие планы?

— Я задумал роман об отцах и детях, о противоречиях между старым поколением и молодым. Местом действия я выбрал негритянский квартал в Нью-Йорке.

— О, значит, вы бывали в Соединенных Штатах?

— Нет, это моя первая заграничная поездка.

— Пришелся вам по душе Париж?

— Да, понравился. Даже очень. Только вот памятников всяких чересчур уж понатыкано и кормят — хуже некуда. Не еда, а черт-те что. Взять хотя бы у нас в отеле, соусы да подливки, муть одна. Я этой ерунды не люблю. Мне чтоб суть была, а все эти сыры да приправы — на кой они сдались!.. Вот в Германии — три дня прожил — ничего, кроме сосисок, не ел. Вот так. Культурой хвастаются, а не лучше ли сперва посмотреть, как едим мы и как — соседи.

Слушатели обступили романиста плотней. Мадам Берже облокотилась на стойку, казалось, даже она заинтересовалась поразительными откровениями клиента, и только кот, лениво потягиваясь, спокойно лежал на корзинке с рогаликами и внимательно разглядывал покрытый пылью листок с текстом закона «О мерах против лиц, появляющихся в общественных местах в нетрезвом виде».

— ...И подумать только, что у нас в ресторане «Энграсия» тебе за какие-нибудь две песеты подадут зажаренную баранью отбивную, такую — пальчики оближешь! Лучший «кодорниу» — пожалуйста, за десять дуро! А здесь? Заказали шампанского, да так и оставили бутылку на столе — разве это вино?!.. Все джемы да простокваши — одна видимость, что ел. А счет подадут — волосы дыбом!.. Господи! У нас зайдите к Агуту: за двадцать четыре песеты — вот этакая сковорода филе с грибами... За двадцать четыре песеты! Нет, вы только подумайте! А в «Эль Абревадеро» — какие там цыплята с картофелем!.. Или, скажем, заячье рагу у Хоанета? А?.. Или в «Эль Канарио» — жареная селезенка?.. За четыре песеты порция селезенки с пивом!

— Что вас больше всего поразило в Париже?

— Влюбленные парочки. Что за манера — целоваться на улицах! И не стесняются, прямо перед собором Парижской богоматери. А главное, хоть бы кто слово сказал!..

— Были вы здесь в церкви?

— Да, ходили вчера... с женой... к мессе... Кстати, недавно я прочел одну книгу, автор Жильбер Себрон. О личной жизни Виктора Гюго... Вот был пакостник! Как горничная к нему поступит, непременно ребенка ей сделает...

— Да, относительно современного романа. Как вы смотрите на цензуру?

— С книгами дело обстоит так. Издателям надоело пускать деньги на ветер. Они ищут авторов надежных. То есть издают только то, что наверняка на полках не залежится... Мои тиражи, к примеру, пятьдесят тысяч экземпляров. Скажем, у меня на родине — городок, правда, ма-

ленький, но все же,— кроме моих книг, никаких других в книжной лавке не продают.

— Какой прием встречают ваши произведения у критики?

— Грех жаловаться. Кое-кто из журналистов даже называет меня испанским Бальзаком.

— Что верно, то верно,— мягко заметил Баро.— Точь-в-точь как в Париже. Здесь называют Бальзаком французского Фернандеса.

Воцарилось напряженное молчание. Романист пропустил замечание Баро мимо ушей.

— Впрочем,— добавил он,— на критиков я внимания мало обращаю, главное для меня — мнение читателя.

— Как вы представляете себе будущее испанской культуры?

— Она идет к невиданному расцвету. Возьмите хотя бы редакцию журнала «Индисе». Какие люди!.. В последнем номере разделали Карла Маркса — под орех! Опровергли, камня на камне не оставили!

— Долго вы намереваетесь еще пробыть в Париже?

— Нет. Ровно столько, чтобы окончательно договориться о переводе моих книг... В Барселоне я себя чувствую уютнее. А у себя на ферме, в Касересе, и того лучше.

...Так они беседовали часа три. Начинало смеркаться, когда наконец романист поднялся с места и распрощался со своими неожиданными интервьюерами. При этом у него было извиняющееся выражение человека, который при всем желании не может располагать своим временем: «Глубоко сожалею, но в отеле меня ждет жена. Мы хотим пойти в ревю, посмотреть этих девиц, знаете, голые выступают, любопытно все-таки... Я слышал, среди них есть даже замужние, и они это для заработка. Одного не пойму, куда только мужья смотрят...»

Альваро улыбался, глядя на диск луны, выплывшей из-за гор: он вспоминал Фернандеса. Когда дверь кафе за ним захлопнулась, Баро несколько секунд сидел, словно выжидая чего-то, и загадочно усмехался, а потом протянул руку, взял с обтянутого драной клеенкой табурета какую-то книжечку в кожаном переплете и показал ее присутствующим — это был паспорт.

— Паспорт? Чей?

— Узнаете?

С фотографии, удостоверяющей личность, на них с важным видом взирал романист.

— Позабыл свое драгоценное мурло.

— Что ж ты ему не сказал? Хочешь попугать?

— Попугать?

Баро затрясся от смеха, он так хохотал, что у него на глазах выступили слезы. Вдруг он схватил паспорт обеими руками и разорвал его пополам.

— Что ты делаешь! — воскликнуло несколько человек в разных концах зала.

— Вы же видели что. Туда ему и дорога.

— А что будет с этим типом?

— Подумаешь. Одним эмигрантом больше,— просто ответил Баро, вытирая слезы.

Как-то под воскресенье, месяца через три-четыре после разгона студенческой демонстрации — общественный порядок и социальный мир были благополучно восстановлены,— Рикардо и Артигас отправились в Мадрид на свидание с Энрике и его товарищами по Комитету координации (их к этому времени перевели в тюрьму в Карабанчеле). Свидание происходило в помещении, напоминавшем огромную птичью клетку.

Говорить пришлось через две решетки и разделявший их проход, по которому из конца в конец вышагивал тюремный надзиратель. Чтобы услышать друг друга, надо было кричать. Оглушенные посетители и арестанты растерянно смотрели друг на друга: разобрать в этом шуме что-либо было почти невозможно, и они пытались объясняться на пальцах, восполняя жестикуляцией смысл разорванных, перепутанных, недоконченных фраз. Вынужденный отдых, казалось, пошел барселонским студентам на пользу. Вцепившись в прутья решетки, как орангутанги в зоопарке, они иронически улыбались, посмеиваясь над своими безуспешными попытками поддерживать беседу с друзьями. В их глазах не было и тени упрека. Так они полчаса без толку надрывали горло. Потом загремел звонок, и, не дав времени попрощаться, конвоиры увели заключенных. Рикардо и Артигас, обескураженные, огорченные, очутились на улице и смешались с толпой, которая молчаливо выстраивалась в очередь на автобус — сейчас он повезет их в этот огромный, враждебный город, надвигавшийся на них всей своей безымянной тяжестью, словно ночной кошмар.

До самолета на Барселону оставалось еще несколько часов, и друзья предложили съездить вместе на машине в Паракуэльос-де-Харама — это было недалеко. Там, у подножия рыжих, совершенно лысых холмов расположено кладбище, где похоронены националисты, убитые в годы войны. Ряды могильных холмиков, под которыми лежат офицеры, священники и все прочие, отдавшие жизнь за веру и отечество, почти сплошь заросли бурьяном; только выглядывает где-нибудь крест или железный венок, попадется на глаза надгробная надпись и напомнит о славе отгремевших побед и забытых подвигов, о наградах и званиях, добытых в дни астурийских событий, мятежа в Хаке и на войне против повстанческой армии Абд-эль-Керима. А если подняться немного по склону, открывается чудесный вид на равнину, которую весна превратила в море цветущих красных маков.

У ворот в ожидании часа закрытия сидел старик, кладбищенский сторож. Он грустно улыбнулся им, когда они вышли.

— В первые годы,— заметил он,— много людей сюда ездило: вдовы, родители, друзья, а кто и просто так, по любопытству... Следили за могилками, везде чистота, порядок... А потом забросили... Нынче про мертвых не вспоминают, потеряли уважение... В воскресные дни приходят сюда воздухом дышать, на траве валяются, закусывают... На днях одна парочка явилась, транзистор включили и пошли танцевать — да еще выходить не захотели... А кто и с девчонкой со своей тут забавляется или напакостит... Всякого понасмотрелся. Поверите, с души воротит... В наше время мы такого не видели...

Самолет шел на высоте четырех тысяч метров. Внизу, не видимая в темноте, простиралась кастильская Месета. И всю дорогу в ушах у Артигаса и Рикардо звучали слова кладбищенского сторожа. В полудреме они вдруг выплывали откуда-то, заставляя вздрагивать и уже совершенно сознательно спрашивать себя, когда же, господи, когда же, через сколько дней, недель, месяцев, лет исчезнет этот проклятый режим и те, на ком он держится, чтобы самая память о них исчезла, поросла быльем и чертополохом, как это заброшенное и загаженное кладбище с его никому не нужными могилами и забытыми мертвецами.

Они сидели на террасе, окутанной ночной прохладой; час убегал за часом, а они все говорили, и казалось, их разговорам не будет конца. Они восстанавливали в памяти историю своей жизни за эти годы, начиная с ныне уже далекого дня, когда Альваро покинул Испанию; они

пытались воссоздать все, что пережили за время разлуки: Альваро — по ту сторону Пиренеев, его друзья — по эту (в разговорах кроме Альваро обычно принимали участие Артигас и Рикардо, иногда присоединялся еще кто-нибудь из прежних товарищей). Но как ни силились они удержать и вернуть ушедшее, им это не удавалось: время ускользало, оно как бы таяло в воздухе, не оставляя им ничего, кроме сумятицы бессвязных образов, отрывочных сцен, поблекших и выцветших воспоминаний — горького осадка эпохи, в которую им довелось жить, и безвременья, против которого они безуспешно сражались, от которого хотели бежать и которое в конце концов их поглотило.

...Так всплыл и тот вечер — его помогла припомнить Долорес. Они вышли вдвоем из кафе мадам Берже и долго бродили по кварталам, прилегающим к улице Муфтар, заходя в арабские кофейни выпить перно. В крошечном баре в Патриаршем проезде, украшенном аквариумом с золотыми рыбками и бронзовой статуей св. Женевьевы, патронессы Парижа, они разговорились с двумя старыми бородатыми оборванцами. Те горячо возмущались бессовестностью своих конкурентов, мусорщиков. Альваро и Долорес пригласили их выпить за компанию.

— Мы еще играли в настольный футбол,— напомнила Долорес.— Ты все выигрывал, а я злилась. Помнишь?

От перно бородачи пришли в хорошее настроение, развеселились, стали шутить и в приливе общительности и любви к ближнему спросили Долорес:

— Mademoiselle est Italienne ?

— Non, Espagnole. [1]

Тот, что был постарше, разгладил бороду и горделиво приосанился.

— А, Испания... Теруэль, Бельчите... Знаю, знаю.

Его голубые глаза округлились и покраснели. Долорес одним глотком опорожнила рюмку и уставилась на него:

— Когда же вы были в Испании?

— Как вам сказать.— Старик неопределенно повел рукой.— Во время войны... Бах, бах, бах...

— Вы там жили?

— Я? — Старик отрицательно покачал головой.— Я туда поехал воевать. Ах, и дьявольская же страна!

— Добровольцем? — спросил Альваро.

— Да, мосье.

— На чьей же стороне?

Вопрос, по-видимому, озадачил старика. Он подозрительно взглянул на Альваро, потом в глазах у него появилось напряженное выражение, он силился вспомнить.

— Du bon côté,— промямлил он наконец.

— Qu'est-ce que vous appelez le bon côté ?

— Vive la République ! — Бородач поднял к виску сжатый кулак.— Je suis républicain, moi.

— Ah, bon.

— Mon général était Queipo de Llano.

— Quoi ? [2]

---

[1] — Мадемуазель — итальянка?
— Нет, испанка *(франц.)*.

[2] — На правильной.
— Какую же сторону вы называете правильной?
— Да здравствует республика! Я — республиканец. Да.
— Вот как.
— Я служил в войсках генерала Кейпо де Льяно.
— Что? *(Франц.)*

— Queipo de Llano.— Старик вытянулся по стойке «смирно».—Ah, c'était le bon temps. [1]

— Но Кейпо де Льяно был фашист,— сказал Альваро.

— Я патриот и республиканец.

— И вы сражались под командованием Кейпо?

— Так точно, мосье.

— Вы что-то путаете. Либо вы были республиканцем и сражались против Кейпо, либо вашим командиром был Кейпо, но тогда вы не были республиканцем.

Старик недоверчиво смотрел то на Альваро, то на Долорес. Под конец он озадаченно уставился на своего приятеля.

— Ça alors. Quel sac de noeuds.

— Tu déconnes,— буркнул второй оборванец.

— J'ai oublié,— пробормотал старик.— J'ai été blessé, trois fois, j'ai oublié. [2]

— Послушайте,— сказал Альваро.— Ну сделайте усилие, напрягите память.

Оборванец одним махом опорожнил рюмку и хлопнул себя ладонью по лбу.

— Ничего не помню,— извиняющимся тоном произнес он.

— А гимн? Какой вы пели гимн? Гимн Риего? Или «Солнцу навстречу»?

Долорес пропела начальные строфы обоих гимнов. Старик пропитым голосом подтягивал ей, размахивая руками, словно дирижировал невидимым хором.

— А, да, вот этот, он, он...

— Первый или второй?

— Я вот что пел:

Мой дорогой,
сыграй на трубе
марш боевой,
марш боевой...

— Tu déconnes,— твердил его товарищ.

— Toi, boucle-la.

— Tu te trompes de guerre,— не унимался младший.— Ça c'était contre les ratons.

— Je ne me souviens pas... Ça fait si longtemps. [3]

Старик недоуменно чесал затылок и озирался с видом человека, который все еще никак не поймет, что же все-таки произошло.

— Молодец старик! Одним ударом покончил со всеми нашими испанскими распрями. Вот бы все так... На старом крест — и с новой страницы.

— Моему отцу было бы полезно услышать этот разговор,— произнесла Долорес. Щеки ее пылали.— Ему, да и всем нашим эмигрантам в Мексике со всеми их бесценными воспоминаниями...

— И моим дядюшкам и тетушкам. Может, они бы тогда перестали, как попугаи, повторять газетное вранье... Вечная гражданская война... Нам-то до нее какое дело?

Вместе с обоими бородачами они шли по улице Муфтар, что-то пели

---

[1] Кейпо де Льяно. Славное было времечко *(франц.)*.

[2] — Вот так так... Чертова головоломка.
— Болтаешь, сам не знаешь что.
— Забыл я. Я был трижды ранен, ничего я не помню *(франц.)*.

[3] — Болтаешь, сам не знаешь что.
— А ты заткнись.
— Ты спутал одну войну с другой. Твою песню пели, когда воевали с бошами.
— Не помню уж... Это было так давно *(франц.)*.

и хохотали, как школьники. (Значит, вы так ничего и не помните...— Нет, ничего...— Вот видишь, ему удалось примирить оба лагеря, давай и мы тоже...— Ведь так давно это было.)

— А ночью мы с тобой во второй раз были вместе,— сказал Альваро.— На Контрэскарп мы взяли такси и поехали ко мне на улицу Вьейдю-Тампль.

— Ты был пьян и не прикоснулся ко мне,— заметила Долорес.

— Я робел.

— Все началось наутро. Помнишь?

— Нет,— возразил Альваро.— Утром я тоже был пьян.

Глава VI

Сквозь яркую зелень деревьев видны были облака, они уплывали к морю, помпезные, патетические, как первые звуки оперной увертюры. За ночь жара немного спала, и легкий ветерок шевелил сосновую хвою и тонкие побеги акаций. С пруда доносилось ленивое кваканье лягушек. Возле шезлонга лежала брошенная детьми карта полушарий, няня забыла ее подобрать. Долорес подняла ее и стала разглядывать.

Английская карта, изданная между двумя мировыми войнами. Протектораты и владения британской короны закрашены одним цветом и отчетливо выделяются на фоне других стран; немецкий нацизм не успел еще развязать войну, и политическое равновесие, установленное Локарнскими соглашениями и созданием Лиги Наций, казалось прочной основой спокойствия и мира, незыблемой защитой от революционных потрясений и любых угроз существующему порядку вещей,— смехотворные гарантии, такие же допотопные на нынешний взгляд, как Священный Союз, учрежденный европейскими монархами в стародавние, легендарные времена Австро-Венгерской империи.

Десять лет назад, незадолго до того, как началась ваша любовь, вы оставили свои семьи, вам хотелось повидать мир, пожить иной жизнью, чем та, что была знакома вам прежде, в том замкнутом кругу, где вы воспитывались и выросли (для тебя это была Барселона с ее высшим обществом, постепенно приходившим в себя после ужасов и тревог гражданской войны; для нее — разношерстный, измельчавший клан республиканских политических эмигрантов в Мексике). Перелистывать страницы географических атласов было для вас почти осуществлением мечты, единственным способом вырваться, бежать от окружающего, это был ваш волшебный ковер-самолет, на котором вы, словно маги, устремлялись в свободный полет над миром. Но думать о путешествиях всерьез в дни войны и даже в послевоенные годы не приходилось. Поездка в любую страну из тех, чьи города, реки и горы вы так жадно разглядывали на географических картах, была сопряжена с невероятными трудностями, с тысячью непреодолимых препятствий: заявления, отказы, бесконечные проволочки с получением виз, бесполезное стояние в длинных очередях, непреклонные чиновники с лицами инквизиторов (пропуска, справки, рекомендации, разрешения, печати, гербовые марки — а им еще все было мало, все мало. Чего стоила одна идиотская, бредовая сцена у консула Менотти!).

И вот, наконец, ты пустился в путь, опередив на несколько лет поток пионеров и конкистадоров, современных Магелланов, Кортесов и Писарро. Открытие и обследование земель неведомого тебе Нового Света (Латинский квартал и район Сен-Жермен, советское кино и запрещенные в Испании книги) преисполнило тебя оглушающим, яростным и пронзительным счастьем. То, что на протяжении многих лет было

для тебя недосягаемой мечтой, обретало осязаемость, и Долорес гармонично вписалась в твою новую жизнь. Родина, ее мир, ее люди отходили в прошлое, перед тобой раскрывались иные, неохватные горизонты. Одно за другим — ты и сам не заметил как — осуществились все твои желания, осуществились с обескураживающей легкостью (осталось тревожное чувство вины от сознания незаслуженности награды, доставшейся без всякого усилия с твоей стороны). Съемки документального фильма об эмиграции рабочих из Испании и разъезды, связанные с твоей профессией, позволили вам побывать везде, куда вы так стремились попасть в годы юности. Все, что когда-то в детстве вам рисовало воображение, все, что было недостижимой грезой вашего отрочества, стало реальностью, реальностью двойственной, противоречивой, сплетавшей воедино воображаемое и реальное увиденное, неожиданно проверенное вами на опыте. Монте-Карло, Швейцария, Венеция, Гамбург, Голландия перестали быть для вас названиями, окруженными ореолом поистине легендарных историй, которые вам довелось о них прочесть, теперь они были дорожными столбами, вехами вашей общей с Долорес судьбы (вы открывали Европу и одновременно открывали друг друга, телесно и духовно, ваши бесплодные попытки найти свое место в мире урбанистической цивилизации шли рука об руку со взлетами и спадами вашей неистовой страсти).

Границы и преграды, державшие вас когда-то в плену, внезапно исчезли, и разглядывать карту полушарий в это горькое лето 63-го года значило пробегать страницу за страницей историю вашей любви с того дня, когда вы случайно познакомились в пансионе на улице Шомель, и до той минуты, когда ты понял, что уже ничто не спасет и не воскресит вашей привязанности, которую изо дня в день подтачивало мстительное, столь скупо отпущенное вам время, и когда, лежа рядом с Долорес в темноте, ты сказал: «Мы ничего больше не можем дать друг другу».

(С чисто испанским, вошедшим в поговорку умением доводить все до крайности, франкизм выпроваживает из страны сотни тысяч людей, еще недавно наглухо отрезанных от мира стеной Пиренеев.

С одним из них ты недавно познакомился в порту Монако, в дни, когда после болезни отдыхал на Лазурном берегу. Ему было лет тридцать. Простой, грубоватый парень, матрос с прогулочной яхты, принадлежащей известному баритону.

— Сеньор Альваро, у нас в Испании правительство какое? Хорошее? Или не очень?

Ты посмотрел на него и встретил его спокойно вопрошающий, бесхитростный взгляд. Лицо было открытое, чистосердечное. И ты пожалел парня. Жестоко было бы отнимать у него последние иллюзии. Ты похлопал его по плечу.

— Хорошее? Нет, брат, отличное!)

Облака убегали разлохмаченные — и таяли. Море и небо слились, смешав свои краски в одну, неопределенного тона, синеватую полосу. У самой земли пролетел дрозд и, поднявшись, уселся на конек кровли. С противоположного края долины долетало эхо размеренных, неторопливых ударов — рубили лес.

Карта полушарий — неотторжимая часть прожитых вами лет, и, склонившись над ней, ты погрузился в прошлое.

Путь возвращения не прям, он идет по кривой, чертит спирали, петляет, в точности следуя прихотливым извивам памяти.

Говорят голоса былого.

Слушайте.

Буржуазный квартал, тихий, обшарпанный, мрачный. Серая улица. Серый дом, построенный серым, к тому же похоронно настроенным ар-

хитектором. Лестница с истертым ковром, со старыми хрустальными канделябрами, с цветными витражами, с диванчиками, обтянутыми плюшем,— лестница, знавшая лучшие времена. Массивная дверь с металлической дощечкой, на которой еле-еле можно разобрать

ЭДМОНДА МАРИЯ ДЕ ЭРЕДИА

Сольфеджио. Пение. Дикция.

Город Париж. Дата — 1954.

Первая встреча с Долорес.

(Недели за три до припадка ты проходил мимо дома старой преподавательницы: фасад пансиона был одет лесами, и окна завешены парусиной — дом решил примолодиться; маляры приводили в порядок стены, карнизы, оконные рамы, двери. Предметом особых забот оказалась каменная Венера — кариатида главного балкона; ее туалетом был занят дотошный маляр-итальянец, он усердно тер живот, ляжки и груди богини, отмывая их от грязи, потом принялся наводить чистоту в оставленном напоследок темном треугольнике между бедрами. Он так старался, что товарищи не удержались от смеха. Венера сносила свой позор с каменным достоинством, а ты, шагая к улице Варенн, пожалел, что не поймал эту сценку в объектив «кодака».)

Она состояла с поэтом в отдаленном родстве, «d'une ligne colatérale»[1],— добавляла она, показывая костлявым пальцем на бледную фотографию, стоявшую на рояле. «Il m'avait connu quand j'étais toute petite, ma mère me disait toujours qu'il me prenait dans ses bras et qu'il me regardait pendant des heures et des heures»[2]. С фотографии смотрел автор «Трофеев»; он был снят при выходе с торжественного заседания, на котором его приняли в члены Французской академии; тебе запомнилась фигура, затянутая в нарядный, богато расшитый мундир «бессмертных», эспаньолка и усы. А вокруг теснились еще и еще фотографии — десятки фотографий. И все они тоже давно выцвели. На них в самых разнообразных позах, головных уборах, прическах, туалетах фигурировала одна и та же модель, мадам Эдмонда Мария де Эредиа. Вот она подростком стоит у невысокой дорической колонны — знаменательное событие: на ней впервые длинное платье. А вот несколько лет спустя: экстравагантная шляпа с перьями — день поступления в парижскую консерваторию. Она же — в зале Плейель вместе с Надей Буланже, на концерте в пользу жертв токийского землетрясения — 1923 год. «La belle époque»[3],— вздыхала она, обводя рукой свои воспоминания, облепившие стены старомодной темной гостиной. Они были всунуты в рамки, вставлены в стеклянные витринки, они громоздились на комодах, на консолях, во всех углах, «l'Art alors était une religion qui avait ses dieux, ses prêtres, ses fidèles, ses temples, non la vulgaire entreprise commerciale qu'il est devenu aujourd'hui, où n'importe quel parvenu, qui ne connait même pas les premières notions de solfège, se permet de donner des récitales sans que personne, je dis bien, personne, crie à l'imposture ».[4]

---

[1] По боковой линии *(франц.)*.

[2] Он знал меня еще ребенком. Мать мне часто рассказывала, как он брал меня на руки. Он мог смотреть на меня часами *(франц.)*.

[3] Прекрасные довоенные времена *(франц.)*.

[4] Искусство было в наше время религией, со своими божествами, своими жрецами, своими правоверными, своими храмами. Не то что нынче, когда оно превратилось в вульгарное коммерческое предпринимательство, когда любой выскочка, не имеющий элементарных понятий о сольфеджио, позволяет себе выступать с концертами, и ни у кого, да, да, ни у кого не хватит духу назвать его мошенником *(франц.)*.

Прямая, с лицом, обсыпанным рисовой пудрой, мадам де Эредиа сидела посреди дивана, и полумрак окутывал ее своей защитной вуалью. Мысли ее уносились в сверкающие дали былого величия. Тяжелые занавеси приглушали и без того хмурый свет серого парижского дня, а вечером в каждом уголке гостиной загорались лампочки, словно в церкви перед священными реликвиями и приношениями по обету, при виде которых в Испании, в годы твоего отравленного отрочества тебя пронизывал страх и мучительное чувство собственной греховности.

— Bon. Recommencez. [1]

Произнеся эти слова, мадам де Эредиа обыкновенно пускалась в многословные воспоминания о пережитом, после чего ученик (какой-нибудь близорукий, робкий канадец или педантичный аргентинец, тот самый, что однажды при вас — вы обхохотались — высокопарно заявил: «Мадам, я желал бы впитать французскую культуру в плоть и кровь!») начинал декламировать во второй раз:

« Comme un vol de gerfauts hors du charnier natal... »[2]

Преподавательница, приняв строгий вид, делала ему замечания, а прочие ученики захудалого пансиона притворялись, будто записывают что-то в свои тетрадки или повторяют урок сольфеджио, хотя мадам де Эредиа, как правило, всякий раз находила новые, самые нелепые и малоубедительные предлоги, чтобы перенести сольфеджио на завтра:

— Non, pas comme ça. Ici vous n'êtes pas à l'école Berlitz ni à l'Alliance Française. Un peu plus d'entrain, un peu plus de fougue. Nous reverrons ça demain. [3]

(Молодые люди расходились по своим комнатам, но любимого ученика мадам де Эредиа оставляла, чтобы рассказать ему о незабвенной минуте, когда генерал Першинг вручал ей награду, или о том, как проходило ее артистическое турне по Португалии. На ее коленях, уютно свернувшись, дремал черный кот, она машинально поглаживала его рукой, устремив отрешенный взор на покрытый проплешинами ковер.)

Возможно, она попалась тебе навстречу в коридоре, но вы разошлись, не заметив друг друга и ничего не подозревая о своих тайных желаниях, не догадавшись об узах, которые скоро свяжут вас, и о том, что с этой минуты вы уже друг для друга существуете. Тебе только запомнился грациозный силуэт, мелькнувший в проеме двери, когда она выключала электричество, и тотчас поглощенный темнотой коридора; мгновение спустя стройная фигурка пугливо проскользнула мимо гостиной, где заседала со своими пансионерами мадам де Эредиа,— и исчезла. Ты слышал, что родители ее живут в Мексике, что она приехала в Париж учиться французскому языку и рисованию и что вот уже целых два месяца не платит за пансион. Лицо? Ты вряд ли мог бы его припомнить. Как-то раз ты столкнулся с ней в очереди в библиотеке св. Женевьевы, она улыбнулась тебе, но ты даже не сразу сообразил, кто это, ты словно боялся ее узнать и, как бы предчувствуя неистовство вашей будущей страсти, устрашенный, отпрянул, закрыв глаза.

— La petite a des ennuis,— шепнула однажды мадам де Эредиа, прервав одно из автобиографических отступлений, которыми она обычно разнообразила свои уроки.— Elle a trouvé le moyen de se fâcher avec sa famille et elle ne reçoit plus un sou. [4]

---

[1] Хорошо. Еще раз *(франц.)*.

[2] «Как кречетов птенцы от падали гнилой, вскормившей их, летят...» *(франц.)* — начало сонета французского поэта Хосе Мария де Эредиа «Завоеватели» (или «Конкистадоры»).

[3] Не так. Вы здесь не в школе Берлица и не в «Альянс Франсэз». Побольше чувства. Вдохновение, вдохновение! Пройдем это завтра еще раз *(франц.)*.

[4] У бедняжки неприятности. Она умудрилась рассориться с родителями, и они теперь не высылают ей ни гроша *(франц.)*.

Ученики повернули головы в сторону коридора. Если бы не мадам де Эредиа, они бы и не заметили метнувшейся мимо дверей виноватой тени.

— Bonsoir, mademoiselle. Vous pensez à moi ?

— Oui, madame.

— Vous m'avez dit déjà ça la semaine dernière, ma petite.

— J'ai envoyé un télégramme à mes parents [1].

Ее беда задела тебя за живое. Молчаливая солидарность объединила тебя с Долорес, с испуганной тенью, которая крадучись пробиралась по коридору, чтобы незаметно проскользнуть мимо мадам де Эредиа и сурового синклита ее учеников. Сколько раз, далеко за полночь, когда тебя мучила обычная твоя бессонница, ты слышал, как она возвращается домой. Она проходила по коридору на цыпочках и ложилась в кровать, не зажигая света. Утром, пока мадам де Эредиа занималась своим туалетом, девушка исчезала, все так же тихо и незаметно. Повинуясь какому-то неясному побуждению, ты выходил следом за ней. Вы окунались в пасмурные, печальные сумерки зимнего Парижа. Ее белая курточка была хорошим ориентиром, и ты мог идти за Долорес на почтительном расстоянии. Чаще всего она направлялась в Бюро по найму иностранцев — надеялась получить работу. Ты не решался заговорить с нею, быть может, тайный голос предостерегал тебя, стараясь уберечь от всепоглощающей страсти, которой суждено было связать вас друг с другом. А может быть, ты оттягивал миг вашего знакомства нарочно, эгоистически наслаждаясь его предвкушением.

Догадывался ли ты, в каком безвыходном, отчаянном положении она тогда была? Нет, конечно. Ты уже сознавал, что она тебе нравится, что вы стоите на пороге любви, и волнение, которое ты испытывал в преддверии счастья, заслоняло от тебя все остальное. Долорес тоже, казалось, ничего не замечала вокруг, и следить за ней, не привлекая к себе ее внимания, для тебя, опытного в подобного рода охоте, не составляло труда. Однажды ты увидел, что она разговаривает на улице с каким-то не известным тебе человеком. Тебя это больно кольнуло. «Неужели ревную?» Абсурд, ты ведь до этой минуты не сделал ни малейшей попытки к сближению: случайно столкнувшись с нею на лестнице, ты спешил пройти мимо. Когда они распрощались и Долорес дальше пошла одна, волна неведомого счастья прихлынула к твоему сердцу, и, не зная, вмешательству каких высших сил обязан ты своим чудесным избавлением, ты возблагодарил за это господа бога.

А несколькими днями позже мадам де Эредиа, разнося утром почту, постучала костяшками пальцев в дверь Долорес:

— Rien encore pour vous, ma petite. Est-ce que vous comptez vraiment sur vôtre mandat ?

— Oui, madame.

— Ça fait déjà deux mois qui vous me faites attendre. Je ne peux pas vous garder la chambre indéfiniment.

— J'attends une réponse pour aujourd'hui.

— Vous êtes sûre ? [2]

---

[1] — Добрый вечер, мадемуазель. Вы про меня не забыли?

— Нет, мадам.

— Вы мне это говорили уже на прошлой неделе, милочка.

— Я послала родителям телеграмму *(франц.)*.

[2] — Для вас, милочка, опять ничего нет. Вы в самом деле верите, что вам пришлют перевод?

— Да, мадам.

— Вы заставляете меня ждать уже два месяца. Я не могу держать за вами комнату бесконечно.

— Я ожидаю ответа сегодня.

— Вы в этом уверены? *(Франц.)*

— Je l'espère.

— Bon. Nous en reparlerons demain [1].

Вы шли по Латинскому кварталу — она впереди, ты в некотором отдалении, сзади; она направлялась на улицу Суфло: там помещался центр помощи нуждающимся студентам. На бульваре Сен-Мишель Долорес купила в киоске газету и стала читать объявления, она вся ушла в это занятие, и что-то напряженное, отчаянное появилось в ее лице. Раза три-четыре она доставала из кармана курточки карандаш и делала быстрые пометки. Наверно, подчеркивала адреса. Она исчезла в парадной какого-то дома, а ты сидел и ждал за чашкой чая в соседнем кафе. Через несколько минут она появилась снова, пересекла бульвар и вошла в Люксембургский сад. Декабрь оголил ветви деревьев, дети бегали по дорожкам, укутанные, похожие на самодвижущиеся пакеты. Белый диск солнца светил без тепла и блеска. Она опустилась на скамью лицом к цветочным клумбам и бросила газету в урну. Невидящий взгляд ее был устремлен в тоскливую опустелость зимнего сада. Внезапно она закрыла лицо руками и расплакалась.

В смятении ты поспешил прочь. Тебя мучило запоздалое чувство раскаяния, ты понял, что не смеешь оставить ее в беде, что должен взять на себя заботу о ней — ведь это был подарок, упоительный, нежданный дар, сама судьба преподносила тебе эту любовь.

Ты явился в пансион вовремя: мадам де Эредиа только что закончила свой трудоемкий утренний туалет.

— Excusez-moi, madame, avez-vous parlé avec Dolores ?

— Oui, mon petit. Je lui ai dit ce matin que je ne peux plus lui garder la chambre. Elle est gentille sans doute, mais qu'est-ce je peux faire d'autre ? Le Centre d'Accueil m'envoit tous les jours de nouveaux élèves. Je dois respecter mes engagements.

— Combien vous doit-elle ?

— Deux mois de chambre plus des leçons.

— Quatre vingt mille ?

— Exactement.

— Je viens de la rencontrer en face des PTT et elle m'a prié de vous remettre cette somme.— Ты протянул ей пачку ассигнаций, она уставилась на тебя недоверчивым взглядом.— Vous pouvez compter.

— Elle a reçu le mandat ?

— Il était retenu depuis longtemps à la Poste.

— Pauvre petite. Où est-elle maintenant ?

— Elle est partie faire des courses.

— Je vais prévenir tout de suite le Centre d'Accueil. Je leur dirai que la chambre n'est pas libre. A quelle heure doit-elle rentrer ? [2]

---

[1] — Я надеюсь.

— Хорошо. Завтра мы вернемся к этому разговору *(франц.)*.

[2] — Простите, мадам, вы говорили с Долорес?

— Да, мой мальчик. Сегодня утром я ей сказала, что не могу больше сохранять за ней комнату. Она, конечно, славная девушка, но что же я могу поделать? Центр приема иностранцев присылает мне каждый день новых учеников. Я связана обязательствами.

— Сколько она вам должна?

— За два месяца: комната и уроки.

— Восемьдесят тысяч?

— Совершенно верно.

— Только что я случайно столкнулся с ней около почты, она просила меня передать вам эти деньги. Пересчитайте, пожалуйста.

— Она получила перевод?

— Он долго пролежал на почте.

— Бедная девочка. А где же она сама?

— У нее дела в городе.

— Я сейчас же позвоню в Центр. Сообщу им, что комната не освобождается. Когда она вернется? *(Франц.)*

— Je ne sais pas.
— Je voudrais lui faire une surprise. Lui acheter un bouquet de fleurs.
— Vous êtes trop gentille, madame.[1]

Вот и все. Сила твоей любви, внезапно сбросившей все покровы, решила участь Долорес, решила за ее спиной, мгновенно и бесповоротно. (Сама Долорес в это время еще сидела, наверно, в Люксембургском саду, ничего не подозревая о перемене в своей судьбе, и почти целый день отделял ее от жизни, которую впредь ей предстояло вести вместе с тобой, и от любви, безмерности и глубины которой вы не могли познать еще годы и годы.)

Когда она вернулась, уроки у мадам де Эредиа уже закончились, и в гостиной никого не было. Ты лежал у себя в комнате на кровати поверх старого сиреневого одеяла и курил. Ты вздрогнул, уловив в коридоре чуть слышный шорох ее шагов. Вот она прошла мимо твоей комнаты и повернула ключ у себя в двери. Потом раздался громкий голос мадам де Эредиа. Долорес отвечала недоуменным молчанием. Смешанное чувство счастья и тревоги охватило тебя. Ты раскрыл тетрадку с записями лекций и сделал вид, будто погружен в чтение. Гулкие удары твоего сердца сплетались с их голосами. Это продолжалось несколько минут.

— Je n'ai jamais mis en doute votre parole[2],— уверяла мадам де Эредиа.

Долорес молчала загадочно и многозначительно. Разговор кончился ровно в десять. А секунду спустя в твою дверь постучали.

— Entrez[3].— (А может быть, ты это сказал по-испански?)

Дверь приотворилась, и ты увидел Долорес. Мгновение она стояла на пороге, бесстрастная, как бы заранее покорившаяся неизбежности, воплощенной для нее в тебе. Никогда не изгладятся из твоей памяти эти чужие глаза, это выражение затаенной ненависти. На ней были брюки из какой-то тонкой ткани и крупной вязки джемпер. Падающие на лоб коротко остриженные волосы придавали ей сходство с мальчишкой, и это ее красило.

— Мадам де Эредиа сказала мне, что вы...— Ее голос звучал непривычно жестко.

— Да.

— Почему вы это сделали?

— Не знаю,— пробормотал ты.

Она достала из кармана сигарету и резким движением поднесла к ней зажигалку. Ты поднялся с кровати и стоял рядом с ней, не смея на нее взглянуть.

— Мне говорили, что у тебя плохо с деньгами.

— Я вам очень обязана.

— Я не хотел, чтобы...

— Отвернитесь, пожалуйста, пока я буду раздеваться.

Ты повернулся к ней спиной, еще не сообразив толком, что она тебе сказала, и, оглушенный, тупо стал разглядывать зеленоватый, с бахромой, абажур лампы и тяжелые занавеси, закрывавшие окно. Из овала, обрамленного гирляндами и листьями клевера, улыбалась, заговорщически подняв пальчик, белокурая пастушка. Измятая, со сбитым одеялом постель бестактно приглашала отдаться любви. Ты вдруг почувствовал, что глаза твои стали влажны.

— Нет,— проговорил ты.— Нет, нет, нет.

---

[1] — Не знаю.
— Мне бы хотелось сделать ей сюрприз. Купить букетик цветов.
— Вы очень любезны, мадам *(франц.)*.

[2] Я ни на миг не сомневалась в том, что вы говорите правду *(франц.)*.

[3] Войдите *(франц.)*.

Долорес уже успела стянуть джемпер. Блузка на ней была расстегнута, брюки сползали с бедер. Она застыла, глядя на тебя во все глаза. Ее руки, злым, резким движением срывавшие одежду, замерли. Она словно вдруг потеряла внутреннюю точку опоры, решимость вызова сломалась.

— Нет. Ради бога.

Вы посмотрели друг другу в глаза — впервые. Ожесточенное выражение исчезло с ее лица. Ее беззащитность и твоя незащищенность перед ней медленно растворялись в чувстве общности, слившись в одно долгое, нестерпимое арпеджио.

— Что с тобой?

— Не знаю.

— Прости меня,— сказала она.

Ее голос пресекся, так же как твой... Глаза, смотревшие прямо в твои, заблестели, потонув в пелене слез.

— Я думала, ты...

— Нет.

— Я не хотела тебя обидеть.

— Я знаю.

— Не смотри на меня так.

Ты закрыл глаза. И ее рука, уводя боль, искупляя, коснулась твоего лица.

— Дорогой. Дорогой мой.

Прозрачный, колдовской голос, прозвучавший так, должно быть, впервые — ради тебя.

Вы легли вместе в ту ночь, и ты не тронул ее. Вас соединили слезы; близость физическая пришла потом, несколько дней спустя, и брачная ночь ваша в старомодной комнате пансиона, скрепленная нежностью и солоноватым привкусом слез, властно перечеркнула все ваше прошлое, превратив тебя и ее как бы в два корабля, слепо пустившихся в совместное плавание по неизведанным морям духовного бытия; странствование это, казалось тебе, будет длиться всю вашу жизнь, и его не остановят беспощадные, скупо отпущенные человеку годы, и ржа повседневности никогда не сможет (или это было только иллюзией?) разрушить до конца то прекрасное, неповторимое, что связало вас, ибо оно бывает только однажды — это (ты знал) сможет лишь смерть и приносимое ею неприметно наступающее забвение. Но когда не станет вас обоих (говорил ты себе), не все ли будет тогда равно, постигла вас катастрофа или нет?

На скошенной стене твоей мансарды на улице Вьей-дю-Тампль висело венецианское зеркало. В минуты близости ты видел в нем ваши тела, слитые в синхронном движении, а насытившись, ты любил молча разглядывать Долорес и удивлялся, как совершенно она сложена. Тело, созданное, казалось, нарочно для тебя, пригнанное по твоей мерке, па́рное твоему: прекрасное и грациозное, упругое и нежное, оно мягко дополняло тебя до какого-то идеального целого. Оно ласкало взгляд, и что-то в нем было, умилявшее тебя, такое, от чего теплело на душе и сладостно становилось к нему прикоснуться, и порой ты с гордостью думал: может быть, оно просто-напросто осязаемое, материальное воплощение твоего собственного духа? Мгновенность его реакций была словно заранее рассчитана, чтобы удовлетворить твою прихотливость, и всех сокровищ мира не хватило бы, чтобы оплатить то, чем оно одарило тебя. Твой рот на ее пылающих губах, плоть твоя в ее плоти, душевный мир, осенивший тебя после долгих, тусклых лет одиночества и тоски,— какой денежной мерой ты это оценишь? И то, как она улыбнулась тебе потом, в первый раз, в минуту, когда ты разомкнул объятия, то выражение пе-

чали и боли в ее улыбке,— чем ты за это заплатишь? Долорес принимала тебя каков ты есть, со всеми причудами, внушенными тебе твоими наставниками, со всеми заклятьями, которые они на тебя наложили, убедив, что необузданная грубость умножает наслаждение. Долорес исподволь приручала тебя, осторожно смиряя твою неистовость, развивая и удовлетворяя растущую в тебе с каждым годом потребность любви. Ваш союз покоился на вашей гармоничной взаимной предназначенности, между вами никогда не бывало недоразумений и размолвок, словно еще до вашего рождения кто-то — дьявол или ангел — позаботился, чтобы между вами во всем было согласие.

Когда в мансарде гаснул свет заходящего солнца, городской пейзаж за окнами: серые крыши и красные трубы, черные коты и белые голуби,— все становилось иным, соотношение интенсивных и слабых тонов быстро менялось, и уже сама эта световая игра сообщала картине непередаваемое очарование; приглушая четкость контуров, сумерки размывали ваше отражение в зеркале, медленно возвращая вас, тебя и ее, к вашей изначальной, а затем искаженной и забытой тождественности. Долорес лежала не шевелясь, поглощенная какой-то своей, неведомой тебе мыслью, а ты чувствовал, как воскресает в безмолвии ночи твоя душа, и твердил про себя — как твердишь и сейчас, несмотря на всю твою нынешнюю хандру и апатию: вы сошлись не от нечего делать, не по случайному стечению обстоятельств, и это справедливо будет и тогда, когда о вас самих не останется даже памяти и развеется самый прах ваш, схороненный, может быть, вдалеке один от другого. Нет, ваша любовь не была пустой, легкомысленной, дешевой интрижкой, нечаянной, мимолетной, бессмысленной и никчемной фривольностью, она была необходимостью и судьбой.

Долорес на минуту вошла в дом, и, ожидая ее возвращения, ты вдруг вспомнил — ты улыбнулся при этом воспоминании — неизменно осыпанное пудрой лицо мадам де Эредиа, черного кота, дремлющего у нее на коленях, и учеников, сидящих вокруг диванчика в стиле Второй империи. Погруженные в небытие полумраком гостиной, смутно темнели на стенах и по углам трофеи и сувениры давней артистической карьеры вашей преподавательницы; что-то нереальное, иллюзорное было растворено в самом воздухе пансиона, словно над всем этим мирком старинных пуфиков и мягких кресел не властны были законы физики, ибо, движимый имманентными законами, он существовал вне времени и пространства, являя собой некую самостоятельную, вполне автономную космогоническую систему, которая странным образом находила оправдание своего бытия в себе самой. «Vous voyez la photo, c'est lui, Frédéric» [1]. Господин лет пятидесяти, с сединой в волосах, элегантный, в простой трикотажной рубашке и светлых брюках. Снят он был на фоне каких-то классических развалин, то ли Пестума, то ли Помпеи. «Un être extraordinaire, Monsieur, un vrai amateur de belle musique, nous nous fréquentons depuis quelque temps».[2] И положив худую желтую руку на слоновую кость клавиатуры, мадам де Эредиа испускала глубокий вздох, после чего урок возобновлялся. В ту осень 1954 года, полную для тебя откровений и душевного подъема, он часто попадался тебе навстречу в коридоре. Впереди, позабыв обо всем на свете, шествовала в восторженном трансе мадам де Эредиа, позади — он. Строгий костюм придавал ему вид солидного биржевика. Уроки отменялись. Повелительный взгляд хозяйки пансиона давал понять ученикам, что их присутствие в гостиной нежела-

[1] Видите это фото, это он, Фредерик *(франц.)*.

[2] Необыкновенный человек, мосье, истинный знаток хорошей музыки. С некоторых пор мы стали бывать друг у друга *(франц.)*.

тельно, ибо Фредерик хочет играть для нее одной, для мадам де Эредиа. Преподавательница тщательно запирала дверь в гостиную, и вот уже оттуда лились вдохновенные звуки Шуберта и рассыпались жемчугом — каждая нотка отдельно — сонаты Скарлатти. Изысканная, овеянная печалью простота отличала исполнение Фредерика. Он играл целыми вечерами; певучие аккорды рояля наполняли полумрак, прерываемые время от времени напряженным безмолвием, от которого в груди перехватывало дыхание. Мадам де Эредиа, не шевелясь, сидела на своем диванчике, держа в руке чашечку чая, а Фредерик, проникновенно исполнив очередную вещь, поворачивался на вертящемся стуле и скромным жестом признательности отвечал на ее благодарный, глубокий вздох. « Un artiste d'une sensibilité raffinée, monsieur, et un critique musical incomparable».[1] Она была счастлива, что ей не надо ни с кем делить это блаженство, что быстротечные часы восхитительного, интимного общения с артистом принадлежат ей одной, и она упивалась ими. «Nous avons tous les deux les mêmes goûts et un même amour pour les belles choses, Mozart, Beethoven, Schubert, Mendelssohn».[2] Ты воображал их обоих, занятых безмолвным — им не нужно было слов — диалогом, унесенных умиротворяющей, светлой музыкой в иной, совершенный мир, где никто не ведает мучительных страстей, в чистый, прекрасный мир, созданный движением рук Фредерика. А осень все тянулась и тянулась. Мадам де Эредиа дважды в неделю доставала из шифоньера свои старые вечерние туалеты и наводила на них блеск: она отправлялась вместе с Фредериком на улицу Гаво или в Театр Елисейских Полей. Их часто сопровождал Себастьен, ее шестнадцатилетний сын, родившийся за два-три месяца до развода матери с отцом. Развода потребовала она: она не могла больше выносить грубости и вульгарности мужа. «J'avais peur au début de lui imposer sa présence, mais il a été tout de suite touché par sa jeunesse et maintenant il l'aime presque comme s'il était son fils» [3]. И преподавательница обстоятельно сопоставляла заурядность и плебейство своего бывшего супруга, для которого существовали одни только низменные, корыстные интересы, одна лишь материальная сторона жизни, с благородством и возвышенностью помыслов Фредерика, чистейшего из возлюбленных, витающего в бесплотном мире духовных наслаждений, зоркого и неутомимого охотника за прекрасным. «Il est trop pur pour être de cette époque,— шептала мадам Эредиа,— nous vivons lui et moi comme deux exilés» [4]. Тихий, интимный полумрак гостиной настраивал на откровенность, располагал к сердечным признаниям, и она поверяла тебе свою любовь — да, ибо их взаимная дружба мало-помалу перешла в любовь, любовь отнюдь не физическую, спешила она уточнить, а все еще платоническую — по крайней мере до сих пор,— поистине ангельскую, но такую могучую, такую неистовую, о существовании которой она, «ma parole» [5], никогда и не подозревала. «Parfois, en jouant du Schubert, il me regarde et ses yeux se remplissent de larmes, sa mère est morte quand il avait dix ans et il ne s'en est jamais remis» [6]. Ты слушал не перебивая, а мадам де Эредиа, позабыв об уроке и об ученике, вся поглощенная своей любовью, расставляла по

[1] Художник поразительно тонкий и чуткий, мосье, и музыкальный критик каких поискать *(франц.)*.

[2] У нас одинаковые вкусы, одинаковая любовь к прекрасному, и нравится нам одно и то же: Моцарт, Бетховен, Шуберт, Мендельсон *(франц.)*.

[3] Вначале я боялась быть навязчивой и не знакомила его с Фредериком, но мой мальчик так плеиил его, что он полюбил его, как родного сына *(франц.)*.

[4] Он слишком чист для нашего века. Мы с ним в этом мире — как два изгнанника *(франц.)*.

[5] Честное слово *(франц.)*.

[6] Иногда, играя Шуберта, он смотрит на меня, и его глаза наполняются слезами. Его мать умерла, когда ему было десять лет, и он так никогда и не смог оправиться от этого удара *(франц.)*.

вазам и кувшинам из керамики, украшавшим гостиную, прекрасные розы, полученные от Фредерика вместе с собственноручно написанной им открыточкой. «Bon, recommençons» [1],— вздыхала она, но ты знал: легкие крылья воображения уже унесли ее далеко-далеко от гостиной, в неведомые салоны, где Фредерик, оторванный от нее своими светскими обязанностями, обсуждает с каким-нибудь меломаном последний блистательный концерт штутгартского камерного оркестра или выносит уничтожающий приговор музыкальному вечеру Шварцкопфа. Его собеседники — такие же необыкновенные личности, как и он сам, такие же оригинальные, поэтические, чистые души, озаряющие мир светлой улыбкой.

Прошло уже три месяца с тех пор, как они начали бывать друг у друга, а Фредерик еще не открыл ей своего сердца и не признался в любви. Но какое это имеет значение. Зато как он на нее смотрит, какие многозначительные паузы следуют за его завораживающей игрой! Он любит ее, да, любит, и она тоже любит его,— хотя в отличие от ее мужа, этого мужлана, безнадежно погрязшего в прозе жизни — без отвращения она о нем вспомнить не может! — Фредерик не только не делает никаких попыток к интимному сближению, но ни разу даже не попытался ее поцеловать. Пылко сжать ее руку, сопроводив этот жест ласкающим взглядом бархатных газельих глаз,— ему достаточно и этого. « Il a vécu jusqu'à maintenant si sevré d'amour qu'il n'ose pas y croire, monsieur, notre histoire lui parait un rêve» [2]. И в подтверждение ее слов вновь появлялся в пансионе Фредерик. Строгий костюм делового человека из Сити, неизменный, девственно свежий, подобранный с безукоризненным вкусом букет цветов — этот человек был сама квинтэссенция той неуловимой, не поддающейся определению изысканности, по которой (объясняла преподавательница) безошибочно узнаешь джентльмена. Ты шел к себе в комнату, а они оставались вдвоем и с наслаждением погружались в тихий омут своей любви и счастья. Проходило несколько мгновений; ты с любопытством ждал минуты, когда первый аккорд рояля возвестит о начале мистического диалога между влюбленными и Фредерик, устремив пристальный взгляд на свою даму, страстно сожмет ей руку, как бы в надежде, что это прикосновение поведает ей всю невыразимость обуревающего его нерастраченного чувства. «Non, il n'y a rien encore, il a une sensibilité, à fleur de peau et je ne veux pas brusquer les choses» [3],— говорила после его ухода мадам де Эредиа. Вероятно, женщины внушают ему страх.

В последнее время Себастьен часто навещал мать, и Фредерик проявлял к нему прямо-таки отцовскую привязанность. Мадам де Эредиа только диву давалась, она нарадоваться не могла их дружбе. «il se sent seul, vous comprenez? Il éprouve le besoin de s'intégrer dans une famille» [4]. И в который уже раз бросив ученика и забыв про урок сольфеджио, она своим красивым сопрано рассказывала тебе о вчерашнем концерте и вновь с наслаждением переживала каждую подробность. Фредерик уделяет мальчику столько внимания, просто удивительно. Он так старается привить ему понимание хорошей музыки, выработать у него тонкий художественный вкус. «Il m'aime, oui, il m'aime, il va me parler bientôt, je le sens» [5]. Сидя в темноте гостиной, мадам де

---

[1] Хорошо, продолжим *(франц.)*.

[2] До сих пор, мосье, жизнь не баловала его любовью, он даже не смеет верить, ему кажется, наша встреча — это сон *(франц.)*.

[3] Нет, между нами еще ничего не изменилось. Он так чувствителен, и я не хочу форсировать события *(франц.)*.

[4] Понимаете, он так одинок. Он ощущает потребность в семейном очаге *(франц.)*.

[5] Он любит меня, да, он меня любит, я чувствую, он мие скоро признается *(франц.)*.

Эредиа рассуждала сама с собой: «Ce soir, peut-être demain» [1],— и кот, сладострастно потягиваясь, молча с ней соглашался.

Нервы мадам де Эредиа начали явно сдавать. Проверяя на уроках сольфеджио выполненные учениками задания, она вдруг умолкала, не договорив фразы до конца, и потерянно смотрела на малиново-красные розы, стоявшие в фарфоровых и глиняных вазах. «Il faut qu'il se décide,— сказала она тебе, когда вместе с сыном, как обычно по четвергам, отправлялась на концерт,— je n'en peux plus de cette partie de cache-cache ».[2]

Она возвратилась удрученная, а ты эгоистически выключил у себя свет, чтобы не выслушивать ее бесконечные сетования. Ее фронтальные атаки неизменно терпели крах, Фредерик каждый раз находил способ уклониться от ответа, все оставалось по-прежнему, то есть на точке замерзания, несмотря на все ее хитроумные уловки. В иные минуты мадам де Эредиа приходила к мысли, что Фредерик ее разлюбил, ей чудился в его глазах какой-то жесткий металлический блеск. Она воображала себе бог весть что, бредила наяву. «Il va me rendre folle,— говорила она.— C'est aujourd'hui où jamais» [3]. Но снова вступал в права священный ритуал букетов и пылких открыточек, разнеживающей и возбуждающей музыки, долгих, нескончаемых пауз — вплоть до памятной ночи, когда *он* не пришел и не прислал ни букета роз, ни пылкой открыточки, а она звонила и звонила ему по телефону, а он все не отвечал и не отвечал, и она не могла бросить ему в лицо, как пригоршню конфетти, слова упреков и оскорблений, брани и угроз, а через полчаса уже готова была все забыть и простить, лишь бы услышать его голос, его спокойные, убедительные извинения. Всю ночь она не смежала век, и в бессонной лихорадке ей чудились его мягкие, врачующие душу интонации, он шептал ей старые, как мир, слова: «Je t'aime, Edmonde, je t'aime, pardon, pardon encore ma douce, ma belle, ma tendre amie ».[4] И ты в конце концов уснул, убаюканный шелестом ее шагов, ее лихорадочным бредовым монологом: «Oui, c'est ça, il a une maîtresse el il a eu peur de me l'avouer, mais je lui pardonne, sa presence seule me suffit ».[5] А проснулся ты с ощущением, что на пансион обрушилось стихийное бедствие. Мадам де Эредиа, растерзанная, взлохмаченная, бегала по гостиной, как зверь в клетке, зажатая теснившимися вокруг нее мертвыми фотографиями, увядшими розами и воспоминаниями о возвышающих душу концертах, которые никогда — «mon Dieu, oh, mon Dieu» [6],— никогда больше не повторятся. В руках она мяла почтовый конверт. Ее вернули к действительности, к безрадостной старости — необратимое время цепко держало ее в своем капкане, жизнь преподала ей жестокий урок. «Monsieur, vous vous rendez compte? — всхлипнула она, протягивая тебе письмо.— Le salaud il a foutu le camp avec mon fils ! » [7].

Вы сидели вдвоем в углу сада, и ты с покорным упорством Пенелопы ткал и распускал тончайшую, до бесконечности растяжимую ткань воображаемого диалога.

---

[1] Если не нынче вечером, то завтра *(франц.)*.

[2] Должен же он наконец решиться. Мне надоела эта игра в прятки *(франц.)*.

[3] Он меня сведет с ума. Сегодня или никогда *(франц.)*.

[4] Я люблю тебя, Эдмонда, я люблю тебя, прости меня, прости, мой милый, мой прекрасный, мой нежный друг *(франц.)*.

[5] Да, это так, у него есть любовница, и он побоялся мне в этом признаться, но я его прощаю, мне достаточно одного его присутствия *(франц.)*.

[6] О боже, о боже мой *(франц.)*.

[7] Мосье, вообразите! Этот сукин сын сбежал с моим мальчиком! *(франц.)*.

— Ты меня любишь?
— Да.
— Мы знакомы всего восемь дней. Ты ведь не знаешь меня.
— Я знаю тебя всю жизнь.
— Поцелуй меня.
— Я все больше влюбляюсь в тебя.
— Дай твои губы.
— Ты не такая, как другие, и я тоже. Мы созданы друг для друга.
— Разве ты не хочешь меня?
— Мне страшно.
— А с другими женщинами тоже страшно?
— Мне только перед тобой страшно.
— Дай я тебя приласкаю.
— Тебя больше нет. Я тебя поглотил.
— Нашей любви уже полгода. Я тебя еще интересую?
— Еще? Этому «еще» не будет конца.
— Тебе нравится мое тело?
— Я не знаю его. Я никогда не узнаю всего, что оно таит.
— И я люблю твое тело. Всегда люблю, каждый день. Каждую минуту.
— Я заблудился в тебе. В твоем лоне. В твоих глазах.
— Любовь моя.
— Ты моя единственная женщина.
— Ты начал привыкать ко мне?
— Я к тебе никогда не привыкну.
— Год. Уже целый год, как мы вместе.
— Забудь про время.
— Но оно про нас не забывает.
— Прошлое не в счет. В счет — ты одна.
— А все, что было прежде? Ты не жалеешь о нем?
— С тех пор как ты со мной, того, что было прежде, не существует. Я родился с твоим появлением. Я начинаюсь с тебя.
— А помнишь, ты боялся меня?
— Я и сейчас тебя боюсь.
— Мое тело принадлежит тебе.
— Да, но я не обладаю им. Оно воздух, которым я дышу, вода, что струится у меня между пальцев.
— Ты не чувствуешь усталости?
— Я пью — и не могу утолить жажду.
— Мне необходимо знать, что ты меня любишь. Что любишь всегда, каждый час. Что вот сейчас любишь, вот в эту минуту.
— Два года, как для меня настал мир. Два года забвения. Я родился всего два года назад.
— Времени не существует.
— Мое прошлое — это ты. У меня в паспорте указаны неверные данные.
— Ты любишь меня?
— Твое тело для меня по-прежнему тайна. Оно бесконечно.
— Зачем ты так много пил вчера?
— Не выдержал. Вначале я еще мог примириться, что ты смотришь на других мужчин. Теперь — нет.
— Что же ты мне не сказал?
— Быть третьим лишним? Ты свободна.
— Я не свободна. И ты тоже.
— Ревность отвратительна.
— Ты чересчур скрытен. Мы прожили вместе три года, а порой мне кажется, что я совсем не знаю тебя.

— Я не скрытен. Я целомудрен.

— Я никогда не держу ничего на сердце. Если что-то не по мне, я тебе всегда говорю.

— Ты сильней меня.

— За последнее время в тебе произошла какая-то перемена.

— Я постарел.

— Ты смотришь на меня, а вид у тебя такой, словно ты думаешь о чем-то другом.

— Мне опостылела моя работа.

— Брось ее. Вернись в Испанию.

— Для меня Испания кончилась.

— Отправься путешествовать.

— Путешествия ничего не меняют.

— Ты слишком много пьешь.

— А что мне остается делать?

— Значит, я не опора для тебя?

— Я этого не говорил.

— Когда я вижу, что ты в плохом настроении, и у меня настроение портится.

— Ты тут ни при чем.

— Мысль, что я могу вызвать у тебя досаду или раздражение, для меня невыносима. Я тебя люблю. Я по-прежнему влюблена в тебя.

— Я в тебя — тоже. Но мы ничем не можем помочь друг другу.

— Почему ты так говоришь?

— Ты же знаешь меня.

— Это все не имеет значения. Я горжусь тобой.

— Мы с тобой уже никогда не встретимся.

— Тебе разонравилось мое тело?

— Я не могу им насытиться.

— Знаешь, мы уже пять лет вместе.

— Ты тоже что-то хандришь последнее время.

— Это из-за тебя. Я страдаю, когда вижу, что тебе приходится делать то, к чему не лежит душа. И когда ты пьешь. И когда у тебя появляются желания, от которых я бессильна тебя отвлечь.

— У каждого свой характер.

— Бывают минуты, когда мне кажется, что ты меня не любишь.

— Я люблю тебя.

— Ревнуешь — да, но любви я не чувствую.

— Отчего ты плачешь?

— У меня не все в порядке.

— Тебе вчера стало плохо из-за этого?

— Боюсь, что да.

— Скандал.

— Не беспокойся. Я все улажу.

— Я не принуждаю тебя.

— Это я себя принуждаю.

— Я ничего не хочу после себя оставлять, понимаешь?

— Ты ничего и не оставишь, ни со мной, ни с другими.

— Это единственная доступная мне свобода.

— Мне приходится дорого за нее платить.

— Не надо вспоминать.

— Я не могу. Все время вижу над собой его сальное лицо. Пальцы у него были, как сосиски.

— У тебя в глазах какой-то странный блеск, раньше я его не замечал.

— Я еще не пережила Женевы.

— Слишком мало прошло времени. Дай срок, забудется и она.

— Да, теперь это позади. Потому и стал возможен Энрике.
— Не называй этого имени.
— Ты заставил меня окунуться в грязь. Мне необходимо было отомстить тебе.
— Есть вещи, о которых я не могу говорить. У меня дырявая биография — вся в пробелах.
— Я обошла бы пешком весь свет, только бы смыть с себя грязь. Только бы выжечь это воспоминание, чтобы оно не было связано с тобой.
— Молчи. Мне и без того скверно.
— А как бы я хотела, чтобы ты был счастлив.
— Только все выходит наоборот.
— Зачем ты это сделал?
— Я прокатился на тоботтане, а когда вышел, мне стало плохо.
— Ты хотел покончить с собой?
— Да.
— Лучше бы мне не дожить до этого дня.
— Не плачь.
— Я думала, что на Кубе ты станешь прежним.
— У меня нет ни родины, ни близких.
— Что ты думаешь делать?
— Я ничего не могу делать. Я даже не знаю, кто я такой.
— А друзья?
— У меня нет друзей.
— Все не имеет значения — лишь бы только ты хотел жить.
— Я хочу жить.
— Что ты здесь ищешь?
— Не знаю.
— Ты любишь меня?
— Я родился, чтобы любить тебя и страдать из-за тебя.

(Образы прошлого растворяются в воздухе, призрачные, как образы людей с семейной фотографии, которую когда-то сделали здесь, в этом вот саду, где ты сейчас отдыхаешь, под этими же эвкалиптами. Незримый воздушный танец отшумевших шагов и мертвых голосов, тихая, бескровная гекатомба глубоких и давно изжитых волнений, неощутимое течение дней, все подтачивающее, все разъедающее своей ржавчиной. Только ты и она удерживаете непрочное равновесие, словно вы заговорены, словно вам не грозит неизбежное крушение.)

В твоей памяти всплывает одна картина: Париж, трудяга-канал Сен-Мартен; на его глади лениво отсвечивает зимнее солнце.

Ты прогуливаешься, шагаешь не торопясь. Араб, зазевавшийся на подъемные краны, двинулся дальше, настороженный, недоверчивый. Тебя отделяет от него метров двадцать, и ты можешь в свое удовольствие разглядывать его резиновые сапоги, брюки из синей чертовой кожи, куртку на бараньем меху и плотно сидящую на голове шерстяную шапку с ушами. Скромная фигура, а весь облик улицы изменился. Дойдя до оголенных деревцев сквера, араб поворачивает к бульвару и, не оглядываясь по сторонам, ждет зеленого света, потом пересекает мостовую и ныряет под железные перекрытия метро, выходящего здесь на поверхность. Как ты и думал, он направляется к бульвару Шапель. Ты следуешь за ним.

День ветреный, на деревянных скамьях — ни одного бродяги. Два-три пешехода торопливо спешат по своим делам. На центральной платформе кучка зевак сгрудилась вокруг пары заядлых игроков в шары. Араб останавливается и глядит на них, а сам думает о чем-то своем. Подходишь ты и тоже начинаешь смотреть на игру. Он переводит взгляд

на тебя, у него черные, глубоко сидящие глаза. Вынув из кармана своей меховой куртки правую руку, он машинально поглаживает большим и указательным пальцем усы.

Пробегают мимо мальчишки в ковбойских костюмчиках, стреляя на бегу из игрушечных пистолетов.

Араб шагает размеренным шагом и внимательно разглядывает лавки и магазины, расположенные на нечетной стороне улицы. Две строгие, молчаливые блюстительницы нравов из Армии спасения направляются в сторону бульвара Барбес, на их лицах — постная божья благодать. Чахоточное солнце покрывает язвами изъеденные фасады домов и без блеска отражается в стеклах окон.

(Лицо Херонимо — неизменная линия горизонта в твоем внутреннем мире, а образы последующих перевоплощений Херонимо, то мягкие, то властные, то мечтательные, то энергичные, были непременным фоном, незримым водяным знаком всех перипетий твоей страсти к Долорес; они являлись внезапно, и им была присуща та же магнетическая сила, та же власть, что победила тебя тогда, в первый раз.)

А потом вы расстались. Он не дал тебе своего адреса и не спросил твоего. У него было две жены и шестеро детей. Ты даже не знаешь, как его звали.

Ты медленно перелистывал атлас. Пестрая, непостоянная, кроеная и перекроенная политическая карта Европы. Каждая страница вызывала в памяти какой-нибудь эпизод или образ, и он еще одним отягчающим, а иногда облегчающим обстоятельством присоединялся к твоей с Долорес общей судьбе и незаметно видоизменял ее.

Во Франс Пресс ты начал с фоторепортажей, носился по всему свету и стряпал розовые идиллии о печальных принцессах (казалось, на посту шеф-редактора «Франс Диманш» подвизался второй Рубен Дарио) и животрепещущие отчеты о громких бракоразводных процессах кинозвезд. (« J'ai surpris Annette dans les bras de Sacha ».[1]) Беспокойная репортерская жизнь на какое-то время вознаградила тебя за безвозвратно утерянную — после конфискации отснятой пленки — надежду поставить задуманный фильм об эмиграции испанских рабочих. Долорес сопровождала тебя в твоих странствиях, и тоска по Испании мало-помалу затихла в тебе; затянувшаяся разлука с родиной, безразличие твое к народу и его безразличие к тебе, казалось, иссушили один за другим все корни, соединявшие тебя с землей, на которой ты вырос. Ветвь, отрубленная от дерева, вырванная трава, изгнанник, отторгнутый ревнивыми захватчиками от твоего с ними общего векового достояния,— сколько вас было таких во все времена и сколько вас теперь!

Ты лежал в саду, где когда-то нескладным подростком томился в кругу своей семьи, пока однажды мальчишечья страсть к Херонимо не распахнула перед тобою мир.

В голове лениво проходили амстердамские воспоминания. Обольстительные проститутки за неоновыми витринами улицы Зеедэйка — плененные и посаженные в аквариум сирены. Бар «Маскотт» и оркестр роботов, исполнявших калипсо,— их глаза изрыгали огонь. На каналах пятна нефти, оставленные пароходами, расплываются, похожие на крылья утонувших гигантских бабочек. На Синт-Олофс Стееч матросы стоят в очереди на татуировку. Дансинг, где Долорес кокетничала с антильцем; ты устроил ей за это сцену, а потом вы целовались так, что чуть не задушили друг друга.

Теперь она разглядывала вместе с тобой миниатюрный план города,

[1] Я застала Аннет в объятиях Саши *(франц.)*.

напечатанный в углу карты Голландии. Вспоминались забытые улицы, по которым вы гуляли вдвоем. Обрывки ваших давних разговоров. Они всплывали, как пузыри на воде, и тут же исчезали, сменяясь другими образами,— головокружительный, пестрый калейдоскоп былых впечатлений, чувств, мыслей.

(На своей родной почве, на этой неласковой, бесплодной равнине, под гнетом вашей извечной испанской нетерпимости культура твоего народа зачахла, зато какие же крепкие, щедрые побеги дала она здесь, во Фландрии, в Нидерландах, где под защитой протестантской реформации утвердилась невиданная дотоле широта мысли! Творческие силы, ничем больше не скованные, разом выявились, расцвели, и расцвет этот был долог и не знал спадов. Подобно семени, занесенному ветром на тучную землю, талант твоих соплеменников попал в благодатную среду, и это дало плоды, которые и теперь, несколько веков спустя, указывают на то, какой могучий запас энергии, какую бунтующую мощь влили пришельцы в жизнь этих стран; и ты думал, что, конечно, энергия эта достойна была иного, лучшего применения, она могла бы послужить к обновлению твоей родины. Скитальческая Испания, Испания-изгнанница вытеснила из твоего сердца Испанию официальную, постылую страну господ и рабов, страну тупой черни, ничего не желающей видеть и знать, кроме боя быков и церковных процессий на страстной неделе.)

В Гамбурге вы перебывали подряд во всех барах на Реперban и Сант-Паоли («Крысиный погребок», «Катакомбы», «Рыжая кошка», «Мустафа», «Венера»). А в Брюгге (помнишь, Долорес!) глядели разинув рот на невиданную сцену: серьезные фламандские детишки, сошедшие, казалось, с какой-нибудь заалтарной росписи эпохи барокко, устроили состязание в беге для своих бабушек — дети с невозмутимым видом выполняли роль распорядителей, а почтенного вида старушки улыбались и послушно трусили вокруг искусственного озерца, где цвели белые лилии; так они обежали его несколько раз. Тренированные старушки! Вы ахали и восхищались, однако мало-помалу бездумное удивление первых месяцев уступило место иному, двойственному чувству: вы очутились в царстве торжествующей техники, но от этой новой религии европейцев веяло таким холодом! Подъемные краны, строительные леса, бульдозеры, заводские трубы, которые ты увидел в Руре,— это была лишь декорация. Ты вдруг понял, что стремишься завоевать мир, который вовсе не подходит тебе. За обманчивой видимостью комфорта скрывались жестокие условия жизни, не оставлявшие места для чувств: мерилом человеческих отношений был чистоган. И твой протест, думал ты, неуместен здесь, как и любое другое чувство,— он лишь духовное порождение вашего докапиталистического, феодального испанского мира, который дышит на ладан и рухнет не оттого, что этого требуют мораль и справедливость, и не оттого, что ты и твои друзья совершите великие подвиги, чтобы его сокрушить, а просто-напросто в силу динамики экономического развития.

С каждой страницы атласа вставало какое-нибудь воспоминание, и каждое воспоминание связано было с Долорес, то чужой и враждебной, то охваченной страстью, любящей. Вот она стоит на фоне утесов Марина-Пиккола, и в ее огромных глазах — бездонное солнце. Вот она на улицах Рима — не такая, как обычно: походка, движения словно подчинены некой гармоничной мелодии, которую слышит только она одна. А вот, забыв обо всем, она смотрит на удивительных «Регентш» Гальса, не в силах оторваться от этой чудесной игры света и теней, от покоряющего ритма картины.

Облака, плывшие на юго-восток, подернулись на минуту-другую тусклым пепельным налетом. Вдалеке слышались автомобильные гудки и астматическое пыхтение паровоза.

Долорес вышла на кухню, принесла бутылку и поставила ее в ведерко со льдом. Оставалось две-три минуты до вечернего благовеста и горьких капель доктора Аньера. В лесу пронзительные голоса цикад слились в один общий хор. Ты раскрыл атлас посредине.

МОНАКО — государство-княжество в юж. Европе, на побережье Средиземного м., в пределах терр. Франции. Пл.— 1,5 км². Коренное нас.— монегаски. Столица — Монако. Удобная естественная гавань, образуемая скалистым выступом Приморских Альп. Порт. Известный игорный дом (Казино). Морской курорт.

Последний раз ты был там через несколько недель после того, как потерял сознание на бульваре Ришара Ленуара. Тогда ты попал случайно на концерт: это был вечер твиста, рок-н-ролла и мэдисона. Зрелище поразило тебя, никогда ничего подобного ты не видел. Публика пришла в какое-то мистическое исступление, некоторые впадали в транс, и эта атмосфера религиозного экстаза свершила чудо: стряхнула с тебя оцепенение.

Где, на какой планете ты до сих пор обретался?

...В 1956 году, молодые и еще всем довольные, вы с Долорес побывали в Казино, в тех самых залах, где дядя Нестор когда-то просадил все свое состояние. Вы тоже попытали счастья, вам не повезло, и вы вышли на бельведер. Отсюда открывался прекрасный вид на кварталы Кондамина. Вечерело. Серая вода порта начала фосфоресцировать, и ни красные огни бакенов, ни белый неон фонарей не в силах были затмить этот призрачный свет. Жизнь улыбалась вам, тобой всецело владела страсть, которую, казалось, никогда не насытить, и вот в этот миг полноты бытия тебя внезапно, до содрогания осязаемо пронзило ощущение необратимости времени, его потаенной разрушающей работы, которая несет смерть вашим чувствам и перед которой вы бессильны. За много лет до вас в этом городе жил дядя Нестор со своей подругой-ирландкой, и они, так же как сейчас вы, были поглощены друг другом и своей любовью. Дело, за которое оба они боролись, победило, и будущее, вероятно, рисовалось им как один бесконечный светлый день. Быть может, они даже наивно верили, что теперь никакая сила в мире не сумеет расторгнуть их союз, они будут жить вечно, и ничто не коснется их, и вместе с ними, послушная, будет жить их любовь, и ей тоже не будет конца.

Тридцатилетняя дистанция вдруг исчезла, судьба смешала карты. И перед тобой был скалистый выступ, и дворец на нем, и медленно стирающий их ночной сумрак. Порт затих, скованный оцепенением покоя. Из-за мыса вынырнул катер, домчался до казино и унесся обратно в море.

Кто же любовался жизнью сонного порта? Вы? Или они?

С тех пор прошло семь лет, и если ты снова задашь себе этот вопрос, то, по совести говоря, и теперь не сможешь на него ответить.

Издали доносятся громкие крики детей, ты даже вздрагиваешь.

— *Тетя Долорес...*
— *А-а-а...*
— *Луисито укусила оса...*
— *А-а-а...*
— *Оса...*
— *А-а-а...*
— *Тетя Долорес...*
— *А-а-а-а-а а-а-а-а-а...*

Четыре года тому назад
через несколько месяцев после провала всеобщей мирной забастовки

и после второй волны арестов
ты с толпой делегатов конгресса созванного в Женеве несомненно с альтруистической целью принести пользу человечеству шел через мост Монблан и глядел на призрачных как лунный свет лебедей словно в забытьи застывших на озере
один из тех прекраснодушных конгрессов против войны голода безработицы болезней отсталости на которые так изобретателен процветающий туристский промысел Швейцарии
(а почему не созывают конгрессов
спрашивал ты себя
те кто хотят истребить человечество
можно было бы пригласить в качестве экспертов самых прославленных гангстеров и убийц нашего века
Ляндрю Петио Джулиано Аль Капоне Диллингера)
и мальчик шагая вдоль парапета моста критически и осуждающе смотрел на унылый швейцарский пейзаж на этот пейзаж со швейцарской почтовой открытки...
— *Что мы тут делаем...*
— *Долорес необходимо повидать одного человека...*
— *Кого это...*
— *Одного знакомого...*
— *Здесь скучно...*
— *Посмотри на озеро...*
— *Оно мне не нравится...*
— *Покатаемся на лодке...*
— *Давай вернемся в Париж...*
Здесь в комнате санатория «Бель-Эр» когда тебя еще не было на свете повесился дядя Нестор и вместе с ним умер его бунт против современного ему испанского общества и точно так же умрет с тобою и твой бунт если ты не сумеешь придать ему конкретную и четкую форму и направить в нужное русло *...Хочешь мороженого...* последнее что он видел был леденящий швейцарский пейзаж озеро гора ели снег *...Нет не хочу...* белое северное небо зябкое неживое солнце он глядел и привязывал свое шелковое кашне к шпингалету окна, а потом перечитал в последний раз письмо к твоей бабушке *...Так чего же ты тогда хочешь...* это письмо она хранила всю жизнь и никому не показывала и мать тоже не дала тебе его прочесть *...Я хочу домой...* весь потенциальный запас его бунтарства пропал зря свелся в их памяти к пустому звуку к полузабытому имени которым означена засохшая ветвь умирающего генеалогического древа *...А где тетя...* ты эпилог а не первая глава тобой должны завершиться все их заблуждения *...Сейчас мы ее встретим...* и пусть от тебя ничего не останется пусть оно будет погребено *...Где...* исправить и забыть *...Тут рядом...* пусть оно будет погребено на дне Швейцарского озера вместе с семенем кровью и нечистотами всех клоак...
— *Купи мне «Микки»...*
Она сидела напротив тебя и ты с мучительным вниманием смотрел на ее колени стройная почти совершенная линия их изгиба терялась в складках юбки *...Что же нам делать...* прекрасные ноги на которых ты знал каждый волосок (страсть внимательна и не жалеет времени на такие вещи) *...Не знаю это так неожиданно...* колени словно отрублены краем клетчатого подола *...А чего хочешь ты...* в ее глазах вспыхнуло озлобление как в тот давний день в пансионе мадам де Эредиа когда она с вызовом стала раздеваться *...Ты же знаешь что я об этом думаю но если ты хочешь...* ты перевел взгляд на край клетчатого подола... *...Я ничего не хочу мне только надо знать чего хочешь ты...* на углубление между сдвинутыми бедрами убегавшее от колен вглубь туда где

пряталось вожделенное лоно *...Если ты боишься...* взгляд ее как бы мельком встретился с твоим взглядом и снова в нем вспыхнул тот странный огонек *...Нет я не боюсь...* целомудренным движением она оправила юбку еще ниже натянув ее на колени *...Если ты опасаешься риска...* она закурила сигарету и стала нервно перелистывать иллюстрированный журнал *...Это совершенно безопасно не волнуйся женщины смотрят на это проще я все улажу сама...*

вы должны были встретиться в кафе на площади Бур-дю-Фур облюбованном студентами архитектурной школы

мальчик на ходу читал своего «Микки» а из отелей на площади Лонжмаль направлялись к мосту все новые и новые делегации со своими эмблемами и флажками

американцы похожие на скотоводов протестантские пасторы в стоячих белых воротничках живописные группы африканцев в национальных костюмах добродетельные дамы с застывшей улыбкой напоминающей рекламу зубной пасты

сначала дядя Нестор проверил выдержит ли кашне а потом привязал его к шпингалету и взглянул поверх елей парка «Бель-Эр» на темную неподвижную гладь озера Леман и может быть подумал о бессмысленности бунта обреченного умереть вместе с его носителем...

— *Куда мы идем...*

— *Встречать Долорес...*

— *Я устал...*

— *Это тут рядом...*

Если кончать так только тут на берегах этого швейцарского озера с его неврастеничным пейзажем дядя Нестор недаром покончил с собой именно здесь трудно придумать место более подходящее видно какой-то фатум тяготеет над вашей семьей

Ты отрываешь глаза от цветных страниц атласа по которым можно было изучить физическую политическую экономическую и языковую географию Швейцарской федерации и встаешь с шезлонга в тот самый миг когда раздался пронзительный визг мальчика топот служанки испуганно кинувшейся ему на помощь и спокойный голос Долорес...

— *Будьте любезны принесите мне пожалуйста вату и йод...*

Ты возвращаешься в сад

дверь парадного открылась и вышла Долорес ты впился в нее глазами пытаясь по выражению лица угадать ее чувства

гибкая талия ни намека на живот стройные ноги смелая элегантная линия итальянских туфелек...

— Un café s'il vous plait.[1]

— *Тетя Долорес...*

Она достала портсигар вынула сигарету закурила и медленно выдохнула дым...

— *Что он сказал...*

— *Сегодня в четыре...*

— *Тетя Долорес...*

— *Что милый...*

— *А когда мы поедем...*

Всю неизрасходованную нежность своего неудавшегося материнства она изливала на мальчика вкладывая в каждый жест столько чувства будто ласкала ребенка в последний раз...

— *Внушает он доверие...*

— *Мне это сейчас абсолютно безразлично...*

Через четыре часа ты снова станешь свободен и никакие узы долга

---

[1] Чашку кофе, пожалуйста *(франц.)*.

не будут больше привязывать тебя к жизни и никто уже не помешает тебе уйти в страну глухого забвения как это сделал дядя Нестор...

— *А может стоит сходить по второму адресу...*

— *Ради бога замолчи...*

Вы лежали в номере гостиницы и ждали назначенного часа и ты не знал что бродит сейчас у нее в мыслях стена отчужденности встала между вами как между незнакомыми мужчиной и женщиной которых случайно свело легкомыслие

мальчик пускал в ванной бумажные кораблики у него было две флотилии и между ними шла война кипели морские сражения бомбардировщики сбрасывали бомбы подводные лодки выпускали торпеды землю сотрясали атомные взрывы а Долорес курила сигарету за сигаретой прикуривая одну от окурка другой и невидящими глазами смотрела на обои в цветочки

а у тебя стояло перед глазами мрачное здание санатория «Бель-Эр» который ты посетил когда впервые приехал в Швейцарию

еще и тогда тридцать пять лет спустя там обитала неприкаянная тень дяди Нестора

резкий холодный ветер косой дождь мокрый печальный сад

так же как дядя Нестор ты решил отречься от всего что получил незаслуженно от всего что дали тебе не спросив хочешь ли ты этого и нужны ли тебе

их бог религия мораль законы богатство

и ты говорил себе

нет тебя привела сюда не случайность

смертельная тревога сегодняшнего дня это лишь преддверие

тебе недолго осталось жить

неудачник не сумевший создать даже своего документального фильма об испанцах согнанных с родной земли эксплуатацией безработицей голодом несправедливостью

в тебе кричит твое бунтарство но твое бунтарство умрет вместе с тобой

Долорес начала собираться это было похоже на торжественный и суеверный обряд она священнодействовала как тореро когда он одевается перед боем в свое пышное платье а ты снова смотрел на ее бедное тело созданное для любви нежности и страдания...

— *Ты мне этого не простишь...*

— *Прощу...*

разрезанный надвое арбуз лезвие погружается в сочную красную мякоть...

ты шагнул к ней и неловко грубо притянул к себе за талию...

— *Поклянись...*

Флотилия бумажных корабликов покоилась на дне ванны мальчику надоело играть гримаска нестерпимой скуки появилась на его лице

— *Куда ты идешь...*

— *Мне надо кое-что купить...*

— *А дядя...*

— *Он поведет тебя гулять...*

— *Я устал...*

— *Мы пойдем в парк...*

— *Не хочу...*

— *А чего ты хочешь...*

— *Я хочу в Париж...*

Она ушла надушенная одетая нарядно как на свадьбу чтобы с

кровью исторгнуть из себя и навеки утопить в этом растленном озере ненавистное семя

ты еще мог удержать ее обнять упросить чтобы она не ходила...

— *Я буду ждать тебя в баре напротив...*

— *Как хочешь...*

— *В баре на террасе...*

ты подошел к окну отвел гардину в сторону и смотрел как Долорес вместе с дисциплинированными швейцарскими пешеходами стоит у перекрестка...

— *На что ты смотришь...*

— *Просто так ни на что...*

— *Мне скучно...*

— *Мы пойдем гулять...*

вы сбежали вниз по красному ковру лестницы ты отдал ключ привратнице купил номер «Трибюн»

в Индии миллионы людей умирают от голода расовая дискриминация национальных меньшинств жертвы атомной радиации

отличный предлог для бесконечной карусели комиссий подкомиссий комитетов делегаций секретариатов

вполне современная цельнометаллическая холодная и весьма эффективная машина имеющая своим назначением

заявляла она

благо каждого человека в отдельности и спасение всего человечества в целом

монахини в белых крылатых чепчиках похожих на огромных индийских бабочек их лица гладки и жестки как набалдашник трости скандинавские туристы с веснушчатыми физиономиями и пшеничными волосами благодушно самодовольный народ часовщиков и вкрапленные в него рабочие-итальянцы с резко вылепленными чертами и с мозолистыми натруженными руками женщины-испанки в традиционных черных платьях выброшенные из селений Месеты у каждой в руках непремеиный картонный чемодан и каждая робко жмется к другой.

Женева конечная станция и пребывание здесь никому не проходит безнаказанно дядя Нестор если бы и захотел не придумал бы места лучше чтобы покончить счеты с жизнью а Долорес чтобы уничтожить проклятое семя...

— Pardon vous désirez quelque chose...

— Merci madame je me promenais...[1]

ты усмехнулся...

— Quelqu'un de ma famille est mort ici il y a longtemps vous comprenez...[2]

нет она не поняла

она смотрела на тебя с нескрываемой подозрительностью их было двое в портале обе пожилые и обе с внезапно застывшими лицами делали вид будто пытаются определить моросит ли дождь

ты повернулся и по обсаженной елями дорожке двинулся обратно к воротам железной ограды за которой была улица

« CLINIQUE DU BEL-AIR ».[3]

Ты снова сидишь на террасе и глаза твои прикованы к карте Швейцарской федерации изнутри дома просачиваются приглушенные всхлипывания мальчика...

— *Я хочу в кино...*

---

[1] — Простите, вам что-нибудь нужно...
— Благодарю, мадам, я просто прогуливаюсь *(франц.)*.

[2] Понимаете ли, здесь умер один мой родственник много лет назад *(франц.)*.

[3] Клиника «Бель-Эр» *(франц.)*.

«MONKEY-BUSINESS» by the Marx Brothers doublé en français.[1]

через час надо быть на бульваре Транше терраса кафе как раз напротив привратницкой...

— Deux places s'il vous plait.[2]

зал встретил вас раскатами хохота

контролерша посветила фонариком и проследив за его лучом ты увидел в первом ряду пустые места...

— *Мне плохо видно...*

— *Ш-ш-ш..!*

— *Давай сядем сзади...*

— *Тихо...*

сменявшиеся на экране кадры смутно напомнили тебе какую-то кинокартину которую ты в блаженном краю своего детства однажды в четверг смотрел вместе с матерью

черт как же она называлась по-испански

светящийся циферблат часов на стене показывал ровно четыре жирные руки перебирают инструменты...

— *Почему он не стреляет...*

Долорес выходит из галереи ведя за руку Луисито и снова на ее лице чистота неведения и счастье...

— Его укусила оса...

— Больно тебе...

— Очень...

— Мальчики не плачут когда им одиннадцать лет...

Она лежит на кушетке он может воспользоваться ее беспомощностью

...Он хочет от него убежать да...

все было ни к чему в книге судеб было записано что это кончится Швейцарией грязной клоакой на дне Женевского озера

Ты поднялся с места...

— *Пошли...*

— *Еще не конец...*

— *Нас ждет Долорес...*

Опять Женева интернациональная и захолустная безликая и расточительно богатая и ты предоставленный самому себе лицом к лицу со всем своим наследием и непрошенными дарами

Долорес садится рядом с тобой закинув ногу на ногу и внимательно так же как ты стала разглядывать карту Швейцарской федерации...

— *Мы еще ни разу не были в Саас-Фее...*

ты закрыл глаза

ты вспоминаешь минуту когда она неуверенно переступая показалась в дверях парадного на бульваре Транше и мальчик радостно устремился ей навстречу а ты не помня себя бросился к ближайшей остановке такси

бледная с искаженным лицом с обведенными синевой глазами еще оглушенная наркозом

— *Что с тобой...*

— *Ничего солнышко...*

— *А почему ты плачешь...*

Несколько страшных минут пути до площади Лонжмаль ее руки судорожно вцепившиеся в юбку восковое лицо отсутствующий взгляд...

— А мы с дядей Альваро смотрели смешное кино...

— Интересно было...

— Мне больше всего понравился глухонемой...

---

[1] «Веселые шутники», режиссеры — братья Маркс *(англ.)*. Фильм дублирован по-французски *(франц.)*.

[2] Два билета, пожалуйста *(франц.)*.

вестибюль отеля с толпой делегатов конгресса ковровая дорожка бесконечного коридора старомодная двуспальная кровать назойливый рисунок бумажных обоев...

— *Подлец, какой подлец...*

она твердила это вполголоса а кровотечение не прекращалось и ты забрав мальчишку поспешил в аптеку за кровоостанавливающим снова женевские улицы ты их неиавидишь еще и теперь и хотел бы навсегда вырвать из своей памяти

как дядя Нестор так же как дядя Нестор

сквозь ветви эвкалиптов льется солнечное пламя серебряная листва трепещет под набегающим ветром с пруда обставленного стеиой пробковых дубов доносится кваканье лягушек поет дрозд

с тех пор минуло три года и воспоминание о том уик-энде блекнет и растворяется в уверенном сознании что вы отвоевали себе светлую передышку сколько-то лет успокоения и мира

Долорес откупоривает бутылку охлажденную в ведерке со льдом и наливает доверху две рюмки одним глотком выпивает свою до половины и переворачивает страницу атласа...

она говорит

— *Я предпочитаю забыть...*

ее рука медлит в твоей руке

она глядит на тебя в упор

(ее лицо слегка порозовело от солнца, а в глазах поблескивают слюдяные искры хмеля)

и это разом зачеркивает прошлое она смотрит на тебя словно только сейчас впервые научилась смотреть...

Приехал он неожиданно, недели через две-три после своего условного освобождения, и явился в твою мансарду на улице Вьей-дю-Тампль. Как ему удалось попасть во Францию — об этом он умалчивал, дав тебе понять, что ты ни о чем не должен спрашивать. Внешне он мало изменился за десять лет, разве что стал поплотней и появился намек на залысины — он их старательно скрывал, начесывал волосы на лоб. Внутренне он остался тем же и, судя по всему, тяжелые испытания, которые ему пришлось в последнее время пережить, никак на ием не отразились. О своем аресте и заключении он говорил, словно о какой-то пустяковой, не стоящей внимания болезни, а про допросы рассказывал с небрежной иронией, точно речь шла о визите к дантисту, выдравшему ему зуб,— приятного, конечно, мало, но дело житейское, заурядное, ничего не попишешь, терпи, всем больно, в конце концов никто еще от этого не умер. Когда заговаривали о пытках, которые он перенес, и упоминали, какой бурей протеста были встречены сообщения о них во всем мире, он только усмехался,— преувеличение, казалось, говорила его усмешка, теперь это не страшно даже женщинам. Из чувства скромности он пренебрежительно отмахивался от окружающего его романтического ореола. Его всецело поглощала работа, дело, за которое боролся он и его товарищи. Изгнанник, он мысленно по-прежнему жил в Испании, хотя и приехал в Париж. Город сводился для него к местам явок — перекресткам, автобусным остановкам, спускам в метро. Кино — к сеансам, на которых демонстрировались игровые и документальные фильмы о гражданской войне. Газеты — к коротким редакционным заметкам или сообщениям агентств о политике фраикистского режима. Незримая и непроницаемая завеса отгораживала его от людей, среди которых обреталось его тело,— точно так же, как это происходило с тысячами его соотечественников, оказавшихся после гражданской войны на чуж-

бине: они жили, забравшись в свою скорлупу, день за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем, год за годом осаждаемые чужой и враждебной действительностью, и стойко держались, храня в сердце вместе с печалью и надеждой неистребимую любовь и нежность к родной земле, где они в недобрый час, говорил ты себе, с лихвой искупили лежащее на них первородное проклятие.

Он провел в Париже уже несколько месяцев и в свободные минуты иногда заходил к вам в мансарду на улице Вьей-дю-Тампль. С терпеливой снисходительностью, которая появлялась у него в разговорах с инакомыслящими, он растолковывал вам истинное положение дел в Испании, предрекая уже недалекую, по его мнению, развязку событий. Имена Маркса и Ленина он произносил с той же горячностью, с какой когда-то — имена Хосе Антонио и Рамиро де Маэсту. Его увлеченность трогала тебя. Долорес, как и ты, слушала его с интересом и зачастую, когда между вами вспыхивал спор, принимала его сторону, не разделяя твоего скептицизма.

Как-то раз зимой — помнишь? — в ясный, прозрачный день вы все трое должны были встретиться на Сен-Жерменском бульваре. Ты, как всегда, опаздывал. Подходя к кафе, ты издали увидел их, они сидели рядом на закрытой террасе, поджидая тебя, и он с обычным для него жаром и чуть самодовольной уверенностью в себе что-то ей объяснял, а Долорес смотрела на него, не сводя глаз, тем взглядом, который до этого дня бывал предназначен одному тебе, щеки ее пылали, глаза блестели. Она, заплутавшаяся после Женевы в ночи, непроницаемо замкнутая, снова улыбалась светло и радостно, словно забыла обо всем. Ты вдруг почувствовал, что ты — лишний.

День померк. Все вокруг тебя внезапно обособилось, зажило своей, непонятной для тебя, чужой жизнью. Всепоглощающее ничто разверзлось у тебя под ногами. Ты стоял среди бесцельного, бессмысленного, хаотического круговерчения человеческих толп и машин. У тебя больше не было ничего общего с этим миром, как и у него с тобой. Связь, соединявшая тебя с ним, оборвалась, ты был одинок, безнадежно и непоправимо одинок.

Такой Венеции вы не знали — туманной, с размытыми контурами. Она запомнилась вам иной — тогда ты приезжал сюда репортером Франс Пресс. Красивые, глупые как пробки кинозвезды расхаживали в «бикини» по грустному, старомодному — из девятнадцатого века — пляжу Лидо или кормили голубей перед колоннами Дворца дожей и улыбались, демонстрируя ослепительно-белые зубы. Со стороны Большого канала каждые несколько минут, выдерживая интервал, появлялся прогулочный пароходик и высаживал на понтонную пристань Капитании и по всей длине набережной Скьявони толпы туристов, любителей венских шницелей и доброго баварского пива. Все они, без различия пола и возраста, были одеты в замшевые или вельветовые брюки, и все вооружены фотоаппаратами. У некоторых было их даже по два и по три. Компактными группами они заполняли строгую и стройную перспективу площади, снедаемые одной болезнеиной страстью: запечатлеть наглядно, вещественно свое пребывание в этих местах, увековечить для семейного альбома неуклюжего ребенка в окружении голубей или чью-то раздобревшую супругу на фоне рельефов Лоджетты. А в это время за пестрыми столиками у Квадри или Флориана другие туристы в точно таких же вельветовых брюках и тирольских шляпах исписывали десятки и десятки почтовых открыток, заполняя их приветами и восклицательными знаками, словно они только ради этого сюда и приехали —

ради почтовых открыток и семейных альбомов, а не ради изумительной панорамы собора св. Марка с теснящимися вокруг него дворцами в древнем византийском стиле, не ради колонн, статуй, мрамора и мозаик этой пышной и прекрасной базилики, нетленно победной в своем великолепии наперекор всем соседним кафе с их эстрадами, на которых оркестрики наяривают «Голубой Дунай», «Турецкий марш», «Половецкие пляски» из «Князя Игоря», «Венецианский карнавал», шубертовский «Военный марш», «О, мое солнце», «Гранаду», «Бамбино». Музыкальная мешанина перекрывала невнятицу и бестолочь разноязыкого говора, затверженные пояснения гидов, голоса носильщиков и зазывал, настойчиво повторяющих адреса гостиниц — по expensif [1],— детский лепет и тихое воркование голубей. От всей этой какофонии влажный воздух делался почти осязаемо липким.

Но теперь перед вами предстала другая Венеция. Туристы с рюкзаками, пестрые столики кафе, подмостки эстрад — все исчезло, их вымел холод. Утренний туман притушил краски, и вы увидели площадь такой, как написал ее четыре века назад Беллини. Та же легкая асимметрия фасадов старой Прокуратории и новой Прокуратории, те же часы с мадонной, волхвами и знаками Зодиака, и кампанилла, и базилика. Торопливо (сразу видно: местные жители) шли по площади люди, нахохленные, подняв воротники пальто, а голуби, теперь полновластные ее хозяева, нетерпеливо перелетали с места на место, ожидая пушечного залпа, радостного сигнала, возвещающего о появлении служителей с кормом, чтобы затем, подкрепясь, шумной стаей взлететь на башни и купола. У Флориана за широкими стеклами окон сидели, декоративным дополнением к плюшевым креслам, шикарные клиенты. Когда Долорес молча проходила под аркадами, изо рта у нее при каждом выдохе вылетало маленькое белое облачко, на секунду оно повисало, а потом непостижимым образом таяло в этом ледяном воздухе.

Хорошо было выходить с ней на Пьяцетту и, усевшись под львом св. Марка или мраморной статуей св. Теодоры, смотреть на грязную воду посуровевшей, неспокойной лагуны, на скрипучее покачивание гондол между причальными столбами, на чаек, стремительно выхватывающих из воды добычу, на катер, который то ныряет, то взлетает на свежей волие, оставляя за собой пенный след, на бакены (издали они напоминают расставленные для игры кегли) и еще дальше — на колокольни церквей Сан-Джорджо-Маджоре и Джудекки, растушеванные дымкой тумана, едва заметные. Или плутать вдвоем по лабиринту улочек, носящих странные названия — Ветвь дома Распи, Канал земли Сан-Апональ, Замковый шестерик, Устье площади, Тротуары морского медведя, Ловля раков, Поднос золотого вздоха, Дубинка второго апреля, Сарацинское подворье, Лиходейство Толе, Лужайка Сан-Кверо, улица Середины жизни,— и неожиданно очутиться перед школой Сан-Рокко или на площади Санта-Мария-Формоза. Ноги в ботинках застывали, руки в перчатках коченели. Вы, обжигаясь, проглатывали чашечку горького кофе и спешили дальше, к Сан-Джорджо-дельи-Скьявони, чтобы лишний раз насладиться «Св. Трифоном, усмиряющим василиска» и «Погребением св. Иероиима» Карпаччо, а потом где-нибудь в траттории заказать угря с полентой по-венециански и согреться бутылкой доброго «мерло».

Ночи вы проводили без сна, безуспешно пытаясь выяснить причиины возникшего между вами разлада и взаимного охлаждения. Вас пожирала потребность разобраться, восстановить прежнее равновесие, вами владел зуд откровенности, граничившей с эксгибиционизмом: вы остервенело обнажались друг перед другом, посвящая один другого в обшир-

[1] Недорогие *(англ.)*.

ный перечень своих действительных и несостоявшихся измен и любовных приключений, пока вдруг не обнаружили, что стали чужими. Вы были поражены: оказывается, вы совершенно не знали друг друга. Все ваши планы, мечты, иллюзии рухнули, и вы беспомощно стояли перед обломками собственного крушения, не зная, что теперь делать. Вы почти не глядели друг на друга, словно опасаясь, что можете ранить даже взглядом, вы почти не разговаривали, обходясь минимумом самых необходимых слов, каким-нибудь замечанием о пейзаже, о картине, о вкусе и крепости вина. Вы никак не могли прийти в себя от этой новизны — от вашей полной и ненужной свободы,— и вы боялись случайно задеть, непреднамеренно обидеть друг друга; смутный инстинкт подсказывал вам, что сейчас достаточно пустяка, чтобы разрыв ваш стал неизбежным и окончательным.

Холодная, неприветливая Венеция, призрачная в своем туманном великолепии, была как бы вашим собственным отражением в помутневшем старинном зеркале. Когда, устав от бесцельного хождения по улицам, вы падали в огромные мягкие кресла бара «У Гарри» и перед вами ставили рюмки «кровавой Мэри» или изысканный коктейль, приготовленный быстрыми, гибкими руками идеально фотогеничного бармена, вы чувствовали себя, вероятно, такими же вертикально одинокими, как башни и колокольни этого города. За столиками сидели американки в каракулевых манто и светловолосые господа с часами на золотых браслетах, и вас обволакивал рокот их разговоров. Иногда ты оставлял Долорес на площади Сан-Моизе или на улице Сан-Марко в одном из бесчисленных магазинов, торгующих сувенирами, а сам пускался бродить наугад, куда вынесут ноги, забредал в какие-то тесные переулки, в тупики, а в голове гвоздем долбила мысль: семь лет прожили вместе. Упрямо, вопреки очевидности, ты отказывался признать истинные размеры катастрофы. Ты перебирал в сотый и тысячный раз, поворачивая так и этак, каждое обстоятельство вашей совместной жизни, словно решал головоломку, потом опять копался, переиначивал, перестраивая все наново, чтобы снова и снова винить себя и возвращаться к дням вашей первой поездки в Венецию, на кинофестиваль. В ту пору вы еще не утратили вкуса к путешествиям и упивались своими открытиями. Хорошее вино, картины Веронезе, нарядные бусы, какой-нибудь стеклянный фонарь, изделие Мурано,— все было интересно, ибо на всем лежал отблеск вашей любви. Вы верили, что в Испании скоро произойдут перемены, и строили планы на то время, когда сможете наконец свободно распоряжаться своей судьбой. И ты ворошил эти воспоминания в нелепой надежде, что, быть может, еще не все потеряно, что, быть может, довольствуясь малым, вы на обломках крушения смиренно построите свою жизнь заново. Ты стоял, опершись на парапет на Фондамента Нуове, смотрел на затканный туманом островок грустного городского кладбища, на причальные столбы и бакены, указывающие путь в Торчелло, на недвижимо распластанные мертвые воды лагуны и не мог сообразить, как ты сюда попал.

Дни одиноких блужданий по запутанным переплетам узеньких улочек. Вы кружили наугад около Рыбного рынка и заглядывали во все лавки еврейского квартала в надежде встретить друг друга, потом неожиданно сталкивались в каком-нибудь затерянном старинном дворике или у цинковой стойки бара и выходили оттуда вместе, словно люди, которых свело минутное легкомыслие и случай и для которых фонтан на площади перед церковью Иоанна и Павла и готический фасад палаццо Фоскари — всего лишь переход к той минуте, когда они наконец останутся наедине где-нибудь в номере третьеразрядной гостиницы и алчно сольются друг с другом среди теплых, гостеприимных простыней. А как-то раз ты заметил Долорес издали и долго шел за ней, стараясь,

чтобы она тебя не увидела, ты охотился за ней, словно за незнакомкой. Но она оглянулась, и ты обнаружил, что это в самом деле незнакомка, и прекратил преследование: оно тотчас же потеряло всякий смысл. Постепенно ты все больше проникался чувствами любовника, получившего внезапно отставку, или детектива, которому поручено собрать улики против самого себя. С тоской и содроганием ты думал, что она может назначить встречу кому-то другому, и ты выслеживал ее, а выследив, смотрел на нее так, словно видел впервые в жизни.

Ледяная Венеция, безликая улица Гарибальди с торговыми палатками и лотками на мостовой. В тавернах сидят заядлые любители граппы. Там ты заметил тех троих: двоих мужчин и женщину. Они медленно двигались по направлению к Фондамента-ди-Санта-Анна. Искаженное гневом лицо мужчины, того, что был выше, и красивое, все в слезах лицо женщины заставили тебя замедлить шаг, ты понял — разыгрывается семейная драма — и пытался уловить, о чем они говорят. Внезапно высокий повернулся к женщине и обрушил на нее поток клокочущих ненавистью слов, которые ты не смог разобрать. Второй мужчина пытался успокоить его, но только подлил масла в огонь, теперь высокий почти кричал: «No, non sono frottole, te dico e ti repeto che ci sono testimoni, hai capito» [1]. Женщина твердила: «Piero, Piero» [2],— и смотрела на него заплаканными глазами, вытирая слезы рукавом пальто, а ты притворялся, будто изучаешь витрину, где были выставлены всевозможные товары для любителей водного спорта; трое все так же медленно двигались к мосту, и он, схватив ее за лацканы пальто, опять бросал ей в лицо брань и проклятия: «Maladetto quel giorno hai capito, maladetto quel giorno»,[3] — а она, как заведенная, повторяла: «Piero, Piero»; второй мужчина опасливо оглядывался и все пытался разнять их, а ты смотрел на мутную воду щемяще убогого канала Саи-Пьетро, на сгорбившиеся вдоль него нищие дома, на выщербленные стены старого арсенала — « Ti giuro que non é vero, Piero, ti giuro, ti giuro »[4] ; они шли дальше, и ты шел за ними между двумя рядами серых домишек Кампаццо Кинтавалле, и ветер доносил до твоего слуха обрывки фраз, слетавшие с их губ вместе с клочками стынущего пара, а потом вы нечаянно столкиулись на сумеречной и пустынной площади Сан-Пьетро, и они укрылись под порталом собора и продолжали выяснять отношения, а ты, вернувшись в отель, еще долго думал о них, стараясь представить себе, какой же силы страсть связывала их раньше, какие клятвы они давали друг другу и как неистово, должно быть, стремилась друг к другу их плоть, прежде чем наступил неизбежный, печальный конец, и с горечью спрашивал себя, почему и как могло до этого дойти, и думал при этом о Долорес, и слышал размеренный звон погребального колокола, и тихо оплакивал себя.

Март 1963 года. Припомни его.

Здесь была обезглавлеиа монархия, ненавистный символ ее власти был взят приступом, и восставший народ сорвал оковы с тех, кого за преступления против неправедных законов погребали заживо в крепостн, простоявшей на этом месте века и века.

Взгляни на площадь, когда она залита солнцем, и когда подернута туманом, и когда ее сечет дождь. Посредине — массивная, могучая — вы-

[1] Нет, это не выдумкн, я тебе уже сказал и повторяю, у меня есть свндетели, ясно тебе *(итал.)*.

[2] Пьеро, Пьеро *(итал.)*.

[3] Будь проклят тот день, понила, будь проклят тот день *(итал.)*.

[4] Клянусь тебе, это неправда, Пьеро, клянусь тебе *(итал.)*.

сится колонна, увенчанная стройной и легкой фигурой ангела. Вокруг — сверкающее кольцо световых реклам: бары, кафе, рестораны, кинотеатры. С тех пор как была срыта крепость, площадь раскинулась во всю свою ширь, красивая и неуютная; на ее просторе скрещиваются века, рассказывая ей о бурях и смутах истории. По ее углам крутятся карусели, ютятся балаганчики тиров, и от этого кажется, что на ней расположился цыганский табор. В часы пик по ней течет сплошная река машин; на рассвете ее погрустневшая пустынная мостовая словно бы ждет, когда же наконец прогрохочут по брусчатке первые колеса и бойко протопают первые башмаки. Дома современной постройки меланхолично смотрят в воду канала на свои грузные отражения. На площади встречаются друг с другом бульвары, улицы, авеню; словно притянутые магнитом, стекаются сюда завсегдатаи баров, ярко раскрашенные женщины с улиц Балажо и Буска, мошенники и сутенеры с улицы Лапп. В балаганах жизнь не затихает ни днем ни ночью, причудливая, ко всему на свете безразличная. И когда пьяные затевают нелепый спор, им издалека подыгрывают аккордеоны.

В безысходные черные часы все дороги ведут туда (к тобоггану, к сердечному припадку), как если бы на свете не было ничего (говоришь ты себе теперь), как если бы абсолютно ничего не было на свете (о, площадь Бастилии!), что могло бы отвлечь тебя от твоей неодолимой жажды смерти.

Великодушная жизнь выкупила тебя.

Палата больницы Сент-Антуан шла кру́гом, шла кру́гом, а Долорес нежно держала тебя за руку и вместе с палатой кружилась вокруг тебя, сияющая и невесомая, и смотрела на тебя с выражением взрослой, зрелой любви, какого ты у нее дотоле никогда еще не видел. Обрывки древних молитв вставали в памяти и рассыпались — руины забытых грез! — Христос и Чанго сливались в один образ. Голова у тебя разламывалась от боли, тело разламывалось от боли, и фантасмагория вертящейся вокруг тебя общей палаты предрекла удел, уготованный тебе приговором судьбы: ты умрешь вдали от родины, вдали от мрачной фаланги населяющих ее рабов, умрешь среди моря человеческих страданий, сполна заплатив за все зло, содеянное другими и самим тобой.

Умирали одинокие старики, и в последний час возле них не было близких, стонали рабочие, искалеченные машинами, на которых они работали, громко жаловались на непонятном тебе языке арабы и негры — allah yaouddi [1],— и все вместе они указывали путь, по которому ты когда-нибудь должен будешь пройти, если хочешь чистым вернуть земле то, что принадлежит ей по праву. Только в них и у них, в том темном безвестном мире, где живут они, найдешь ты спасение, точно так же, как ты инстинктивно, никем не наставляемый и строгий к себе, искал у них тепла и любви, отвергая шаг за шагом все, что получил незаслуженно: привилегии и удобства жизни, которыми с детских лет пытались подкупить тебя близкие. Нагота — вот что было богатством. Добродетельное негодование родных — вот что было величайшим даром. А пропасть, разделившая вас, для тебя — дорогой к свободе.

В безвестной больнице огромного безвестного города в долгие бессонные ночи, среди тишины, когда кашель и стоны больных и умирающих становились для тебя точками над «i», ты вернулся к жизни, вернулся свободным от прошлого и будущего, чужой и незнакомый самому себе, податливый, как глина для лепки; у тебя больше не было ни родины, ни дома, ни друзей, было одно только еще не совсем проясненное настоящее — ты родился на свет тридцатидвухлетним, теперь ты был просто Альваро Мендиола без каких бы то ни было особых примет.

[1] Един аллах *(арабск.)*.

Ты захлопнул атлас и стал разглядывать последний снимок, который ты сделал в Испании аппаратом «лингоф». Это было десять дней назад.

Бульвар проложенный через развалины Санта-Мадрона и театра Лос-Гамбрилес и через Криолью теперь уже легендарную

похожие на рубище стены домов годных разве что на снос

накренившаяся фабричная труба подобие Пизанской башни но только уродливее и дряхлее ее

всего в каких-нибудь двадцати метрах от улицы Конде-де-Асальто утратившей свое прежнее значение

благотворительная лотерея

толпится публика

американские моряки туристы жители квартала зеваки мальчишки

типичный кастилец сухой и суровый словно поля Месеты объявляет через рупор выигрыши и толпа как один человек впивается взглядом в куцый помост там тревожно озираясь ерзает на своем месте макака

шерсть у нее клочковатая в пролысинах и плешинах

руки вислые длинные зад воинственно красный

она слушает разглагольствования лотерейщика потом вскакивает обегает вокруг столба к которому привязана карабкается наверх хватает картонную коробку и разорвав ее на куски спускается вниз и снова усаживается на свое место

внезапно голос лотерейщика умолкает и над толпой гремят звуки дуэта в стиле фламенко

дикая каша из пресловутого испанского набора танцы под кастаньеты и бубен куплеты в честь богородицы тяжеловесные синкопированные ритмы

женщина исходя бешенством страсти утробно завывает решетки балконы гвоздики гребни мантильи

допотопный хлам из арсенала доморощенных Мериме

хоть лопатой из ушей выгребай

тоскливые глаза оглушенной обезьянки

вдруг она вскакивает и в исступлении рвет зубами клочки картонной коробки но это не помогает и чтобы спастись от кошмара она опять лезет на столб яростно дергая цепочку

а выразительница «испанского духа» продолжает терзать ее своими вигинальными стонами

животное затравленно мечется в его глазах стынет ужас кастаньеты гитары крики «олѐ» бьют ему в уши сыплются на голову

как удары

животное обезумело

оно рвется на своей цепи бросается из стороны в сторону делает отчаянные прыжки

стоят и смотрят американские моряки и туристы

жители квартала

зеваки

дети

перед тобой лежит фотография она нема звуковой фон отсутствует но она и так достаточно красноречива зрительный образ вполне возмещает потрясшую тебя выразительность пения

Глава VII

«На этот счет не существует двух мнений жизненный уровень в нашей стране неуклонно повышается вы можете проехать весь полуостров из конца в конец подобно какому-нибудь герру Шмидту или мосье Дюпону сидящему за рулем своего «ситроена» или «фольксвагена» и в лю-

бом уголке в Мадригаль-де-лас-Альтас-Торрес в Пуэнте-дель-Арсобиспо в Вильяреаль-де-лос-Инфантес в Эхеа-де-лос-Кабальерос в Мотилья-дель-Паланкар какие звучные царственные названия везде и повсюду вы увидите воочию что страна веками жившая в нищете ныне из года в год медленно но верно идет вперед по пути прогресса развивает свою промышленность осваивает национальные богатства вот что дал нам мир и социальный порядок установленный двадцать пять лет назад почти целых пять пятилетий мы вкушаем плоды благотворного общественного устройства о каком и мечтать не могли ни наши отцы ни деды ни прадеды устройства непоколебимо выдержавшего трудности связанные с мировой войной которая бушевала у наших границ повергнув к ногам победителя одну половину Европы опустошив другую и нанеся ей моральный урон превышающий даже ее материальные потери мы же пользуемся благами мира столь полного что он представляется нам чем-то абсолютно естественным чуть ли не даром природы а между тем это отнюдь не дар природы как солнце и дождь ибо мир не явился к нам сам собой как является утро и вечер день и ночь мир которым мы все с вами наслаждаемся не задумываясь мир источник и первопричина нашего прогресса и благосостояния этот мир дело рук великого человека результат установленного им режима приучившего нас к дисциплине и порядку очистившего и освободившего нас от природной склонности к рефлексии и самокопанию прозорливый вождь он обеспечил мир нам на славу и мир этот будет замечательным примером для грядущих поколений мир вожделенное благо всех народов нет народа для которого нарушение мира не являлось бы бедствием но другие нации не столь чувствительны и переносят военные потрясения без особого для себя ущерба хаос войны не чреват для них смертельной опасностью иное дело мы испанцы малейшая угроза миру в нашей стране ведет к незамедлительным роковым последствиям подымается зловещая тень Каина погружая во мрак всю нашу как сказал бы фрай Луис[1] «пространную, печальную Испанию» вот почему чем дальше отступает в прошлое памятная дата первого апреля тем яснее мы осознаем все ее величие и значение подобно тому как только издали можно охватить взглядом громаду горы уходящей вершиною в небо и если сегодня некоторые молодые люди и господа не испытавшие ни тягот войны ни счастья победы и явившиеся за наш общий стол уже на готовенькое считают ненужным обращаться к прошлому и хотели бы предать его забвению мы ветераны тех лет творцы нынешнего процветания возблагодарим завоеванный нами мир а им скажем забывчивые не помнящие родства господа если вы сегодня господа и хозяева своего имущества и можете спокойно разгуливать по улицам и одеваться по последней моде если на щеках ваших играет здоровый румянец да и вообще если вы просто-напросто целы то лишь потому что некогда первого апреля в радостный весенний день воссиял свет которого ждали и суша и море свет озарявший путь нашей героической борьбы свет надежды возвещенный нашим освободительным гимном и хотя с тех пор нам пришлось многое пережить были трудности были тяжелые жертвы были дни борьбы и страданий но мы не свернули с курса мы стойко и энергично утверждали свой путь вопреки непониманию ненависти и слепоте либеральных держав с их бесхребетной надуманной демократией и теперь голод и лишения эти мрачные последствия блокады и засух позади за границей удивляются и говорят об испанском чуде но это чудо наше общее с вами дело дело всех испанцев чьи усилия выдержка и терпение победили все трудности решающего этапа нашей истории ныне наши успехи в области экономики очевидны каждому а богатства которыми располагает страна не идут ни в какое сравнение с тем чем она распола-

[1] Испанский поэт и гуманист XVI века.

гала когда-то и это сможет отметить даже беспристрастный и безразличный взгляд какого-нибудь герра Шмидта или мосье Дюпона когда он в числе двенадцати с лишним миллионов иностранцев таково по официальным подсчетам число туристов которые в этом году посетят Испанию привлеченные нашим ярким солнцем горделивой поступью наших обольстительных женщин ароматом наших вин искусством корриды созданной для мужественных сердец нашей прекрасной в своей аскетической строгости природой и дешевизной продуктов питания когда он увидит наши новые превосходные автострады и отличные железные дороги и убедится как расширилась сеть гостиниц и ресторанов как вырос на улицах поток машин и лес телевизионных антенн на крышах домов вот они неопровержимые доказательства нашего небывалого рывка вперед роста нашего благосостояния сегодня никто уже не решится отрицать что наш потребительский рынок изо дня в день расширяется а страна твердо встала на рельсы индустриализации в невиданных размерах возросло по сравнению с 1935 годом производство нашей промышленности если в период республики лишь 37% населения носило чисто хлопчатобумажное белье то теперь его носит 72% ботинки и туфли мало-помалу вытесняют самодельные альпаргаты те кто ходил на работу пешком теперь едут на велосипедах бывшие велосипедисты приобрели мотоциклы и мотороллеры а бывшие мотоциклисты мчатся по городу в своих «рено-4CV» или «сеат-600» и теперь им сам черт не брат навсегда ушли в прошлое грустные времена когда рестораны предлагали клиентам одно-единственное блюдо что и говорить мало радости а теперь куда бы вы ни зашли вам предложат разнообразнейшие меню с названием блюд на нескольких европейских языках рабочее население потребляет молоко и яйца а зачастую может себе позволить на обед даже курицу пройдитесь летом в воскресный день по улицам вы не сможете отличить рабочего от предпринимателя конторские служащие курят сигары и покупают в рассрочку телевизоры и холодильники работницы красят губы и ходят в чулках как дамы из общества конечно в каких-то закоулках еще встречается бедность но это лишь островки единичные случаи и тут приходит на помощь врожденная национальная щедрость испанцев а если в наших газетах еще можно прочитать такие например объявления «Помогите несчастной семье маленький ребенок тяжело больная мать безработный отец» «Будет благодарна за любую помощь деньгами или продуктами питания рабочая семья (больной отец шестеро маленьких детей мать умерла от родов)» или «Одинокая женщина 53 лет не имеющая родных и средств существования просит помощи для приобретения протеза ноги» то печатаем мы их потому что уверены в сострадательности испанцев уверены что их благотворительность и щедроты не замедлят утолить голод бедных крошек обеспечат отца билетом в Германию или Швейцарию а бедная одинокая женщина сможет приобрести столь необходимый ей протез мир процветание светлая эра прогресса в которую мы с вами вступили все это явный результат нашей политики поставленной на службу каждому из нас и всей нации в целом мы слышим голос наших павших бойцов тех кто отдал свою жизнь за веру и Испанию мы помним их заветы помним волю тех кого уже нет среди нас их воля их заветы для нас священны и если потребуется мы их отстоим с оружием в руках мы выиграли битву но битва продолжается и нам еще рано идти по домам и мы это знаем лучше чем кто бы то ни было потому что грудь наша украшена боевыми медалями и тела наши покрыты рубцами былых ран а сердце наше полно скорби и забот ибо нам известно когда сражение выиграно и казалось бы можно спокойно вкушать плоды победы на деле оказывается что наступает самая трудная будничная работа бессонное бдение на посту караульная служба и надо по-прежнему держать порох сухим одни спят другие охраняют их сон это постоянная важнейшая на-

ша задача и мы о ней никогда не забудем охранять мир сон порядок труд ибо мы признанный форпост свободного мира оплот и компас наивного забывчивого Запада»

Официальные газеты и радио захлебывались от восторга, а безудержный поток туристов, источник благоденствия и богатства, растекаясь по одряхлевшей стране, по ее полям, задумавшимся невесть о чем, по ее мертвым городам, впрыскивал в старые вены свежую кровь, освобождал людей от предрассудков,— нежданное спасительное нашествие на обреченную, опустевшую землю. Доллары широкой рекой вливались в страну по железным дорогам, автострадам, морским путям, авиалиниям. Как по мановению волшебной палочки, вырастали повсюду кэмпинги и отели, станции обслуживания, рестораны, лавки сувениров, бары и закусочные, появились целые армии горничных, сутенеров, проституток, переводчиков, цыганских певцов и танцовщиц. Модернизация пришла вне всякой связи с принципами справедливости и морали, и расцвет экономики грозил навсегда отбить у народа способность думать, ибо народ еще не очнулся от двадцатипятилетней летаргии, в которую его погрузил разгром республики. А между тем статистика не лгала, и в представлении людей, столько лет живших в гнетущей атмосфере преследований и страха, терпевших голод и лишения, ездивших из Мадрида в Хетафе по пропуску и дрожавших над своей тощей продуктовой карточкой,— в представлении этих людей экономический сдвиг к лучшему и даже просто возможность получить заграничный паспорт являлись чем-то качественно новым, им казалось, что они дожили до счастливых времен, что настал конец всеобщему оцепенению и могильному безмолвию. Двойной поток иностранцев и эмигрантов, людей, покидающих родину, и туристов рос с каждым днем, и впервые в истории испанцы у себя дома и в чужих краях приучались трудиться, по-человечески есть, путешествовать, извлекать доходы из своих достоинств и недостатков, ценить преимущества кремации, этой визитной карточки высокоразвитых стран, быть расчетливыми бизнесменами, продаваться за деньги, и все это — парадокс, невероятный даже для Испании, никогда не скупившейся на кровавые шутки и разительные контрасты, все это — в условиях политического режима, первоначально для того только и установленного, чтобы этого не допустить. Знамя, поднятое во имя оправдания убийства и зверств, стало ненужным, как изношенное старое платье, как стоптанный башмак. Зря только сложили свои головы фаланги юнцов, щедро наделенных от природы отвагой и скуповато — умом. Кто вспоминал теперь о том, что́ они называли «священным делом»? И убийцы, и жертвы одинаково гнили в земле, и смерть их в равной мере казалась сейчас напрасной и бессмысленной, и даже память о них изгладилась, ибо такова была воля прихотливой испанской Истории, глубоко безразличной и даже нетерпимой к проявлениям патриотического самоотвержения и жертвенности.

Газеты публиковали показатели и графики, трубя о невиданных успехах, достигнутых, между прочим, и за счет политики беспощадного военного подавления рабочего класса в городе и сохранения феодальных, диких производственных отношений в деревне. Но вспоминал ли кто-нибудь о людях, оплативших своими слезами, кровью и по́том все это процветание, о его подлинных творцах и безвестных жертвах? Замученная немая масса народа, вынесшая на своих плечах тяготы ограничений и экономии,— кто, хотя бы на словах, воздал ей должное? За ослепительным каскадом цифр и нагло лезущими в глаза таблицами показателей незримо текла черная река человеческого горя, простирался бездонный океан нужды, над которым никогда не брезжил и не забрезжит луч света. Миллионы и миллионы нищих крестьян, раздетых, разутых,

безвозвратно проигравших свою жизнь уже в момент рождения, обездоленных, униженных, проданных. Легионы страдающих, бедствующих живых существ, неизвестно зачем родившихся на свет,— орудия труда в образе человеческом, самое существование которых зависит лишь от законов спроса и предложения, словно они не люди, а товар, подержанный, жалкий товар, спускаемый за полцены. Катакомбы, из которых нет выхода, где есть лишь одна власть — несправедливость, где попирается человеческое достоинство, где свирепствуют болезни и смерть, где горе капля за каплей уходит в безотзывную, глухую толщу земли, где надежды на счастье — зáмки, построенные на песке и бесследно смываемые временем. В этом беспросветном мраке люди трудятся неприметно, невидимо, как кораллы, чтобы на фундаменте, возведенном ими, другие могли вести праздную и пустую жизнь. Удобрят ли они собой хотя бы почву будущего, послужат ли для него по крайней мере ферментом, исходным сырьем, горючим для его моторов? Те, о ком сын божий сказал: «Вы — соль земли», станут ли они хотя бы навозом, который утучнит и заставит расцвести неплодородную, неблагодарную землю их неласковой, бессмертной Мачехи?

Мелькали мирные, приветливые пейзажи, но, заслоняя их, вставали перед тобой — тяжким, несмываемым обвинением — людские судьбы, истории рабочих-эмигрантов, записанные тобой для фильма, который тебе не дали снять. Записи развертывались в бесконечную ленту страданий, стыда, унизительных уловок, произвола, оскорбления человеческого достоинства — всего, что заполняло собой немногословную, сжатую и скупую летопись этих десятилетий и чего никакой прогресс, никакое благосостояние, никакая модернизация — ты находил утешение в этой уверенности — никогда не заставят забыть.

Этот вот стул и плетеная корзинка что стоит на нем дороже мне всех друзей на свете и не было у меня друга вернее их потому что когда корзинка появлялась в камере в ней всегда было что-нибудь из съестного а стул это тот самый на который меня посадили фалангисты когда приехали забирать а когда меня забрали то в корзинке этой плетеной что стоит теперь на стуле приносили мне за решетку объедки и корки все что могли и я радовался каждый раз что меня не забывают

этому стулу и корзинке некого и не за что благодарить потому что много ходило по улицам бывших республиканцев но хотя бы один расщедрился кинул бы в корзинку несчастных полсентимо

корзинка побиралась по домам и просила у каждой двери подать Христа ради чтоб снести мне в тюрьму поесть а к стулу меня привязали на глазах у жены

корзинка и стул не дадут мне солгать потому что на этом стуле меня били стеком а с этой корзинкой жена ходила от двери к двери

корзинка и стул считают это позор что мою семью выбросили на улицу из-за того только что я сидел в тюрьме судья прислал повестку насчет выселения но я же не мог выйти на волю и тогда домовладелец пришел с судьей и с судебными исполнителями и судья велел выкинуть жильцов на улицу

и они выбросили все вещи на тротуар и мебель какая была а жена стоит с ребенком на руках и не знает куда идти а через восемь дней было свидание как заведено чтобы поцеловаться и поговорить и жена мне все рассказала и я так расстроился выразить невозможно потому что она говорит согнали нас с квартиры ночуем на улице и я когда про это услышал пропал у меня сон и даже та пища голодная какая была у меня вся рвотой обратно выходила

стул и корзинка знают что я не выдумываю что это правда потому что они помнят как меня били стеком и как мало корок подавали жене когда она ходила просить по домам а через год меня из тюрьмы перевели в лазарет а из лазарета выпустили на волю и дали бумагу что мол Хосе Бернабеу находился в заключении за то что он красный

За окном хмурился мглистый вечер безотрадной, нескончаемой парижской зимы. Ты лежал, запершись у себя в комнате на улице Вьейдю-Тампль; возле постели на ночном столике стояла бутылка «божоле» и лежала выкуренная наполовину коробка сигарет «Житан» с фильтром, а ты производил смотр своей двадцатипятилетней бестолковой жизни; один за другим тянулись никчемные, растраченные впустую годы — и тебя охватил ужас. Нет, брат, так дальше не пойдет, сказал ты себе в тот вечер. Ты покинул родину и поселился в Париже, чтобы стать кинорежиссером, но пока что ровным счетом ничего для этого не сделал, не сдал экзаменов, не закончил сценария своего будущего гениального фильма, не предпринял ни одной попытки поступить в ассистенты к кому-нибудь из «свирепых богов» — бегаешь только в фильмотеку на улице Ульм. Ты уехал из Испании (бросив своих друзей в трудный час ожесточенного политического сражения), чтобы воплотить в живые образы уже готовый, выношенный (по крайней мере тебе так казалось) замысел. И что же ты успел за эти два года богемной парижской жизни? Что ты тут делал? Спал, ел, курил, пил, убивал время на праздные споры со своими соотечественниками в обшарпанном кафе мадам Берже. Чесал язык с этими заплесневелыми эмигрантами. Да, гордиться нечем! Ты дезертировал с поля боя, чтобы стать художником. И кем же ты стал? Добровольным эмигрантом. Ты дрыхнешь (по двенадцать часов в сутки), покуриваешь сигареты (в сутки выходит полторы коробки «Житан» с фильтром), ешь (в темном зале столовой при библиотеке св. Женевьевы раз в день), пьешь (по литру, а то и по полтора красного) и ходишь смотреть фильмы (имена все те же: Эйзенштейн, Пудовкин, Висконти, Ланг, Уэлес).

Ты выглянул в окошко мансарды. Удивительно красива была уходящая вдаль перспектива крыш с усеченными конусами труб. При виде ее каждый раз у тебя возникали в памяти дальние планы «Чуда с реликвией святого креста», картины, которая пленила тебя в Венеции. Ты смотрел на бегущее парижское небо и слушал ежедневную пикировку своих соседей по двору (похоже было, что они заводят ее нарочно ради тебя). Они никак не могли сойтись во взгляде на голубей. (Старик со второго этажа их кормил и приваживал, а вдова с четвертого выплескивала на них ведра воды, пытаясь отвадить.)

Несколько часов назад ты стоял на обледеневшем перроне Аустерлицкого вокзала: ты пришел встречать Антонио, который должен был приехать барселонским поездом. Антонио послали в Париж создать фонд помощи только что возникшему тогда испанскому студенческому движению, и ты в первый раз имел возможность увидеть большую партию испанцев, прибывших в Париж по вербовке,— их, должно быть, законтрактовало какое-нибудь местное предприятие. По растерянным лицам твоих соотечественников видно было, что они сбиты с толку непривычной для них сдержанностью и молчаливостью дисциплинированной парижской толпы, такой непохожей на беспорядочную и горластую толпу испанских городов. У тебя больно защемило сердце, а захватывающая выразительность этого зрелища заставила тебя пожалеть, что ты не захватил с собой 16-миллиметровой кинокамеры. Безработица, голод, отсталость промышленности и сельского хозяйства забросили их на чужбину, в страны иной цивилизации, где все строится на холодном расчете

и деловитости. Что станется здесь, размышлял ты, с людьми, выросшими в условиях общинно-родового уклада жизни? Смогут ли они отрешиться от его нравственных норм? Смогут ли приспособиться к современной индустриальной, урбанистической цивилизации? Или они устоят перед ней в силу вашей врожденной, пресловутой иберийской устойчивости?

У тебя родилась мысль создать социологический документальный фильм, вскрывающий причины эмиграции рабочих. В твоем воображении замелькали кадры, прослеживающие горестный путь этих людей (от самых истоков, когда, гонимые нищетой, они — с кровью, с муками — отрываются от земли, от крестьянского своего труда). Идея фильма овладела тобой, ты вдруг почувствовал, что должен снять его во что бы то ни стало (это был твой протест, твой крик возмущения судьбой всех испанцев, над которыми тяготеет мрачное наследие гражданской войны). Толпа завербованных, их потрепанные овчинные куртки, их береты, их нищенские альпаргаты навсегда слились в твоем сознании с панорамой крыш и труб на картине Карапаччо, один образ наплывал на другой, заполняя все необъятное, печальное пространство вечера.

Ты отпил глоток «божоле», пытаясь остановить головокружительный вихрь осаждавших тебя мыслей. Вдали рисовался в тумане неуклюжий силуэт Эйфелевой башни. Ты ждал Антонио, вы собирались вместе поужинать, и, пока соседи вели свою метафизическую перепалку о достоинствах и недостатках голубей, ты снова улегся на диван, рассеянно следя за быстро меняющейся, неуловимой игрой отсветов на скошенном потолке мансарды.

Ударили холода а мы жили под мостом что на шоссе и холод стоял целых три дня мама все не могла согреться и на третий день в шесть часов утра ее увезли в больницу а она уже чуть дышит и остались мы с папой одни папа стеснялся просить подаяние и он мне продиктовал письмо про нашу жизнь как мы мучаемся и я сразу пошел в приходскую церковь Сан-Педро к господину настоятелю и он дал нам десять сентимо и папа ему сказал да вознаградит вас господь а я говорю отдайте мне письмо обратно потому что папа не умеет писать а на десять сентимо разве купишь поесть но мне хоть кусочек хлеба подадут потому что я маленький а папе ничего а потом мы пошли на улицу Топете и в одном доме папа показал письмо и ему дали десять песет а парикмахер что напротив полиции дал мне пять песет оттуда мы пошли в приходскую церковь пресвятой девы Кармильской и господин настоятель прочел письмо и сказал что он нам ничего дать не может папа сам во всем виноват не надо было привозить семью в город оставил бы пока в деревне и что у господа бога ничего для нас нету а я заплакал и мы пошли на Большой перекресток в дом номер один и вышла горничная и папа дал ей письмо а она говорит хозяин проверит правда написана или нет а папа сказал дайте хоть мальчику кусочек хлеба а то он от голода плачет а когда мы уходили выходит господин хозяин добрый такой и говорит папе зачем он милостыню просит ведь он молодой а письмо он уже прочитал и мы все втроем пошли в больницу и фельдшер сказал что маме сейчас делают операцию он видит что все правда и он велел чтобы мы все наше что под мостом осталось сожгли а он нам свое даст и станет помогать и повел нас к себе домой в патио и велел накормить а я совсем тогда был маленький и с голоду как стал уплетать будь здоров а он хозяин этот такой добрый и все по-ласковому никогда я его не забуду всю жизнь буду помнить и он тогда сам меня стал мыть как сына и одел во все чистое и повел меня за руку в больницу и говорит что мама скоро выздоровеет и тогда все у нас будет хорошо.

В тот день ты снимал обычные картины жизни бедняков (лачуги из листов ржавой жести, голых ребятишек со вздутыми животами, шелудивых собак). Это была Барселонета, исчезнувший впоследствии «бидонвиль» (на его месте появилась теперь великолепная магистраль богатого, быстро растущего города, шикарный Приморский бульвар с голубыми дорожками для стоянки машин, с современным освещением, с указателями, составленными на нескольких языках). Но больше всего потряс тебя покорный фатализм этих людей, твоих соплеменников (а «бидонвиль», изгнанный из пределов города, вырос потом за городской чертой; и властям оставалось только дивиться цепкому упорству этих людей — или прийти в отчаяние), и сейчас (через два дня после похорон профессора Айюсо, знойным медленно гаснущим вечером) ты вспоминал свое тогдашнее удивление с чувством сострадательной и горькой иронии.

...С Югом Испании ты вначале познакомился через его людей. Ты научился их отличать, когда был еще совсем маленьким. Ты плохо понимал их речь, и манера говорить была у них другая, чем у каталонцев, какая-то особенная. Они распевали песни на перронах вокзалов, площадно ругались, роя котлованы на стройках, чертыхались, подметая улицы. Попадались среди них и солдаты гражданской гвардии, и ты не мог понять, как это они ухитряются в своих черных треуголках, плотных зеленых френчах и с карабином на плече вести нескончаемые разговоры, стоя на самом солнцепеке. И лица у них были другие, не такие, как у твоих родных: кожа была темней — наверно, как у мавров,— а в грубоватых чертах проглядывала неожиданная утонченность и неизменно поражавшее тебя выражение живости. В учреждениях и конторах они вместо подписи ставили на документах отпечаток смазанного чернилами большого пальца. Ты знал, что из всех бедняков они — самые бедные и потому, казалось тебе,— самые тупые. Они выполняли грязную работу, и ты искренне был убежден, что им на роду написано быть мусорщиками. Поздней, в годы военной службы, ты из повседневного общения с уроженцами Мурсии и Андалузии вынес нечто новое для себя: ты обнаружил, что в окраинных «бидонвилях» ютятся беглецы. Нищета барселонских лачуг была спасением от другой нищеты, еще более невыносимой, беспросветной, жестокой. Сделав это открытие, ты захотел увидеть Юг своими глазами. Друзья советовали посетить Лубрин, Тотану, Андру, Гвадикс. И вот ты с Долорес и Антонио переехал реку Сегур — за ней начинается Юг. Пейзаж пленил тебя своей строгой немногословностью. Синее небо, охристая или красноватая земля, желтизна спелых хлебов. Поразительно красиво — и непривычно. Ближе к Альмерии пошли крутые, какие-то фантастические, лунные горы, голая земля полупустыни, меловые холмы. Ты изумлялся, ахал от восхищения — и навсегда влюбился в этот край. В Сорбасе вы остановились у придорожной таверны выпить глоток вина, и ты сказал Долорес:

— Красивее здешних мест не сыскать во всем свете.

Хозяин, хлопотавший в это время за стойкой, повернулся к тебе и, вскинув брови, заметил — его голос еще и сейчас звучит у тебя в ушах:

— Для нас, сеньор, эти места — проклятие...

...Зной понемногу спадал, и ты поднялся с шезлонга. Горничная оставила транзистор включенным. Ты встал, намереваясь пройтись немного по лесу, но почему-то вместо этого подошел к столу и начал слушать выпуск последних известий. Приемник негромко, как бы под сурдинку сообщал:

«...новый руководитель местного синдиката сеньор Тускетс...» (Неужели тот самый?)

Ты вернулся к биографиям рабочих-эмигрантов, перевернул пальцем страницу, и Голос вырвался из бумажного плена.

На шестой месяц после того как мы приехали в Таррасу жена родила девочку но роды были преждевременные ребенок умер а денег у нас на похороны не было сунулись мы туда сюда но никто нам не помог обращаешься к людям а они и знать тебя не хотят и она три дня лежала у нас в корзине и ничего не было в моей жизни горше этого где же зто видано такое на свете чтобы младенца хоронить в корзине хороша справедливость и достойное отношение к человеку когда ты своего ребенка несешь хоронить как собаку завернул в тряпки положил в корзину ладно сойдет

а когда я стал хлопотать и доказывать что какая же это справедливость и не во мне дело а в детях дети-то за что страдают и стал просить пусть придут посмотрят ведь совсем крыша прохудилась как на улице живем дождь холод а что толку пришел к нам начальник по санитарному надзору посмотрел видит все как есть правда да ему что у него голова за нас не болит дома небось и свет и тепло и крыша над головой добрая пришел наобещал с три короба только мы его и видели

тогда я пошел на радио и попросил чтоб разрешили мне выступить рассказать про нашу жизнь чтобы люди узнали может найдется какой добрый человек и нам поможет но они говорят по радио выступать дело непростое образование нужно а я не умею по-культурному говорить так что потерпи братец авось как-нибудь устроится и дал мне который там на радио распоряжается пять песет

и вот пошел я обратно в муниципалитет и прошу их придите сделайте такую милость посмотрите ведь заживо там гнием а они мне отвечают что мол занятые они все очень и некогда им со мной возиться а если мне так уж позарез надо пожалуйста пиши им заявление да еще клей на него гербовых марок на четыре с половиной песеты да почтовых марок сколько положено

а я им толкую я ведь не птичьего молока у вас прошу а только чтоб можно было крышу починить и свет провести чтобы сынишка мой не хворал ведь ребенок не выдержит он умрет

и еще целых три года промучились мы в этой халупе а ответа так и не дождались

На миг ты отрываешь глаза от исписанного листка бумаги.

Панорама медленно разворачивается. По обе стороны дороги проплывают холмы, они тянутся друг за другом, голые, изъеденные эрозией, и тебе опять вспоминаются изображения лунных пейзажей; растительность скудеет, вот оно, всевластие солнца! Искрится и поблескивает аспидная грязь канав, блеклая желтизна смоковницы словно просвечивает сквозь белый налет, богатство красок иссякло, сменилось однообразием. Ты в самом сердце Андалузии. Иссушенная солнцем земля. Белые домики деревень жмутся к каменной громаде церкви, они убегают назад, такие же призрачные, как и вознесенные над ними высокие колокольни, минута — и они растворяются в воздухе, словно далекий мираж или внезапная галлюцинация, рожденная больным воображением.

Но вот еще одно селение, дорога становится улицей. На площади ты выходишь из машины и несмело осматриваешься по сторонам, готовый умчаться так же внезапно, как внезапно здесь появился. (Путешествие это ты предпринял в надежде собрать достаточно материала для своей будущей документальной картины. Тебе не дает покоя мысль об Энрике, мысль об аресте Энрике, об издевательствах и пытках; она подстегивает и торопит тебя.)

Беленые фасады домов слепят глаза. Бакалейная лавка. Бар битком набит тощими темнолицыми мужчинами. Дамская парикмахерская.

Внезапно твое внимание привлекает выцветшая табличка на угловом доме, выходящем фасадом на главную улицу:

МУНИЦИПАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

(Черт! Интересно, кто это тут занимается чтением, в этой дыре?)

Двухэтажное здание с круглым балконом, покоящимся на каменных фигурных консолях. Жалюзи спущены. Дверь на запоре. Берешься за дверной молоток. Напрасный труд.

— Там никого нет,— объясняет прохожий.

— А в котором часу открывают?

— Как когда.

Собеседник ковыряет спичкой в зубах и, стараясь не проявлять излишнего любопытства, оглядывает тебя с ног до головы.

— Вы новый учитель?

— Нет, я тут проездом.

— Мы на этой неделе ждали учителя, я и подумал...

— Нет, просто увидел, написано «Библиотека», захотелось взглянуть. Я думал, открыто.

— Они редко когда открывают,— объясняет собеседник.— Но если интересуетесь зайти, я знаю, у кого ключ.

— Не стоит, зачем беспокоить людей.

— Никакого беспокойства тут нет. Это родственница моя. Она живет рядом, в двух шагах.

Собралась кучка ребятишек, смотрят на вас разинув рот. Собеседник поворачивается к ним и, положив руку на голову самому рослому, спрашивает:

— Хулия где живет, знаешь?

— Какая Хулия?

— Которая альпаргатами торгует, у нее еще прилавок прямо в дверях.

— Ага, знаю.

— Ну вот, беги к ней, живо, и скажи, чтоб дала тебе ключ от библиотеки, тут один сеньор хочет в библиотеку зайти.

Мальчишка умчался. Ты улыбкой благодаришь родственника библиотекарши.

— Она и дочку приспособила. За уборщицу. Порядок наводить, пыль вытирать, проветривать...

— Каждый день убирает?

— Зачем каждый день? На рождество, ну и летом... Когда инспектор провинцию объезжает.

— А в остальное время, что же, закрыто?

— Закрыто. Разве приедет кто нездешний, вот вроде вас.— Собеседник на мгновение задумывается.— Прошлый год студент приезжал. Из Мадрида.

Вокруг стоят уже с десяток ребятишек и внимательно слушают ваш разговор, они перешептываются и время от времени то один, то другой скрывается в баре: сообщить последние новости. Через несколько минут гонец прибегает назад.

— Хулия уехала.

— Куда уехала?

— В Гранаду, и до вторника не вернется.

— А дочка?

— Дома нет.

— Кто это тебе сказал?

— Перико.

Родственник библиотекарши разводит руками: на нет и суда нет. Подошло двое-трое любопытных — послушать, о чем это люди толкуют. Слушают молча.

— Дочка Хулии к золовке своей пошла,— роняет наконец один.— Я их с полчаса назад вместе видел.

— А где они были?

— У бакалейщика в лавке.

— Сбегай-ка к ней,— приказывает мальчишке твой покровитель.— Скажи, чтоб дала тебе ключ.

— Ну что вы, не стоит,— протестуешь ты.

— Ничего, ничего, ему это не в труд. Он мигом.

Мальчонка убежал. Любопытных поприбавилось. Человек двадцать уже наберется. Растет толпа. Двадцать пять, тридцать.

— С Франции. Иностранец,— сообщают мальчишки.

Взрослые смотрят на тебя так, словно ждут, что ты сейчас обратишься к ним с речью. Через площадь идет священник в засаленной сутане и поглядывает в твою сторону. Прежде чем исчезнуть из твоего поля зрения, он останавливает мальчишку и о чем-то с ним говорит. По направлению их взглядов ты догадываешься: речь идет о тебе.

— А вы откуда же к нам пожаловали, если мой вопрос вас не обидит? — спрашивает твой благодетель.

— Из Барселоны.

— А машина эта — французская?

— Французская.

— То-то я смотрю — «Ф» на номере...

Кольцо любопытных медленно сжимается. Шепот:

— Из Франции, из Франции.

Кто-то спрашивает:

— А как там хозяева, не прижимают? Дают людям работу? — (Неизбежный вопрос, но, хоть ты уже не в первый раз его слышишь, краска заливает тебе лицо.)

Мальчонка возвращается запыхавшийся.

— Она сказала, что ключ у матери.

— Так ты ж говорил, она в Гранаду уехала?

— Ага.

— А ключ?

— Она его с собой забрала.

Воцаряется тишина. Толпа затаила дыхание. Ждут, что ты скажешь. Их уже человек сорок, а может, и все пятьдесят. А вот и еще подвалило. И еще. Спрашивают, что такое. По толпе, не умолкая, шелестит: «Барселона», «библиотека», «Франция».

— Что тут происходит? В чем дело?

Голос властный, и кольцо любопытных раздается, пропуская солдата гражданской гвардии, против обыкновения — одного. Усы, темные очки, треуголка, замызганный френч, брюки в заплатах.

— Так просто,— объясняет твой покровитель.— Этот вот сеньор интересуется зайти библиотеку посмотреть, а Хулии нету, я и послал мальчонку за ключом.

— Кто тут насчет библиотеки интересуется? Вы?

— Я, сеньор.

— Удостоверение личности, попрошу.

Толпа замерла, так и впились в тебя глазами. Огнедышащее солнце палит голову.

— У меня удостоверения нет. У меня — паспорт.

— Иностранный?

— Нет, испанский.

— А почему не удостоверение?

— Я живу за границей.

— Это почему же за границей?

— Личные причины.

— Так. Покажите паспорт.

Жандарм недоверчиво берет паспорт в руки, просматривает и, не торопясь, тщательно прочитывает каждую страницу.

— Эта печать — где вам ее ставили?

— В Германии.

— А эту?

— В Голландии.

— Чем вы занимаетесь?

— Я фотограф.

— Когда приехали в Испанию?

— Там есть, посмотрите... Полицейский комиссариат в Ла-Хункера... Второго августа.

— Ах, да... У вас тут в Испании семья?

— Нет, семьи нет.

— Значит, в качестве туриста?

— В качестве туриста.

— И вы говорите, что хотели посмотреть библиотеку?

— Да так, просто полюбопытствовал.

— Она закрыта.

— Да, мне уже сказали.

Жандарм возвращает тебе паспорт. Его грубое лицо кривится, пытаясь изобразить улыбку.

— Я вас для порядка спрашивал, как по службе положено.

Зрители не могут оторвать взгляда от твоих губ. В твоем молчании им, видимо, чудится какой-то подвох.

— Бдительность — прежде всего. Так я говорю? Каждого, кто к нам приезжает, не проверишь, мало ли что у него на уме...— Жандарм говорит почти сердечно.— В общем, дело вам, я думаю, ясное... Ладно, поезжайте с богом.

— Большое спасибо.

— Счастливого пути.

Жандарм удаляется, зеваки один за другим расходятся, ребятишки возвращаются к прерванным играм. Бар наполняется завсегдатаями.

Ты переходишь площадь и садишься в машину. Все то же слепящее солнце заливает беленые стены домов. Над тобой проносится ласточка, беспечно и ловко она скрывается под навесом крыши муниципальной библиотеки.

(А библиотека, наверно, по-прежнему, закрыта, в твоем портфеле дремлют записи социологических опросов — они тебе не понадобились, потому что твои документальные съемки закончились провалом. Энрике — на Кубе, весь ушел в революцию, а ты, как и прежде, предаешься праздности и, сидя в своем шезлонге под деревьями, в тени, которая располагает тебя к воспоминаниям, смотришь, как постепенно тускнеет рассеянный вечерний свет.)

И так оно продолжалось до 1950 года а в пятидесятом году видим ничего мы в этой Таррасе не дождемся снялись с места и поехали набедовались в дороге пока до Хероны добрались сынка нашего который у нас в Таррасе родился конечно с собой взяли в Хероне мы получили паспорта для выезда во Францию и поехали дальше а в Фигерасе сыночек наш заболел пришлось к доктору идти но доктор сказал ничего мол страшного нету и на другое утро мы сели в автобус и так доехали до первого французского большого города называется Перпиньян и как приехали пошли в бюро иммиграции и сынка моего сразу посмотрел французский доктор очень внимательный симпатичный сам к нам пришел и сказал что мальчика уже спасти нельзя и тогда мы пошли к ис-

панскому консулу и секретарь посмотрел как мучается наш сынок и говорит ничем вам помочь не могу но тут как раз вышел генеральный консул он только что приехал из Соединенных Штатов и сразу дал распоряжение выправьте на ребенка документы чтобы его в больницу положили и наперед чтобы никогда больше такого беззакония не повторялось я мол испанец а не кто-нибудь и двадцать лет был консулом в Америке я этого не потерплю а ребенку живо дать выпить горячего бульона но только что мы приехали в больницу сынок у меня на руках весь посинел и через час умер и снова мы пошли к консулу и рассказали ему сколько мы отец с матерью горя приняли чтобы в такой жизни как мы жили в Таррасе сынок наш не болел и рос здоровым и вот теперь приходится нам его хоронить в Перпиньяне и консул сказал не беспокойтесь я насчет вашего сына позабочусь я консул и честно выполняю свой долг по отношению к сыновьям нашей родины и он правда устроил сыночку нашему похороны что дай бог каждому и я никогда не забуду Перпиньян и как сердечно к нам тамошние люди отнеслись и в полиции и в муниципалитете все уважительные у каждого найдется для тебя ласковое слово облегчили они наше горе и дай бог им всем добра им и всему городу Перпиньяну

Вспомни (и запиши) эту сцену, чтобы она не умерла вместе с тобой.

Возвращаясь из Швейцарии вместе с другими сотрудниками агентства, ты задержался на несколько дней в центральных департаментах Франции, совершив небольшую экскурсию по гастрономическому маршруту, рекомендованному путеводителем Мишлэн (Валанс, Вильфор, Шато-де-ла-Мюз, Мийо, Сент-Африк, Лякон, Катр). Ты прогуливался по неприютному перрону вокзала в Тулузе, ожидая экспресса, которым тебе предстояло возвратиться в Париж. Ты чувствовал себя несколько утомленным (перебор по части розовых выдержанных тонких вин: «Сент-Перэ», «Корна», «Сен-Сатюрнен», «Гайяк») и не сразу обратил на нее внимание. Ей было лет за тридцать. Красивая женщина, русоволосая, бедра, правда, немного тяжеловаты. Пальто на ней было из искусственного каракуля. Она, так же как ты, прогуливалась по перрону, и на полдороге вы встречались. Она волновалась и была уже не в силах совладать с нервами:

— Pardon, monsieur. Le train qui vient de Cerbère est-il en retard?[1]

Железнодорожник отрицательно покачал головой, а ты по выговору (он чем-то походил на легкий акцент, который появлялся у Долорес в минуты пробуждения или когда она хотела спать) определил, что эта русоволосая женщина — твоя соотечественница, давно уже, видимо, обосновавшаяся во Франции (парикмахерша, портниха — словом, что-нибудь в этом роде). Экспресс подали на линию между двумя центральными платформами (в шумное пыхтение паровоза вплелся неразборчивый голос вокзального радио и звонкий колокольчик почтового автокара). Ты увидел, как она побежала вдоль состава, тревожно и нетерпеливо всматриваясь в лица пассажиров, высунувшихся из окон. Внезапно женщина остановилась: из окошка выглядывала старуха в черном платке, она беспомощно и беспокойно озиралась по сторонам — как птенец, выпавший из гнезда, подумалось тебе.

— Мама! — закричала женщина.— Мамочка!

Ты вошел в вагон вслед за ней — это было купе второго класса (мать везла с собой две плетеные ивовые корзины, содержимое которых было прикрыто старым тряпьем, и полдюжины картонных коробок, связанных веревочками). Женщины сидели обнявшись и плакали, а ты де-

[1] Простите, мосье. Поезд из Сербера не опаздывает? *(Франц.)*

лал вид, будто перебираешь содержимое саквояжа, и краешком глаза следил за ними. Мать — крестьянка. Вся в черном. Неуклюжее деревенское пальто, грубошерстный платок на голове, ноги — в стоптанных домашних туфлях. Дочь — в пальто из искусственного каракуля, в элегантных итальянских туфельках. Шею прикрывает нарядная шелковая косынка. На желтом, увядшем лице матери — нищета и пыль родного нагорья. Лицо дочери знакомо с умелыми руками косметичек, она горожанка до кончиков ногтей, привлекательная, изящная. И вот обе они сидят и плачут, и целуют друг друга, и не могут нацеловаться, и не могут оторваться одна от другой, счастливые, онемевшие от радости.

— Шестнадцать лет. Боже мой, шестнадцать лет.

Кроме вас троих, в купе никого больше не было. Поезд проносился по незримой (ночной) французской земле, а потерянная мать и найденная дочь, потерянная дочь и найденная мать все еще обнимались и целовались, подводя черту под своей затянувшейся, безнадежной разлукой (заполненной для одной «великим исходом», немецкой оккупацией, бомбардировками; для другой — голодом, годами блокады, закрытием границы). Казалось, они только теперь узнали, что существует любовь и нежность; казалось, они только теперь эту нежность и любовь обрели. Смочив одеколоном чистую салфетку, дочь отерла матери лоб, щеки, губы (словно хотела смыть с ее лица следы шестнадцатилетних лишений и горя). Она сняла с нее грубый шерстяной платок и покрыла ей голову своей шелковой косынкой; вместо старых домашних туфель она надела ей на ноги темные, приличные ее возрасту туфли; она заставила ее сбросить истертое до ветхости пальто и с материнской (она, дочь) заботливостью одела ее в свое пальто из искусственного каракуля. Мать, ошеломленная счастьем, не сопротивлялась, и в ответ на каждое движение дочери, на каждый ее жест из материнских глаз выкатывались (снова и снова) две чистые, прозрачные слезы и бежали, блестящие, как жемчужины, по морщинистым щекам.

Когда бессмысленность человеческого существования повергала тебя в отчаяние (а это в последнее время случалось все чаще), воспоминание о матери и дочери, воспоминание о встрече матери и дочери в купе второго класса (в парижском экспрессе, мчавшемся по ночной Франции) вливало в тебя бодрость, излечивая от хандры и уныния, ставших (быть может, ты сам был тому причиной) хлебом насущным твоего бытия. Припадок на бульваре Ришара Ленуара поставил тебя лицом к лицу с неотвратимостью смерти, теперь ты знал доподлинно: от этой финальной катастрофы никуда не уйти, и тебе было больно, что вместе с тобой умрет и это воспоминание. Сидя в саду под ненадежной, подвижной тенью деревьев, ты чувствовал, как в тебе нарастает ярость бессмысленного протеста против скаредной судьбы, заранее обрекшей дорогое тебе воспоминание и самого тебя (нет, это было невероятно, ты ощущал в себе еще столько жизни, молодая сила бродила, бунтуя в твоем теле) на беспощадное, жестокое, всепоглощающее забвение.

Этот добрый сеньор дал нам адрес и мы с этим адресом поехали прямо к нему домой но когда мы к нему пришли он нам заявляет я мол нанял другого потому что будто бы есть закон что нельзя брать на работу испанцев а я у него спрашиваю ведь вы же сами нас сюда вызвали из Испании а он отвечает вы мне не указывайте в этой деревне хозяин я а я ему говорю вы меня обманули разве справедливо так поступать и я пошел в муниципалитет это ведь деревня французская рабочие прочитали мой контракт накормили нас и сказали чтобы я этого так не оставлял что французские рабочие и испанские рабочие — друзья а этот добрый сеньор нарушает французские законы он обманул нас и еще других

кроме нас и теперь ему не сдобровать Франция ему покажет что значит обманывать рабочих и чтобы я немедленно обратился в отдел министерства труда в городе Нарбонна пусть он там попробует обмануть рабочего там быстро разберутся как и отчего умер мой сын а этот сеньор если он забыл так вспомнит что такое значит рабочий

и мне посоветовали поскорее нанять адвоката и получилось что адвокат мой женщина ее звали Мариса Каррерас у нее отец каталонец и она сразу повела нас в гостиницу такая попалась славная женщина так заботливо отнеслась заплатила за все наши расходы в гостинице и за номер и дала две тысячи франков на обратную дорогу ничего вы тут Бернабеу говорит не добьетесь сеньор этот здесь хозяин и все под его дудку пляшут

и мы вернулись в Херону жене подошел срок рожать это вот второй наш сын второй живой из четверых детей и она через две недели легла в родильный дом а я никакой работы найти не могу и решил пойду-ка я в муниципалитет пусть мне хоть документ выправят чтобы я бесплатный обед получал как безработный но они только три дня меня покормили и выгнали говорят я бродяга а я им говорю дайте мне работу хоть временную пока жена из больницы выйдет а они мне вон отсюда я им отвечаю мне есть нечего и ночевать негде у вас тут произвол и беззаконие и я это повторил громко все слышали и за это меня второй раз посадили в тюрьму.

В своих частых поездках по родной стране ты видел обширные территории, где природа была варварски обезображена людьми: андалузские выжженные равнины и оголенные горы; плоские, как доска, безрадостные поля Ламанчи. Ты останавливался в каком-нибудь глинисторыжем или белом селении, в нищем, забытом людьми и богом рыбачьем поселке, заглядывал в таверну, на рынок или в бедную деревенскую гостиницу — словом, куда придется, и заводил разговор с крестьянами и рыбаками, ты быстро умел найти с ними общий язык и завязать дружбу. Избавленный от нужды и материальных забот по прихоти случая, давшего тебе богатых родителей, ты целыми часами слушал их рассказы о своей жизни, семье, работе, лишениях, надеждах, и собеседники твои простодушно принимали твой горячий интерес к их делам за чистую монету, они видели в тебе своего, и лишь ты один знал, хотя и не всегда в этом себе признавался, что личиной братства и солидарности прикрываешь своекорыстную цель: сбор материала для будущего фильма о рабочих-эмигрантах. За бутылкой «хумильи», за стопкой-другой «морилеса» ты завоевывал сердца крестьян Лубрина и лесорубов Силеса, погонщиков мулов из Тотаны и каменщиков из Куэваса, ты подкупал их своей минутной сердечностью и лживыми обещаниями непременно заехать в гости, потом вы обменивались адресами, и ты клятвенно заверял их, что будешь поддерживать с ними регулярную переписку. В минуту прощания, когда они обнимали тебя и грубовато пожимали твою руку, ты испытывал циничное чувство облегчения и одновременно вины. Ты ведь знал, что, предлагая им свою дружбу, бесстыдно обманываешь их и обманываешь, жалко обманываешь самого себя; ты отлично сознавал: едва только рассеется мимолетная атмосфера дружеской близости, порожденная их присутствием, ты забудешь о них и никогда больше не приедешь сюда, чтобы их повидать. Но то, что для тебя было всего лишь случайной, дорожной встречей, для них, быть может, представляло собой настоящее событие. Будущий фильм требовал все нового и нового материала, и ты разыгрывал эту сцену не раз и не два, пока с горечью не убедился, что чувство братской солидарности, которое поначалу всякий раз охватывало тебя, когда ты вступал в общение с этими людь-

ми,— не больше как самообман, ибо, расставшись с ними, ты вновь отдавался на волю своей кочевой судьбы, а они по-прежнему прозябали в своей темной безвестности и, если не случится чуда, будут прозябать до того дня, когда их бренные останки найдут последнее упокоение на одном из зеленых, пронизанных солнцем андалузских кладбищ.

Прошло еще много, очень много времени после того, как полицейские власти Йесте отняли у тебя надежду и ты понял, что уже не создашь документальной ленты, а письма и открытки с корявыми адресами, выведенными не привычной к перу рукой, все шли и шли; они ложились на твой письменный стол в мансарде на улице Вьей-дю-Тампль, как отчаянные воззвания о помощи, проделавшие в засмоленной бутылке долгий, полный превратностей путь к берегам далекой земли. Поздравления ко дню ангела и к рождеству, семейные фотографии валялись среди твоих папок и книг, накапливались из года в год, пока однажды, желая покончить навсегда со своим прошлым и хоть раз привести в порядок свои бумаги, ты, не перечитывая, бросил их в горящий камин.

Ты не забудешь той зимней ночи (за окном падал снег), когда, лежа рядом с мирно спящей, неподвижной Долорес, ты не мог уснуть, в голову лезли мысли о бескорыстной и обманутой любви этих людей, веривших тебе и (с таким трудом) писавших тебе свои письма, и внезапно (просветленный ужасом и отвращением) ты новыми глазами взглянул на обветшалые права, на которых основывались твои несправедливые привилегии.

Хосе Бернабеу говорит

стул мой остался дома и на прощание он стул сказал так

бедняга Бернабеу мне жалко расставаться с тобой я вижу ты трудолюбив и честен и однако сегодня в воскресенье ты должен как в будни идти добывать себе на пропитание но я тебе обещаю настанет день и ты будешь вознагражден за все потому что твой стул это стул всех сыновей и всех дочерей любящих свою мать Каталонию и всех сыновей и всех дочерей мира и его четыре вертикальные рейки это четыре полосы национального герба Каталонии

этому стулу дороги все сыновья и все дочери которые из-за вас остались обездоленными сиротами и стул говорит на него сажали каталонцев верных своей родине и испанцев верных законной Испанской республике и мы умирали с голоду и гнили в тюрьмах в то время как фалангисты наживались а нас давили и гнули как рабов

так говорит стул крещенный именем Компаниса и вторым именем Свобода ибо Хосе Бернабеу дал ему имя героя павшего за нашу Каталонию которая дорога всем кто хранит верность законной Испанской республике

и обидно этому стулу слушать бессовестные разговоры тот говорит я поеду летом отдыхать в Ситжес а тот я поеду на Майорку этому стулу немало довелось наслушаться бесстыдных речей потому что богачи и главари испанской фаланги не стесняются

стул обращается к тебе буржуазия Барселоны к вам господа заправилы синдиката потому что все вы одна компания и стул спрашивает вас а у семьи Хосе Бернабеу есть кусок хлеба и если вы не знаете что на это ответить то вам ответит этот вот стул

да я всего только стул но я вам отвечу

липовые реформаторы неплохо вы устроились как посмотришь кричали все переделаем по-новому а теперь сами наживаетесь за счет бедняков и стул этот вам говорит народ забит и запуган но ничего когда-нибудь он рассчитается с вами сполна

потому что вам главарям и руководителям нет прощения это вы

установили порядок если думаешь не по-вашему сиди без работы и хлеба

стул говорит вам десять лет народ живет в страхе перед вашими инквизиторскими застенками но погодите будет и на нашей улице праздник

потому что вы растоптали Каталонию и законную Испанскую республику ради своей корысти и денег

потому что злодеяния ваши видел вот этот стул и вел им счет

потому что он стул этот крепко стоит на своих четырех ножках и спинка его это герб Каталонии а весь он утверждение прав законной Испанской республики

и на нем на этом стуле крещенном именем Компаниса и носящем второе имя Свобода

на стуле которого так назвал Хосе Бернабеу

на этом стуле говорю я вам

вы не будете сидеть никогда

Тихая заводь летнего вечера. Угасающее солнце стирает краски с холмов, одетых виноградниками и разлинованных рядами рожковых деревьев.

В этот час хорошо оторваться от чтения, окинуть взглядом кровавый закат и внимательно рассмотреть каждую вещь вокруг, словно видишь ее впервые, потому что только сейчас родился на свет. Долорес, сидевшая рядом, взяла отпечатанные на машинке страницы, что ты оставил на столе, и начала читать, нервно прикуривая одну сигарету от другой. Приближалось время укола и приема ненавистных капель, прописанных доктором Аньером, и, чтобы не впасть в уныние, ты старался думать о том, что скоро к тебе приедут друзья, вспоминал торжественные аккорды «Реквиема» и на редкость приятный розовый цвет нового вина. Тень того, кто чтил память Компаниса, растаяла в вечернем воздухе, и теперь в прекрасном, запущенном саду никого, кроме тебя и Долорес, не было. Ты вслушивался в размеренное биение своего сердца, и твоя рука лежала на узкой руке Долорес. Множество мелких шумов — протяжное кваканье лягушек в пруду, звон цикад, чуть слышное пение ветра в листве эвкалиптов — делало тишину более плотной, и, когда в нее вторгался долетавший из лесу стук топора или далекое пыхтение паровоза, ты подымал глаза к опаловому небу и несколько мгновений следил за точным, словно бы заранее выверенным полетом птиц. Теперь и Долорес кончила читать и взглянула на тебя синими, еще не тронутыми закатом глазами — все вокруг медленно затоплял алый, захватнический вечерний свет.

— А что с ним было дальше? — спросила она.

— Я слышал,— тебе показалось, что отвечаешь не ты, а кто-то другой,— я слышал, будто ему удалось поступить на текстильную фабрику и он остался в Таррасе.

— А его сын? Помнишь, он приходил к нам брать книги?

В твоей памяти возникает его грубоватое толстогубое лицо с густыми бровями; он сидит, облокотясь на стол, в твоей мансарде на улице Вьей-дю-Тампль и, уставившись на носки башмаков, пересказывает историю своего отца.

— Разве я тебе не говорил?

Долорес смотрит на тебя вопросительно, пряди красивых волос, упавшие на лоб, подчеркивают выразительность ее взгляда.

— Нет.

— Он вернулся в Испанию и почти сразу попался.

И снова встает перед тобой его лицо, спокойное, серьезное. Когда

он пришел прощаться и ты в последний раз пожал ему руку, тоже были сумерки, такой же, как сейчас, белесый, неверный свет.

— Попался?

— Его задержали с литературой.

На крышу у самого края уселся дрозд. В ту же минуту на террасу вышла со стаканом воды и каплями дочка арендаторов.

— А где он теперь?

— В тюрьме.

У тебя вдруг застучало в висках, а слева в груди, где-то в самой глубине, запульсировала ноющая, тупая боль.

— Сколько ему дали?

— Не знаю.

Лениво падали капли в стакан с водой, а лицо мальчика, вопреки твоим стараниям, не выходило у тебя из памяти — оно стояло перед тобой упорно, неотступно, как немой упрек.

— Кто тебе это рассказал? — Долорес поднялась с качалки и изящным движением руки протянула тебе стакан.

— Антонио.

Вечер медленно погружался во тьму. И ты докончил:

— Его выбрали профсоюзным связным, и при первой же облаве он был арестован.

Глава VIII

Куба понятие отложившееся в твоей памяти напластованиями разных эпох оно уходит корнями куда-то вглубь чуть ли не в историю твоего внутриутробного развития а верхний слой его события сегодняшнего дня включает твой собственный живой опыт но также и предания слышанные когда-то в детстве и ты оперируя скудным запасом фактов и материалов имеющихся у тебя в распоряжении пытаешься провести черту между семейными мифами твоих детских лет и бурной революционной действительностью нынешней Кубы молодой страны гордо распрямившей спину чтобы на глазах у всего мира бросить дерзкий вызов самой жестокой и могущественной из великих держав

пробиться к свету сквозь темные туннели своего внутреннего мира дело не легкое и ты продвигаешься вперед на ощупь восхищенно вслушиваясь в первые аккорды «Реквиема» ты направляешься в кабинет берешь наугад пачку писем адресованных твоему прадеду и переплетенный номер давным-давно закрывшейся «Испано-американской иллюстрации»

Долорес спит утомленная треволнениями дня

зная что ни ты ей ни она тебе уже ничего больше не можете дать и ничем не в силах помочь

что вера в крепость духовных уз была всего лишь самообманом и что смерти нет дела до вашей любви

смерть отнимет у вас все

у нее и у тебя

непоправимо одинокий

ты открываешь бутылку «кларета» выпиваешь рюмку потом другую

выходишь в сад весь белый от лунного сияния и тихо идешь к беседке

единственное живое существо в этом сонном уголке испанской сонной земли

ничто больше не связывает тебя с сообществом твоих близких ты наконец свободен от тяготившего тебя всю жизнь бремени

тебе тридцать два года и ты только сейчас родился ты восстал из мертвых как Лазарь

корневая связь перерублена пуповина отрезана
мореплаватель без компаса и путеводной звезды
засмоленная бутылка брошенная в море на волю волн
она уплыла от родного берега
но у нее нет адресата
на ней нет адреса
в нее не вложено никакого известия
ночь и Моцарт
ты возвращаешься на галерею выпиваешь еще рюмку вина и ложишься на диван
Куба осаждает твою память и ты не в силах отогнать неотступное
теперь можно было бы покончить со всем и ты навсегда избавился бы от своего прошлого
но что-то цепкое неодолимое гнездящееся в тебе самом удерживает тебя
гонит прочь мысль о самоуничтожении придает тебе новые силы ободряет подстегивает
воскрешает угаснувшую волю к жизни
ты должен стать памятью того что было
властная
непререкаемая
почти исступленная
разгорается в тебе
жажда свидетельствовать

Однажды в Париже, беседуя с друзьями Альваро, Долорес сказала: города он оценивает в зависимости от наличия в них баров и злачных мест.

— Любопытная разновидность революционера,— смеялась Долорес.— В его представлении социальный прогресс и ночная жизнь связаны так тесно, что он их отождествляет. По его понятиям, Париж, Амстердам, Гамбург — города замечательные, передовые. А Женева, Милан и Франкфурт — мрачные, реакционные.

Альваро и в самом деле сожалел о повсеместном исчезновении некоторых старинных кварталов, живописных приютов городского дна: в Мехико недавно снесли улицу Органо, в Марселе — Старый порт, в Гамбурге — Ульрихсштрассе.

— Строгость нравов — к лицу революции,— пояснял Альваро.— Но когда в пуританство ударяется капитализм — это отвратительно. Если буржуазный мир откажется от пороков, что ему останется?

Он пересказал им этот эпизод, охотно соглашаясь, что в голове у него царит полнейшая идеологическая путаница, и добавил, что он искренний сторонник революции, но теоретически и морально, конечно, подкован слабовато, в этом отношении у него еще куча пробелов.

— Стало быть, Гавана для тебя передовой город?

— Всегда был и будет передовым. Ты посмотри, как танцует Бебо. Такого парня не сыщешь нигде, кроме Кубы.

— Нет, ты не революционер,— возмутился Чео.— Ты буржуй.

Сара сидела рядом. Они познакомились три дня назад, и теперь их повсюду видели вместе. Склонив голову к Альваро на плечо, она крепко держала его за руку своими тщательно ухоженными пальчиками. Она казалась совершенно счастливой.

— Альваро просто прелесть,— сказала она, поворачиваясь к Чео.— Мне нравится, что у него такие печальные глаза. А выговор! Сразу видно, настоящий испанец. Я в него влюбилась с первого взгляда.— Она заглянула Альваро в лицо и обвила его шею руками.— Ты меня еще

не любишь, ио вот увидишь, я тебя приворожу. У нас в семье все чуть-чуть колдуны. У моей бабки была горничная-негритянка, знахарка, она, если хотела, могла сглазить. Я тебе про нее не рассказывала?

— Нет.

— Когда я была еще девчонкой, она научила меня одной молитве, чтоб влюблять в себя мужчин. Я постараюсь влюбить тебя обычными способами, без молитв, но если ты не поддашься, я стану каждую ночь приходить в двенадцать часов к тебе под двери, зажигать свечку и читать эту молитву.

— А про что в ней говорится, если не секрет?

— Ах, молитва потрясающая. Стоит только ее прочесть, и ты весь день будешь сам не свой, за стол сядешь — кусок в горло не полезет, спать ляжешь — не уснешь, и не будет тебе ни сидеться, ни лежаться, и ни одна женщина на тебя не посмотрит, ни белая, ни черная, ни мулатка, ни китаянка, и станешь ты за мной бегать, как бешеный пес.

— Молитва прелестная, ничего не скажешь. А что в ней дальше?

— Это все.

— И то слава богу. Я уж думал, сейчас пойдет насчет моей семьи, чтоб никого у меня на свете не осталось или еще что-нибудь в этом роде... Вы, кубинки,— опасный народ.

— И еще какой опасный! Когда мы влюбляемся, мы готовы на все.

— Вижу, вижу.

— Я, например, была бы способна развязать атомную войну, если бы знала, что это сделает меня интересной в твоих глазах.

— Болтушка ты, больше ничего,— бросил Чео.— Разве так мужчин привораживают? Надо тайком, чтоб он и не подозревал.

— Ты прав. Я не умею держать язык за зубами,— вздохнула Сара.— И всегда я вот так. Теперь влюбилась в Альваро и готова рассказывать об этом первому встречному.

Танцор окончил свой танец. Сара взяла из кошелька пригоршню монет и встала. У музыкального автомата в зеленоватом свете пульта двое негров разбирали надписи на пластинках. Сара подошла к ним; негры обменялись двумя-тремя словами и, вернувшись к стойке, уселись на свои табуреты. Чео достал из кармана сигару и бережно раскурил ее. Оттеняя темноту кожи и черноту усиков, ярко блеснули в полумраке его белые зубы.

— Где ты ее подцепил?

— Приятель познакомил.

— А ты не теряешься, каждый раз с новенькой.

— Между нами ничего нет,— запротестовал Альваро.— Это ж младенец, сам видишь.

Сара жадно глядела на автомат. Свет пульта подчеркивал совсем еще детскую округлость ее лица и придавал неожиданно лукавое выражение глазам. Маленькие крепкие груди оттопыривали шелк блузки.

— Я заказала наши любимые: Арагóна, Бéнни и Чапоттúна — «Лучше всего».

— Еще два коктейля. И для тебя что пожелаешь.

Чео отправился выполнять заказ, и Сара воспользовалась его отсутствием, чтобы поцеловать Альваро. Бебо пригласил на танец двух девушек, сидевших за соседним столиком. Вокруг сразу же образовалось плотное кольцо зрителей. Негр танцевал с мастерством профессионала, каждое движение было отточено до совершенства. Время от времени он касался пальцами шляпы или одергивал штанину брюк, но ни на миг не сбивался с заданного оркестром ритма. Голос Бенни, дрожащий, надрывающий душу, пел: «Не откладывай, не надейся на завтра». В слабом свете автомата чуть проступали стенные росписи бара: сирены, обнаженные женщины, портреты давно вышедших из моды, никому уже

не известных артистов и музыкантов. В глубине зала сидели скрытые темнотой парочки, мощное звучание оркестра поглощало разговоры и шум.

— Помнишь, я рассказывала тебе про своего мальчика? — спросила Сара.— Он играет в ансамбле гуиристов. У него русые волосы. Красивый мальчик...

— Помню.

— Так вот между нами все кончено. Мы с ним сегодня поссорились. Насовсем.

— Из-за чего?

— Когда я познакомилась с тобой, я решила дать отставку всем своим поклонникам, чтобы не разбрасываться и все свое время посвятить тебе... Это я надумала вчера, когда была в патруле от нашего районного Комитета защиты революции.

— А что ты еще надумала?

— О, всего не перескажешь, и я не хочу тебе говорить сразу, а то еще испугаешься... Ты будешь узнавать постепенно, сегодня одно, завтра другое.

— Очень мило с твоей стороны.— Альваро сидел понурившись.— И что же тебе сказал твой мальчик?

— Ничего не сказал. Я порвала с ним, но так, что он уверен, будто это он со мной порвал. Ручаюсь, завтра утром он мне позвонит и будет просить прощения.

— Ты не любишь его?

— Не знаю. Он такой нежный, и мне с ним хорошо... Когда мы с ним бываем на пляже, так и хочется положить ему голову на грудь, закрыть глаза и вообразить, что это не он, а кто-то другой вроде тебя. Кстати, куда мы с тобой идем отсюда?

— Я иду к себе в гостиницу спать. Если хочешь, могу проводить тебя домой.

— Это ты из-за меня так рано уходишь? Я не хочу спать, честное слово,— поспешила она добавить.— А почему бы нам не отправиться в шведский бар и встретить рассвет в Кохимаре или в Букаранао?

— Я думаю, мне не мешает немного соснуть,— пояснил Альваро.— Наверно, это и тебе не повредит.

— Нет, как раз повредит. У-у,— протянула она, словно обиженная девочка.— Это просто глупо, чтобы такой человек, как ты, такой необыкновенный, такой удивительный, целых восемь часов лежал в постели и ничего не видел! Я с сегодняшнего дня не буду терять на сон ни минуты. Пусть я умру молодая, но зато я буду с тобой все время, сколько можно.

— Не пори чепухи. Завтра утром тебе надо рано вставать, а вечером ты идешь в патруль. Я провожу тебя домой и тоже пойду спать.

— А почему бы нам не лечь спать вместе? Я тебя не буду трогать, спи себе на здоровье.

— Хватит, Сара. Прямо как маленький ребенок.

— У тебя свидание с этой крашеной колумбийкой?

— Никакого свидания у меня нет.

— Честное слово?

— Честное слово.

— У меня из окошка виден твой балкон. Да, да, на самом верху отеля «Свободная Гавана». Завтра я куплю подзорную трубу и понаблюдаю, что ты там делаешь.

— Я ненавижу ревнивых женщин, Сара.

— При чем тут ревность? — возразила она.— Это чисто абстрактный интерес.

Чео принес два стакана коктейля. Альваро выпил свой залпом. Сегодня он часов с трех шатался по барам и теперь вспомнил, что его

запас отрезвляющих «Алька-Зельтцер» подходит к концу. Надо бы дать телеграмму Долорес, мельком подумал он, пусть пришлет пополнение.

— Налить еще? — спросил Чео.

— Если хочешь, выпей мой,— предложила Сара.— Я больше не буду.

— Принеси-ка еще один, на всякий случай. А то вдруг завтра ром у тебя уже кончится — я же умру с досады.

— «Бакарди» у меня еще есть. Не знаю только, смогу ли раздобыть фруктовых напитков и вод. Сегодня пришлось ездить доставать за город. Спасибо приятель выручил, дал машину, а то хоть не открывай бар.— Краем глаза Чео следил за барменом у стойки.— Завтра пиво у меня будет в четыре.

— А много ты получил?

— Семь ящиков. За два часа ничего не останется. Люди теперь на деньги не смотрят, швыряют ими, будто конец света пришел.— Чео сильно затянулся сигарой.— Как ты думаешь, высадятся они?

— Не знаю. Я уже несколько дней стараюсь ни о чем не думать.

— Пусть только сунутся, мы им покажем,— горячо заговорила Сара.— Они могут нас убить, всех до одного, но мы никогда не сдадимся.

— Я человек мирный,— произнес Чео,— я даже в кино не люблю, когда война.

Негр снова был в центре внимания. Теперь он танцевал с тремя девушками. Оркестр Чапоттина играл «Лучше всего». Темп был сумасшедший. Бебо протягивал руку одной девушке, на мгновение обнимал ее за талию, отпускал и тут же подавал руку второй, третья в это время танцевала одна напротив него, послушная ритму его движений, а он чуть приметно покачивал бедрами, подрагивал плечами, кивал головой в сдвинутой на затылок серой маленькой шляпе. Просто удивительно, как мгновенно девушки улавливали намерения партнера и как точно их выполняли. Скрестив на груди могучие темные руки, Чео наблюдал за танцующими. Когда пластинка кончилась, он выключил музыкальный автомат и громко хлопнул в ладоши.

— Господа, двенадцать часов.

Бебо отирал платком пот со лба. Альваро познакомился с ним недели две-три назад в баре, где был с Лидией. Бебо подсел тогда к их столику и с гордостью показал книжечку, удостоверяющую, что он возглавляет художественно-просветительную работу на кожевенной фабрике. С тех пор при встречах он сообщнически, как старый знакомый, поглядывал на Альваро, открывая в улыбке двойной ряд ровных белых зубов.

Альваро расплачивался. Бебо дружески похлопал его по плечу:

— Как живем?

— Порядок.

— На полную катушку живем, парень. С Фиделем не задремлешь, такого наддал жару, только держись, поспевай. С американцев вся спесь слетела, так растерялись, что не знают, куда цилиндры свои положить.

Свежий воздух ночной улицы сразу же разогнал усталость. Отяжелевшая от рома голова опять стала ясной. Сара шла, положив голову ему на плечо, повиснув всем телом у него на руке. На углу он закурил сигарету.

— Если хочешь, зайдем куда-нибудь еще, выпьем рюмку-другую. Но предупреждаю — ненадолго. В час я ложусь спать.

— Что ж ты меня не поцелуешь? Разве можно так не по-божески? — спросила она.— Ну, я тебя прошу.

— Перестань дурачиться, Сара. Я тебе почти в отцы гожусь.

— Ты милый и молодой, самый интересный, кого я когда-либо знала.

— Нас же увидят.

— Ну и пусть.— Они уже целовались.— Пусть знают, что мы с тобой любим друг друга.

Дружинник из районного Комитета защиты революции смотрел на них равнодушными глазами. Улица Акоста была пустынна. Подошвы ботинок прилипали к полурасплавленному от жары, еще не остывшему асфальту. Стены домов были обклеены революционными и патриотическими лозунгами: «СМЕРТЬ АМЕРИКАНСКИМ АГРЕССОРАМ»; «ОНИ НЕ ПРОЙДУТ»; «ВЕРХОВНЫЙ КОМАНДУЮЩИЙ! МЫ ВЫПОЛНИМ ТВОЙ ПРИКАЗ!» Они остановились перед плакатом, на котором был изображен Лумумба, лежащий ничком на земле со связанными за спиною руками.

— «КУБА — НЕ КОНГО»,— прочитала Сара.

Он ушел на несколько шагов вперед и окинул взглядом спящие молчаливые улицы Старой Гаваны, украшенные гирляндами пестрых флажков. На миг Альваро почудилось, что он в Андалузии. А вот и знакомый чугунный балкон с вазонами цветов. Дня три-четыре назад, окруженный толпой любопытных быстроглазых мальчишек, Альваро снимал его своим «лингофом». Кассета была хорошая, но негативы показались ему не совсем удачными. Он попытал счастья еще раз. Посмотрев вторую пленку, Энрике заметил, что неуверенность Альваро в себе граничит с неврозом.

— Ты гоняешься за совершенством, которого не существует в природе.

— С некоторых пор я утратил контакт с окружающим. Еще каких-нибудь два года назад я снимал людей, и получалось неплохо. А теперь мне ие даются даже решетки и камни. Честное слово, я не знаю, за что мне взяться.

— Очередная навязчивая идея,— резюмировал Энрике.— Сходил бы к психоаналитику — и дело с концом.

Они поехали к Ведадо. Волны выплескивались на асфальт, и открытая машина Альваро, которую он купил, прилетев на Кубу, шла сквозь облако водяной пыли. Прохладная морось мягко увлажняла лицо, терпкий вкус морской соли на губах был восхитителен; встречный ветерок, перелетая через ветровое стекло, ласково шевелил волосы. Малекон убегал вдаль, тонкий и изогнутый, как серп. По другую сторону залива вставали, сияя огнями, здания Гаваны — он еще ни разу не видел ее такой красивой, как в эту ночь. На фоне свинцового неба силуэты небоскребов со светящимися четырехугольниками окошек казались большими ульями, где идет своя хлопотливая и очень уютная жизнь. С тех пор как иачалась блокада, движение в ночные часы уменьшилось. Зорко всматриваясь в горизонт, иесли вахту у своих орудий артиллеристы береговых батарей. Над городом ежесекундно вспыхивал огромный световой лозунг «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ. МЫ ПОБЕДИМ». На радиобашне горел красный огонь. Проехав парк Масео, Альваро свернул на Двадцать пятую улицу и остановил «моррис» у «Фламинго».

— Потанцуем? — предложила Сара.

Альваро выпил два «дайкири», и, обнявшись, они закружились среди других пар, щека к щеке, губы к губам. Они танцевали и целовались. Люди вокруг них жили в каком-то убыстренном темпе, тратили деньги, не считая. Проведя день на военных занятиях или в наряде местного Комитета защиты революции, отработав положенные часы трудовой смены, мужчины и женщины спешили в бары, пили вино, танцевали, словно хотели взять все что можно от недолгих часов этой шумной, беспокойной передышки.

— Провокатор, контрреволюционер!

Звон разлетевшегося вдребезги стакана. Двое. Держат друг друга за отвороты пиджаков. Придвинулись лицом к лицу.

— Пустите!

— Я видел! — Это выкрикнул элегантно одетый негр.— Он, паразит, писал в туалете контрреволюционные лозунги.

— Сами вы провокатор!

— Я же слышал, что ты сейчас тут врал и выдумывал!

— А вы кто такой?

— Мои документы — вот! Я честный кубинец и революционер, а ты...

Их окружили. Заведующий баром безуспешно пытался разнять их. Кто-то посоветовал вызвать полицию.

— Уйдем отсюда,— сказал Альваро.

Подымаясь по лестнице, он несколько раз споткнулся. Но освежающий ночной холодок снова оживил его. Спать расхотелось.

— Проводить тебя до «Свободной Гаваны»?

— Я бы не прочь еще чего-нибудь выпить.

— А тебе не станет плохо? — Сара вела его, нежно держа за руку.

— Нет.

— А то у меня в сумочке две таблетки аспирина.

— Спасибо, мне не надо.

В баре «Сент-Джонс» они столкнулись с компанией журналистов и фоторепортеров, прибывших в Гавану со всех концов света. Большинство из них Альваро знал еще по тем временам, когда работал в агентстве. На Кубу их привело объявление блокады. Они слетелись сюда, словно стая коршунов, и вот уже несколько дней шныряли по редакциям газет и министерствам, пытаясь выведать что-нибудь в связи с предполагаемой высадкой американцев, которой так и не суждено было состояться. Они пригласили Альваро и Сару к своему столу, приветствуя коллегу насмешливыми жестами и улыбками.

— Смотрите-ка! Да он и вправду спился. Не зря нам про него в Париже рассказывали... Твое пьянство прославило тебя на всю Европу.

— Пьянство? Я абсолютно трезв.

— А ведь был многообещающим молодым талантом. Но вот вам результат: политика, «дайкири», кубинки — и крышка, погиб человек ни за что ни про что...

Все засмеялись, а толстый аргентинец продекламировал эпитафию, сочиненную для Альваро его товарищами по Национальному совету культуры.

— Есть новости? — спросил Альваро, силясь сохранить хладнокровие.

— Днем прошел слух, будто на рассвете была предпринята попытка высадиться. Потом его опровергли.

— В Вашингтоне полагают, что Хрущев встретится с Кеннеди.

— Говорят, будто Кастро отдал приказ открывать огонь по американским самолетам.

Разговор был Альваро не по душе, и он направился к единственному свободному столику.

— А ты? — крикнул ему вслед корреспондент агентства Рейтер.— Все еще снимаешь решетки и балконы?

— Все еще снимаю.

— Дело, мой мальчик,— с покровительственным самодовольством изрек корреспондент.— Желаю успеха.

А ведь действительно надо быть идиотом, чтобы в то время, когда все вокруг него, вся страна готовится к отражению американской агрессии, коллекционировать фотоснимки старинных решетчатых дверей.

кронштейнов и балконов. Он сказал об этом Саре, добавив, что приказ о мобилизации имел для него одно неожиданное последствие: открыл ему глаза на бессмысленность и ненужность работы, которой он так было увлекся.

— Это примерно то же самое, что заниматься отделкой кают, когда корабль идет ко дну. Ты согласна со мной?

— Нет, это просто значит, что надо работать быстрее,— ответила она.

На противоположном конце бара пел под аккомпанемент джаза мулат. Голос был приятного, мягкого тембра. Сара покусывала соломинку, опущенную в бокал «дайкири». Ее глаза блестели, она глядела на Альваро в упор.

— Я счастлива, Альваро,— сказала она, проведя рукой по его волосам.— Когда ты выпьешь, ты делаешься ласковей со мной... Сколько порций рома тебе иужно, чтобы влюбиться в меня?

— Еще столько же.

— Тогда пей, очень тебя прошу. Любить такого обаятельного, умного пьяницу, как ты,— это восторг... Я приду домой и обзвоню всех подруг, пусть знают, что ты все-таки полюбил меня.

— Да, самое удобное время звонить им, конечно, сейчас.

— Сперва я всегда кажусь надоедливой, что верно, то верно. Но только на первый взгляд. Характер у меня легкий. Со мной, знаешь, как хорошо, я совсем не плохая. Вот увидишь. И в один прекрасный день ты вдруг поймешь, что не можешь без меня жить.

— Ты в этом абсолютно уверена?

— Абсолютно. Ты останешься на Кубе и будешь со мной счастлив.

— А как ты этого добьешься? Дашь мне приворотного зелья?

— Не все ли равно? Ты будешь мой, так или иначе.

Холл «Свободной Гаваны» был пуст. Портье передал ему две телефонограммы: приглашение от УНЕАК и записочку Лидии. Из Европы ничего на его имя не поступало. Он написал телеграмму Долорес: «Задерживаюсь жди письма»,— и вручил рассыльному пять песо, прося передать листок телефонистке, как только откроется телефонная станция. Лифтер, работающий в ночную смену, читал «Моби Дика» в дешевом издании; зевая, он нажал на кнопку двадцать третьего этажа. Альваро почувствовал, как на него вдруг навалились все долгие часы напряжения и усталости, голова закружилась, веки налились сонной тяжестью. Ночной бриз шевелил оконные занавеси. Не раздеваясь, он бухнулся на постель и тут же уснул.

Телеграмма явилась для всех полнейшей неожиданностью семейный конклав заседал в сумрачной гостиной дядюшки Сесара а потом всю неделю судили и рядили

это сын Флориты двоюродной сестры Эрнесто

когда Аделаида овдовела она вторым браком вышла за Форнэ но у нее был сын от первого мужа

кто-нибудь из Сьенфуэгосов это боковая ветвь

до прибытия парохода остается несколько минут и невольно общее волнение передается тебе

при слове «Куба» в твоей памяти всплывают никогда не виденные пейзажи которые однако хорошо знакомы тебе по рассказам дяди Эулохио и других о богатстве чудесно убереженном твоими прадедами и дедами от всех превратностей судьбы поскольку богатство единственное твое утешение и прибежище когда ты думаешь о грозящей миру мрачной опасности

трансатлантический лайнер медленно приближается к пристани и

тобой все сильней овладевает незнакомое дотоле нетерпение пассажиры машут вам с палубы платочками
на пристани собралась вся семья
дядя Сесар тетя Мерседес Хорхе кузины
одетые подобающим образом для столь торжественного из ряда вон выходящего случая счастливые что вновь восстанавливаются родственные узы нарушенные долгими годами блокады и непрерывных войн довольные что после разлуки длившейся четверть века после всех огорчений потерь страданий смертей отыскались другие Мендиола более состоятельные чем Мендиола испанские
стоят они на открытой террасе на втором этаже морского вокзала и тоже машут платочками и сверлят глазами лица пассажиров и эмигрантов прибывших из Гаваны
до палубы уже рукой подать
тот
нет не тот
вон тот солидный
вот этот в шляпе
нет это не он
стоит сзади
предположения
догадки
вас разделяло каких-нибудь двадцать метров и пока пассажиры спускались по сходням на пристань где их ожидали полицейские формальности и таможенный досмотр дядя Сесар показал полицейскому свое удостоверение муниципального советника и вас провели за ограду где обычно встречают почетных гостей
пассажиры выходили через стеклянную дверь и вы каждый раз вздрагивали
не этот нет не этот и не этот и не этот
в очереди осталось совсем мало людей и кузины начали перебирать их показывая пальцем
белокурый господин
молодая пара
две пожилые особы судя по всему старые девы
супруги с детьми
молодая девушка
инвалид
негр
никто из них не подходил под предположительные приметы человека приславшего телеграмму
никто из них не был отмечен
непреложными чертами
стигматами
некогда процветающей и жившей на широкую ногу
а впоследствии оскудевшей мелочной и богомольной
семьи
нет его здесь нет
он не приехал
а может быть этот белокурый
нет
нет не он
он уже уходит
не понимаю
ты и не заметил как негр подошел к вам и робко спросил
вы Мендиола
да сударь мы Мендиола

и тогда этот разбогатевший потомок какого-то раба твоего прадеда протянул вам руку

простите сказал он

я думаю мы родственники

не было излияний родственных чувств не было речей подарков званых обедов ничего не было и только тетя Мерседес оскорбленно сморщила свой могучий нос

в тот вечер

(шел голодный 1946 год отощалый оборвыш)

в самом дорогом ресторане Барселоны печальный негр сидел за одиноким ужином

Он очнулся с ощущением, что спал всего несколько минут. Требовательно звонил телефон, сквозь занавеси просачивался дневной свет. Он снял трубку.

— Альваро? — Он еще не совсем стряхнул с себя сон и усталость, но сразу узнал: говорила Сара.— Это я.

— Какого черта? Что случилось?

— Мне хотелось, чтобы первый голос, который ты сегодня услышишь, был мой. Ты спал?

— Конечно.

— Я не смыкала глаз всю ночь. Нарисовала по памяти несколько твоих портретов и написала стихотворение во вкусе Альфонсины Сторни — с клятвами в верности и с угрозой покончить жизнь самоубийством. Что ты сегодня утром делаешь?

— Пойду в лабораторию проявлять пленку.

— А знаешь, у меня свободный день. Если хочешь, я за тобой зайду.

— Сара, я тебе сказал, что иду в лабораторию. Позвони мне перед вторым завтраком.

— Ты рассердился на меня?

— Да.

— А я продолжаю прежнюю тактику, понимаешь? Пытаюсь взять тебя измором.

— Я вижу.

— Хорошо, в час я тебе звоню. Но только скажи, что ты хоть капельку меня любишь.

— Я и не думаю тебя любить.

— Это неважно,— парировала она.— Я люблю и за себя, и за тебя.

Он попытался снова уснуть, но нервы были взвинчены, и, пролежав минут десять, он встал. С похмелья в голове шумело. Он раздвинул занавеси и вышел на балкон. Серый, облачный день, ветрено. Море все исчерчено белыми бороздами, высокие волны разбиваются о парапет Пасео. На площади перед отелем несколько сотен гражданских проводят строевые занятия, командует ими инструктор в зелено-оливковой военной форме. По улицам мчатся крохотные юркие машины, наполняя воздух смутным шумом моторов, вплетая вскрики клаксонов в мерный прибой человеческих голосов; издали кажется —тяжело дышит, постанывая во сне, какое-то исполиинское животное. На границе территориальных кубинских вод темиеют, впаянные в линию горизонта, корабли американского военного флота, отсюда совсем маленькие — и грозные.

Он не спеша принял горячую ванну, тщательно побрился, надел вместо хлопчатобумажной шерстяную серую рубашку навыпуск. Выглядел он как всегда, и только красные белки глаз напоминали о множестве выпитых накануне «куба-либре». В лифте он купил экземпляр «Революсьон». Русско-американские переговоры не продвинулись впе-

ред. Кастро отвергает инспекцию ООН, как неприемлемую для Кубы. Слухи о «вето» Кеннеди на поставки нефти Кубе. Лифтер рассказал, что утром в Мирамаре зенитчики береговой обороны открыли огонь по самолету-разведчику.

Письма от Долорес в почтовом ящике не было, но приятным сюрпризом порадовали друзья, которым недели две-три назад он послал жалобное воззвание о помощи. В пакете оказался основательный запас проявителя и полдюжины катушек пленки «Илфорд». Администратор соединил его с кассой кубинской авиакомпании. Там стали наводить справки, выяснять, звонить и наконец сообщили, что его просьба удовлетворена и заказ на билет снят.

Энрике завтракал в кафе и читал газеты. Увидев Альваро, он с довольным видом сообщил, что сегодня днем отправляется с двумя специалистами из ИКАИК снимать документальную ленту о строительстве оборонных сооружений.

— Мы сейчас получили разрешение Генерального штаба. А ты? Улетаешь в Париж?

— Нет, я отменил заказ. Билет был на вторник, но я передумал.

Официант спросил, что ему подать.

— Кофе с молоком.

— Молока нет, товарищ. Есть только шоколад и сок фрутабомбы.

— Принесите сок и поесть.

— Могу предложить бутерброды и пирожные.

— Принесите бутерброд.

Энрике с любопытством смотрел на него сквозь дымчатые очки.

— Вот человек! Тебя не разберешь. Я думал, ты тут с тоски умираешь по своему Парижу. Случилось что-нибудь?

— Ничего не случилось. Это я вчера решил... Я вдруг сообразил, что уехать теперь с Кубы — это своего рода дезертирство.

— Долорес предупредил?

— Послал вчера телеграмму.

Энрике барабанил пальцами по столу. Он достал из кармана пачку «Аграрьос» и закурил.

— Я очень рад, что ты это понял,— сказал он.— Знаю, ты не любишь поучений, но наш долг, что бы ни случилось, быть здесь, вместе с ними. Если бы ты больше верил в революцию, то понял бы и другое: теперь нас не победят. Весь народ поднялся на борьбу, и у него есть оружие...

— На сколько дней ты уезжаешь?

— Не знаю. Когда, куда, с кем — ничего не знаю. Мне хочется, чтобы туда поехала одна художница-график, сделала портреты бойцов. Говорят, боевой дух в войсках — великолепный.

— Я бы с удовольствием поехал с тобой. Гавана меня размагничивает.

— Ты всерьез? — Энрике удивленно поднял густые брови.— Если хочешь, я позвоню в Генштаб. Там сейчас работает один паренек, мой знакомый. Думаю, они не станут возражать против твоей кандидатуры.

— Нет, поезжай сам... Я совсем разучился снимать людей, ты же знаешь. Поеду и только буду путаться у всех под ногами.

— Путаться под ногами? Это почему?

— Не стоит. Ты лучше мне расскажешь, когда вернешься. Буду уж добивать свои решетки.

Официант принес сок и бутерброд. У Альваро першило в горле от сухости, во рту неприятно отдавало вчерашним белым ромом. Он опорожнил стакан одним глотком.

— Странный ты все-таки человек,— заговорил Энрике.— Порой у меня такое впечатление, будто тебе доставляет удовольствие отравлять

себе жизнь. Я понимаю, балконы и решетки могут осточертеть. Ну и пошли их к черту.

— Я и сам уже об этом подумываю.

— Ты снимаешь лучше всех, а стараешься себя убедить, будто у тебя ничего не выходит. Если бы все были так самокритичны, никто бы не решился даже подойти к камере.

— Так что же мне делать? Сменить профессию?

— Не в том суть, Альваро. В Париже ты еще как-то боролся со своей неврастенией. А теперь ты во всем видишь одну лишь мрачную сторону. Я уверен, проведи ты сейчас месяц на строительстве укреплений, тебе бы это пошло на пользу.

— Поездки ничего не меняют,— возразил Альваро.

Они уже не раз дискутировали на эту тему и никогда не могли прийти к согласию. Энрике попросил у него ключи от машины — она нужна была ему до вечера,— и Альваро, сославшись на срочное деловое свидание, оборвал бесплодный спор и отправился проявлять пленку.

Едва он вышел из дверей «Свободной Гаваны», хаотический ритм города подхватил его и понес, словно вихрь. Автобусы подходили к остановкам переполненные, на тротуарах выстраивались длинные хвосты очередей. Проехало несколько грузовиков, кое-как замаскированных поблекшими, жухлыми ветками. В кузовах добровольцы пели песни. Они приветственно махали руками и посылали женщинам воздушные поцелуи. На борту последней машины было выведено: «НЕ ПЛАЧЬ, МЫ ВЕРНЕМСЯ». На углу Двадцать пятой улицы, прижимая к груди автомат, патрулировал в форме дружинника знакомый лифтер из отеля. По мостовой, печатая шаг, шла колонна таких же дружинников, как и он. Уличное движение на несколько минут приостановилось. Еще дальше, на опустелой стоянке машин, девочки-пионерки проводили военные занятия. Прошли две коротконогие мулатки, волоча чуть ли не по земле зады, обтянутые пестрыми узкими юбками. Где-то надрывался динамик, повторяя «Пять пунктов» программы Фиделя.

Навстречу ехало свободное такси. Альваро назвал адрес фотолаборатории. Едва они тронулись, шофер начал ругать новую власть и заявил, что, если в ближайшее время «все не станет на свои места», он эмигрирует. Братья из Нью-Йорка пишут ему, чтобы он бросил все и приезжал к ним, они каждый день едят свинину, халву, пастилу.

— Старший брат за полгода прибавил в весе восемнадцать фунтов. Там люди живут, как мы здесь до революции.

— А вы до революции кем работали? Шофером?

— Нет,— он замялся.— Я был служащим,— выдавил он после минутного колебания. И снова на чем свет стоит принялся поносить коммунизм. За этим занятием и оставил его Альваро, выйдя из машины.

Он поднялся в лабораторию и часа два проявлял снимки, которые сделал во время поездки по провинциям Сьенфуэгос, Тринидад и Санти-Спиритус. Он разводил в ванночке проявитель «Илфорда», промывал кассеты в раковине, приготовлял раствор закрепителя, погружал в него кассеты, снова промывал и развешивал в сушилке для негативов. Кондиционированный воздух и темнота обострили его обычную боязнь закрытых помещений. Ожидая, когда негативы просохнут и можно будет приступить к работе с фотоувеличителем, он раскрыл окно и вдохнул вольный воздух улицы.

Здесь тоже, где-то рядом, мощный голос громкоговорителя, установленного на машине, передавал «Пять пунктов». Когда чтение кончилось, зазвучали первые такты «Интернационала» в исполнении женского хора с оркестром; машина двинулась дальше и быстро исчезла из глаз, музыка постепенно затихла. Он снова прикрыл окно, уселся в продавленное, с вылезшими пружинами кресло и попытался написать пись-

мо Долорес. Из-под пера как бы сам собой хлынул на бумагу поток обвинений и упреков. Дописав страницу до конца, он перечитал ее и в ярости на себя изорвал и выбросил. А вскоре раздался звонок, он вздрогнул от неожиданности и пошел открывать. Это была Сара.

— Я пришла слишком рано?

Она приблизила к нему свое прелестное лицо, и Альваро вдруг почувствовал, что сердце у него забилось быстрее. На ней была форма дружинницы: защитного цвета брюки, голубая гимнастерка с короткими рукавами, башмаки и берет, сдвинутый не без кокетства набекрень. Она поцеловала его в уголок рта и повернулась на каблуках, предлагая полюбоваться собой.

— Хороша?

— И не подозревал, что бывают такие обворожительные солдаты.

— Правда, да? — спросила она.— Я была уверена, что перед военной формой ты не устоишь. Впрочем, если тебя не соблазнят мои достоинства, предупреждаю заранее: пистолет у меня шестизарядный.

— Да ты просто ангел.

— В любви все позволено. Сегодня утром я обзвонила всех подруг и сказала, что у нас с тобой полная взаимная любовь. Теперь тебе некуда будет податься.

— А в газетах ты объявления не поместила?

— Пока что нет. Но если потребуется — помещу. Мы идем завтракать вместе?

— Если хочешь.

На площади стояло свободное такси. Усевшись, Сара плотно прижалась к Альваро и легонько укусила за ухо. Они ехали вниз по Прадо вслед за колонной военных грузовиков. Улица выходила к одному из фортов крепости, и, увидев зенитки, украшенные разноцветными флажками, Сара заметила:

— Мы, кубинцы, потрясающий народ. Возьми любую страну — везде артиллерийские орудия стараются замаскировать. А мы — нет. У нас они стоят на виду, смотрите, пожалуйста. А чтобы окончательно ясно было, что на врагов нам начхать, мы еще вставляем в жерла флажки. Как тебе это нравится?

— Да, ничего не скажешь.

— Стоит мне подумать, что во вторник ты уедешь, как раз когда начнешь мной интересоваться, мне хочется сообщить куда следует, чтобы тебя задержали, как опасного идиота.

— Не надо никуда сообщать. Я остаюсь.

— Ты что? Вправду?

— Абсолютно вправду. Сегодня утром я позвонил из отеля, чтобы место в самолете разбронировали.

Сара смотрела на него, словно не веря тому, что он говорит. Внезапно ее красивые голубые глаза наполнились слезами.

— Знаешь, я всегда сама первая готова над собой посмеяться, и, судя по моим поступкам, можно подумать, что я не способна влюбиться всерьез, но, честное слово, Альваро, мне бы не хотелось, чтобы ты уехал с Кубы, так и не заведя романа со мной. Пусть он будет, ну хоть ненадолго и не всерьез, но пусть будет.

— Я же тебе сказал, Сара, я не уезжаю. По крайней мере до тех пор, пока они не снимут блокаду. Это я решил вчера перед тем, как лег спать. Поступить иначе для меня теперь невозможно.

— Ты думал обо мне, когда это решал?

— И о тебе, и о себе, и о Кубе — обо всем. Кроме того, я еще не снял всех решеток, которые нужны мне для коллекции. Надо же когда-нибудь закончить эту работу и сдать альбом, иначе я сойду с ума.

— Я тоже, наверно, сойду с ума,— вздохнула Сара.— Из-за тебя.

Они уселись на террасе «Эль Темплете» лицом к порту. Официант сказал, что в ресторане есть только рыбный суп и жареная султанка. Расставляя приборы, он спросил, что они будут пить.

— Вино найдется?

— Вина нет.

— Пиво?

— Пиво тоже кончилось.

— Принесите мне «куба-либре».

— А что будет пить сеньора?

— Минеральную воду, не газированную.

Сара сняла берет дружинницы и посмотрелась в зеркало. Она вся сияла от счастья.

— Ты обратил внимание? — спросила она, кивая в сторону официанта.— Он думает, мы муж и жена.

— А почему бы ему так не думать?

— То есть?

— Послушай, Сара, когда ты видишь красивое место, тебе непременно надо его сфотографировать, а когда ты гуляешь в парке, тебе непременно надо вырезать наши инициалы на дереве... Неужели ты не можешь любить вещи просто так, не пытаясь ими сразу же завладеть?

Помирились они только на пароходике. Они сидели на корме, разглядывая серые, источенные временем камни крепости. Их окружили вездесущие мальчишки, привлеченные видом «лейки», болтавшейся у него на плече. Они решили, что он русский.

— Нет, не русский,— ответил Альваро.

— Тогда чех?

— И не чех.

— Немец?

— Не угадали.

— Болгарин?

— Он испанец, но я его люблю,— вмешалась Сара. Она посмотрела ему в глаза и обхватила руками за шею.— В ресторане ты это сказал мне назло, да?

— Да,— ответил он (и солгал).

— Я дура,— проговорила она.— Прости меня.

— А туфли на вас кубинские, точно? — допытывался самый маленький.

— Я их привез из Европы.

— Европа, это где? В Штатах?

Пароходик подвалил к пристани. Парень, проверявший при посадке билеты, вышел на нос и набросил чалку на швартовую тумбу.

Пристань Касабланки походила на сцену из какого-то спектакля в момент поднятия занавеса. Справа, привалившись спиной к дощатой стене, сплошь заклеенной революционными плакатами, изображениями богоматери дель Кобре, портретами Кастро и Сьенфуэгоса, сидели на деревянной скамье и сладко храпели, запрокинув головы, два старика, хвативших, видимо, лишку. Между скамьей и стойкой бара помещался музыкальный автомат, из него неслись вопли какого-то певца, исполнявшего «Эль Куини». Левее, у стойки, взобравшись на высокие железные табуреты, расположились в ряд с десяток посетителей бара. Еще подальше, в тщетной надежде подзаработать, скрючился перед роскошным креслом для клиентов чистильщик сапог, негритенок. Слева пристроился настольный футбол, виднелось запертое окошечко билетной кассы, стояла еще одна скамья, пустая, а за ней в небольшой закусочной толпились жаждущие поесть. Под двускатной крышей были протянуты гирлянды пестрых флажков.

Два часа они бродили по улицам Касабланки, смотрели на старинные дома времен испанского владычества, заглядывали в уютные дворы и садики. И если вокруг никого не было, долго целовались, припав к какой-либо стене или двери. Иногда к ним приставала стайка ребятишек, они называли Альваро «товарич» и упрашивали снять их для газеты. С автострады Альваро сделал несколько снимков гаванского порта. В одном из домов он обнаружил хорошо сохранившиеся лестничные перила XVIII века и решил как-нибудь вернуться сюда с камерой «лингоф».

В шесть вечера у Сары в дружине начинались военные занятия, и он отвез ее в такси к месту сбора. Вернувшись в отель, он прилег соснуть, но сон не восстановил его душевного равновесия — наоборот, проснувшись, Альваро лишь сильнее ощутил усталость и апатию. Он снова попытался написать письмо Долорес и снова порвал написанное. Сделав над собой усилие, он собрал последние остатки воли и заставил себя нацарапать две фразы: «Я чувствую, что внутренне превратился в развалину. Не думаю, чтобы мы когда-либо могли снова быть вместе». Но и этот листок он скомкал и выбросил в окно.

Ему позвонила Лидия, приглашая поужинать вместе. Кисло-сладким голоском она стала его упрекать, что он совсем забыл ее, и сообщила последние слухи в связи с блокадой: близ острова Пинос произошел бой между американскими кораблями и советскими подводными лодками. И еще: в ближайшие часы ожидается массированный бомбовой удар по кубинским аэродромам и аэропортам. Альваро положил трубку, оглушенный. Приняв душ и побрившись, он спустился в холл отеля. Почты на его имя по-прежнему не было.

— До которого часа принимают телеграммы? — спросил он.

Дежурный объяснил, что телеграф уже закрыт и откроется лишь завтра в девять утра.

Гавана жила своей обычной жизнью. Рупоры динамиков продолжали передавать «Пять пунктов» Фиделя, добровольцы Комитетов защиты революции чеканили шаг на перекрестке улиц Линеа и Двадцать пятой. У входа в здание министерства здравоохранения часовой обыскал Альваро. Его друзья из агентства Пренса Латина ничего не знали о распространявшихся по городу слухах и показали ему кипу последних сообщений ТАСС, агентств Рейтер и Ассошиэйтед Пресс.

— Ты дал телеграмму домой? — спросил его один из фоторепортеров.

— Нет,— ответил Альваро.— А что?

— Ну как же! Надо было сообщить им, какой траурный марш исполнять на твоих похоронах.

И фоторепортер сам засмеялся своей остроте. Остальные наперебой стали читать некрологи, сочиненные ими друг для друга. Через минуту никто уже не помнил, с чего начался разговор, посыпались шутки, анекдоты. Старик Корда — толстяк, заросший а-ля Хемингуэй,— изображал в лицах случай с японским генералом.

— А анекдот про китайца, который ходил гулять на Малекон, слышали? — спросил корреспоидент одной из центральноамериканских газет. Но центральноамериканца подияли на смех: анекдот был с длинной бородой, и Альваро под крики и шум незаметно выскользнул из зала.

Лидия ждала его на втором этаже «Свободной Гаваны». Она была весьма элегантна: синее вечернее платье, на голове — тюрбаноподобное сооружеиие из шелковой индийской шали. Увидев Альваро, она нервно закурила сигарету «Пель-Мель».

— Где ты пропадаешь? Вот уже три дня, как ты словно сквозь землю провалился. Похитила, наверное, какая-нибудь бабенка?

— Ты как в воду глядишь.

— Вчера и позавчера я тебе звонила с утра до вечера... Я чуть с ума не сошла от всех этих новостей. Отец требует, чтобы я немедленно возвратилась домой.

К их столику подошел официант. Лидия заказала чистого рома, Альваро — «дайкири». Официант ответил, что нет лимонов. Хорошо, принесите «карта бланка» с содовой. «Карта бланка» тоже не получится. Если хотите, могу принести «аньехо». «Аньехо» так «аньехо», давайте.

— Представляешь, какой скандал для моей родни. Дочь Баррьонуэво — на Кубе... В Колумбии сейчас, наверно, только и разговоров что обо мне.

— Не надо преувеличивать.

— Да нет же, я тебе правду говорю. Наша семья — это, можно сказать, один из социальных столпов Колумбии, да, да. Когда отец увидел фото, где я снята с дружинниками, он чуть на стенку не полез. Говорит, что я навсегда опозорила славное имя наших предков.

Подали ужин, а Лидия все еще тараторила о Баррьонуэво. Она уверяла, что поездка на Кубу — самое большое событие ее жизни.

— Тебе не приходило в голову, что эта революция пронизана дионисийским духом? В Гаване испытываешь настоящий душевный взлет. Вот где чувствуешь, что живешь! При мысли о возвращении в Боготу я просто прихожу в отчаяние...

Альваро флегматично поддакивал и намекнул, что было бы неплохо поехать пить кофе к ней домой.

От усталости резало глаза. Энрике вернул ему «моррис», и, прежде чем свернуть на Президентскую, Альваро проехал через парк, напротив Малекона. При слабом свете уличных фонарей девушки-дружинницы проводили военные занятия. Это были сотрудницы расположенных на Ведадо учреждений и министерств. Он притормозил и высунулся в окошечко, но Сары не увидел.

— Что ты? — спросила Лидия.

— Хотел освежиться.

Они поднялись к ней в квартиру. Лидия захлопотала, готовя какой-то затейливый коктейль; приправой к коктейлю была пластинка с французскими песенками — подарок, присланный ей друзьями из Европы.

— Обожаю Ива Монтана. Мне рассказывали, он такой простой, ведет такой скромный образ жизни. Ты с ним не встречался в Париже?

— Нет.

— Знаешь, я готова поехать во Францию, только бы его увидеть, его и Синьоре.

Под конец Лидия позволила ему раздеть себя, и Альваро пробыл с ней в постели почти до утра.

Вернувшись в «Свободную Гавану», он заснул, как убитый. Но поспать ему удалось лишь часа четыре. Зазвонил телефон. Альваро сорвал трубку с рычага. В ухо звонкими молоточками ударили два слога: «Пра-га!»

— Вас вызывает Прага! — пронзительно, высоким голосом повторила телефонистка.

— С кем я говорю?

— Подождите минутку. Попробую разъединить линии!

Телефонистка попросила его не отходить от телефона. Трубка неразборчиво бормотала:

— Нью-Йорк, Нью-Йорк... Это Гавана?.. Вы меня слышите?

— Меня вызывает Париж?

— Вы сеньор Стен Короли?

— Нет, сеньорита.

— Простите, товарищ, я соединилась с вами по ошибке.

— Вы уверены, что на проводе Прага, а не Париж?

— Уверена. Вызывает Прага, к телефону просят сеньора Стена Короли... Здравствуйте, дежурная. Двадцать четыре ноль один?

Он лежал в кровати с открытыми глазами. Во рту пересохло, сердце стучало. Сна больше не было. Он пролежал целый час, следя за меняющимися тонами безоблачного неба. Раздвинув занавеси шире, он прежде всего взглянул на американские корабли. Они по-прежнему маячили у линии горизонта, но, когда он облокотился на перила балкона, ему показалось, что авианосец стоит сейчас сантиметра на три-четыре ближе, чем вчера. По направлению к бухте шел буксир. Море лежало разглаженное, абсолютно спокойное, на небе — ни облачка.

Климат великолепный

страна расположена в тропиках но тропический зной умеряется благодетельным дыханием морских течений и поэтому зимы здесь короткие и мало чем отличаются от лета а летние месяцы щедры изобильны и не жарки словом идеальный край для подагриков и больных ревматизмом

природа первозданно богата и расточительна

громадные деревья неисчерпаемое разнообразие съедобных плодов непомерной величины экзотические цветы

дикие звери свободно разгуливают по полям истребляя вредителей посевов они союзники и друзья человека

твой дом стоит на вершине холма а вокруг лазурное море пена прибоя у гряды коралловых рифов белизна широких песчаных пляжей рощи кокосовых пальм

вверху над высокими кронами деревьев сверкает круглое солнце на небе ни облачка

из окон дома ты видишь все свое богатство плантации кофе какао ванили сахарного тростника кокосов

баобабы пальмы сейбы секвойи фикусы

трубы сахарного завода где работают твои негры

озеро павильон для танцев сады беседки

управляющие твоим сложным хозяйством являются к тебе ждут твоих распоряжений

ты отдаешь скупые приказания

ты строг и немногословен как и подобает человеку твоего положения

но под внешней оболочкой сдержанности и суровости в твоей груди таится справедливое благородное сердце

тем временем твоя жена и дети окруженные элегантно одетыми гостями отдыхают в гамаках среди зелени сада

у вас собирается изысканное креольское общество

кабальеро являются в блестящих черных цилиндрах

обмахиваются веерами дамы в муаровых платьях колье и атласных туфельках

тут же играют нарядные дети вертятся быстроногие гончие раскачиваются в своих клетках яркие попугаи ластятся к гостям гибкие кошки

сейчас начнется бал

его открываешь ты в паре с самой красивой девушкой и вы долго кружитесь в танце под сверкающими люстрами бального зала

старинный вальс времен Австро-Венгерской империи

ливрейные лакеи освещают тебе дорогу канделябрами

с бокалом шампанского в руке

ты направляешься в конюшни к стойлу

Джонни англо-арабский скакун ждет тебя

ты седлаешь

и берешь с места

галопом

негры радостно кланяются тебе
их пища мякоть сахарного тростника дикие цветы ароматические коренья и травы
тебе нет надобности иаказывать их они и без того почтительны с тобой они тебя любят они тебе преданы они тобой восхищаются
у них мягкий кроткий нрав и кроме того они католики
каждого из них ты называешь по имени
Бобо
Сесе
Арара
совсем как в романах Эмилио Салгари
они подходят к тебе под благословение преклоняют колени целуют тебе руку
ты долго скачешь по полям объезжая свои владения проверяя в порядке ли содержатся
твои плантации твой завод фермы стада все источники твоего благосостояния
работники приветствуют тебя снимая шляпы
старики улыбаются тебе
дети подбегают к тебе
звери из джунглей сопровождают тебя
лианы и орхидеи расступаются как бы склоняясь перед тобой в благоговении
ты уверен в незыблемости своей власти
твой трон утвержден на веки веков
а когда несколько мгновений спустя ты просыпаешься
ты лежишь в своей комнате у вас в имении и под подушкой у тебя «География Кубы» которую дал тебе дядя Эулохио и нет у тебя
ни скипетра
ни короны
ни подданных
ни царства
ты всего-навсего усердный читатель Шпеиглера и Кейзерлинга и живешь в пораженной склерозом стране Старого Света давно обреченной на гибель из-за апатии бездеятельности и неуклонного вырождения нации
и ты одинок беспредельным одиночеством своих тринадцати лет
и беззащитен
и трепещешь от ужаса
при мысли о кровожадных киргизах
и их легендарных женщинах которые рожают детей не слезая с седла

Он принял почти обжигающе-горячую ванну, побрился и попросил подать ему завтрак в иомер. Утренние газеты ограничились перепечаткой вчерашних телеграмм. В десять он спустился в холл и, еще не дойдя до администратора, увидел, как дежурный отрицательно развел руками.

— Ничего нет?

— Нет, пока что — ничего.

— Хорошо. Зайду попозже.

— С час назад вас спрашивала какая-то девушка.

— Записки не оставила?

— Вы спали, и она не позволила вас будить. Она сказала, что будет ждать вас в Галерее.

Он хотел сфотографировать старинный танцевальный павильон на

набережной в Санта-Фе и направился в лабораторию за «лингофом». С момента объявления блокады прошло десять дней, но Гавана уже успела принять облик фронтового города: по улицам маршировали дружины народной милиции, из громкоговорителей неслись патриотические песни, мчались грузовики с бойцами Повстанческой армии и добровольцами Комитетов защиты революции. Перед мясными и продуктовыми лавками появились очереди. На протяжении последних месяцев магазины пустели с вызывающей тревогу быстротой: не хватало одежды, исчезла с полок последняя обувь, спекулянты скупали товары и сбывали их из-под полы. Пытаясь замаскировать нищую наготу витрин, некоторые владельцы начали оформлять их со спартанской суровостью: лобастый бюст Марти на фоне национального знамени. Другие витрины сохранили свой прежний вид, но выставленные в них товары отсутствовали на прилавках. После запрещения торговли с лотков и закрытия киосков улицы стали менее пестрыми, появилось единообразие, город приобрел подтянутый вид. У входов в общественные здания, у складов и крупных магазинов стояли вооруженные дружинники. Перед пунктами Красного Креста сидели на краю тротуаров доноры, ожидавшие очереди, чтобы сдать кровь.

Когда он пришел в Галерею, был уже первый час. Сара разговаривала в приемной с директрисой и предложила ему посмотреть новую экспозицию абстрактных экспрессионистов. Зал открыли недели две-три назад. Картины были развешаны по стенам и на зигзагообразно расставленных щитах. Сара молча шла рядом с Альваро, не мешая ему смотреть. Улучив минуту, когда они стояли между расходившимися под углом щитами, она его поцеловала.

— Альваро, я тебя люблю.— Ее невинный девичий язык был сладостен его губам.— А что, если мы с тобой сегодня погибнем? Что тогда, Альваро? Я должна сказать тебе все. Я не хочу умереть, не сказав тебе того, что думаю.

— Ты еще ребенок, Сара. И все это только детский каприз, а я для тебя не больше чем игрушка... Придет день, ты встретишь человека твоего возраста и будешь с ним счастлива.

— Не хочу я никого встречать,— Сара потупилась и стояла, глядя на свои туфли.— Ладно, раз ты меня отталкиваешь, я отступаюсь. Но только обещай мне кое-что. Всего на несколько часов.

— Что именно?

— Прошу тебя: сделай вид, будто ты меня любишь. Знаешь, вот как дети, когда играют во взрослых. Ну, вообразить только, понимаешь? Завтра я уеду с добровольцами на уборку кофе, и ты меня больше не увидишь.

Бойцы Повстанческой армии внимательно разглядывали абстрактные полотна. Сара и Альваро снова спрятались в углу между щитами.

— А красиво это с твоей стороны сбежать и оставить меня одного?

Ее лицо было так близко, он чувствовал, что теряет над собой власть, и, чтобы скрыть волнение, иронически усмехнулся:

— Я остался ради тебя — и вот благодарность. С кем же я буду ходить ночью в бары?

— Альваро, всего на несколько часов, ну прошу тебя... Потом я уеду и можешь делать, что тебе вздумается. Договорились?

— С условием, что ты не поедешь на уборку кофе,— ответил он.

Он опустил верх машины. «Моррис» шел на полной скорости по бульвару к туннелю Альмедарес, они вылетели по другую сторону реки на Пятую авениду, прямую, как лезвие ножа, обрамленную великолепными садами. Различные породы деревьев — миндаль, фикусы, фламбояны, ягрумы, королевские пальмы — создавали целую гамму оттенков зеленого цвета. Альваро помнил эти места по недолгому пребыванию на

Кубе в 1957 году. Все здесь тогда дышало роскошью, безмятежным покоем. Теперь, в 62-м, дома бывших миллионеров стали студенческими общежитиями: здесь жили учащиеся художественных школ, будущие «инструкторы искусств». Юноши и девушки в форменной одежде прогуливались по тротуарам, занимались, сидя в тени деревьев. Буржуазный быт бесследно улетучился из этих кварталов, и ничто уже не напоминало об образе жизни, который вели здесь родные Альваро. Он вспоминал, какие праздники задавали хозяева этих домов, какие приемы устраивали в честь холеных, пустеньких дамочек, какие коктейли и ужины закатывали преуспевающие дельцы. Революция навсегда вымела отсюда весь этот лживый, никчемный мир.

Вилла Хуана Карлоса была расположена через несколько кварталов за площадкой для игры в гольф, принадлежащей «Кантри-клубу», и, прежде чем выехать к пляжу, Альваро свернул на Девятую авениду.

— Куда мы едем? — спросила Сара.

— Я хочу показать тебе дом моих кузенов.

Машина шла по пустынным улицам. Солнечные струи пронизывали зелень листвы, сияющий воздух был прозрачен и чист. Дворцы гаванской аристократии стояли, погруженные в какое-то летаргическое оцепенение; внезапно брошенные своими хозяевами, они словно вдруг состарились. На мгновение ему почудилось, что время остановило свой бег, чтобы позволить ему, Альваро, вернуться в прошлое, восстановить это прошлое в памяти во всех мельчайших подробностях. Он вновь услышал взрывы веселого, беззаботного смеха, ощутил вкус принесенного лакеем аперитива, увидел девушек под белым тентом и гибкое тело прыгуна, красиво падающего в голубую воду бассейна. И неожиданно он почувствовал себя предателем этого исчезнувшего мира, как будто тогда он до поры до времени затаился, выжидая удобной минуты, чтобы совершить измену. Теперь взрывы смеха, аперитивы и прыжки в голубую воду существовали лишь в его воображении. А былые счастливчики пытались развеять свою неизлечимую ностальгию в городах Европы и Соединенных Штатов, все еще не понимая, что, собственно, с ними стряслось, все еще — в силу почти трагического своего невежества — не постигая законов, управляющих ходом Истории.

Его вернул к действительности гомон молодых голосов. Кричали студенты-подростки: окончились занятия по огневой подготовке, и они строем шли в столовую.

Он потратил несколько минут, пока отыскал виллу Хуана Карлоса. Узнал он ее по железной, уже поржавевшей ограде и затормозил.

— Выйдем? — спросила Сара.

Ворота в сад были распахнуты настежь. Они вошли и зашагали прямо по газону к каменному фонтану, обставленному горшками с декоративными растениями. В центре фонтана замшелый Амур справлял с невинным простодушием малую нужду, точь-в-точь как «Манекен Пис» в в Брюсселе. Дом оброс со всех сторон дикой малангой. Она цеплялась за карнизы и балконы, лепилась по цоколям и балюстрадам, словно ею владела сознательная, злобная жажда разрушения. У дверей мирно спал пес Аделаиды, черный сеттер. Оставленный без присмотра, балованный любимец хозяйки, он тоже стал теперь как будто другим, превратился — и это было знамением времени — в скромного сторожа одного из общественных зданий. Альваро подошел к нему и погладил по голове. Собака дружелюбно вильнула хвостом, но явно не узнала его.

— Блэк,— спросил он,— как ты относишься к социализму?

Собака уставилась на него добрыми глазами. Альваро обернулся к Саре. Она смотрела на виллу, но, видимо, была занята своими мыслями. Она улыбнулась ему.

— Хочешь войти?

Из вестибюля мебель исчезла. Но пышная столовая, обставленная на андалузский лад, осталась нетронутой. На стене по-прежнему висели писанные маслом портреты дяди Эрнесто и бабушки Хуаны, однако чья-то кощунственная рука прибила между ними цветную фотографию Ленина. Он представил себе, в какую ярость пришла бы Аделаида, доведись ей это увидеть, и рассмеялся.

— С тех пор ты ни разу здесь не был?

— Ни разу.

Она долго и внимательно вглядывалась в холодное, чуть презрительное лицо бабушки, словно сравнивала бабку и внука.

— Мне кажется, она была злая.

— Ты права. Свекор оставил ей в наследство два сахарных завода и уйму земли. При таком богатстве доброта — дело трудное.

— У нее жестокие глаза. Я рада, что ты не похож на нее.

— У дяди есть фотография, где мы сняты вместе, там мы очень похожи.

— Не может быть,— сказала Сара.— Ты добрый и обаятельный, и вдобавок сегодня ты в меня безумно влюблен.

— Прости,— сказал Альваро.— Я про это забыл.

— Интересно, какое чувство ты испытываешь, придя сейчас в бывший дом твоих родных?

— Не знаю. Они жили такой призрачной жизнью... Мне иногда трудно поверить, что эта жизнь была реальностью.

Сторож, охранявший здание, предложил провести их по комнатам. Альваро показал ему удостоверение Национального совета культуры, и сторож пояснил, что во втором этаже идет ремонт, там вскоре разместится общежитие школы по подготовке кадров.

— Товарища Соню вы знаете?

— Да,— неопределенно ответил Альваро.

— Передайте ей, пожалуйста, что мы не получили краску.

— Дом давно конфисковали?

— После хозяев здесь жили русские инженеры, но они уже уехали.

— А вы их знали?

— Хозяев? — Сторож неторопливо закурил сигарету.— Нет, не пришлось. Они уже третий год, как сбежали. В Штаты подались, вместе с шофером, со служанкой. Собаку только оставили. Мы не знали, как ее кличут, и стали звать Черныш.

В гостиной подготовленная к отправке мебель дожидалась фургона, который должен был ее увезти. Верхний этаж перестраивали. Сторож показал им будущие спальни.

— Когда ремонт закончится, здесь будут жить больше сорока инструкторов.

В углу под слоем пыли лежали сваленные в кучу остатки библиотеки Хуана Карлоса. На письменном столе в ворохе никому уже не нужных счетных книг и накладных, полученных некогда от экспроприированных ныне предприятий, Альваро обнаружил экземпляр газеты «Диарио де ла Марина» и, перелистывая его, увидел на одной из фотографий знакомое лицо кузена — тот был снят с какой-то делегацией североамериканских бизнесменов. «На нашем снимке: суперинтендант центрального правительства инженер Хуан Карлос Мендиола. Как вы можете убедиться, этот элегантно одетый, занимающий весьма высокий пост человек еще сравнительно молод. Живой ум, орлиный взгляд, завидное красноречие и глубокое знание дела сразу приковывают к нему внимание. Наш фотокорреспондент запечатлел сеньора Мендиола в тот момент, когда он, стоя перед изображением сахарного завода, снятого с высоты птичьего полета, и схемой производственного процесса на современном сахароваренном предприятии, дает пояснения присутствую-

щим и отвечает на их вопросы...» Альваро бросил газету в кучу бумажного хлама, откуда минуту назад ее извлек.

Они распростились со сторожем, пообещав непременно позвонить товарищу Соне, и спустились в сад. Черныш спал на траве. Уходя, Альваро, как жена Лота, оглянулся. Его воспоминание об облике дома уже успело измениться: черты прошлого слились с настоящим, утратив при этом все для себя характерное. Мелькнула удивившая Альваро своей отчетливостью мысль, что, подменив старый образ новым, исчезнувший мир пытался хоть как-то сохранить и пережить себя.

— Что с тобой? — спросила Сара.— Тебе плохо?

— Нет, нет.— Они ехали по Авенида-де-лас-Америкас в сторону Санта-Фе.— На меня подействовал их дом. Я вдруг почувствовал, что свободен... Свободен и страшно стар.

— Стар? Почему?

— Не знаю... Ощущение такое, будто дописана и перевернута последняя страница какой-то большой главы моей жизни. И еще сознание, что мы бессильны перед временем. Тебе кажется, будто прошлое еще живет в твоей памяти, но вот приходит минута — и вместо воспоминаний ты обнаруживаешь пустоту.

— Я тоже порой чувствую себя старой,— заговорила она.— Когда не могу помочь людям или вижу, что меня не любят. Однажды мама наказала меня, и ночью мне приснилось, что я поседела. Потому я так на все и набрасываюсь.

— В твоем возрасте я тоже на все набрасывался. Мне все было нужно: книги, друзья, девушки... Потом я осмотрелся, и мне ничего не стало нужно.

— С тобой что-нибудь случилось?

— Нет, это произошло не сразу. Я начал терять интерес сначала к одному, потом к другому, постепенно... И в один прекрасный день открыл, что меня ничто больше не привязывает к жизни.

— Ты уже тогда был женат?

— Да. Я пришел к этому не так давно, года два-три назад.

— Ты любил жену?

— Я и сейчас ее люблю, Сара. Но когда-то я думал, если двое любят друг друга, они могут друг друга поддержать, могут помочь друг другу. Со временем я убедился, что это не так. Теперь я знаю: мы не в силах помочь никому.

— А мне вот мама помогала — и сколько раз. Даже ты, хоть ты и не любишь меня, ты тоже мне помогаешь.

— Это самообман. Тебе только так кажется, будто я чем-то тебе помогаю. На самом деле я бессилен что-либо для тебя сделать, так же как и ты для меня. Никто не может защитить другого от него самого.

— А разве твоя жена никогда не была тебе поддержкой?

— Никогда.

— А ты ей?

— Я же тебе говорю: это невозможно. Она меня любит, я тоже ее люблю, но помочь друг другу мы не можем ничем.

— Если бы ты любил меня, ты бы этим помог мне так, как никто другой в моей жизни.— Сара смотрела прямо перед собой.— Ты обещал мне, что сегодня...

— Извини. Я снова забыл.

— Альваро, обними меня, крепко! — жалобно попросила она.— Постарайся хотя бы несколько часов не думать о себе...

Он остановил машину на пустынной улице, и они чуть не задохнулись от поцелуев. Сара смотрела на него блестящими глазами, в которых появилось незнакомое ему прежде выражение значительности и взрослости. Потом она через силу улыбнулась.

— Так-то лучше,— похвалил ее Альваро.

— Ты меня любишь?

— Конечно.

— Помни же, что ты в меня влюблен.

— Помню.

— Можно, я положу голову к тебе на плечо... Я мешаю тебе править?

— Нет.

— Вези меня, куда хочешь. Мне ничего не надо, только быть рядом с тобой.

Они снова выехали на автостраду. Справа, закрывая вид на лагуны Хайманитас, пестрела яркая россыпь крошечных коттеджей. По автостраде в том же направлении, что и машина Альваро, двигалась военная колонна. Альваро видел в зеркале тщательно замаскированные свежесрезанными зелеными ветками грозные громады танков и зачехленные орудия. Между машинами ловко маневрировал верткий штабной «джип», он командовал движением колонны. В кузовах грузовиков и на орудийных платформах ехали бойцы Повстанческой армии, они были спокойны и веселы, словно направлялись на праздник. В Санта-Фе «моррис» свернул с автострады на чистенькую асфальтовую дорогу. Альваро хотел сфотографировать старинный танцевальный павильон, стоявший на перешейке между лагуной и морем. Это было место, где прежде находились купальни для простонародья. Они ехали по обсаженной деревьями дороге, и Альваро остановил машину, чтобы оглядеться,— так поразило его увиденное. После национализации частных пляжей народ ездил отдыхать в недоступные для него прежде места, где проводила время буржуазия, на ее курорты, в ее клубы, и потому пляж, куда съезжались когда-то для отдыха гаванские негры, сразу пришел в упадок. Закрылись рестораны и кабачки, обветшали и развалились брошенные киоски и бары. Казалось, на все здешние постройки разом обрушилась старость, и время без всякой нужды, в какой-то исступленной ярости ускорило разрушение созданного людьми. Альваро вышел из машины и стал читать позеленевшие латунные таблички и полусмытые надписи: «НЕ ИМЕЮЩИЕ КАБИНОК НА ПЛЯЖ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ». «ВОСПРЕЩАЕТСЯ ЗАНИМАТЬ СТОЛИК, НИЧЕГО НЕ ЗАКАЗЫВАЯ». «ЗА ПОТЕРЮ КЛЮЧА ВЗИМАЕТСЯ 60 СЕНТИМО». «ПОСЕТИТЕЛИ, ПРИХОДЯЩИЕ СО СВОИМ СПИРТНЫМ, НЕ ОБСЛУЖИВАЮТСЯ». Он попытался представить себе шумное оживление, которое царило здесь прежде: детей, плещущихся в воде у самого берега, послеполуденный отдых влюбленных, уснувших в обнимку под большим зонтом, картинную мускулатуру силача-негра в матросской шапочке, отплясывающего под звуки музыкального автомата. Сквозь дыры в стенах виднелось море, и вся курортная улица со всеми ее строениями походила на декорацию, нарочно построенную здесь для киносъемки. В ободранном ресторане, где подавались кубинские блюда, играли в домино трое стариков, ветер трепал клочки объявления, оповещавшего по-английски о поступлении новых товаров, давно исчезнувших из продажи, а рядом стояли хрупкие деревянные хижины на сваях, казалось, они лишь каким-то чудом удерживают в воздухе свое непрочное равновесие и первый же порыв ветра сметет их, как карточные домики, превратит в груду обломков, сея на своем пути разрушение и смерть. Сара печально смотрела на эту картину запустения. Внезапно она сжала руку Альваро.

— Знаешь, иногда...— она пыталась найти точные слова,— иногда ты заражаешь меня твоей тоской.

— Почему ты заговорила об этом сейчас?

— Не знаю... Твой пессимизм, эти брошенные хижины, мысль, что вот-вот могут высадиться американцы... Мы так отчаянно мимолетны.

— Прости. Я постараюсь впредь быть веселее.

— Нет, я не об этом.— Они пошли под аркадой старинного колониального дома и очутились у моря.— У меня не выходят из головы твои слова, что я ничем не могу помочь тебе. Я уверена, что, если бы ты сделал небольшое усилие, я помогла бы тебе.

— Я уже и так пытаюсь, Сара.

— Самое простое — это сложить руки и сказать, что все ни к чему.

— Я говорю, что все ни к чему, но я не складываю рук.

— Я тебя не понимаю,— сказала Сара.— Если ты в самом деле считаешь, что ничего нельзя изменить, почему же ты борешься за то, чтобы мир изменился?

— Не знаю почему. Глупо, конечно, и тем не менее это так.— Он глядел на щемяще пустынную перспективу курортной улицы с ее кафе и кабачками и говорил о том, что готов умереть за революцию, хотя и сознает, что революция невозможна, точно так же, как он любит жену, хотя знает: конечный итог любви — пустота.— И однако, как видишь, я не покидаю Кубу и даже начинаю влюбляться в тебя,— закончил он.

— Ты это говоришь серьезно?

— Вполне серьезно.

— О! Альваро, пусть это неправда, но поклянись, что ты меня любишь.

— Я не лгу, когда говорю, что люблю тебя.

— Помни про свое обещание,— настойчиво повторила она.— Тебе больше нечего мне сказать?

— Почему же? — он привлек ее к себе и поцеловал.— Я тебе скажу, что ты самая сумасбродная фантазерка из всех девушек, каких я когда-либо знал.

На горизонте громоздились серые тучи, грозя закрыть солнце. Ватага мальчишек играла среди раскиданных по берегу бетонных надолб. Море было неспокойно, волны с силой разбивались о прибрежные скалы.

Они вернулись в машину, проехали до конца аллеи, и Альваро поставил «моррис» у обочины. Здесь тянулись дряхлые домики колониального стиля, они опирались на свои деревянные колонны, как старики инвалиды на палки. В некоторых, по-видимому, еще жили, во всяком случае Альваро заметил выглянувшее в щель между ставнями любопытное женское лицо. Сара взяла у него «лингоф». Они направились к каналу, соединявшему лагуну с морем.

На берегу бойцы сооружали пулеметное гнездо. Их было человек пять-шесть. Они успели вырыть траншею и теперь отдыхали, прикорнув на мешках с песком. Метрах в ста от пляжа через канал, у его выхода в море, был переброшен мост, перегороженный посредине железной решеткой с надписью: «ПРОЕЗДА НЕТ». Вдоль канала с обеих сторон тянулись невысокие парапеты, вода в нем была прозрачной, и сквозь нее виднелось волнистое песчаное дно, на нем тут и там росли черные пугающие цветы — морские ежи. Альваро и Сара прошли за решетку, и Альваро закрыл за собой ее створки. В канале, по пояс в воде, рыбачил мальчишка, он выбирал сачком ежей. Его товарищи «болели» за него, стоя на берегу.

— Ты любишь ежей?

— Никогда не пробовала,— ответила Сара.

— Мы с Долорес их ели на Капри прямо на пляже и запивали белым, хорошо охлажденным вином. Вкусно.

— Ты думаешь, эти съедобные?

— Не знаю.

По сосновой аллее они направились к танцевальному павильону. Здание имело форму равностороннего восьмиугольника, широкие окна с цветными стеклами придавали ему отдаленное сходство с оранжереей. Большая часть их была выбита, зато кто-то украсил колонны букетами цветов и листьями королевской пальмы.

— Вы с Долорес много путешествуете? — спросила Сара.

— Любовь к путешествиям привила мне она.

— Когда Энрике нас познакомил, мне захотелось узнать, из каких ты испанцев и что собой представляешь. Я пошла к нему в отель, разбудила и стала расспрашивать о тебе.

— Что же он тебе рассказал?

— То же самое, что я потом увидела собственными глазами. Имя Долорес я в первый раз услышала от него.

— Он всегда был немножко влюблен в нее. Не говорил он об этом?

— Нет, но я и так догадалась. Он сказал, что она жизнерадостней тебя, энергичней и щедрее душой.

— Это верно.

— Я тогда не обратила внимания на его слова, но теперь начинаю думать, что он был прав... Будь она здесь, все было бы гораздо проще.

— Ты уверена?

— Такая женщина, как она, сразу бы поняла меня.— Она опустилась на каменный выступ подоконника и загляделась на блестевшую, как металл, воду лагуны.— Альваро! У нас осталось всего каких-нибудь семь-восемь часов, а мы с тобой только и делаем, что рассуждаем. Почему бы нам не пойти в один из твоих любимых баров?

— Пожалуйста, ничего не имею против.

— Я хочу выпить с тобой, и чтобы ты снова стал нежным и ласковым... А потом мы оба напьемся вдрызг.

— Ты забыла, что мне надо вести машину.

— Чепуха. Если мы налетим на дерево, то по крайней мере умрем вместе.

Альваро сделал с полдюжины снимков павильона. Сара стояла неподвижно, в каком-то экстатическом оцепенении — цветок, опьяненный собственным ароматом. И, взглянув на нее, Альваро впервые за много месяцев ощутил желание включить в свой альбом человеческое лицо. Он уже установил объектив соразмерно разделявшему их расстоянию, но в тот момент, когда лицо Сары оказалось в кадре, им снова овладела неуверенность, он заколебался, не смея решиться. Тут солнце скрылось, а Сара повернулась спиной. Он медленно стал снимать камеру со штатива.

Тебе рассказывали об этом в детстве и в то время ты в это верил
колониальные власти издали декрет об освобождении рабов
прадед собрал своих негров на площади перед сахарным заводом
и со слезами на глазах
ибо он их любил
объявил им что они свободны
несчастные и страдающие как все живые существа
они остались без защиты и опоры
брошенные на произвол судьбы
без хозяина
без господина
без покровителя
и услышав что им сказал прадед
они заплакали так же как он
ибо прадед был добр

никогда не прибегал к бичу
кормил их
защищал
и негры
эти грубые примитивные
дикари
по-своему
тоже его любили...
но все это было ложью
и то что он их защищал
и то что кормил
и обоюдная любовь которая якобы связывала их
и горе при расставании
и речи
и слезы
теперь ты это знаешь
потому что и ты порвал связь с угнетателями и стал свободен и пустился в плавание на собственный страх и риск
говоря себе
благословен путь уведший меня от ваших путей
благословенно все что отдаляет меня от вас и приближает к париям
к проклятым
к неграм
да будут благословенны
мой разум
сердце
чутье
благодарение богу
бесконечное мое благодарение
во веки веков

Он знал уютный кабачок на берегу реки Баракоа и поехал по бульвару Санта-Фе к центральной автостраде. Небо затянуло серой пеленой, над морем волочились низкие черные тучи.

Они прослушали аллегро из Концерта до мажор для двух труб Вивальди, лекцию о прививках детям оспы, старинный романс в исполнении Элены Бурке. Сара перевела стрелку искателя, зазвучал симфонический оркестр, и сразу же ворвалась другая волна, металлический голос объявил: «Говорит радиостанция Майами. Вы слушаете «Голос Соединенных Штатов Америки». Последовала короткая пауза, после чего диктор патетически провозгласил: «Кубинки и кубинцы, час освобождения близок. Кровавая коммунистическая тирания красной марионетки Карибского моря...» Сара нажала на клавишу.

— Почему ты выключила?

— Это выше моих сил. Мне делается худо, когда я их слушаю.

— Они, наверно, будут передавать новости.

— Если они сбросят на нас ракеты, мы узнаем об этом и без радио.

Она опять положила голову к нему на плечо и, казалось, вновь отдалась течению своих мыслей. Автострада бежала вперед через лагуны, рассекая буйные зеленые заросли. В воздух взлетали стаи аур и кружили на одном месте, словно высматривая добычу. И от этого еще заметней становился еле уловимый запах тлена и смерти, которым был пронизан весь угрюмый пейзаж. Они проехали мост и свернули к морю. От перекрестка до Баракоа было меньше километра, и Альваро повел машину по обсаженной деревьями дороге к реке.

Кабачок стоял между рекой и дорогой. Отсюда открывалась широ-

кая панорама рыбачьей пристани, с рядами баркасов и лодок. Когда они вошли, за столиками оживленно спорили, доказывая что-то друг другу, бойцы Повстанческой армии. На стенах висели два плаката «ТЕБЯ ПРИЗЫВАЕТ РОДИНА» и «РАЗГРОМИМ, КАК НА ПЛАЙЯ-ХИРОН» и поблекшая афиша «ВЕЧЕР ОТДЫХА ПОД МУЗЫКУ ЛУЧШИХ ОРКЕСТРОВ КУБЫ». Взявшись за руки, они пробрались через зал и вышли на террасу. Метрах в ста от них плыла к понтонному причалу рыбачья лодка. Один из рыбаков сидел на веслах, другой возился с неводом, вытаскивая из ячеек сети застрявших рыбешек. Против света виден был лишь темный силуэт. Очистив невод, рыбак снова закидывал его, и сеть тихо погружалась в воду, раскрываясь подобно куполу парашюта.

— Пойду узнаю, можно ли тут перекусить.

Повар сказал, что есть анчоусы и жареная султанка. Альваро заказал две порции рыбы и два стакана рома с содовой и льдом. Сара подошла к музыкальному автомату выбрать пластинки. Альваро последовал за ней. Они отобрали «Угольщика», «Апельсин», «Лукаса», «Лучше всего» и весь репертуар Бенни Море. Пока они решали, что поставить, один из бойцов остановился перед Альваро и сказал:

— Простите, пожалуйста.— Он осекся, смущенный собственной дерзостью.— Вы были третьего дня в Касабланке? Вдвоем?

— Да,— ответил Альваро.— А что такое?

— Я же говорю своим ребятам: я видел этих сеньоров... А вы, сеньорита, были в форме?

— Да,— подтвердила Сара.— У вас хорошая память.

— Я люблю смотреть на людей.— Парень стоял подбоченясь и улыбался. На вид ему было лет семнадцать, никак не больше, на смуглых щеках ни малейшего признака растительности.— Вы журналисты?

— Я фоторепортер.

— Вот хорошо! Когда будете посылать что-нибудь в газеты, не забудьте упомянуть, что мои товарищи — и я тоже, конечно,— все мы, если надо, пожертвуем собой и отдадим жизнь за революцию. Мы говорим только так: «Родина или смерть».

— Я обязательно про вас напишу.— Официант принес две порции «куба-либре».— Выпьете с нами?

— Большое спасибо. Мы сейчас уезжаем.

— А безалкогольное у вас что-нибудь есть?

— Кока-кола, содовая и минеральная вода.

— Принесите бутылочку для товарища.

Тучи над рекой набухали дождем. Сара пила свою рюмку, не отрывая взгляда от музыкального автомата. Паренек смущенно поглядывал в окно.

— А вы родом из Касабланки?

— Да. Но после событий на Плайя-Хирон я остался в армии. Позавчера первый раз получил отпуск — и то на несколько часов. Служил с сентября без увольнительной.

— Американцы у вас здесь часто летают?

— Да вот сегодня утром прошли на бреющем шесть разведчиков. Если бы разрешили по ним стрелять, мы бы их сбили. Руки так и чесались.

— Вы хорошо сделали, что их не тронули.

— Житья от них нет, товарищ. Дня не проходит, чтоб не наведались. Летают, словно у себя дома.

— Если мы в нынешней передряге сумеем избежать войны, значит, наша взяла,— сказала Сара.

— Не знаю,— возразил паренек.— Сперва они потребовали убрать ракеты, и русские их убрали. Теперь они требуют, чтобы у нас не было

самолетов, завтра они потребуют, чтобы у нас не было танков, и, когда мы все это выполним, они высадятся на Кубе без единого выстрела.

— Ваши товарищи думают так же, как вы?

— Все без исключения, сеньор.

Бойцы садились в грузовики, парнишку позвали.

— Сколько с нас троих? — Он потянулся за кошельком.

— Ни за что,— сказал Альваро.— Ведь это я вас угостил.

— Разрешите, я заплачу.

— Нет, нет. В другой раз вы угостите меня.

— В другой раз? — Парнишка покорился. Его товарищи уже распрощались и вышли.— Через неделю,— сказал он просто,— нас, может, не будет на свете.

Они сели за столик. Повар принес жареную рыбу, и Альваро заказал еще два коктейля. Рыбачья лодка подошла к причалу. Зеваки, облокотясь на балюстраду террасы, наблюдали за ее маневрами. Военные грузовики отъехали один за другим.

— Когда поговоришь с такими ребятами, становится стыдно,— призналась Сара.

— Стыдно? Чего стыдно?

— Не знаю. Всего. Своих пустяковых трудностей и огорчений, своей прежней легкой жизни, стремления к роскоши... Хочется быть такой же чистой, как они.

— Ты и чиста, Сара.

— Нет. Я предана революции, но не могу отрешиться и от своих личных интересов. Стоит мне в кого-нибудь влюбиться, как, например, в тебя сейчас, и я становлюсь дикой эгоисткой.

— Для них все гораздо яснее.

— А для тебя?

— В чем-то яснее, а в чем-то нет.

— Ты болен, детка. Ты ничего на свете не знаешь: любишь ты жену или не любишь, с революцией ты или нет. Я, например, прекрасно знаю, что иду с революцией и что влюблена в человека, который не обращает на меня ни капельки внимания.

— Долорес говорит, что...

— Я тебя люблю, Альваро.— У нее изменился голос, она сжала ему руку.— Неужели ты ни на секунду не можешь забыть про Долорес?

— Это ты первая завела о ней разговор.

— Уже пять часов. Ну попробуй, сделай над собой небольшое усилие. В двенадцать ночи, даю слово, я оставлю тебя в покое.

Их спор прервало протяжное, громкое гудение. Все, кто был на террасе, задрали головы, в окнах показались встревоженные лица. Это был вертолет американских ВВС, он летел метрах в пятидесяти над землей, похожий на гигантскую механическую птицу, зловещую, угрожающую. Мгновение спустя появился второй вертолет, такой же рыжий, как и первый, а вслед за ним через короткие интервалы еще пять. От их дьявольского полукруга низвергались на землю волны громовой вибрации и, отраженные, стократно усиленные темной гладью реки, сотрясали воздух адским грохотом. Пропеллеры машин вращались подобно лопастям исполинских вентиляторов. На несколько мгновений шум моторов заглушил человеческие голоса. Люди показывали пальцами на небо и что-то кричали, но не слышали друг друга. Обезумевшие от ужаса пеликаны и чайки беспорядочными стаями улетали к зарослям заболоченной дельты. Даже рыбаки оторвались от своего дела. Потом грохот начал стихать — вертолеты удалялись, теперь они походили на легкокрылые силуэты безобидных стрекоз, а потом их поглотила темная масса залегших на горизонте туч. Когда Альваро вернулся к столику, в груди у него было странное ощущение пустоты.

Он одним глотком выпил свой «куба-либре» и заказал еще. Сара пила ром маленькими глотками и тоже заказала вторую порцию. Два рыбака пронесли на кухню полный ящик анчоусов. За столиками почти никого не было, и официант подметал брошенные на пол бумажные салфетки. Мелодичный голос Бенни Море пел:

В Варадеро нашел
я счастье свое...

— Потанцуем? — спросила Сара.

— Если хочешь.

Она закинула руки ему на шею и прижалась щекой к его щеке. Он ощутил на губах ее нежное дыхание. Она закрыла глаза и, кружась с ней по залу, он чувствовал, как бьется ее сердце.

— Я напьюсь допьяна.

— Перестань ребячиться.

— Сегодня ты влюблен в меня, и ты напьешься вместе со мной.

— Я уже сказал тебе, что должен доставить тебя домой живой и невредимой.

— Неважно. Если ты не сможешь вести машину, мы заночуем в мотеле.

— В Баракоа нет ни одного мотеля.

— Тогда ляжем спать на пляже.

— Через час начнется гроза.

— Я скажу официанту, чтобы он подал тебе двойную порцию рома. Я хочу прожить самый безумный день в моей жизни!

— Ничего не выйдет. Я не стану пить. Когда надо, я умею воздерживаться.

— Да, и не только в отношении вина.— И Сара насмешливо шепнула ему на ухо: — С Долорес ты тоже проявляешь воздержание?

— Сделай милость, оставь Долорес в покое.

— Ты прав,— согласилась она.— Она не виновата, что любит тебя.

Пластинка кончилась, они вернулись к столику. Повар убрал приборы и поставил перед ними тарелочку конфитюра из гуайябы. Два советских специалиста со скучающим видом тянули ром, облокотясь на стойку бара. Сара принялась за третий коктейль. Ее глаза блестели.

— Завтра в это время я уже буду собирать кофе на плантациях и снова стану счастливой.

— Не говори мне об этом.

— И ничто больше не будет тяготить меня. Я смогу думать о тебе, и мне не будет больно, как больно теперь.

— И прекрасно. Одного не понимаю, зачем надо ради этого уезжать?

— Вот уже пять дней, как я потеряла над собой власть. Я ложусь спать и просыпаюсь с мыслью о человеке, который меня не любит. Я никогда не думала, что можно быть такой несчастной.

— Послушай, что я скажу, Сара.— Он взял ее за руку, но она осторожно высвободилась.— Ты сама прекрасно понимаешь, что все это только каприз. Ты вбила себе в голову, что влюблена в меня, и под конец сама в это поверила.

— Ну что ж, когда я избавлюсь от любви к тебе, я буду самым счастливым человеком на свете. Я смогу вернуться к маме, и к мальчику, с которым встречалась, и к революции, к своей работе, наконец.

— Я отношусь к тебе с самым добрым чувством,— продолжал он.— Почему бы нам не попытаться стать просто друзьями?

— Знаешь, я даже начинаю от тебя понемножку отвыкать.— Сара прищурила один глаз и смотрела на Альваро сквозь пустой

стакан.— Вот уже несколько минут ты кажешься мне совсем не таким интересным, как раньше.

— Ты еще встретишь человека, который полюбит тебя...

— Мне никого не нужно, потому что у меня есть ты.

— Сара!

— Сара, Сара, ну и что, что Сара?

Она встала и со стаканами в руках направилась к бару. Из автомата неслась старая песенка Барбарито Диаса. По реке на лодках с широкими рулевыми веслами плыли в разных направлениях рыбаки со своими вершами и неводами. Ветер трепал плющ, обвивавший террасу, небо дышало грозой и близким дождем.

Альваро присел на ржавые перила и стал смотреть на реку. В ушах у него все еще раздавался назойливый треск вертолетов. На ближнем понтоне молодой рыбак снимал весла и укладывал их на дно лодки. В следующий миг Альваро услышал гул реактивного самолета, летевшего, видимо, на большой высоте над облаками. Быть может, вторжение уже началось, и только они в этом кабачке, занятые каждый самим собой и своими заботами, ни о чем не знают,— слепые, никому не нужные букашки. Сара вернулась, неся две «куба-либре».

— Будешь танцевать?

— Нет.

— Ладно, тогда я приглашу кого-нибудь другого.

Она вернулась к стойке, поставила на нее свой недопитый стакан и приблизилась к невысокому человеку лет пятидесяти, который слушал у автомата музыку, отбивая такт ногой. Человек, видимо, нисколько не удивился и пошел с ней танцевать. Держался он с нарочитой, очень смешной чопорностью и до одеревенелости прямо. Сара тотчас же скопировала его; в ее движениях появилась та же деревянная застылость, что и у партнера. Они танцевали, как заводные куклы, церемонно держа друг друга за руки выше локтей. Их лица, такие разные, непохожие, сохраняли одинаковое выражение полнейшей серьезности. Партнер Сары целовал своей даме руку, сопровождая этот рыцарский жест клоунскими ужимками, а она томно закатывала глаза. Зрители за столиками прыскали со смеху. Так продолжалось минуту-другую. Внезапно человек передернул плечами, качнул бедрами, и оба пустились в бешеный пляс. Кружок зрителей охнул. Это была блистательная импровизация в духе афро-кубинской народной хореографии. Партнеры извивались, сгибаясь и выпрямляясь в неистовом темпе, словно крутили какой-то фантастический хула-хуп. Когда они кончили, раздались дружные аплодисменты.

Человек подвел Сару к столику, за которым сидели его друзья. Они налили ей рому, и Альваро увидел, как самозабвенно подняла она рюмку вместе с ними и вместе с ними выпила. По направлению их взглядов он понял, что она им говорит о нем. А минуту спустя вся компания стала подавать ему знаки, приглашая к своему столику. Сара заказала еще порцию «куба-либре», она сидела за столиком, весело возбужденная, раскрасневшаяся.

— Когда свадьба? — спросил партнер Сары.

— Что за свадьба?

— Я им сказала, что ты самый неотразимый мужчина из всех, каких я когда-либо знала,— ее голос утратил обычную звонкость, стал тягучим. Она обвела отрешенным взглядом сидевших за столом.— Он меня не любит, но это неважно, моей любви хватит и на меня, и на него.

— Полноте, что вы говорите! Да в такую красавицу, как вы, влюбится каждый! Правду я говорю, дружище?

— Разумеется,— ответил Альваро.

— Вот видите? — Человек улыбнулся, показав черные зубы.

— Не слушайте ее,— произнес Альваро.— Она прелестная девушка, но иногда ей нравится морочить людям голову.

— Да что я, не вижу, что ли? Если вы ей скажете, что любите ее, это будет только правда.

— Как бог свят! — вырвалось у сидевшего рядом мулата.— Можете быть уверены, сеньорита.

— Приятно это, наверно, когда такая вот симпатичная девушка глаз с тебя не сводит, а, дружище? Да еще каких глаз! Моря, океаны!

— Слышишь, что люди говорят? — Сара обвила его шею руками и поцеловала за ухом.— Все завидуют твоему счастью.

— С такой девушкой, как вы, любой человек был бы счастлив.

— Это я с ним счастлива.— Сара допила свой коктейль.— Мы все время ссоримся, но я все-таки его люблю.

— Э, милые бранятся, только тешатся. Сердито сердились — сладко помирились.

— Слушай и ума набирайся. Почему бы нам с тобой не поехать на остров Пинос или еще куда-нибудь — мало ли есть уютных мест — пили бы саоко и спали на пляже? А Долорес ты бы написал, что...

— Официант! — Альваро потянулся за бумажником.

— Что ты?

— Мы уезжаем.

Сара недоуменно смотрела на него, в глазах у нее появилось детское выражение нестерпимой обиды и огорчения.

— У, Альваро! — протянула она.— Выпьем еще хоть глоточек!

— Ты выпила вполне достаточно.

— Ну, напоследок...

— Нет, Сара, хватит.

— Куда ты торопишься? Все испортил! Я только было развеселилась.— Она подняла глаза, ища поддержки у друзей своего партнера.— Я ведь хотела еще потанцевать и рассказать про тебя — какой ты необыкновенный и обаятельный...

— В другой раз расскажешь...

— Ваш молодой человек прав,— вмешался партнер Сары.— Приезжайте сюда завтра, я вас угощу такой жареной султанкой... Договорились, дружище?

— Я пьяна, но зато счастлива.

— Пошли, пошли.— Альваро взял ее за руку.— Я отвезу тебя домой.

— Приезжайте к четырем, удобно вам в это время? — настаивал партнер Сары.

— К четырем? Хорошо.

— Я приведу жену и ребятишек.

— Поцелуй меня Альваро, чтобы все видели, как ты меня любишь.

Он наклонился и слегка коснулся губами ее лба.

— Нет, не так. В губы.

Бармен принес счет, Альваро дал ему бумажку в десять песо. Сара встала и пошатнулась.

— Он любит меня, а я люблю его.

— Счастливо оставаться.

— Итак, завтра в четыре. Смотри, дружище, не забудь.

— Не забуду, не забуду.

— По крайней мере узнаете вкус настоящей свежей рыбы.

— Будем очень рады.

— Идем, давай я возьму тебя под руку.

— Так все и кружится.

— Ничего, я поведу тебя. Держись.

— Почему они на меня смотрят? — Она все время оглядывалась.— Ты сказал им, что сегодня самый прекрасный день в моей жизни?

— Да, наверно, поэтому.

Повар, бармен, официанты оставили свои занятия и наблюдали за сценой, стараясь не слишком выдавать свое любопытство.

Уходя, Сара слабо помахала рукой новым знакомым.

— Какие милые, правда?

— Да.

Он устроил ее на переднем сиденье и поднял верх. Темно-серое с опаловыми отливами небо грозило вот-вот разразиться дождем. Ветер внезапно стих. Неподвижно замерла листва на деревьях. Ауры кружили над самой землей, чертя неторопливые, торжественные спирали. Он нажал на стартер, и Сара уронила голову к нему на плечо.

— Альваро... Скажи мне... Я очень пьяная?

— Чуть-чуть.

— Ты на меня рассердился?

— Нет.

— Это со мной в первый раз... Это так чудесно.

— Ты еще такая малышка, Сара... А мне, в мои годы, совестно терять голову из-за шестнадцатилетней девочки. Что бы сказали мои друзья, если бы сейчас меня увидели?

— Сказали бы, что этой девчонке здорово повезло... Альваро! Ты проводишь меня домой, да?

— Староват я для таких похождений... Еще немного, и я начну охотиться у школьных ворот за какой-нибудь Лолитой.

— Я бы хотела всю жизнь прожить пьяной.— Она говорила чуть слышно, глаза ее были закрыты.— Так все просто, легко....

— Я отвезу тебя домой и уложу в кровать, как укладывают грудных младенцев.

— Твой голос доносится откуда-то издалека... Словно я умираю.

— Хочешь, заедем куда-нибудь, выпьем по чашке кофе.

— Ничего я не хочу.— Она почти спала.— Я хочу только тебя.

Он выехал на центральную автостраду и прибавил газу. Оцепенение сковало природу, все притихло, ожидая первого порыва бури. «Моррис» обогнал два-три армейских «джипа» и карету скорой помощи со знаком Красного Креста. Сара свернулась клубочком на сиденье и лепетала что-то нечленораздельное. Ее розовые, нежные губы невинно приглашали уступить вожделению.

Первые капли упали в Санта-Фе. Они разбились о ветровое стекло, как перезрелые плоды, сорвавшиеся с дерева. Через несколько секунд пространство исчезло, кругом встала стена воды. Это был настоящий тропический ливень, с осатанелым грохотом грома, с порывами разъяренного ветра, с остервенелым полыханием молний — неистовый оргазм распаленной природы. «Дворники» не успевали удалять воду с ветрового стекла, превратясь в два бесполезных, разворачивающихся с глуховатым скрипом веера. Буря отрезала машину от внешнего мира, обволокла ее незримым, смущающим соблазном безответственности. В душу вползало коварное ощущение: Альваро казалось, будто он едет по необитаемой стране и девушка, уснувшая на сиденье рядом с ним,— всего лишь юное девичье тело, самозабвенно и сладко прильнувшее к его телу. Несколько минут он боролся с собой, подавляя неодолимое желание остановить «моррис» и разбудить ее поцелуями. Но Сара спала так крепко, что он устыдился себя.

Дождь сопровождал их до самой Гаваны. Люди толпились в подъездах домов, ожидая хотя бы минутного затишья. Автобусы ехали переполненные. Сара открыла глаза, осмотрелась по сторонам, зевнула и повернулась к нему.

— Дождь идет.
— Ага.
— Я спала, да?
— Когда мы приедем, я тебе сварю кофе, и все пройдет.
— Голова кружится... Заметно по мне, что я пьяная?
— Нет.
— Слушай, Альваро, я еще никогда не чувствовала себя такой близкой тебе. Это что, от рома?
— Скорей всего, что так.
— О! Тогда я буду пить каждый день. Я буду такая же, как всегда, но только пьяная.
— Не болтай глупостей.
— Я не знала, что алкоголь так сближает людей. С сегодняшнего дня...

Он закрыл ей рот рукой, она высунула язык и стала щекотать ему ладонь и покусывать пальцы. Волны заливали Малекон. «Моррис» обогнул отель «Ривьера» и свернул на Авениду алькальдов. Сара жадно смотрела на город, она даже прижала нос к стеклу окошка. Не обращая внимания на непогоду, дружинники проводили под открытым небом строевые занятия. Они проехали по Линеа до улицы «О» и остановились на перекрестке улиц Менокаль и Нептуна.

У обочины застрял городской автобус — что-то случилось с мотором, и шофер громко переругивался с какой-то женщиной. Выйдя из машины, Альваро проверил, заперт ли багажник. Сара выпрыгнула на мостовую без его помощи; она стояла посреди улицы и словно спала наяву, подставив лицо струям дождя, вся отдавшись веселому своенравию разыгравшейся водной стихии.

— Обожаю грозы. В детстве я каждый раз выбегала на балкон и часами глядела на небо.
— Ты простудишься.
— Ничего, прижмусь к тебе и согреюсь.— Она шла рядом с ним, обняв его за талию.— Мама всегда ругала меня за то, что я ходила в школу без зонтика и любила шлепать по лужам.
— Ты вся дрожишь от холода. Идем скорей.
— А я бы с удовольствием шла с тобой под дождем, пока мы не вымокли бы до нитки.— Альваро заставил ее войти в парадное ее дома.— Правда, давай попробуем?

Они поднялись на третий этаж, и он помог ей отыскать ключ в сумке. Квартира состояла из спальни, крошечной кухоньки и превращенной в чулан ванной комнаты. Беспорядок царил повсюду невообразимый — было видно, что тут живет человек, не привыкший себя обслуживать: кровать стояла неубранной, во всех углах громоздились книги, на джутовом ковре, покрывавшем пол, вперемежку валялись вынутые из конвертов пластинки, недоеденные бутерброды, немытые чашки из-под кофе и причудливые карандашные рисунки. Сара опустилась на колени у кровати и поставила на проигрыватель арию «Vedrai, carino»[1] из моцартовского «Дон-Жуана». Потом она распахнула окно и посмотрела на затянутый влажной дымкой силуэт отеля «Свободная Гавана».

На кухне Альваро обнаружил неаполитанский кофейник, а на полке для посуды нашел две чистые чашки. Пока закипала вода, он подставил голову под кран. Из зеркала на него смотрел человек уже не первой молодости, с усталым лицом; глаза его были красны и блестели. Волосы надо лбом начинали редеть, и, чтобы скрыть это, он зачесал их набок. Рука его прошлась по лицу, словно хотела стереть следы

[1] «Средство я знаю» *(итал.)* — начало арии Церлины из 2-го действия оперы.

морщин, и снова, уже не в первый раз, он с изумлением убедился, что морщины не исчезли.

Гремела, наполняя весь дом, музыка из «Дон-Жуана». Сара лежала ничком на кровати и, когда он с подносом подошел к ней, резким движением оттолкнула чашку.

— Альваро,— заговорила она, не открывая глаз, в ее голосе прорывалось с трудом сдерживаемое возбуждение.— Веди себя со мной так, как ты ведешь себя с другими женщинами. Я хочу, чтобы это было теперь, сейчас же. Ты меня слышишь? Я никого не знала до тебя, но сейчас я этого хочу, даже если ты потом уедешь в Европу и я никогда больше тебя не увижу. Если бы я не выпила, я бы не осмелилась тебе этого сказать. Но теперь мне все равно. Вот почему я хотела напиться.

Альваро смотрел на ее детский профиль, влитый в белизну подушки. Ее щеки горели, губы дрожали от волнения. Кровь застучала у него в висках, и он отеческим тоном стал увещевать ее:

— Полно, Сара. Ты опьянела и сама не знаешь, что говоришь. Выспись как следует, а завтра я к тебе зайду, и мы трезво все обсудим.

— Одну только ночь. Утром я уеду на уборку кофе, и ты больше никогда обо мне не услышишь.

— Успокойся, ради бога, успокойся. Ты говоришь под влиянием опьянения, ты еще ребенок, который ничего не смыслит в таких вещах. А я не пьян, и я не мальчик, а взрослый мужчина. Я не имею права воспользоваться, тебе во зло, твоим состоянием. Ты понимаешь это?

— Никогда в жизни я еще не говорила так сознательно, как теперь,— поспешно возразила она.— Сегодня утром ты дал мне слово, что будешь исполнять мои желания. И я хочу, чтобы ты вел себя со мной так же, как ведешь с другими. После этого я тебя оставлю в покое, навсегда.

— Я вовсе не хочу с тобой расставаться, Сара,— голос у него вдруг охрип, и, чтобы взять себя в руки, он сосчитал до десяти.— Но я старше тебя, у меня за плечами многолетний жизненный опыт, а ты еще только начинаешь жить. И если я сейчас тебе уступлю, я потом буду себя презирать.

— А почему же с этой колумбийкой ты ведешь себя иначе?

— Она — другое дело. Во-первых, я ее не люблю, во-вторых, она не маленькая девочка... А с тобой...

— Альваро, я тебя умоляю.— Она села на кровати и заплакала.— Я никому, никому об этом не расскажу, честное слово. Даже маме.

— Это было бы гнусно — воспользоваться тем, что ты пьяна и...

— Ненавижу эти рассуждения. Ты же обещал...

— Ничего я тебе не обещал.

— А я хотела, чтобы мы с тобой расстались по-хорошему.— Слезы не дали ей договорить.

— Ради бога,— сказал он.— Оставим этот нелепый разговор. Мне и так скверно, не надо добавлять.

Сара зарылась лицом в подушку и только судорожно всхлипывала.

— Уходи. Навсегда. Чтобы я тебя больше не видела.

— Тебе надо заснуть. Завтра утром, на свежую голову, ты согласишься, что я был прав.

— Уходи.

— Хорошо, я уйду. Отдохни и забудь все, что ты мне тут наговорила.

Он прикрыл окно и, как вор, проскользнул к двери. Сердце у него колотилось так, словно хотело выскочить из груди. Сквозь туман, застилавший глаза, он из крохотной передней оглянулся в последний

раз. Сара лежала все так же ничком и плакала. Он резко захлопнул дверь. Спускаясь на ощупь по лестнице, он все еще слышал доносившуюся сверху — трудно было бы придумать издевку злее — ликующую коду моцартовской арии.

Оно лежит перед тобой
(его горечь капля по капле пропитала всю твою жизнь и определила твою судьбу)
оно хранится в одной из связок тщательно разобранной переписки прадеда
среди торговых счетов накладных банковских квитанций расписок чековых книжек
среди прошений от различных религиозных учреждений благотворительных обществ миссионерских организаций представителей святой апостолической церкви
(по завещанию прадеда твой дед выстроил для вашей семьи часовню в экстравагантном стиле
и благочестивая тетушка Анхелес
та самая что на фотографии в коридоре вашего имения изображена сидящей под темным тентом
получила возможность окружить себя пышной свитой каноников священников духовников семинаристов
они находились при ней неотлучно днем и ночью
и она
властная злая
усатая
командовала ими
как наседка своим выводком)
простой листок бумаги
пожелтевший
истертый на сгибах
исписанный старинным почерком
дрожащей
непривычной к перу
рукой
адресат дон Северо Мендиола
дата 10 декабря 1870 года
отправлено из Сьенфуэгоса
господин мой
Ваша милость изволили оставить меня в доме ваших детей барышни Ферминиты и барчука Хорхито и я все что было в моих силах исполняла как обещала Вашей милости но когда приехала к барышне Ферминте барышня Телесфора меня выгнали из дому и сейчас я осталась как есть на улице и только жду Вашей милости если может приедете
еще сообщаю Вашей милости что барышня Телесфора отдала Хулиана Томабелье а Томабелья передал его Монтальво а там его не кормят и сынок Вашей милости Хорхито с лета не дал ему на содержание ни единого сентимо
если Ваша милость изволите распорядиться иначе потому как не на что куска хлеба купить то прошу Вас и умоляю вспомните и обо мне и окажите Вашу защиту
кланяюсь Петре Марии барышне Флоре барышне Анхелес барышне Аделаиде барышне Хосефите и моей милостивой госпоже
просящая Вашего благословения и всегда готовая к услугам преданная раба Вашей милости
Касильда Мендиола

с тех пор минуло почти сто лет
и нынче
когда все
решительно все на свете
и особенно сейчас
в зловещие дни лета 63-го года внушает тебе убеждение в безнаказанности преступных деяний и чудовищной забывчивости Истории
тебе достаточно перечитать письмо рабыни чтобы установить истину
и в ней
в ее жестокой несомненности
обрести оправдание твоего ухода от них
и подтвердить правоту
твоего поведения
твоего отношения к жизни
утверждаемого тобой вопреки корыстолюбию и лжи на которых зиждется испанское общество
твоих нравственных принципов
которые впредь помогут тебе
следовать
не уклоняясь
своим путем
порвав с близкими
жить без родины
без семьи без родного очага без друзей
без посторонней помощи
идти одному
против прилива и ветра
одному
но идти
как бы ни было трудно

Несколько дней спустя — Альваро только что вернулся в Гавану после утомительной поездки по провинциальным городам, которые обследовал вместе с товарищами из Национального совета культуры, знатоками архитектурных сокровищ колониальной Кубы,— Сара позвонила ему по телефону. Она весело сообщила, что в Валье-Окульто сегодня состоится религиозное празднество негров абакуá. Они договорились встретиться через два часа в Галерее.

— Я боялся, как бы ты и впрямь не вздумала уехать на уборку кофе,— пошутил он, подходя к ней.

— В последнюю минуту я передумала и осталась.— Сара слегка коснулась губами его щеки.— А ты? Где ты был?

— Ездил на остров Пинос, по следам Стивенсона. Места там красивые, но сокровищ я что-то не заметил.

— Их национализировала революцня. Ты не знал? — ответила она.

Они разговаривали с подчеркнутой беспечностью, стараясь держаться непринужденно, как ни в чем не бывало. Сара попрощалась с заведующей и уселась на переднем сиденье машины.

— А ты? Что ты за эти дни успела?

— Стать взрослой,— ответила Сара.— Иногда дни летят без оглядки, и ничего это тебе не дает, ты все та же... Эта неделя — нет. За эту неделю я узнала пропасть полезных вещей.

— Каких же именно? Если, конечно, это не слишком нескромный вопрос.

— Я читаю Большой кубинский словарь. Ты его видел?

— Нет, не приходилось.

— Очень любопытное чтение. Знакомишься с уймой самых разных терминов, названий. Известно ли тебе, например, что такое белый су́чули?

— Ни разу не слыхал.

— А я теперь знаю, что это такое... А хирибиль́я? Ты и про хирибилью не слышал?

— Ни единого звука.

— Э, детка, отстаешь, отстаешь! Смотри, как бы в один прекрасный день мне не пришлось обучать тебя азам любовной науки.

— Да́же так?

— Даже.

— И где же ты их освоила? Все с помощью словаря?

— Частично с помощью словаря, частично — жизни. Я изучала закон тяготения человеческих сердец и проблему применимости выводов Ньютона к сердечным привязанностям.

— Потрясающе,— заметил Альваро.— И далеко ты продвинулась в своих исследованиях?

— Основательно.— Сара не отводила глаз от моря за чертой Малекона — оно все кипело под свежим ветром.— Теперь, стоит мне захотеть, и я солгу не моргнув глазом и сумею заставить других мучиться и стану откалывать такие номера, о которых раньше понятия не имела... Как подумаю, что мне всего шестнадцать лет и я столько всего знаю, мне кажется, что я просто гениальна.

— Скромностью ты не грешишь, прямо скажем.

— Я объективна и чистосердечна.

— Что ты еще за это время узнала?

— Не все сразу, детка, а то на тебя это слишком сильно подействует.

— Ты так думаешь?

— После того вечера я уже не такая, как раньше... У меня то же лицо, те же глаза, те же губы, и все-таки я другая... Ты и не подозреваешь, какой огромный шаг я сделала благодаря тебе.

— Радуюсь.

— Когда ты ушел, я больше не хотела тебя видеть. Никогда! Но потом я подумала, рассудила и поняла, что ты прав. И вот теперь я могу на тебя смотреть и даже нахожу, что ты в общем симпатичный, честное слово.

— Очень мило с твоей стороны.

— Знаешь, вроде несла, несла на спине тяжелый камень — и вдруг его больше нет. И этим я обязана тебе.

— Мне? Какой камень?

— Подлинная ценность вещей проверяется практикой. Сидя на берегу, плавать не научишься.

— Это ты про тот вечер?

— Нет, я говорю вообще. Я впервые бросилась в воду в двенадцать лет — и поплыла. Не сделай я этого, я бы так и не разобралась в революции и, наверно, болталась бы сейчас где-нибудь в Майами.

— Ты права. Не понимаю только, какое это имеет отношение ко мне.

— Это вопрос темперамента. Ты, скажем, хочешь и невинность соблюсти, и капитал приобрести. А я, если уж чему-то отдаюсь, так вся без остатка. Всю душу вкладываю.

— Ты молода. В твои годы...

— Ах, оставь,— оборвала его Сара.— Я эту пластинку наизусть знаю.

— Хорошо,— согласился он.— Как тебе угодно.

Они ехали по Авенида-дель-Пуэрто, обгоняя развалины-автобусы и давно отбегавшие свой век такси. На скамьях у церкви Паула мирно

дремали старики. «Моррис» промчался по набережной Коубре и пошел дальше к Атарес и Виа-Бланка, мимо автопарков, складов, платформ с навесами. Было жарко, ослепительно сияла пелена облаков, рассеивая солнечный свет.

— Ты рассердился? — спросила Сара.

— Ничуть.

— Я же вижу, так и кипишь от злости.— Она положила руку ему на плечо и ласково погладила по волосам.— Прости.

— Нечего прощать.

— Обещаю, что впредь буду доброй. Пусть сегодня у нас будет веселый день. Тебе нравятся негритянские ритуальные церемонии?

— Пока что не пропустил ни одной.

— У мальчика, с которым я встречаюсь, есть приятель, он негр-ньяньиго. Третьего дня он нас пригласил на оплакивание в Гуанабакоа.

— Ты пошла?

— Конечно.

— А я думал, вы с ним в ссоре,— проговорил он, стараясь сохранить безразличный тон.— Значит, ты с ним снова встречаешься?

— А! Разве я тебе не сказала? — Сара закурила сигарету.— Мы помирились. Еще в тот вечер.

— Нет, ты мне про это не говорила.— Острая колющая боль пронизала ему грудь, он почувствовал, что задыхается. Разорвав тишину, на той стороне бухты завыла сирена, и звук ее слился с его страданием, словно пришел не издалека, а брызнул из недр его муки.— Теперь я понимаю, почему ты не ночуешь дома.

— Откуда ты это узнал? — спросила Сара.

— Вчера вечером я ждал тебя.

— Да, эту ночь я спала не у себя.

— И можно узнать, с кем? — Вопрос сорвался непроизвольно. Альваро яростно нажал на акселератор.— Нет, нет, не надо отвечать.

— А я и не думаю отвечать,— возразила Сара.— Не знаю, почему ты так со мной разговариваешь.

Они проехали мост через реку Лиано. Мимо промелькнули унылые дома пригорода Арангурен. Сирена выла не переставая, словно и в самом деле была выражением его состояния и он мог бы усилием воли оборвать этот нестерпимый вой. Доехав до перекрестка, он свернул на шоссе в Реглу. По обочинам дороги, неотступно преследуя машину, проносились мутные, поблекшие от дождей и солнца щиты с рекламой американских товаров, исчезнувших с рынка после революции, фантомы потустороннего мира. У автобусных остановок стояли очереди. На перекрестке двух шоссе Альваро затормозил, пропуская погребальную процессию.

— О, посмотри! — Сара показала пальцем на маленький белый гробик.— Это ребенок.

За похоронными дрогами двигалась пестрая толпа провожающих. Первой шла мать, ее поддерживали под руки двое негров величавой осанки. Молча шагали мужчины в промасленной, заляпанной краской рабочей одежде. Богомолки, все в белом, тянули вполголоса литании. Рядом с искренне опечаленными взрослыми плелись дети, явно скучая и притворно серьезничая.

— Что с тобой? — спросила Сара.

— Не знаю.— Громко сигналил клаксон остановившейся за «моррисом» машины, и Альваро отъехал к тротуару.— Мне стало нехорошо.

— Ты весь бледный... Может, вернемся?

— Выпью чашку кофе — пройдет.

Он стоял, облокотясь на стойку бара, пил кофе и смотрел на толпу любопытных, которые вместе с родными умершего ребенка входили в ворота кладбища. Сара неторопливо потягивала кофе из чашечки.

В мгновенном беспощадном озарении он увидел мужские губы, прижатые к ее рту. Невыносимо!

— Если ты задалась целью вызвать у меня ревность, ты этого достигла.

— Я не задавалась никакой целью,— возразила Сара.— Я рассказала тебе про это, потому что думала: тебе все равно.

— Мне это не все равно,— выговорил он хрипло и попытался улыбнуться.— Такие хорошенькие девушки, как ты, рано или поздно добиваются, чего хотят.

— Я думала, что от тебя не добьюсь ничего. И в тот вечер решила, что с тобой — кончено.

— Ты поставила меня в трудное положение, Сара. Ты была пьяна. Мне казалось непорядочным воспользоваться твоим опьянением и...

— Ты поступил очень правильно, что ушел. Как самый благоразумный человек на свете. Но я больше не могла. Тебе это понятно?

— Нет.

— Я не хотела больше ходнть, как помешанная... В ту же ночь я позвонила моему мальчику и легла с ним в постель.

— Что?!

— Пожалуйста, можешь на меня так не смотреть. Клянусь, я это сделала не со злости... Мне это было нужно, чтобы освободиться от тебя.

— Ты обещала мне...

— Ах, Альваро.— Слезы навернулись у нее на глазах, заблестели и покатились неудержимо.— Никого никогда я не любила так, как тебя. Я бы все, все отдала, чтобы только...

— Значит, ты сказала, что ты моя, и через десять минут пригласила к себе другого... Если бы я это знал...

— Молчи. Ты сейчас окончательно все испортишь. Я хотела сохранить все-таки хорошее воспоминание о нашей встрече...

— Ты отлично надо мной посмеялась. Просто великолепно. Поздравляю.

— Почему же ты мне раньше не признался? Я ведь была убеждена, что...

— Давай кончим сразу. К чему эта дурацкая канитель.

Он положил две никелевые монетки на стойку и пошел к машине. Сара шла за ним и плакала. На них внимательно и равнодушно смотрели зеваки.

— Прекрасный финал.— Он включил зажигание и обернулся к ней: — Где они, твои ньяньиго?

— Я пригласила моего мальчика, чтобы познакомить его с тобой... Мне хотелось знать, что ты о нем скажешь.

— Не беспокойся, я не утаю от тебя своего мнения.

— Альваро!

— Не обращай на меня внимания. Я сам не знаю, что говорю.

Он вел машину по шоссе, еле различая дорогу из-за нестерпимого сияния облаков, пронизанных солнцем. Сара положила ладонь ему на руку, но он мягко и все же решительно высвободил руку. За поворотом они увидели людей, подымавшихся кучками по склону холма, туда, где должно было состояться празднество. Издали, приглушенная расстоянием, доносилась ритмичная дробь барабанов энкомо. По дороге двигалась толпа мужчин, сопровождая пением танец ряженого плясуна йрэмэ. Ритм задавал погремушкой шедший перед плясуном нкрикáмо. Голову ирэмэ, поверх капюшона из мешковины, украшало бархатное сомбреро с красным помпоном; подол рубахи, края рукавов и штанин были обшиты яркой бахромой из волокна агавы, на поясе при каждом движении звенели металлические колокольца. Чертенок извивался, раз-

махивая итóном, потом вдруг отскакивал в сторону, и, пошатываясь, точно пьяный, пытался смазать своей ритуальной метелочкой кого-нибудь по лицу. А нкрикамо все вел и вел его вперед — к фамбá, святилищу. После долгой игры со свитой ирэмэ изловчился и коснулся итоном головы какого-то старого Ийáмба, а затем послушно зашагал за направляющим и его погремушкой эрикундé.

Альваро поставил машину возле автобусной остановки. Когда они вышли, их окружили ребятишки и стали наперебой спрашивать, не русские ли они. Бетонированная дорога вела по склону холма вверх к утоптанной, ровной площадке, где собирались верующие. Входя в святилище, одноэтажное, ничем не примечательное здание, абакуа[1] снимали головные уборы и тщательно прикрывали за собой дверь. С другой стороны на вершину холма вели выбитые в земле ступени. По обеим сторонам этой примитивной лестницы теснились деревянные домики, походившие под своими яркими крышами на колонию грибов. Над крышами, контрастируя с портиками, выдержанными в стиле традиционной кубинской архитектуры, торчали уродливые телевизионные антенны. С площадки открывались оба склона, и все это походило на декорацию, нарочно воздвигнутую для совершения торжественной культовой церемонии.

Когда они явились, обряд уже начался. Верующие играли на энкомо, экóне и тумбадóре, аккомпанируя монотонному речитативу моруá[2]. Мулат в майке и в повязанном вокруг шеи красном шелковом платке наливал из бутылки ром в скорлупу кокосового ореха и обносил присутствующих. Прошло несколько мгновений, и из фамбá донесся рев бога Экуэ́. Любопытные подвинулись ближе ко входу в святилище, ожидая появления жреца—мпéго. Индúсиме, неофиты, один за другим сбрасывали рубахи и обувь и, подвернув штанины, босые, обнаженные до пояса, строились в ряд. Поручители, встав за спиной посвящаемых, положили им руки на плечи.

Альваро смотрел на это амалогрú как завороженный. В дверях святилища выросла фигура мпего — это был гигантского роста негр с мокубой, кадильницей и бутылками вина и водки. Верующие окружили индисиме. Начался ритуал очищения. Под хор голосов, хрипло тянувших: «Анамабó, анамабó», мпего магической травой очищал индисиме от скверны и желтой краской наносил им на грудь, на плечи, на ноги и на спину изображение креста. Присутствующие сопровождали каждый его жест крнками: «Нкóмо акереба́, нкóмо акереба́». Затем процедура повторилась, на этот раз мпего под крики: «Унарóбья апáнга рóбья» крестил неофитов белой краской. Осатанело гремели барабаны. Негр в форме дружинника бнл железным стержнем по экону. Горячечный ритм убыстрялся с каждой секундой, рождая ответный ритм быстрых и точных человеческих телодвижений. «Мúмба, мúмба барóри»,— пели абакуа, и мпего кропил водкой грудь, лицо и спину посвящаемых. «Акарансé, акарансé»,— и, набрав в рот вина, он спрыскивал темную кожу будущего обонэ́куе, приобщаемого силой и благодатью мокубы и ревом священного Голоса к блаженным духам Сикáна и Тáнзе. Как одержимые, гудели барабаны, яростным колоколом звонил экон, ньяньиго в беспамятстве экстаза повторяли: «Умóн Абасú, Умóн Абасú», а мпего смоченным в освященной воде базиликом смывал остатки скверны с тел индисиме. «Кáмьо Абасó Кесóнго, Кáмьо Абасó Кесóнго»,— и он одного за другим стал их окуривать дымом кадильницы. «Тафитá нанýмбре»,— и он завязал им глаза шелковым платком, и, ослепленные, они пали ниц, положив на землю руки ладонями вверх, а поручители стояли сзади, не

[1] Абакуа — второе название негров племени ньяньиго.

[2] Моруа — главный певец ритуальных церемоний негров ньяньиго.

отступая ни на шаг, дабы укрепить в эту минуту их дух. Бил в уши заклинающий ритм экона и барабанов, вызывая из таинственной сени фамба демона эрибангандо́, черно-красного дьяволенка, который явился на зов и заплясал, извиваясь, перед простертыми индисиме, звеня всеми колокольцами своего пояса. «Инди́симе Исо́н Парагуа́о Ке́нде Йайома́!» Он пробежал по их ряду, коснувшись каждого коленями. «Индисиме Исон Парагуао Кенде Йайома!» — и он коснулся каждого своей крайней плотью. «Индисиме Исон Парагуао Кенде Йайома!» — гремел в унисон хор верующих, исступленная молитва, безумие и страсть заклятия, «Индисиме Исон Парагуао Кенде Йайома!», братство и любовь, и только один Альваро был исключен из священного круга.

Когда он опомнился, Сары возле него уже не было, он обернулся и увидел ее рядом с юношей в форме дружинника народной милиции. Процессия индисиме, шедших с завязанными глазами, направлялась в святилище. В поднятых руках они несли Сесе́ Эрибо́, распятие, изображения Очу́на, Чанго́, Йемайи́ «Энки́ко Энди́на Энди́на Сапа́ра Акуаниабо́!» — грянули верующие, и ирэмэ пустились в бешеный пляс. Под шум начавшегося столпотворения Альваро, не простясь, покинул празднество.

Он шел, не разбирая дороги, шел, чтобы идти. В голове у него была пустота, сердце стучало. Крутая тропинка, извивавшаяся среди деревянных домиков, неожиданно вывела его к автомобильному кладбищу. На пологом склоне громоздились старые «форды», «кадиллаки», «шевроле», «де сото», они медленно разрушались здесь, проржавевшие, превратившиеся в хлам свидетели навсегда ушедшего времени. Ни моторов, ни стекол, ни колес — одни кузова с разинутыми голодными пастями, разодранными в мучительном черном зевке. А вверху, над этими трупами автомобилей, чертили свон зловещие спиралн ауры. Альваро заметил клочок земли и бросился на траву. Он лежал на спине, уставившись в небо. От этого кладбищенского склона исходил запах смерти и разложения. Нестерпимо ярок был рассеянный солнечный свет и душен застоявшийся воздух.

Он потерял представление о времени. В небе со стороны материка появились три черные точки, они быстро перемещались, держа курс на военные объекты, расположенные близ Гаванской бухты. Он равнодушно стал ждать воя сирен и грохота взрывов. Им овладевал сон, и с каждой минутой он все явственнее чувствовал, как тело его прорастает корнями, а корни все глубже уходят в землю, и сам он сливается, нет, уже слился с землей. Он напряг все снлы и в последний раз открыл глаза. Где-то вдали пел женский голос, ему хотелось расслышать слова, как будто в них содержалась весть, предназначенная только ему. Три точки все еще кружили в воздухе. Осень прищла раньше времени, а жизнь вокруг него — продолжалась.

Ты и не заметил как рассвело

над вершинами холмов подымается солнце оно похоже на круглый шлем на шаровидный бакен на половинку апельсина

в листве эвкалиптов прозвенели первые птичьи трели мелькают потонув в беспредельности ласточки ты и не знал что бывает в природе эта минута безмятежности от которой все вокруг хорошеет

на галерее

пепельницы полные окурков пустые бутылки стаканы проигрыватель усталый от бесконечного повторения «Реквиема» диван с раскиданными по нему связками писем адресованных прадеду и ветхая подшивка переплетенной в давнее время «Испано-американской иллюстрации»

осязаемые улики твоей бессонной ночи

и детального исследования твоего недавнего прошлого
и семейных преданий гяготевших над твоим далеким детством
ты отогнал сон и тебя осеиила головокружительная ясность озарения
лечь сейчас отдыхать восстанавливать силы значит забыть то что так нелегко ты добыл за короткие часы вырванные у сна
движимый побуждением которое пересиливает все ты встаешь тебе надо туда на холм где покоится профессор Айюсо
Долорес спит
спит весь мир
ты выходишь в сад
садишься за руль
и опережая одурелые потоки машин мчащихся по стране из конца в конец
поворачиваешь на дорогу в Барселону

Глава IX

В подзорную трубу ты мог разглядеть зеленые поля Прата
клочок моря помутневшего у берегов от ила принесенного недавним речным паводком
атакуемый прибоем одинокий маяк в конце нового еще не достроенного волнолома ограждающего открытый порт
нефтяные цистерны «Кампсы»
кипарисы и ниши Юго-Западного кладбища
угольные склады в районе Моррот
развернувшуюся картинным строем флотилию парусников
стаи чаек над устьями городских клоак
башню маяка врезанную в скалистый обрыв прибрежной горы
паровозы и товарные составы на железнодорожных путях суда ожидающие на рейде лоцмана чтобы войти в порт и приступить к разгрузке
потом снова нефтяные цистерны современные складские помещения платформы под навесами угольные склады строящуюся башню гигантского элеватора мостовой пролет дороги ведущей на волнорез американский военный катер прогулочный пароходик набитый туристами устричные питомники подъемные краны суда серые черные белые
внутренние бассейны причалы составы с углем разгружаемые у складов
открытые площадки башенные краны морской вокзал и снова краны навесы суда
внутренние дворы крепости ее рвы пушки террасы садов Мирамара смешные автокары на улицах площадь Пуэрта-де-ла-Пас а еще дальше обесцвеченную жарким солнцем Барселонету черный дым фабрик Пуэбло-Нуэво хаотический чертеж городских улиц подернутых сияющим маревом августовского зноя горделивую птицу парящую над городом в упоительном сладострастье полета лес заводских труб Сефсь и снова сады
горизонт загороженный смутной стеною гор колокольни и шпили церквей причудливые и угрюмые здания плотные дымы небоскребы могущественных банков рожденных в недрах анонимных обществ вытянутые ввысь подобно шеям жирафов или грозным перископам подводных лодок
башни собора Святого семейства купола замызганные громады многоэтажных блоков город разросшийся до размеров исполинского улья море домов квартирок клетушек каморок ячеек облысевшие

холмы дымку туманной дали зловещий Тибидабо с его базиликой и площадками для обозрения города

кварталы богачей размытые очертания гор темный дым заводы арену для боя быков территорию Торгово-промышленной ярмарки гноящиеся глаза домов парки кипарисы груды мусора на месте прежних лачуг бульдозеры бригады рабочих сады ветшающие башни стадиона состарившийся дворец Всемирной выставки бараки-развалюхи россыпи новых лачужек серебристые уличные фонари бульвары пустыри пригороды снова дым заводы фабрики

Подзорная труба зеленовато-серого цвета длиной около 1,7 м покоилась на неподвижной металлической подставке и была снабжена градуированным поворотным кругом управление которым осуществлялось посредством ножной педали расположенной на высоте 20 см от земли и не требовало значительной физической силы так что трубой совершенно свободно могли пользоваться даже тщедушные уроженцы испанских нагорий

требовалось лишь пунктуально следовать инструкции помещенной по сторонам справа и слева

1 ПЕСЕТА
ОПУСТИТЕ МОНЕТУ
INTRODUISEZ LA MONNAIE
INTRODUCE THE COIN
GELDSTÜCK EINWERFEN

НАЖМИТЕ КНОПКУ ДО ОТКАЗА
POUSSEZ LE BOUTON A FOND
PUSH BUTTON COMPLETELY DOWN
KNOPF VOLLSTÄNDIG EINDRÜCKEN

после чего приблизив глаза к окулярам можно было в свое удовольствие одну за другой изучать детали богатой и разнообразной панорамы города о котором четырехъязычный путеводитель щедро раздаваемый туристам перед посадкой в автокары повествовал следующее

Барселона (координаты: 42° 21′ с ш. 2° 9′ в.д.) лежит на участке равнины, орошаемой реками Бесóс и Льобрегáт и полого спускающейся от подножия гор к древнему Маре ностру[1]. *Амфитеатр горных кряжей ограждает равнину от проникновения северных ветров, что обусловливает исключительную мягкость и ровность местного климата. В самые жаркие месяцы температура в нашем городе не превышает 30°, в самые холодные не падает ниже 0°. На протяжении последних пяти лет среднегодовая температура составляла неизменно 16,12°, что является поистине идеальным температурным режимом. В тот же период атмосферное давление колебалось в пределах 769,5—730 мм, а влажность — быть может, наиболее показательный фактор нашего климата — ни разу не превысила 70%...*

Таков наш город. Ему не чужды недостатки, свойственные всем крупным городам мира. Не избавился он пока и от пороков, порожденных характером его обитателей. И однако это город, который трудится, не покладая рук, живет и веселится под голубым, почти всегда безоблачным небом и делает все возможное, чтобы гости увидели его таким, как триста лет назад увидел его бессмертный Дон-Кихот.

Ты попытался представить себе Рыцаря Печального Образа и то как бы он себя чувствовал доведись ему в душное августовское утро

[1] Маре ностру — так испанцы в римскую эпоху именовали Средиземное море.

1963 года жариться на солнцепеке в своем шлеме в доспехах и с копьем в руке среди всех этих гуннов готов свевов вандалов аланов с их черными очками соломенными шляпами шортами фляжками стекляшками фотоаппаратами босоножками сандалиями деревенскими альпаргатами флажками нейлоновыми блузками тирольскими шляпами рубашками в пестрых картинках среди всех этих варварских орд озиравших под бдительным оком гидов и шоферов панораму города и жаждавших хотя бы на минуту прильнуть глазами к подзорной трубе

на чей же город они глазели? на твой?

туристское стадо исчезло вместе со своим гидом а ты следуя предписаниям выгравированным по обеим сторонам подзорной трубы опустил еще одну монету в щель нажал кнопку до отказа

и смог детально рассмотреть

мавзолеи и надгробные памятники кварталов Педральбес Сарриа Бонанова они походили на богатые виллы и загородные дачи

аляповатые пантеоны Гауди и некрополи эпохи модерн так плохо вписавшиеся в прозу бывших городских окраин

огромные блоки погребальных ниш современной Барселоны с ни на минуту не затихающим движением похоронных процессий и живых мертвецов

могильные холмики гнезда ячейки гигантского кладбищенского улья бедных кварталов

хибарки халупы лачуги обреченные подобно своим нищим обитателям неизбежно сгнить в общей могиле

кладбище было вне города но и твой родной город был кладбищем

ты оторвался от подзорной трубы

пелена знойного марева приглушала яркость рассеянного солнечного света смешивалась с дымами заводских труб с угаром тысяч и тысяч кухонных плит с выхлопными газами которые неслышно извергают автомашины с дыханием скученных на тесной площадке полутора миллионов человеческих существ которые в это душное летнее утро работали пили ели шагали по улицам предавались любви и по совести сказать не имели понятия

говорил ты себе

была или не была их жизнь

скоротечным невнятным блеклым бессмысленным сном как утверждали ваши великие поэты

Неспешно ты продолжал свой путь

бомбарды кулеврины лафеты орудийные стволы

некогда в отдаленные забытые времена они бдительно охраняли спокойную жизнь испанцев принадлежавших к твоей к избранной касте

теперь их взяли под обстрел доморощенные фотографы

и они стали всего-навсего фоном для групповых фотографий для сценок семейного счастья он и она в обнимку сплетенные руки многозначительные взгляды улыбки

в самой крепости откуда открывается вид на город автомобильная стоянка была забита машинами с иностранными номерами а так как машины все подъезжали и подъезжали новоприбывшим приходилось огибать грозные стены крепости пересекать уже в обратном направлении мост и отыскивать свободное местечко где-нибудь снаружи на стоянке автобусов

ты поднялся по лестнице на верхние террасы крепости здесь было голо и пусто

по углам торчали брошенные будки часовых казалось какой-то

гигант убирая с доски шахматы по рассеянности забыл смахнуть в ящик четыре туры

с тех пор как крепость перестала служить военно-каторжной тюрьмой ее камни изъеденные эрозией ее брусчатка ее покинутые наблюдательные вышки доживали свой век в бессильном и тоскливом покое

толпа туристов в соломенных шляпах и темных очках растекалась щелкая фотоаппаратами по залитой солнцем пустынности замка а ты опустился в углу террасы на парапет и стал следить за полетом птиц всегда поражавшим тебя своей невероятностью ты смотрел на раскаленный жаром двор крепости на эту несокрушимую гнетущую массу камня на выгоревшее от зноя голубое небо с его фанатическим солнцем готовым сжечь в своем рвении все что попадется ему на глаза

ослепительный свет заброшенность опустелость безмолвие смерть

гладко отшлифованный камень предательски маскировал границы тюрьмы мягко скрадывая вековую функцию древнего замка

все что могло бы о ней напомнить было тщательно удалено

приветливо глядели помолодевшие фасады чистые как совесть облегченная всепрощением и забывчивостью Истории

отраженные камнем солнечные лучи резали глаза и ты прикрыл веки

И однако

вот на этих самых раскаленных солнцем камнях под бесконечно высоким небом где проносятся в невероятном своем полете птицы при вот таком же безудержном свете дня

вооруженные люди

на протяжении целых двадцати пяти лет превозносимых как «Мирное двадцатипятилетие» восхваляемое и признанное ныне всеми беспристрастными лицами

истязали своих беззащитных соотечественников избивали их дубинками стеками кнутами прикладами ремнями топтали сапогами расстреливали

только за то что они с оружием в руках встали на защиту своего законного правительства сдержали клятву верности республике провозгласили право людей на справедливость и достойную жизнь верили в неотъемлемость свободы личности и это слово СВОБОДА писали на стенах оградах тротуарах зданиях

узники крепостных казематов сотни и тысячи раз пересчитали в этом дворе колонны аркад знали точно сколько плиток брусчатки у них под ногами измерили мысленно каждый сантиметр стен каменного мешка в который были заключены

играли жалким тряпичным мячом глядели украдкой в безмерное синее небо следили за царственным свободным полетом птиц

бились головой о стены

харкали кровью

бегали по команде пока не перехватывало дыхание прислушивались к тишине готовые вскочить по первому сигналу рожка стояли в очереди перед грязным котлом с похлебкой возвращались строем после мессы оборванные в комбинезонах давно превратившихся в отрепья

спали в темных сырых камерах дрожали в зимние ночи от холода мечтали о недоступных прекрасных женщинах дожидались мрачного грохота сапог возвещающего о смене ночного караула

становились на колени при возношении святых даров в час воскресной мессы мастурбировали на своих дырявых свалявшихся вонючих матрасах вскрывали себе вены в приступе внезапного отчаяния или в припадке безумия

выслушивали смертные приговоры
смотрели в последний раз на небо на облака на птиц на все что так или иначе представляло для них жизнь
проводили горячечную полубессонную ночь накануне казни писали последнее письмо отцу матери жене невесте детям съедали последнюю в жизни пищу тарелку чечевицы пили жадно последнюю чашку кофе и шли к стене охраняемые плотно зажатые со всех сторон поддерживаемые подталкиваемые своими палачами
смотрели бестрепетно в дула винтовок плакали умоляя разрешить им самим подать солдатам команду «огонь» молили о пощаде примирялись с богом отвергали услуги священника кричали смеялись выли мочились от страха
падали подкошенные пулями
испускали последний вздох

Ты снова открыл глаза не смея прекословить всевластию летнего солнца
ты вдруг потерял уверенность что недавнее прошлое твоей родины не выдумка
а что если тебе
вернувшемуся в Испанию всего лишь месяц назад
и лишь двое суток назад принимавшему участие в похоронах профессора Айюсо
поглощенному сейчас исследованием своего внутреннего мира
что если в этот удушающе знойный августовский день 1963 года тебе как это нередко случается в наших широтах
все это просто-напросто привиделось
явилось как обман зрения
дурной сон
пьяная галлюцинация
как самый обыкновенный ничем не примечательный мираж

В таком случае вперед
ты спустился во двор прошел мимо дверей казематов превращенных ныне в лавки для продажи сувениров и обходя новые группы туристов только что привезенных автобусами проник в коридор по которому приговоренных к смерти уводили на расстрел очутился вновь под открытым небом проделал путь который для них был последним
траншея метров пяти в ширину перешла в туннель и вывела тебя в крепостной ров о котором ты немало наслышался
ворота были широко открыты и посетитель еще не войдя внутрь мог видеть значительную часть сада ухоженные газоны зеленые бордюры кустарника кипарисы плющ
по дорожкам прогуливались иностранные туристы и твои соотечественники
останавливались полюбоваться на клумбы с бегониями фотографировали каменные стены ставшие невольными соучастницами мстительных расправ
бригады рабочих тщательно заделали в камне выщербленные пулями ямки и теперь все вокруг было открыто и доступно дотошному интересу любопытствующих все так и кричало о своей безгрешности дышало невинностью опровергало россказни и выдумки завистников и недоброжелателей отвергало перед лицом грядущих поколений испанцев малейшее подозрение в своей причастности к совершенным злодеяниям

Мемориальной доски не было и однако именно здесь в Монтжуиче прожил последние свои минуты президент упраздненного Генералидада Каталонии

выданный испанским властям немецкими фашистами разгромившими Францию он политический деятель которого некогда приветствовали на улицах Барселоны ликующие толпы спустился в крепостной ров Монтжуича под конвоем солдатских штыков

с тоской и болью обратился он мысленно к любимому городу

вдохнул полной грудью чистый лесной воздух

взглянул в последний раз на ясное небо

ты сунул садовнику ассигнацию в двадцать дуро и объяснений не понадобилось

видимо разгадать твои мысли не стоило труда

он провел тебя налево и показал пальцем на стену не скрытую в этом месте зеленью

и понизив голос сказал

Компаниса

расстреляли

здесь

Направо окруженный железной оградой находился памятник павшим за веру и отечество

место располагающее к безмолвию самоуглублению сосредоточенности навевающее умиротворенность

строгой формы алтарь бронзовая статуя деревенское простодушие окружающей зелени среди которой в свое удовольствие нежатся на солнышке ящерицы

гид рассказывал туристам о событиях в Барселоне в период между июлем 1936 и январем 1939 годов

и ты подобно мосье Дюпону мистеру Брауну герру Шмидту и остальным десяти с половиною миллионам гостей которые еще посетят в этом году Испанию подошел послушать что он говорит

ici messieurs dames c'est l'endroit où fûrent fusillés par les Rouges pendant notre guerre de Libération de nombreux hauts officiers de l'armée des prêtres des personnalités relevantes de la vie sociale de notre ville.[1]

лица иностранцев выражали глубочайшее внимание и ты пошел прочь

тебя затошнило

prends-moi une photo

regarde c'est le Monument aux Morts

ladies and gentlemen

mon Dieu quelle chaleur.[2]

неужели возможно

спрашивал ты себя

чтобы все завершилось вот этим

чтобы беззаконие навязанное силой оружия

стало для вас окончательной единственно достойной почитания правдой

---

[1] Дамы и господа вот здесь на этом месте в годы нашей Освободительной войны были расстреляны красными многие высшие офицеры армии священнослужители лица игравшие видную роль в общественной жизни нашего города *(франц.)*.

[2] Сними-ка это *(франц.)*.
Посмотри это Памятник павшим *(франц.)*.
Леди и джентльмены *(англ.)*.
Боже, какая жарища *(франц.)*.

впрочем для тех кто с ловкостью фокусников жонглирует идеей бога и представлением о его бытии не составит особого труда убедить людей в том что

не было того что было
tu te rapelles l'année dernière
look here my darling
c'est extraordinaire l'impression de paix
de quelle guerre s'agit-il[1]
ты возвратился в Испанию

проведя десять лет за границей и потратив их на бесплодные мечтания на беспочвенные планы прожекты утопии фантазии

и теперь подобно Хромому бесу ты высматривал сверху с самой высокой точки пороки и беды твоего города

усталый
больной
бессильный
стоящий на грани самоубийства
чуткий к неровным ударам своего сердца
предвещавшим
(как полгода назад на бульваре Ришара Ленуара)
предрекавшим
неизбежность скорой развязки
сердце у тебя изболелось
о родине и народе
погибнет Испания караул тонем

а тем временем ты смотрел на море на волнорез на Шестой американский флот на угольные склады на нефтяные цистерны на парусники на чаек на клоаки

отойди от своей касты разрыв с нею честь для тебя
развивай в себе все что отличает тебя от людей твоего круга
дорожи всем что их возмущает в тебе
ты их отрицание полное и бескомпромиссное
ты думаешь об истории твоей страны
она лишь по временам совпадала с историей твоей жизни
о ее прошлом которое было всего только
прошлым

ибо с самого начала все шло к тому чтобы из него упаси бог не пророс светлый росток настоящего

о деяниях и подвигах твоего народа
ибо как-то надо же назвать то что совершали его герои

хотя совершенное ими было бесплодно как бесплодна праздная и скупая земля их родных степей и служило лишь доказательством бессмысленности вековой битвы с внутренними демонами и призраками

доказательством безнадежности восстания братьев на братьев

ибо ни смерть ни время не щадили тех кто в этой братоубийственной войне воплощал свет и разум

the Spanish Civil war
là-bas vers la droite
assassinés par les Rouges[2]

Барселона изведала все бедствия выпавшие на долю христианских

---

[1] Помнишь в прошлом году *(франц.)*.
Посмотри сюда дорогой *(англ.)*.
Такое чувство умиротворенности поразительно *(франц.)*.
О какой войне идет речь *(франц.)*

[2] Гражданская война в Испании *(англ.)*.
Вон там направо *(франц.)*.
Убиты красными *(франц.)*.

земель в период арабского владычества но в IX веке франки предводительствуемые Людовиком Благочестивым отвоевали ее у мавров это произошло в 801 году

дух Очу́н прости меня

плоть Чанго́ спаси меня

крови Иемейи опьяните меня

зеленая равнина Прата одинокий маяк открытый ярости прибоя новый волнолом открытого порта

тебя раздирает крик

все было ни к чему

о родина

и то что я родился среди твоих детей и глубокая любовь к тебе которую

хотя ты и не просила об этом

я столько лет упрямо берег в своем сердце

пока еще есть время расстанемся как добрые друзья

нас уже ничто больше не связывает только твой прекрасный язык ныне осквернённый софизмами ханжескими околичностями мнимыми истинами ложью

фразами пустыми как скорлупа сгнившего ореха

запутанными силлогизмами

сюсюканьем

лучше жить в чужой стране среди людей говорящих на чужом для тебя языке чем среди земляков которые каждодневно проституируют твой родной язык

склоняют голову перед силой

и говорят

плетью обуха не перешибешь

хотя дело идет о бесчеловечном общественном порядке который отказывает им в праве на существование высасывает из них единственное и невосстановимое их достояние их жизненные силы

современные платформы с навесами, угольные склады автобус битком набитый туристами устричные питомники суда серые черные белые портовые причалы подъемные краны

после изгнания завоевателей Барселона выступает уже в роли столицы независимого государства и то что в далекие века именовалось Маркой становится Каталонией

ты спрашиваешь себя

быть может твое нынешнее отчаяние для них источник торжества

но можно ли назвать победителем того кто засеяв поле пожнет плевелы разрушение и смерть

regarde mon chéri

do you really like that

là-bas c'est Majorque[1]

Начиная со времени царствования Рамона Беренгера I она играет все более значительную роль расширяя свои владения за счет территорий отвоеванных у мавров и подчиняя себе земли ныне принадлежащие Франции

ты слышишь хор Голосов терзающих тебя подобно зловещим ведьмам предвестницам трагедии Макбета

поразмысли как следует еще есть время

мы тверды и несокрушимы и как бы ты ни старался твоих сил не хватит даже на то чтобы нас поколебать

---

[1] Милый посмотри *(франц.)*.
Неужели вам это нравится *(англ.)*.
Там Майорка *(франц.)*.

мы каменная гора и каменной горой пребудем
не упорствуй больше уходи прочь
обрати свои взоры к иным краям отвернись от нас
забудь про нас и мы забудем про тебя
ты тщетно был страстотерпцем
исправь же свое заблуждение

ВЫХОД
SORTIE
EXIT
AUSGANG

tout le monde est parti
come here my darling[1]

башенные краны морской вокзал снова краны снова навесы снова суда

царствование Хайме I Завоевателя открывает период экспансионистской политики приведшей к овладению рядом земель западного Средиземноморья

могучая изобильная плоть Чанго́ укрепи меня
матерь Иемейя́ восприемли меня
в лоне своем укрой меня
не дай чтобы меня отторгли от тебя

Пуэрта-де-ла-Пас Барселонета черный дым фабричных труб
но нет
их победа еще не победа

и если судьба твоя так же горька как судьба других людей если ты вынужден
покоряться ее произволу

и еще далеко до часа когда жизнь твоей родины и народа возвратится в нормальное русло

попытайся хотя бы запечатлеть свое время не предавай забвению того чему оно было свидетелем
не молчи

хаотический чертеж городских улиц заводские трубы колокольни и шпили церквей парки сады
on va rater le car
tu te rends compte[2]

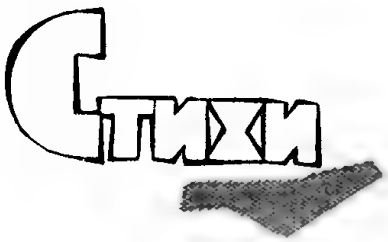
быть может много лет спустя кто-нибудь поймет
ча какой порядок вещей ты посягал и в чем заключалось твое преступление

ОПУСТИТЕ МОНЕТУ
INTRODUISEZ LA MONNAIE
INTRODUCE THE COIN
GELDSTÜCK EINWERFEN

---

[1] Все уже ушли *(франц.)*.
Идем сюда милый *(англ.)*.
[2] Мы опоздаем на автобус.
Ты слышишь мы опаздываем *(франц.)*.

ИМРЕ ЧАНАДИ



Авторизованный перевод с венгерского
ЕВГЕНИЯ ВИНОКУРОВА

Леса зверей и поднебесье птиц

Мне перешло — увы! — за тридцать пять,
Мне тридцать шесть, признаюсь, стукнет скоро.
Я вниз смотрю: там, где лесная падь,
Моих воспоминаний лает свора.
Но столько дел! А сил уж нет почти
Взглянуть туда, где лай стоит в долине.
Я им рукой махну! На полпути
От цели я! Я нынче на вершине...
На полпути? Да. Я на высоте.
Но это ж холм! А вспомни-ка начало!
Да где ж хребты заоблачные те,
Что раньше честолюбье обещало?
И нет — не деньги! И не ордена.
Не слава даже. Ждал ее? Едва ли...
Я бы хотел, чтобы на щебне дна
Мои в потоке ноги устояли...
Я устою — меня, поток, тряси
В водовороте средь камней и ила!
Мне только бы не потонуть в грязи,
И только б с ног меня река не сбила.

Леса зверей и поднебесье птиц,
На вас когда-то полагались предки!
Их к вам доверье было без границ,
Молились вам пред смертью — напоследки.

Леса зверей и поднебесье птиц,
Я заколдован той грядущей датой —
Захватывает дух от верениц
Ракет, что ввысь запустит век двадцатый.

Леса зверей и поднебесье птиц,
Средь изотопов, в небывалом гаме,
Среди бетона и стекла столиц
Я бесконечно бредить буду вами!

Леса зверей и поднебесье птиц,
Пусть надо мной висят деревьев ветки...
А смерть придет — паду пред вами ниц,
Как падали когда-то наши предки!

Петер Борнемисса

Когда я еще был юношей, обучающимся в Вене... меня запугивали разными способами, чтоб не проповедовал... С одной стороны, я боялся, с другой — сердце горело, и, быть может, не раскрой я рта (словеса) выперли бы у меня по бокам.

(Из книги проповедника-протестанта Петера Борнемиссы, изданной в 1578 г.)

Над страной плыла зола.
Смерчи пыли!
Трупы — скорчившись — с кола
В небо выли.
Смерть и ужас! Люди зла
Были в силе...

Дьявол на вино налег
На повети.
Спаривались, влезши в лог,
С визгом черти.
Всех нас задавил налог —
Горше смерти!

Наша собственная знать
В морду била.
Немец-вор и турок-тать —
Сила, сила!
Голоса не подавать
Надо было!

Но заставь молчать — а ну! —
В самом деле!
Слово жжет — как огнь — десну.
Ломит в теле...
Хоть боясь, но сатану
Одолели.

Про древнюю церковь

Она была амбаром, но в тот давний год
Ее собором величал народ...
Под камышовой крышею молебен
Для бедных душ был сладок и целебен.
В круг собирался небольшой приход.

И крепостной, кого теснил оброк,
И раб сюда вступали на порог...
Стекаясь дружно тайными путями,
Они входили, шаркая лаптями,
И слушали, что говорит пророк.

Тщедушный телом каторжник с галер
Слов не жалел, как не жалеют стрел...
В лохмотьях весь глаголил он с амвона.
То речь его курилась благовонно,
То голос в гневе, как поток, гремел.

Прикочевало с запада и тут
Нашло ученье Кальвина приют.
Но церковку пожары окружали!
Татарские призывно кони ржали.
В оврагах волк петлял, косматый и лют.

И дружно проклинала босота
Аббатов, тех, что с пеною у рта
Кричали ввысь, тонзурами блистая.
Будь проклята кумирня золотая
Вся в идолах от пола до креста!

Четыре голых мазаных стены...
Ты лодочка — одна — среди войны.
Ты островочек малый в океане.
Ты вечная мишень для всякой дряни.
Казалось, дни церквушки сочтены!

В ее лице чтил родину народ.
Она к себе звала своих сирот.
Она была страной — той, что и ныне! —
Когда страны и не было в помине.
Она была — отвага и оплот!

Тебя язычник рвал тогда во рву,
Как иудей, ты грезил наяву,
Народ, ты встал — себя нашел,— и в рвенье
Цитировал еретика ученье,
И не склонял колена и главу.

Календарь

Месяц богородицы

Мы в новый год мечтаем: новый год!
Плох ли? Хорош? Поймем, когда пройдет...
Ходить нельзя босым, не лето, чай!
Зайдет погреться дворник, дай на чай.

Первый месяц поста

Танцуют мамбо с пылом — топ да топ —
И похотливый озорник и поп.
В домах все окна до ночи горят.
А постной рыбки купишь — вот и рад!

Второй месяц поста

На вербе пух уж нежится, вися...
Вон парень с девушкой — постель в фиалках вся...
Сел аист на трубу. И почки все вот-вот
Вдруг лопнут враз... Пошла картошка в ход!

Месяц св. Георгия

Метель. Из почки показался лист!
Листва и снег?! Апрель — сюрреалист?!
Автомобиль уже привез навоз.
Вон брюки на антенне?! Кто вознес?

Месяц Троицы

Май выгоняет на луга стада.
Хлеба встают и ждут: а дождь когда?
Окно. И над подушкою твоей
Мотор грохочет. Нет, не соловей!

Месяц св. Ивана

Вон маки в поле зноем залитом...
Дымит асфальт. Орет торговец льдом.
Мед липовый — не стронций — нынче мил,
Кружит пчела. Жужжит! Борись за мир.

Месяц св. Якова

Июль комбайном режет урожай.
Торс в Балатон, зажмурясь, погружай.
Вот — молотилка! Почта за углом.
Открытки задним помечай числом!

Месяц св. Девы

Вот август. Город накаляет он.
Дай вентилятор! Как огонь бетон!
Пой в небе с вертолета, на весу
Иль в космос мчись... иль парься здесь, внизу.

Месяц св. Михаила

Сентябрь пришел. Сему и аист рад.
Орехи крепнут. Крепнет виноград.
— А будущность?! Гулять?! Не дам мяча!
За книгу сядь! — кричи, сынка уча.

Месяц всех святых

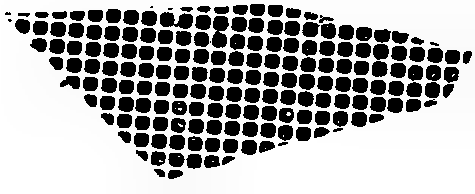
Октябрь. Уже — вино! То праздник наш!
Клокочет из баранины гуляш.
Сейчас трудиться надо, а не то
Купить не сможешь зимнее пальто!

Месяц св. Андрея

Ноябрь. Дождит над Венгрией над всей.
Летит по небу острый клин гусей.
И призраки на кладбище как встарь.
В путь вышел агитатор — взял фонарь.

Месяц рождества

И рождество. И снова новый год.
И ангел снова! И опять расход.
Галактика летит... И новым днем
Поднимемся. Итак — все вновь начнем!



Рассказы

ТОУРИР БЕРГССОН

Награда

Когда Гудрун, хозяйка хутора в Нупе, жена богача Бьяргмундура, ярким весенним утром позвала старого Бьядни Халлдорссона в хозяйский дом, ему невдомек было, о чем может пойти речь. Давно уже не звала Гудрун его для разговора с глазу на глаз, так давно, что он едва помнил, когда это было в последний раз. Может быть, целый век назад? Да он и сам едва ли мог сейчас понять, как это он, старый скотник Бьядни, когда-то сиживал наедине с этой красивой девушкой и играл с ней — сперва мальчиком, потом юношей и наконец взрослым мужчиной. Или, может быть, это она играла с ним? Что же такое приключилось сейчас? Вряд ли что-нибудь хорошее, в таком возрасте ничего путного ждать не приходится. Едва ли стоило надеяться на хорошее семидесятисемилетнему старику, особенно ему: слишком уж часто испытывал он судьбу по эту сторону могилы. Не исключено, что кое-что может сбыться и по ту сторону, по крайней мере это была его единственная надежда.

Однако пока старый Бьядни держался на ногах еще довольно бодро — целый день работал не покладая рук. То сено надо было разметать в сарае, то навести порядок в хлеву и в конюшне. Он расчесывал конский волос и шерсть, плел веревки и силки. Пережиток древности, потомок каменного века, говорил о нем животновод Хердур, человек бывалый, не только животновод, но и хороший механик. Бьядни же не то чтобы был не в ладах с новыми машинами и прочим прогрессом, ему это просто казалось смешным. И он продолжал заниматься разными древними и полузабытыми ремеслами. Другие давно уже бросили заниматься ими, а для него они были словно рыбы-спутники. Вместе с ним они, вероятно, уйдут в могилу и будут окончательно забыты. А пока что Бьядни был работником у сельского старосты, богатого Бьяргмундура.

— Лет пятьдесят будет этой весной, как я не ходил к хозяевам,— сказал как-то раз той весной Бьядни Хердуру.

— Работа тебя заела,— сказал Хердур.

— Это верно,— сказал Бьядни. Он прижал руку к занывшему бедру.— Нет, не ездить мне уже больше верхом. Я приехал сюда вместе с Гунной, в ту пору мне было двадцать семь, а ей было двадцать, когда она вышла замуж. Как же не помнить такого!

— Еще бы, с тех пор ты уже не расставался с ней,— сказал Хердур и улыбнулся.

Случалось, что Бьядни бывал не в духе. По мнению пожилых

людей, хорошего настроения у него вообще никогда не было. Но порой он становился слишком угрюмым. Тогда он день за днем не произносил ни слова, плохо спал и мрачное выражение не сходило у него с лица. Он едва смотрел на детей, а ведь он любил их, по-своему, конечно. Это были внуки Гудрун и Бьяргмундура. Правда, когда Бьядни бывал в таком настроении, он все же бормотал несколько слов, особенно в присутствии хозяйки. Старуха делала вид, будто не слышит: ей надоело обращать внимание на причуды старого работника. В прежние времена она часто звала его к себе в дом, когда на него накатывало, даже если другие и не замечали его настроения. От нее он уходил всегда успокоенный и тихий. Так он мало-помалу и превратился в молчаливого труженика, работавшего зимой и летом не покладая рук.

Шли годы, и теперь, когда на старика накатывало, дочь Гудрун, молодая Халлвейг, старалась успокоить и задобрить его кофе и ласковым словом. Отойдя после приступа угрюмой замкнутости, он, случалось, говорил ей:

— Ты, Халлвейг,— вылитая мать, а вот на отца ты, голубушка, совсем не похожа.

Халлвейг смеялась.

— Ты так думаешь, Бьядни?

— Да уж точно,— говорил Бьядни.

На этот раз сама Гудрун позвала старого Бьядни в хозяйские комнаты в старом доме. В Нупе теперь было два больших жилых дома, больших и солидных, потому что дети стариков хозяев жили тут же, да и старики вели небольшое хозяйство, хотя почти всю землю уступили молодому поколению.

— Ну, что тебе нужно? — спросил Бьядни, нежно глядя слезящимися глазами на хозяйку. Он был не в духе и не скрывал этого.

— Знаешь ли ты, Бьядни, что этой весной исполняется пятьдесят лет с тех пор, как ты приехал сюда?

— И ты тоже,— вскипел он.— Конечно, как же не помнить, милая Гудрун! Но откуда ты-то помнишь такое? Ага, я ведь на днях сказал об этом Хердуру, а он добрый малый и, конечно, рассказал вам.

Гудрун взглянула на друга своей молодости и улыбнулась, правда, вяло и не очень радостно.

— Зачем мне перед тобой лицемерить, Бьядни...— начала она, но он прервал ее:

— Ты все помнила о другом, Гунна: о том, что тебе с Бьяргмундуром пора праздновать так называемую золотую свадьбу. Вот почему ты не забыла об этом!

— Нечего обижаться, дружок,— сказала женщина ласково, белой и мягкой рукой проведя по заросшей щеке старика.

— Вот почему ты и не забыла об этом,— повторил он.— Да я и не обижаюсь. Плохо то, что живется мне неважно, здоровье сдает и за душой ничего нет.

Гудрун подошла к шкафу, открыла его, вынула бутылку и большую рюмку. Наполнила ее до краев и протянула Бьядни.

— Даже не знаю, хочу ли я,— сказал он.— Что-то кроется за этой приветливостью. Я ведь тебя знаю. Всегда у тебя за этой твоей добротой свое на уме.

— Что за чушь ты несешь, дружище,— сказала Гудрун,— точно я не доказывала много раз, что отношусь к тебе лучше, чем ты заслуживаешь!

— Да, это верно,— сказал старик, взял рюмку и опрокинул ее.— Ого, что это за чудо-зелье? Можно подумать, что оно прямо из Индии.

Лучшего вина никогда не пробовал. Ну, так что же тебе нужно, давай говори, Гунна!

Лицо ее прояснилось.

— Присядь-ка,— сказала она, и они сели по обе стороны маленького столика. Она налила еще вина, но на этот раз только полрюмки, и поставила бутылку на стол.— Как ты, может быть, слышал, Бьядни, Исландское экономическое общество сейчас присуждает награды работникам, которые долго и добросовестно служили у одних и тех же хозяев. Преподносят какой-нибудь ценный подарок, а также небольшую сумму денег. Теперь пришла твоя очередь, и сегодня мы ждем пастора и, может быть, молодого начальника, сейчас он здесь проездом и наверняка завернет к нам. Это будет очень торжественная церемония, тебя будут благодарить и чествовать.

Старик Бьядни смотрел на Гудрун, пока она говорила.

— Что ж, черт побери,— произнес он и протянул руку к рюмке,— ладно уж, пусть будет по-вашему.— И выпил.— Дай мне еще немного!

— Угомонись,— сказала она.— Мы их ждем с минуты на минуту, а торжественная церемония состоится после обеда.

— И выпало же мне на долю дожить до такого,— сказал Бьядни,— недаром мне приснился сегодня хороший сон. Да, Гудрун! Ведь у меня нет костюма. А, впрочем, черт с ним, буду я об этом беспокоиться!

— Я подумала и о костюме,— сказала Гудрун,— вот тебе костюм, правда, не совсем новый, но хороший. Это темный костюм Бьяргмундура, у вас один и тот же размер. Ты же знаешь.

— Как не знать,— сказал Бьядни,— за всю свою жизнь я и не носил другой одежды, кроме как с его плеча. А материя хорошая.— Он пощупал костюм.— Нет, этот слишком хороший, лучше мне надеть серый костюм Бьяргмундура.

— Нет, надевай этот,— сказала старая женщина,— он теперь будет твой. Он хороший, да и мало ношен.

— А Бьяргмундуру не жалко его?

— Можешь об этом не думать, ты ведь знаешь, что Бьяргмундур — хочет не хочет — всегда соглашается с тем, что я делаю.

— Конечно, конечно, позволь мне теперь поцеловать тебя за костюм, Гунна, и за вино, и за все.— Он подошел к ней и поцеловал ее.

— Какой ты стал бородатый и старый,— сказала она.

— Да, много лет я уже не целовал тебя, Гудрун. Мне тогда не нужно было прихорашиваться для этого.— Он попробовал засмеяться, но смеха не получилось, а только словно что-то забулькало у него в горле, точно он поперхнулся.— Дай-ка мне еще полрюмки, это зелье славно греет старую кровь.

— Смотри, не будет ли слишком,— сказала она мягко.

— Разве ты видела меня когда-нибудь пьяным? — спросил старик Бьядни.— Этого со мной не бывало.

— Верно,— сказала она.— Допивай все, что осталось в бутылке, глядишь, и прибавится бодрости.

Настал великий час. За большим столом в комнате сидел молодой начальник, а по правую и по левую руку от него — пастор и сельский староста Бьяргмундур. На концах стола сидели Гудрун и ее дочь. Кроме них было еще много разных людей. На стуле посередине комнаты восседал Бьядни Халлдорссон, раскрасневшийся и очень торжественный, в темном костюме, побритый, причесанный, молодцеватый и бодрый с виду. Он то и дело поглядывал на Бьяргмундура, причем весьма недружелюбно.

Церемония началась. Поднялся пастор и произнес речь. Он говорил о верном и трудолюбивом работнике в винограднике божьем, который будет вознагражден на склоне лет за свои труды. Он произнес много красивых слов о старике Бьядни, правдивых и фальшивых, как и полагается в подобных случаях.

Затем встал молодой начальник. Он говорил о том, с каким большим удовольствием он преподносит трудолюбивому и преданному труженику Бьядни Халлдорссону ценный подарок от Исландского экономического общества, а также денежную премию в размере ста крон. Затем он вынул из коричневого футляра, лежавшего на столе, кнут с рукояткой, отделанной серебром, на которой было выгравировано имя Бьядни и срок его работы у хозяев.

— Пожалуйста, дорогой Бьядни, примите подарок!

Бьядни медленно поднялся и подошел к столу. Он взял конверт с деньгами и сунул его в карман, предварительно заглянув внутрь и обнаружив там две пятидесятикроновые ассигнации.

— Может, лучше мне взять и футляр, чтобы положить в него эту штуку,— сказал он.

— Да, разумеется,— сказал молодой начальник, улыбаясь.

Старик Бьядни с усмешкой рассматривал кнут. Это был красивый, большой кнут, с длинным мягким кожаным кнутовищем.

— И не знаю даже, что мне делать с этим кнутом,— сказал он словно про себя, хотя и громко.— Верхом я больше не езжу, да и лошади нет у меня, вообще лошадей почти не осталось. Одни машины кругом, а забарахлит у них мотор, так им и кнут нипочем.

Молодой начальник засмеялся, и остальные присоединились к нему.

— Остроумно, старина,— сказал он,— видите ли, Бьядни, кнут — это своего рода знак почета, все равно что рыцарский крест или титул.

— Вот именно,— подтвердил Бьядни, но тут поднялся Бьяргмундур и начал речь:

— Разреши, друг Бьядни, поблагодарить тебя за долгую и хорошую работу...

Бьядни подошел поближе и стоял прямо перед хозяином. Он не совсем твердо держался на ногах, но, учитывая его возраст, это казалось вполне естественным, да и взволнован он был.

Но что это вдруг взбрело на ум старику? В правой руке он держал кнут, знак признательности за долгую и хорошую работу. «Все равно что рыцарский крест или титул»,— сказал молодой начальник. И вот против вечного угнетения, против порабощения, против сознания своего ничтожества и того, что мечты о счастье отняты у него хозяином и втоптаны в грязь,— против всего этого восстал свободный человек, уравненный в правах с рыцарем, богачом Бьяргмундуром Регнвелдссоном, обладатель кнута Бьядни Халлдорссон!

С быстротою молнии взмахнул он кнутом и хлестнул им сельского старосту, своего хозяина.

— Получай,— выкрикнул он,— вот тебе!

Сельский староста Бьяргмундур едва успел увернуться, так что удар пришелся ему по плечу.

Все вскочили.

— Раз уж нет под рукой коняги, так огрею хоть эту клячу! — крикнул Бьядни и засмеялся диким смехом. Мало кто слышал его смех раньше. Но смех этот звучал недолго, ибо кто-то зажал ему рот, решительно и бесцеремонно.

Затем его вывели.

А кнут так и остался лежать посреди комнаты. И никто не поднял его.

Перевод с исландского С. ХАЛИПОВА

Я коллекционер, как вам, вероятно, известно

— Уберите собаку.

— Зачем же?

— Уберите собаку, говорю вам. Я ни слова не скажу, пока вы не уберете собаку.

— У собаки есть имя — Грим, и она существо любопытное.

Человечек с челкой отвел собаку в сторону. Это была крупная овчарка с крутыми боками и с вечно раскрытой пастью. Человечек с челкой опустился на колени перед собакой.

— Гримчик, бедный Гримчик, тебе даже не дают поразвлечься,— приговаривал он, сюсюкая.— Му-ум, поросеночек, Гримчик. Му-ум, у-у... свирепый ты зверь!

Собака осталась в углу, куда отвел ее хозяин, сам же он вернулся на прежнее место. На его раскрасневшемся лице еще сохранилось выражение умиления. Человек, которому Грим не нравился, почувствовал, как в нем нарастает беспокойство. Собака походила в своем углу и улеглась. Она не спускала глаз с людей. Пасть ее была по-прежнему разинута.

— Такая собачка — и не нравится, подумать только,— сказал ласковый человечек задумчиво.— А какой она бывает хорошей, когда захочет. Злые люди говорят, что внешность у нее нерасполагающая. Но разве это так? Вы тоже считаете, у бедненького Гримми внешность нерасполагающая?

Мужчина не отвечал. Он был высокий, широкоплечий и очень испуганный. Его застывший взгляд не отрывался от бритвы, которую маленький человечек, не переставая лепетать, положил на стол рядом с собой. Собака все время глухо ворчала.

— Так вот, старина,— сказал человечек,— вы большой, вы храбрый, давайте потолкуем, как настоящие друзья. Может быть, мы потом позовем сюда Грима, если только вы не будете возражать. Вполне вероятно, что вы измените свое мнение о нем. Грим — такое чувствительное животное. Он так меня любит. Ну что же вы молчите и взгляд у вас какой-то неприветливый, и руки вы держите за спиной, не потому ли, что они дрожат, а вы не хотите, чтобы я это заметил? Так частенько бывает с теми, кто приходит ко мне, кого я приглашаю сюда. С теми, кто не так мужествен, как вы.

Челка на лбу у человечка была влажной от пота, воротничок грязный. Он все говорил и говорил и беспрестанно улыбался. Над столом висела лампочка без абажура. В этот ночной час в порту царила полнейшая тишина.

Наконец широкоплечий старик сел. Лицо у него было тяжелое, неподвижное, волосы — седые с желтизной, но еще достаточно густые, шея — могучая. Он заметил, что человечек, которого звали Маттиас, внимательно оглядывает его — руки, плечи, шею. Старик говорит, стараясь, чтобы не дрожал голос:

— Ну, Маттиас-коллекционер, чего же вы от меня хотите?

— Но ведь я уже сказал,— промолвил человечек очень мягко и провел рукой по столу.— Я уже сказал это вам, старина. Я хочу в ваших же интересах, чтобы вы подписали кое-какие бумаги, которые обеспечат вам отличное лечение в больнице. Вы устали, старина, вам нужен

отдых и уход. А пока я наилучшим образом позабочусь о вашем маленьком магазине и ваших коллекциях. Ведь я сам, как вы знаете, коллекционер. Я знаю, что у вас есть редкие старинные вещи. Я позабочусь о них, я и Грим, а вы наконец отдохнете в нашей превосходной больнице. Надо только подписать некоторые бумаги, старина. Эх вы, бедняга, испуганный. И Грим тоже очень этого хочет.

— Вы хотите убрать меня с дороги,— сказал старик.

— Какой вы упрямый!

— Вы хотите убрать меня с дороги точно так же, как вы сделали это с другими.

— Другие никогда не бывали так упрямы, как вы. Вы очень упрямый.

— Из этой больницы, о которой вы, Маттиас-коллекционер, говорите, никто не возвращался.

— Ну, некоторые, очевидно, были очень старые. И уж очень больные. Возможно, кое-кто не вернулся. Возможно. На место, Грим! Лежать, мальчик. Мы так хорошо договариваемся обо всем, понимаешь, старый господин и я.

Человечек говорил все так же мягко и терпеливо. На его бледных губах то и дело появлялась улыбка и тут же исчезала, будто он ее стеснялся.

В это время ночи в порту было совсем тихо. Контора Маттиаса-коллекционера, примыкавшая к складу, вмещала только стол, на котором стоял телефон, несколько стульев и полку с канцелярскими папками. Маттиас ногой подтолкнул к собаке искусанный мячик. Собака бросилась к мячику, затащила его в угол и легла с мячиком между лапами.

— Собаку зовут Грим. Вам нравится это имя?

— А почему никто не вернулся из этой вашей больницы?

— Ну, я ведь сказал: некоторые были очень старые. Или, возможно, не такие уж старые, но рано состарившиеся. Бывает ведь по-разному. Должен вам сказать, что Грим — замечательный товарищ.

— Многих вы отправили в эту больницу?

— Ого, старина, это уже дела. А вы ведь сами знаете — вы очень деловой человек,— что дела, так сказать, требуют такта. Нужно уметь проявлять такт. Я бы никогда не достиг того, чем обладаю сейчас, если бы не был тактичен. Культурный человек всегда тактичен. Таким вы были и сами до сих пор. Что же мы будем делать с этими бумажками? Я пекусь обо всех вас и не требую, чтобы вы благодарили меня, но очень ценю, если вы облегчаете мою задачу. Она не всегда легка. Без чувства такта она была бы просто неосуществима. Бумаги у меня здесь.

Он положил бумаги перед стариком.

— Подойди сюда, Грим, и смотри. Сейчас господин соблаговолит подписать наши бумаги.

Собака поднялась, по-прежнему разинув пасть, и с проворством, неожиданным для столь большого животного, в несколько прыжков пересекла комнату.

— Маттиас-коллекционер,— сказал старик, и голос его утратил твердость.— Почему вы меня вызвали сюда?

— Ну, я давно уже заметил, что у вас усталый вид.— Потный человечек снова робко улыбнулся.— И мне казалось, вы понимаете, что я стараюсь для вашего же блага, только о нем и думаю. А потом, мы ведь в некотором роде коллеги. Я тоже коллекционер, как вам, полагаю, известно.

— Я не подпишу.

— Вам нравится моя контора? Здесь скромно, и я страдаю оттого, что нет окон. Иногда, когда я сижу здесь ночью и работаю, мне хочется

петь, ну, пою я, возможно, не особенно красиво, хотя, когда я был молод, говорили, что у меня есть голос. Я даже думал поступить в хор. Представляете? Но когда я пою здесь, даже если это случается в середине дня и кругом полно народа, меня никто никогда не слышит, как бы громко я ни пел. Никто никогда не подпевает мне. Вы, как человек образованный, конечно, понимаете, как тоскливо бывает человеку, который так горячо любил и еще любит хоровое пение. Никто никогда не слышит меня. И ночью тоже. Нет, на место, Грим. Так. Не мешай нам.

Он ласково погладил собаку по спине.

— Этот добрый старый господин подпишет сейчас кое-какие бумаги, и мы не хотим, чтобы нам мешали. Он немного устал, понимаешь, немного устал и немного болен, и поэтому Маттиас помог ему получить место в маленькой больнице, и поэтому Маттиас позаботится обо всех его коллекциях, пока он будет отдыхать, и поэтому Грим должен слушаться и не мешать. Вот так, молодец. Очень хорошо. Скажите, разве он не хороший?

Старик посмотрел на Маттиаса. Плечи его ссутулились, он сгорбился на своем неудобном стуле, резкий свет раздражал глаза, веки у него начали краснеть.

— К сожалению, у меня лампа без абажура,— улыбнулся Маттиас-коллекционер.— У меня вообще-то был абажур, но тогда в помещении царил полумрак, и это накладывало, если можно так сказать, отпечаток неблагопристойности на мою контору. Знаете ли, однажды я вдруг так разозлился, что вот этой штукой,— он схватил бритву,— срезал абажур и начал его кромсать. Иногда я становлюсь очень вспыльчивым, беспричинно злюсь, как будто нож вызывает во мне раздражение.

Он встал и заходил взад-вперед по линолеуму с шахматным узором.

— И Грим,— продолжал он своим мягким певучим голосом,— обычно такой смирный, тотчас заражается моим волнением. Вот и тогда он прыгнул и рванул абажур — красивый был такой абажур, белый, как человеческое тело, рванул у меня из рук, всадил в него свои зубки и так разделал, что куда мне с этим моим инструментом, хотя один вид его приводит меня в волнение.

Старик сидел, уставившись на бумаги, будто не слышал ни слова. Он начал бормотать что-то про себя. Плечи его еще больше поникли. У него был очень усталый вид. Маттиас-коллекционер подошел к телефону, снял трубку и заказал такси.

— Маттиас. Это фамилия. Да, я коллекционер, как вам, вероятно, известно. Так вот, Маттиас-коллекционер. Да, к моей конторе, удобную машину, потому что одного старого господина, который мне очень дорог, надо доставить в больницу. Да, вы, конечно, понимаете. Конечно понимаете.

Перевод со шведского С. ХАЛИПОВА

Анри Мишо

Нелюдимый мизантроп со странностями, запершийся от всех на свете, чтобы в келейной тиши предаваться какой-то таинственной писательской алхимии,— примерно таким рисует Анри Мишо расхожая журналистская легенда.

Поводов для этого как будто достаточно. В наши дни, когда страницы газет пестрят портретами даже знаменитостей на час, он бежит от репортеров, и всего год назад им удалось заполучить его фотографию: до этого поклонники Мишо довольствовались смутным силуэтом его тени на стене. Он не посещает шумных собраний, не принимает никаких почестей, живя отшельником и не пуская к себе никого, кроме очень редких знакомых: для него это не самореклама навыворот, а потребность. Акварели и рисунки Мишо, не раз выставлявшиеся во Франции и за границей, поражают своей причудливой сумбурностью: здесь кишит, корчится, хаотически громоздится какая-то загадочная, ни на что не похожая фауна и флора. Да и в книгах Мишо все ошарашивает, все вне правил. Речь его бывает угловатой, жесткой, чеканной, но и вздыбленной, почти нечленораздельной, словно бросающей вызов грамматике и вдруг затевающей перекличку бессвязных неологизмов и звукоподражаний; эти тексты приводят в отчаяние приверженцев строгой классификации, потому что в них смешаны запись сновидений, эссе, афоризмы, путевые заметки, смех, обрывающийся рыданием, пророчества, переходящие в лепет, кощунственная пародия, бормотание медиума, бесстрастное показание, анекдот, исповедь. Долгое время — вплоть до конца сороковых годов — почти все дружно сходились на том, что Мишо нет и отдаленных подобий, что созданное им не просто из ряда вон выходяще, но по сути своей скорее курьез, который, конечно, позволяет судить о подлинном таланте самого писателя, однако слишком чужероден, лабораторен, далек от исторической жизни XX столетия, чтобы привлечь к себе серьезное и вдумчивое внимание.

Странником окольных литературных троп Мишо оставался два десятка лет даже в мнении тех, кто поддержал его на первых порах, когда он, бельгиец по происхождению и безработный матрос, в поисках службы попал в 1924 году в Париж и между делом попробовал себя в писательстве. Ему удалось тогда напечатать кое-что в журналах, потом одна за другой стали выходить и его книжки. Но они получили признание лишь в очень узком кругу, критика хранила молчание. Сам Мишо не старался упрочить свое положение в литературно-артистическом Париже, избегал встреч с собратьями по перу, а когда представлялся случай, он бросал все и уезжал в Южную Америку, Африку, в Индию и Китай, годами путешествуя вдали от дома. В Бразилии застало его известие о вступлении Франции в войну с Германией. Мишо вернулся в Париж в январе 1940, чтобы через полгода пережить панический исход беженцев на юг страны. И вот в самые мрачные месяцы оккупации, когда он жил в Южной зоне и изредка помещал отрывки из своих произведений в лионском журнале «Конфлюанс», где сотрудничал тогда Арагон, Марсенак, Эммануэль и другие литераторы-патриоты, о Мишо всерьез заговорили. А после Освобождения — Мишо уже приближался к своему пятидесятилетию — его творчество стало достоянием широкой образованной публики. Поток похвальных отзывов и работ, посвященных ему, постепенно нарастал, к середине пятидесятых годов — он уже знаменитость, вокруг его имени роятся всевозможные толки. Сейчас во Франции, пожалуй, не сыскать такого литературного обозревателя, который бы не считал Мишо одним из самых значительных мастеров слова и не спешил откликнуться на очередную его книгу.

Сам по себе факт запоздалого «открытия» Мишо как раз после недавнего военного лихолетья побуждает задуматься над тем, что его книги, при всей их жутковато-странной атмосфере — а может быть, именно из-за нее,— в чем-то весьма важном сродни духовному климату на Западе в середине нашего века. Потрясения тех лет,

когда каток гитлеровской машины, круша и подминая людские судьбы, прокатился по множеству стран, в том числе и по Франции, не просто запали в память, не просто оставили всегда ноющий рубец в умах миллионов. Для рядовых жертв катастрофы они послужили еще одним — на сей раз убийственно неотразимым — подтверждением их давних мыслей об исходном трагизме исторической жизни личности в XX столетии. Поприще истории в глазах тех, кто ее не делал, а лишь претерпевал, предстало как поприще катастроф. Сознание рядовое и обыденное, не умевшее подняться над горизонтом гнетущего *сегодня* и *здесь*, отныне в каждой своей клеточке превратилось в «сознание несчастное». Не случайно и отнюдь не по злому умыслу отдельных коварных софистов почти все философские и литературные поветрия, утверждавшиеся в последнюю четверть века за рубежом, исходят скорее из укора и скепсиса, чем из простого доверия к ходу дел на земле.

Мишо — один из ранних провозвестников того, что эти умонастроения распылены и носятся в воздухе. Он уловил их непосредственно, на ощупь, кожей и всем нутром, еще до того, как настала очередь для изощренных построений аналитиков. Правда, в сочинениях Мишо они пока что не обнажили ни своих общественных корней, ни прямого исторического обличья, оставаясь фантасмагорически зашифрованными наваждениями одного потрясенного ума. Здесь истоки той «странности», которая давала о себе знать с первых шагов Мишо в присущем ему особом болезненном надрыве, в мучащих его страхах, в приступах смятения всего существа, загнанного в тупик и повсюду наталкивающегося на месиво вязкого кошмара. И все-таки мрачные парадоксы и хандра Мишо были не просто его личной причудой, как казалось на первый взгляд, и он уже тогда — вслед за своими духовными предками Рембо и Лотреамоном, вместе со своими сверстниками сюрреалистами — пожалуй, был вправе бросить тем, кто его упрекал, лермонтовское «а не странен кто?». Уж во всяком случае не те, в чьих желаниях и поступках он еще в 1933 году различил дичайшую нелепицу: «В каждом человеке есть лицо, которое вершит над ним суд. Разразится ли снова война? Взгляните на себя, европейцы, взгляните попристальней. В вашем лице нет ничего мирного. В нем все выдает борьбу, страсти, ненасытность. И даже мир вы хотели бы утвердить насилием».

Через несколько лет выяснилось, что Мишо, увы, был пророком. В 1943—1944 годах он передал в подпольную печать свою «Песнь о лабиринте» и другие поэмы в прозе, пронизанные апокалипсической жутью. Но теперь сама эпоха словно позаботилась высветить ранее туманную и тайную природу фантасмагорий Мишо, и в них без труда распознали уже не ущербные бредовые миражи одиночки, угнетенного собственной заброшенностью, а уродливые гримасы самой жизни — кошмара, вдруг оказавшегося повседневным бытом. Они были запечатлены в зеркале, особенно чутком ко всем изломам и пугающим безднам, но пенять приходилось все же не на Мишо. С мучительной для самого себя усмешкой озаглавил он евангельским «Се — человек» беспощадный рассказ о падении личности, задавленной и исковерканной грузом унижений, которые щедро были отпущены ей веком. «Я не видел человека, возлагающего надежды на помощь человека. Я видел вывеску: «Здесь ломают человеков». Здесь их ломают, там увенчивают, и всегда они — в услуженни. Истоптанные, как дорога, они — в услужении. Я не видел человека, сосредоточенно размышляющего о своем восхитительном существе. Но я видел человека, сосредоточенного, как крокодил, который своими ледяными глазами следит за приближающейся добычей; он и в самом деле поджидал ее, покровительственно взяв на мушку длинного ружья... Я видел эпоху, эпоху суетную и мерзкую, кишевшую гормонами ненависти и испытывающую позывы повелевать, эпоху, призванную стать знаменитой, сделаться Историей, которая разукрасит личину нашего ничтожества... Война! Человек — по-прежнему он — во главе колонок цифр и вычислений, упершись головой в свод своей взрослой безысходной жизни: он хочет получить чуточку воздуху, чуточку вольной игры, чтобы стряхнуть с себя скованность, он хочет высвободиться, но еще дальше загоняет себя в угол».

Мишо далек от презрительного небрежения «жаждой обессиленного и вечно чего-то ждущего человека обрести хоть немного света». Но слова жгучей жалости к своим собратьям по несчастью — все, чем он может с ними поделиться. Вряд ли этого достаточно, чтобы ободрить или утешить ближнего. И все же лирический рассказ Мишо о «лабиринтах тотальной зимы» примыкал к той хронике французской беды и французского подвига, какой была литература Сопротивления. Она складывалась из чрезвычайно разнородных писательских поисков: для одних ее создателей, обладавших революционным мировоззрением, не была секретом социальная анатомия врага, равно как его отечественных прислужников, и они твердо знали, что человечеству по плечу быть хозяином своей исторической судьбы, другие вверяли себя покровительству богоматери — заступницы всех страждущих — или уповали на стоическое упорство отдельных подвижников в этом хаосе, с особой прозрачностью выявившем, по их мнению, самую суть бытия и извечного земного удела. В общем хоре голос Мишо не звенел гражданственностью трибуна и не вселял мужества, в нем слышался скорбный стон тех, кто повержен, заблудился, растерян, кто просто взыскует хоть какой-нибудь, пусть самой хрупкой поддержки среди обрушившегося на всех светопреставления. Однако каким бы непрочным ни был запас душевной стойкости у Мишо, его стыд за этот разгул кровожадности и его презрение к рассчитанному на бухгалтерских счетах изуверству, его соболезнование тем, кто рядом с ним брел по туннелю «угрюмых

годов», каждую минуту отчаиваясь и все-таки помышляя об исходе, об избавлении,— все это не так уж мало, как может сегодня показаться. Ведь «малость» эта иной раз и есть противоядие, спасающее от весьма быстродействующих духовных отрав, из которых цинизм — едва ли не самая сегодня распространенная и наверняка самая опасная. Сколько на нашей памяти мизантропов, скатившихся к человеконенавистничеству, в частности, из-за того, что пожалеть соседа, когда ему трудно, казалось им шагом недостойным. И, может быть, именно оттого, что в Мишо всегда вопреки всей его хмурой ипохондрии, его зачарованности несчастьем, жил неистребимый врожденный дар разделять заботу другого и помогать ему в трудную минуту, из-под этого очень скупого на слова радости пера иной раз выходили строки, подобные поразительно чистому, порывистому, самоотверженному признанию в любви: «Дарить — иду».

Да, Мишо гораздо чаще смотрит на все вокруг сквозь черные очки. Страдания притягивают его к себе магнитом, он бывает ими заворожен. Не из болезненной склонности растравлять себя самокопанием — просто он не хочет взять и отмахнуться от уродства дурно устроенной жизни, от тех опустошений, которые оно учиняет в сердцах людских. Для него писательская работа — «изгнание бесов» (так озаглавлена одна из его основных книг), всякий раз возобновляемая попытка очиститься от вредоносных микробов, осаждающих его отовсюду и поселившихся в нем самом. Незащищенность от них — постоянная мука, изо дня в день испытываемая Мишо и регистрируемая им в скрупулезной описи всех его страданий. От нашествия зараженных частиц нет спасения, они проникают сквозь самые плотные заслоны, врываются внутрь сознания, учиняя здесь, подобно мародерам в захваченном городе, чудовищные бесчинства, опрокидывая, насилуя, пожирая, растлевая все, что встречается на их пути. Хозяйничание их столь безраздельно, что ставшее их добычей «*Я*» мало-помалу растворяется в безбрежной и чужеродной стихии вторгнувшегося извне «не-*Я*». Границы независимой и свободной личности подточены, размыты, она распадается на вышедшие из повиновения, претерпевающие невероятные метаморфозы и враждующие между собой части, вот-вот сама она и вовсе исчезнет, испарится. Мишо пробует судорожными усилиями вытолкнуть заполнившую его до отказа массу, но тогда оказывается, что сделать это столь же трудно, как клоуну, у которого маска накрепко приросла к коже, скинуть опостылевшую шутовскую личину. Охваченный ужасом и смятением, он пускается на все уловки, корчится, извивается, выворачивает наружу нутро, переходя здесь все границы, рискуя обратить «изгнание бесов» в шаманское запугивание, скорее угнетающее, чем оздоровляющее зрителя,— но все равно, любая пытка, лишь бы избавиться от того, что его уничтожает, хоть на минуту снова стать самим собой. А уж если и это не удастся, то по крайней мере отыскать в себе еще одну — пусть последнюю — непораженную клетку, чтобы холить ее и лелеять, как самое драгоценное сокровище, как залог того, что личности не совсем конец и она еще может восстать из-под руин, праха и нечистот.

Все это каждодневное терзание — по-своему болезненно с оттенком панической истерии преломившаяся в данном случае несвобода, утрата личностью самой себя, ее отчуждение враждебной системой, о котором сегодня говорят в один голос все социологи, философы, писатели Запада,— для Мишо есть основной побудитель, предопределяющий как его взгляд на окружающее, так и его исступленный зондаж собственного душевного подполья.

Толкователи Мишо неизменно ставят его в один ряд с Кафкой. Оба писателя и в самом деле схожи. У Мишо тоже есть свой «без вины виноватый» по имени Плюм, чьи беды сплошь и рядом вызывают в памяти хождения по мукам Иосифа К. из «Процесса» и особенно злоключения Карла Росмана в «Америке». Правда, Плюм, однажды ухитрившийся даже проспать тот момент, когда поезд переехал лежавшую рядом с ним супругу, и за это привлеченный к суду, поначалу предстает в обличье фарсового недотепы, чаплинского Шарло, на долю которого выпадают все подзатыльники судьбы. Мишо вообще гораздо более чуток к буффонаде заурядного бытия, чем Кафка, хотя это юмор черный, в нем забавное прорастает жутью. По мере знакомства поближе с историей Плюма желание смеяться пропадает: житейский анекдот обнаруживает трагедийную подкладку. Вот Плюм зашел в ресторан и заказал себе котлету. Официант его обслужил, он принимается за еду, но тут у столика появляется метрдотель и грозно вопрошает, почему ему подано блюдо, которого сегодня в меню нет. Плюм пробует объяснить, но его смущенный лепет никого не удовлетворяет. Метрдотель приглашает хозяина, хозяин — полицейского, полицейский — комиссара, комиссар связывается по телефону с начальником уголовной полиции, и бедняге Плюму под страхом побоев придется теперь держать ответ перед высокой властью. По ходу дела атмосфера сгущается, испуганные посетители поспешно покидают зал, из-за чепухового навета Плюма ожидает жестокая расправа, а он все больше теряется, нагромождая какие-то бессвязные доводы, которые никто даже и не пробует принять во внимание. От него требуют безоговорочного признания вины, иначе — погром, линчевание. Но признания в чем? Испуганный, беззащитный неудачник, не ведающий за собой никакого проступка и все-таки вынужденный подозревать себя в ненарочных грехах, перед лицом таинственного и чудовищного произвола,— вполне кафкианский случай (хотя книга «Некто Плюм» увидела свет в 1930 году, когда Кафку во Франции знали понаслышке), еще одна притча — слепок с жизни, не пригодной для жизни.

Впрочем, совпадение здесь хотя и разительное, но далеко не полное. Там, где Кафка, тоскуя и скорбя, в конце концов склоняет голову под ударами зловещего рока и присаживается на скамье рядом с поселянином, не решаясь ослушаться стражника и преступить врата Закона,— там Мишо «почиет в бунте». Судейские, хозяйчики, начальники разных мастей и званий, все власть предержащие и шире — все то, что тяжким гнетом ложится на личность, мало-помалу обретает в сознании Мишо облик некоего вездесущего тирана по прозванию Король. «Случается так, что я часто попадаю под суд,— рассказывает Мишо об одном из самых навязчивых своих страхов, одолевающих его и во сне, и наяву.— И едва истец изложит свои притязания, как мой Король, не выслушав толком моих соображений, подхватывает жалобу истца, которая в его торжественных устах становится обвинительной речью, предисловием к ужасному приговору, обрушивающемуся на меня через несколько минут...» Однако Мишо не склонен робко и послушно внимать приговорам этого повелителя и судии, напротив, между ними завязывается ожесточенная схватка. Подданный поносит своего Короля, осыпает его оплеухами, всячески над ним издевается. И хотя победа всякий раз ускользает от него, он не опускает рук, снова и снова вступая в сражение. Минуты усталости, когда хочется отдохнуть, закрыть глаза и раствориться в блаженной нирване, сменяются взрывами тираноборческой энергии. Мишо на свой лад принимает сторону вечного непокоя, вечного мятежа против навязанной ему доли, требуя удела иного, согласно с запросами личности. Он не шепчет покаянных молитв, он захлебывается в крике, до предела напрягая голосовые связки, чтобы все на свете услышали вопль непокорившегося бунтаря, который не принимает ни «королевского правосудия», ни «королевского Закона».

Ждать и умереть в неведении Мишо не желает, он жаждет знать. Правда, его испытующий взор обращен прежде всего внутрь себя («Пространство внутри» — программно назвал он в 1966 году том своих избранных сочинений), но для лирика исследование «Я» всегда есть путь к познанию родового «все». С фанатизмом алхимика, запродавшего свою душу демону знания, Мишо изо дня в день предпринимает попытки проникнуть сквозь толщу всякого рода наслоений к тем рубежам, где психическое смыкается с физическим, духовное — с телесным, и тем самым добыть, как ему кажется, ключ к извечным загадкам человеческой натуры, прибегая не столько к логическому анализу, сколько к самосозерцанию и вчувствованию, точнее — к ясновидению в духе древних индийских мистиков. Замысел отчаянный, чреватый срывами, которые заставляют искателя все время судорожно метаться между полярными крайностями (и, замечу в скобках, даже обращаться в последние годы к весьма рискованным экспериментам с собственной нервной системой, которую он подхлестывает при помощи разрушительных для психики медикаментов,— впрочем, возникающие в этих случаях клинические отчеты о галлюцинациях выходят за пределы собственно словесности, с чем охотно соглашается сам Мишо, и скорее дают материал для врачей-невропатологов). Вот он направил на густую магму кишащих в нем зачатков мыслей, впечатлений, фантазмов луч пристально-дотошного внутреннего зрения. А плотная пелена вдруг податливо расступается, в полосу ослепительного света попадают клочья каких-то обманчивых призраков, и за ними угадывается зияющая бездна, пустота небытия. Измученный погоней за неизменно ускользающим и вместе с тем изо всех углов манящим миражем, Мишо в какой-то момент сникает и, мечтая о бездумном отдыхе, отправляется в путешествие по сказочной «стране магии», вызванной к жизни волшебством вольного вымысла. Блужданиям в этой стране снов, где есть своя география, свои порядки, обычаи, обитатели, свои растения и животные, он посвящает порой целые книги. Но сновидения — убежище столь же уютное, сколь и непрочное: тревога и здесь настигает грезящего провидца, возвращая все к той же очевидности невыдуманных земных забот. Круг замыкается, шедший по нему возвращается к исходной точке с пустыми руками. И тогда в обманутом сердце вспыхивает желание сокрушить, разнести в щепы все и вся, выплеснув в неистовых проклятиях свою боль, отчаяние, ярость. Натурмагия приносит те же горькие плоды, что и рукопашная с Королем, ее перипетии завершаются тем же бунтом в тупике. Мишо — вечный осажденный и вечный мятежник, всегда колеблющийся между испугом и восстанием, грезой и явью, слепотой и озаренностью, упадком сил и робкой надеждой. И вдруг застывающий где-то на распутье, взыскуя истины и справедливости, к которым ему не дано всерьез приблизиться, и в конце концов растерянно провозглашая саму их недостижимость единственной правдой, добытой им в отчаянном путешествии на край духовной ночи.

Сорок с лишним лет назад, когда Мишо впервые заговорил о своих терзаниях и смятении, к его исповеди едва прислушались. С тех пор из писателя безвестного и странноватого он превратился в писателя прославленного и представительного. Метаморфоза, которой он обязан не только своему дарованию, крепнувшему от книги к книге. С годами было все очевиднее, что распутье Мишо расположено где-то у самого средоточия умственной распутицы, разъедавшей цивилизацию, которую он сам презрительно окрестил «торгашеской». И внутри которой он, накрепко спеленутый сетями «несчастного сознания», обречен жить как ее судорожно вырывающийся заложник и ее лирический свидетель.

САМАРИЙ ВЕЛИКОВСКИЙ

Унесите меня

Унесите меня на каравелле,
На старинной тихой каравелле,
Быть может, в киле, а хотите — в пене,
И бросьте в далеком далеке.

В кабриолете других столетий.
В лавине снежной студеной ваты.
В одышке своры запыхавшихся псов.
В бездыханной груде облетелых листьев.

Унесите осторожно, в поцелуях нежных,
В груди вздымающейся, в жилке синей,
В коврах ладоней, в улыбках линий,
В коридорах длинных костей и дыхательных путей.

Унесите, а лучше схороните.

1929

Плюм в ресторане

Плюм завтракал в ресторане, когда подошел метрдотель, строго взглянул на него и произнес негромко и многозначительно: «Того, что у вас на тарелке, нет в меню».

Плюм поспешил принести извинения.

«Дело в том,— сказал он,— что я очень торопился и забыл просмотреть меню. Я заказал наугад отбивную в надежде, что она окажется, а если нет, то ее без труда найдут по соседству, но готов был заказать все, что угодно, когда б отбивной не нашли. Гарсон, не проявивший при этом чрезмерного удивления, ушел и немного спустя принес мне ее, а потом...

Конечно же, я заплачу сколько нужно. Не спорю, кусок порядочный. Я заплачу не колеблясь, сколько он стоит. Если б я знал, я охотно бы выбрал еще что-нибудь из мясного или просто яйцо. Во всяком случае, теперь я уже не так голоден. Я рассчитаюсь с вами сию минуту».

Однако метрдотель не шевелится. Плюм чувствует себя страшно неловко. Подняв, наконец, глаза... гм! Теперь перед ним стоит хозяин заведения. Плюм поспешил принести извинения.

«Я не знал,— сказал он,— что отбивных нет в меню. Я не просмотрел его, потому что зрение у меня слабое, а пенсне я не захватил с собой, и, кроме того, от чтения у меня всегда невыносимая боль. Я заказал первое, что пришло в голову, и не из особенного пристрастия, а скорей для того, чтобы завязать разговор и расспросить, что еще у вас есть. Гарсон, по всей видимости очень занятый, не долго отсутствовал, принес это, и я, поверьте мне, в полной рассеянности, начал есть, пока, наконец... раз вы здесь, я расплачусь непосредственно с вами».

Однако хозяин заведения не шевелится. Плюм испытывает все большую неловкость. Протягивая ему деньги, он вдруг видит рукав чьей-то формы; теперь перед ним стоит полицейский.

Плюм поспешил принести извинения.

Стало быть, он зашел сюда, чтобы немного отдохнуть. Вдруг ему кричат прямо в уши: «Вам, мосье? Вы уже выбрали?..» «Ах, да... кружку пива»,— говорит он. «А еще?» — кричит раздраженный гарсон; тогда, скорей чтоб отделаться, он отвечает: «Ну что ж, отбивную!»

Он уже и забыл о ней, когда ее принесли на тарелке, но что делать, раз она была перед ним...

«Послушайте, вы будете очень любезны, если попытаетесь замять это дело. Возьмите, пожалуйста».

И он протягивает сто франков. Услышав удаляющиеся шаги, он решает, что наконец свободен. Но теперь перед ним вырастает полицейский комиссар.

Плюм поспешил принести извинения.

Он должен был встретиться с другом. Он напрасно проискал его все утро. И так как он знал, что, возвращаясь из конторы, его друг проходит по этой улице, он зашел сюда и сел за столик у окна, но, так как, с другой стороны, он мог прождать долго, а создавать впечатление, что он боится расходов, не хотел, он заказал отбивную; для того только, чтобы перед ним стояло какое-то блюдо. Он и не думал к нему прикасаться. Но поскольку оно перед ним стояло, он машинально, совершенно не отдавая себе отчета в том, что делает, принялся есть.

Следует сказать, что он ни за что на свете не стал бы есть в ресторане. Он всегда завтракает дома. У него такой принцип. Речь здесь может идти лишь о рассеянности, какая бывает у всякого издерганного человека, о минутной забывчивости, ни о чем больше.

Но полицейский комиссар уже попросил к телефону начальника уголовной полиции.

«Ну-ка,— говорит он, протягивая Плюму трубку,— объяснитесь как следует. Это ваша единственная надежда».

И полицейский, грубо его подталкивая, говорит: «Теперь мы будем вести себя паинькой, верно я говорю?»

И пока в ресторан вваливаются пожарники, хозяин заведения говорит ему: «Посмотрите только, какой ущерб моему заведению. Настоящая катастрофа!» — и показывает на зал, который поспешно покинули посетители.

Тем временем парни из службы безопасности говорили ему: «Предупреждаем, дело пахнет жареным. Лучше во всем откровенно сознаться. Это не первое наше дело, можете поверить. Раз дело принимает такой оборот, это уже не на шутку».

Между тем громила полицейский говорил ему через плечо: «Послушайте, я тут бессилен. У меня приказ. Вам дали трубку, и если вы не будете говорить — в зубы. Понятно? Сознавайтесь! Вас предупредили. Если услышу, что вы молчите,— в зубы».

1930

Моя жизнь

Ты без меня уходишь, жизнь моя.
Несешься,
А я все медлю, прежде чем сделать шаг.
Ты переносишь куда-то бои.
Вот как меня покидаешь ты.
Я никогда за тобой не спешил.
Не могу разобраться в твоих подарках.
Самая малость, нужная мне,— ты ее никогда не приносишь.
Из-за этого недостатка я мечтаю о стольком.
О стольком на свете, почти о бесчисленном.
Из-за этой малости недостающей, которую ты никогда не приносишь.

1935

Мой Король

Среди ночи я приступом беру своего Короля — поднимусь постепенно и шею ему сверну.

Он набирается сил — я опять подберусь к нему и еще раз шею ему сверну.

Я трясу его, трясу, как старую сливу, и корона трясется на плешивой его голове.

И все же он — мой Король, я в этом уверен, да и он тоже, и нет никакого сомненья, что я ему принадлежу.

Тем не менее среди ночи мои руки, не зная удержу, его душат в ярости, в исступленьи. И никаких ухищрений: я хватаю его голыми руками и сжимаю его королевскую шею.

Но как бы там ни было, он — мой Король — тот, кого уже издавна и безрезультатно я душу в уединении своей маленькой комнаты; лицо его, сперва синеватое, быстро приобретает естественный цвет, после чего голова поднимается — и так точь-в-точь, так раз за разом повторяется каждую ночь.

В уединении своей маленькой комнаты я газы пускаю в лицо Королю. И от смеха давлюсь. Он старается сохранить ясное и безмятежное чело, как будто никакое бесчестье никогда б не смогло его запятнать. Но я продолжаю пускать газы ему под нос и прекращаю только затем, чтоб обернуться и расхохотаться ему в лицо, в благородное это лицо, которое тщится сохранить выраженье величья.

Так-то я обращаюсь с ним: слепой, как крот, исток моей темной жизни.

А теперь, швырнув его на пол, я усаживаюсь у него на лице: вот исчез августейший лик — мои грубые брюки и с ними вместе мой зад, ведь он именуется именно так, без всякого стеснения восседают на этом лице, созданном для того, чтобы царствовать.

И я не церемонюсь, о нет, ничуть, когда вдруг оглядеться захочу по сторонам, и, право же, мне попросту нет никакого дела до его носа и ушей, которые всегда при этом могут попасться на глаза. И только когда надоедает сидеть, я поднимаюсь.

А если обернусь — его лицо, по-прежнему невозмутимое, царит.

Оплеуха, еще оплеуха, а потом, в издевку над ним, я делаю вид, что утираю ему нос, точно сопливому ребенку.

Но тем не менее никакого сомнения нет, что это он Король, а я его подданный, его подданный в единственном числе.

Коленом под зад я гоню его из комнаты вон. Я опрокидываю на него подряд горы мусора и кухонных отбросов. Я выплескиваю помои ему под нос. Я набиваю ему уши низкопробной, не скупящейся на выражения бранью, и, чтоб посильнее его задеть, чтобы поглубже ранить, я их набиваю чудовищными измышлениями на неаполитанский манер, особенно грязными и изобретательными, в каждом слове которых черная скверна, несмываемая короста — позорный наряд, сшитый точно по росту: настоящее гноище существованья.

Ну и вот, на другой день приходится все начинать сначала.

Он вернулся, он здесь. Он здесь навсегда. Он не может убраться так просто. Он непременно мне должен внушать превосходство своей распроклятой королевской персоны — в моей совсем уже крохотной комнате...

1935

К безмятежности

Кто этого мира не принял, в нем жилища не строит. Когда ему холодно, он не чувствует холода. Ему жарко, но жара в нем нет. Когда он рубит березы, он делает это, как будто бы ничего не рубил, но березы — рядом, повалены, и он получает то, что ему причитается, или же не получает — одни пинки. Получает пинки, как дар, не имеющий никакого значенья, и уходит, не испытывая ни малейшего удивленья.

Он пьет воду без всякой жажды, он уходит в скалу без боли и без особых усилий.

С раздавленной ногой, под колесом грузовика, он сохраняет свой обычный вид и размышляет о покое, покое, покое, который так трудно найти, так трудно вместить, о покое.

Он безвылазно дома сидит, но мир ему близок. Ему хорошо знакомы моря. Моря постоянно где-то под ним — моря без воды, но не без волн, но не без протяженности. Ему хорошо знакомы потоки. Они постоянно бегут сквозь него — без воды, но не без глубины, но не без внезапных водоворотов.

Ураганы без ветра свирепствуют в нем. Неподвижность Земли — и его неподвижность. Дороги, стада, машины пересекают его без конца, и огромное дерево, без клетчатки, но достаточно крепкое, наливает в нем соками горький плод — горький нередко, сладкий нечасто.

Так, в стороне, всегда одинокий в минуту назначенной встречи, никогда не стараясь чужую руку в своей удержать, он размышляет — а сердце давно на крючке — о покое, о проклятом щемящем покое, о своем, и еще о покое, который, как говорят, есть где-то там, над этим покоем.

1935

На дороге Смерти

На дороге Смерти
Моя мать натолкнулась на снежную глыбу;
Она что-то сказать хотела,
Но поздно уже было,
На огромную снежную глыбу.
Она посмотрела на нас — на меня и на брата —
И заплакала.
Мы сказали ей — ложь совершенно абсурдная,—
что мы все хорошо понимаем.
И она улыбнулась прелестной улыбкой молоденькой девушки,
Улыбкой, в которой была она вся,
Такой милой улыбкой, почти шаловливой;
Потом ее скрыла Непроницаемость.

1938

Песнь в лабиринте

(Фрагменты)

Год был точно стена перед родом людским.

Земля — вся, снизу доверху,— купалась в моло́ках, и никому не удавалось взглянуть поверх.

Однако трудились люди, и трудились так, как никогда еще,— не глядя на солнце, не обращая внимания на время, уносящееся безвоз-

вратно; и сколько б ни трудились, их заставляли все яростней ворочать, ворочать в поте лица, ворочать без конца в котловане гигантского кровопусканья; а смерть свершала свое дело легко и просто — как платье старое, когда распарывают шов, или как счет забытый, который вам вручают в последнюю минуту, на пороге.

Торгашеская цивилизация упиралась. Казалось, она трещит по швам. Она трещала, но упиралась.

И несмотря на все, век беспрерывно вел статистический подсчет, считая исступленно, считая на тысячи и миллионы, считая все — скот, поезда, детей, жнивье, колеса, города и плечи, способные нести ружье.

* * *

Все было племя, племя.

Угрюмые, в ожесточенье отворачиваясь от памяти о днях былых, шагали люди в туннеле и, оборачиваясь, на прошлое глядели с ненавистью, кляня грудь женщины за то, что была слишком прекрасной, проклиная солнце за то, что было слишком тучным, слишком ясным, когда беспечно роняло свои жала палящей неги.

Искра была в ответе за рисовое зерно, и зерно — за то, что не давало искры.

Все уравнялось. Быть Королеве хорошей машинисткой. И жалкому раздавленному человеку — всем алтарям себя вручить.

Несчастная страна, как могли еще любить тебя такой?

* * *

Она пришла, жестокая Эпоха, жестокостью превосходящая жестокий человеческий удел.

Она пришла, Эпоха.

Я обращу их жилища в скопище развалин, сказал голос.

Я обращу их корабли, блуждающие вдали от земли, в стремительно несущиеся камни.

Я обращу их семьи в затравленные своры.

Я обращу горы их сокровищ в то, во что моль обращает меха, оставляя лишь тень, лишь призрак, который рассыпается в прах при малейшем прикосновеньи.

Я обращу их счастье в загаженную губку, которой место в помойной яме, и все их планы и надежды, расплющенные, как труп клопа, кошмаром выстелят и ночи их, и дни.

Я заставлю смерть парить в реальном небе и в буквальном смысле, и горе тому, над кем зашумят ее крылья.

Я опрокину их богов чудовищным швырком, и, роясь в груде сваленных обломков, они увидят других богов, которых прежде перед собой не замечали, и новая утрата добавит к их печали иную, пострашней.

Угрюмый, угрюмый год!

Угрюмый, как вдруг затопленный окоп.

Угрюмый, как дот, замеченный внезапно и слишком поздно, слишком поздно,— с амбразурой, напоминающей сощуренный зловеще глаз, но то, что она мечет, впивается куда похлеще.

Угрюмый, как крейсер без прикрытья с воздуха, в ночи, в прожекторах врага, в то время как в небе раздается грохот, знакомый каждому, покамест еще слабый, но нарастающий с ужасной быстротой, и крейсер уходит стороной, выписывая зигзаги, точно запутавшаяся фраза — нескончаемое отклонение от темы рассказа.

Угрюмый... и нет ему конца.

1944

Да почиет в бунте

В беспросветном в ночном будет память о нем
в том что корчится в том что сочится
в том что тянется и не достанет
в десантной барже околевшей иа вражьем
побережье
в зловещем посвисте трассирующих пуль
в серном дыму будет память о нем.

В том кого лихорадка жжет кому нестерпимы стены
в том кто бросается напролом и головой о стены
в мерзавце казненном без покаянья
в бессильном упрямце и в проклятом подаяньи
в двери вышибленной будет память о нем.

В пути когда от него не уйти
в сердце когда оно ищет пристань
в любви когда любящий тела не слышит
в бродяге когда его гложет пространство.

В туннеле
в тупике на волоске висящей жизни
в том кто не дрогнет над плитой надгробной.

Во взрывчатой орбите звезд и вспышках звезд при
столкновеньях
в небесном корабле в невесте потускневшей
в песне сумеречной будет память о нем.

В соседстве моря
в немоте судьи
в слепоте
в склянке с ядом.

В капитане семи морей
в душе того кто моет кортик
в органном тростнике стенающем за всех на свете
в плевке на жертвоприношенье.

В зимнем цветке
в груди боев возобновленных
в мертвой шлюпке в горячке.

В заломленных руках надежд которым никогда
не сбыться
будет память о нем.

1946

Мне снилось, что я спал

Мне снилось, что я спал. Но я, конечно, на этот счет не заблуждался, ведь я же знал, что я уже проснулся,— и так, пока не просыпался и не вспоминал, что спал. Но я, конечно, и на этот счет не заблуждался, пока, заснув, не вспоминал, что только что проснулся и что до этого

мне снилось, что я спал. Но я, конечно, и на этот тоже счет не заблуждался, пока, совсем уже не веря ничему, не впился в ярости зубами в пальцы и, несмотря на все возрастающую боль, не задался вопросом, действительно ли я впиваюсь в пальцы или мне только снится, что я впиваюсь в пальцы, по той причине, что не могу понять, действительно ли я проснулся или я сплю и вижу сон, что я в отчаяньи по той причине, что не могу понять, действительно ли сплю или мне только... то ли по той причине...

Так, от бессонницы к снова и снова напрасному сну, я, ни на миг не умея забыться, преследую успокоенье, которое в сущности вовсе не успокоенье, в бдении, которое в сущности вовсе не бденье, до бесконечности настороже, не в состояньи спуститься по сходням, хотя ступаю на тысячи их, в ночи беспросветной и тянущейся, как столетье, в ночи прочлывающей, которой не видно конца.

1954

Дарить — иду

Дверь в тебя распахнув, я вхожу
Дарить — иду
Я нашел
Я на помощь тебе
Ты уже не одна
Ты уже не в беде
Путы развязаны, беды спадают
Кошмар из которого ты выбралась в изнеможеньи
исчез навсегда
Я плечо подставляю
Ты рядом ступаешь
Со мною на лестницу которой не видно конца
Тебя уводящую
Тебя уносящую
Осуществляющую тебя

Я несу тебе успокоенье
Я расстилаю пространства покоя в тебе
Я простираю дары первенцу твоего сновиденья
Прилив
Прилив пальмовых листьев в кругозоре охваченной
страхом
Прилив в снегах ее бледности
Прилив в ее очаге... и огонь оживает в нем
Дарить — иду
Твои крылатые мысли расправлены
Твои поникшие мысли бессильны
Сила моя в твоем теле, проникшая
...и лицо твое — складки разгладились — вмиг
озарилось
Болезнь не находит больше дороги в тебя
Лихорадка тебя покидает
Покой сводов
Покой отяжелевших лугов
Покой нисходит в тебя

Братством великого множества я укрепляю тебя
Как фумарола
Уносится бремя с твоих истомленных плеч
Злобные головы рядом
Ядовитая свора глазеющих на терзанья и страхи
бессилья
Тебя не отыщет
Не стало ее

Экипаж на подмогу
Таинством и глубинной тропой
Как струя под водой
Как строгий напев,
Иду
И тебя похищает этот напев
И тебя заполняет этот напев
И напев этот пьет в мириадах потоков
И напев этот дышит застывшей Ниагарой
И напев этот весь для тебя

Нет больше тисков
Нет черных теней
Нет страхов
Не осталось следа
Не стало причины
Где была боль стала вата
Где был распад стало сращенье
Где была зараза — новая кровь
Где были засовы — открытый океан
Океан беспредельный и твое изобилье
Бездонное как небесный провал.

Я разгладил дорогу надежды твоей.

1954

Перевод с французского Вадима КОЗОВОГО

КАРЕЛ ЧАПЕК

СКАНДАЛЬНАЯ АФЕРА ЙОЗЕФА ГОЛОУШЕКА

Перевод с чешского
В. КАМЕНСКОЙ и О. МАЛЕВИЧА

В 1964 году издательство «Чехословацкий писатель» выпустило «Десять чешских повелл» — своего рода антологию чешской «малоформатной» повести первой половины XX века. Неожиданно для себя большинство читателей обнаружило здесь неизвестное им произведение Карела Чапека. Это рассказ-памфлет «Скандальная афера Йозефа Голоушека», впервые опубликованный в феврале—марте 1927 года на страницах газеты «Лидове новины» и вскоре вышедший отдельной брошюрой. С тех пор сатирическая повелла Чапека не переиздавалась и давно стала библиографической редкостью, известной лишь узкому кругу специалистов и библиофилов.

Материалом для памфлета послужила скандальная афера, героем которой был... сам Чапек.

Каждую пятницу в его вилле на окраине Праги собиралось небольшое, но довольно пестрое общество. Здесь бывали писатели и врачи, юристы и художники, ученые, журналисты. Хотя среди завсегдатаев пятниц существовало ядро единомышленников, сюда приходили люди самых разнообразных и подчас противоположных политических, философских, религиозных и художественных убеждений. Сближали их не взгляды, а взаимное уважение и интерес ко всему, что происходит в мире.

Завсегдатаи пятниц собрались у Чапека и в канун Нового, 1927 года. На этот раз гостем писателя был и президент Масарик. В качестве сюрприза присутствующим Чапек написал небольшую новогоднюю сцену, которую разыграли его друзья-артисты. Три евангельских волхва, олицетворявших три ведущих партии тогдашней правящей коалиции, приветствовали гостей. В стихотворном тексте содержались актуальные политические намеки, впрочем «по возможности невинные и лишенные тенденциозности», поскольку автор должен был считаться с присутствием главы государства. Но реакционная печать раздула безобидную новогоднюю шутку, использовав ее как повод для политического скандала. Появились броские заголовки: «Новогодние развлечения в Хамове», «К скандалу в вилле Чапека», «Афера г. Карела Чапека»... Особенно грубая анонимная травля велась на страницах вечернего издания национально-демократической партии «Народ» («Нация»). Чапек не выдержал и подал жалобу в суд. В свою очередь редактор «Народа» подал контржалобу на Чапека. Тяжба затянулась на полтора года, и писателю в конце концов даже пришлось зачитать на суде заявление, что он в своих полемических статьях имел в виду анонимного клеветника, а не редактора газеты, опубликовавшей эту клевету.

Но еще до окончания судебного разбирательства Чапек вынес свой художественный приговор не только непосредственным своим противникам, а всей реакционной буржуазной печати, написав «Скандальную аферу Йозефа Голоушека». Сатира его продиктована конкретной политической ситуацией. Именно в 1925—1926 гг. крайне правые круги чешской националистической буржуазии берут курс на установление в стране реакционной диктатуры. Националистическая реакция вступает в тесный контакт с реакцией клерикальной.

Против этой клерофашистской коалиции, выступающей в союзе с крайними реакционными силами за рубежами Чехословакии и видящей свой политический идеал в ре-

жимах типа диктатуры Муссолини в Италии или Примо де Риверы в Испании, и направлено острие чапековской сатиры. Вместе с тем в памфлете сказывается слабость общественной позиции писателя. Герой его одинок и беспомощен, а либеральная «Вольная свобода» явно неспособна противостоять объединенным нападкам «Хоругвей», «Обозрений» и якобы независимых «Глашатаев». Правда, Чапек едва ли не впервые подходит здесь к мысли о том, что у людей, подобных Йозефу Голоушеку, и у их оппонентов «слева»,— общий враг. Но «кривое зеркало» сатиры отражает прежде всего то, что разделяет этих возможных союзников. С одной стороны, мы видим крайнюю политическую наивность и неопытность, с другой — псевдорадикализм и сектантство. В момент написания памфлета сам Чапек еще недостаточно четко отличал научный коммунизм от мелкобуржуазных пародий на него, примером чего является приведенная автором «заметка» в газете «Красный день». Должно было пройти еще несколько лет, чтобы он убедился в необходимости союза демократической интеллигенции с реальным и подлинным коммунизмом в рядах единого антифашистского фронта.

В «Скандальной афере Йозефа Голоушека» писателю почти не пришлось прибегать к сатирическому заострению и вымыслу. Он только заменил подлинные названия органов националистической и клерикальной печати и воспроизвел типичные приемы полемики, присущие желтой прессе. Некоторые статьи «процитированы» им чуть ли не дословно. Действие памфлета развертывается в двух плоскостях. Одну сюжетную линию составляет мозаичный монтаж цитат, наполненных фантастическими измышлениями и демагогией. Трудно представить себе более беспощадную критику нравов буржуазной прессы, более наглядный показ того, как «свобода слова» превращается в свободу клеветы и дезинформации. Вторая сюжетная линия воспроизводит реальную картину событий, которую мы воспринимаем глазами чапековского героя. Но фактическая ложь, обретая посредством газетного слова власть над общественным мнением, оказывается сильнее индивидуальной правды. Экономка Йозефа Голоушека верит не тому, что видела сама и знала по собственному опыту, а тому, что слышит от соседей, повторяющих газетную ложь. Вторжение большого мира в малый завершается на этот раз трагикомически. Прошли выборы в школьный совет, и про Йозефа Голоушека попросту забыли — в порядке дня новые сенсации и новые клеветнические кампании. Но за комической концовкой памфлета уже маячил трагический финал чапековской «Белой болезни», где отравленная шовинистическим угаром, обезумевшая толпа людей, обреченных погибнуть от страшной эпидемии, убивает самоотверженного глашатая мира доктора Галена (так за десять лет видоизменился человеческий тип, представленный в Йозефе Голоушеке) и втаптывает в землю ампулы с открытой им спасительной вакциной.

«Скандальная афера Йозефа Голоушека» вместе с другими памфлетами («Удивительные сны редактора Коубека», «Письма из будущего»), по мысли Чапека, впоследствии должна была составить отдельный том в собрании его сочинений.

О. МАЛЕВИЧ

1

Йозеф Голоушек не выписывал «Хоругви», но в тот день какой-то неведомый доброжелатель просунул эту газету за ручку его двери. Поскольку ничто на сем свете не дается даром, Йозеф Голоушек очень удивился и больше из благодарности к дарителю, чем из интереса, развернул широченную простыню «Хоругви», чтобы хоть мельком пробежать ее. На первой странице была заметка, обведенная синим карандашом. Пан Голоушек скользнул было по ней рассеянным взглядом, но вдруг изменился в лице, надел очки, заерзал на стуле и стал внимательно перечитывать:

СКАНДАЛ ИЛИ ПРЕСТУПЛЕНИЕ?

Незадолго до сдачи этого номера в набор мы получили сведения, что пять недель назад, 17 декабря, в нашем городе произошло событие, которое может иметь

самые серьезные последствия!

Было три часа пополудни, когда в роскошном особняке под номером 171 чья-то рука опустила на окнах шторы, явно для того, чтобы непрошеный глаз — и прежде всего око нашей общественности — не мог подсмотреть, что за ними происходит! Примерно через полчаса тихую улицу огласил

страшный вопль,

после чего можно было услышать, как несколько голосов о чем-то возбужденно и резко спорили. С того момента и до самой ночи

никто из таинственного дома не выходил!

Но с наступлением темноты всем особам, которые являлись прямыми или косвенными участниками

этого загадочного происшествия

без сомнения удалось

скрыться.

Бросается в глаза то обстоятельство, что полиция до сих пор не сочла нужным пролить свет на скандальное происшествие, уже в течение пяти недель крайне беспокоящее нашу общественность. Может быть, у нее есть особые основания, чтобы молчать? Но мы заверяем наших читателей, что установим

всю правду,

каких бы высокопоставленных особ она ни затрагивала! Мы еще не зашли так далеко, чтобы наши граждане терпели

преступные бесчинства

так называемых «заслуженных мужей», чьи «заслуги» должны в конце концов привлечь внимание прокуратуры...

Далее шрифтом помельче было напечатано:

Как нам удалось совершенно точно установить, в доме под № 171 проживает пан Йозеф Голоушек, известный сторонник наших главных политических противников... Ныне общественность может убедиться, какими личностями и с помощью каких средств велась во время последних выборов безиравственная и подлая кампания, направленная против нашей партии и ее любимого вождя. Мы еще вернемся к неслыханному происшествию за закрытыми окнами!

Прочтя все это, Йозеф Голоушек пятикратно сглотнул слюну и протер глаза, не понимая, сон это или явь; но когда он перечитал слова «преступные бесчинства» и «страшный вопль», то понял, что не спит, и решительным взмахом руки швырнул «Хоругвь» в угол. Однако тут же снова поднял ее и заботливо разгладил. Вообще-то по своей натуре человек довольно спокойный, Голоушек постепенно приходил в раздражение — он стал бегать взад-вперед по комнате, сбросил с дивана собаку и, все больше и больше багровея, забормотал сквозь зубы нечто такое, что не может быть воспроизведено из-за отсутствия свидетелей. Час спустя он ворвался к своему приятелю-юристу, уже багрово-красный, с глазами, налитыми кровью.

— Прочтите это, дорогой доктор,— прохрипел он.

Адвокат как-то необычайно медленно прочел заметку и произнес:

— Ну и что?

— К суду! — возопил Йозеф Голоушек.— Я привлеку этих мерзавцев к суду!

— Привлечете к суду,— мечтательно повторил приятель.— А за что именно, скажите, пожалуйста, вы хотите привлечь их к суду?

— За все,— воскликнул пан Голоушек.— За всю эту заметку! Разве я кого-нибудь убил? Или изнасиловал? Ну? Скажите! Убил я кого-нибудь?

— Надеюсь, что нет,— ответил адвокат.— Но ведь тут этого и не сказано. Тут говорится только, что кто-то опустил шторы на окнах.

— Да ведь у меня нет никаких штор! — кричал Голоушек.

— Возможно,— согласился адвокат,— но в этом нет ничего для вас оскорбительного. Еще здесь сказано: «раздался страшный вопль».

— И это ложь,— взорвался пан Голоушек.— Ни о каком вопле я ничего не знаю. Я ежедневно сплю до четырех, потом пью кофе...

— Да погодите же, черт возьми,— заметил адвокат.— Тут вовсе не утверждается, что вы сами страшно кричали или что кто-то страшно кричал именно в вашей квартире. Только и написано: «улицу огласил

страшный вопль». А это, во-первых, еще не повод для жалобы, во-вторых, вас вообще не касается. Далее тут говорится, что никто из таинственного дома не выходил.

— Такая же бессовестная ложь,— не успокаивался Голоушек,— Я бы мог присягнуть, что в тот день около половины пятого вышел из дому! Я каждый день в половине пятого совершаю моцион! Я могу привести к вам свидетелей...

— Свидетели не нужны,— возразил адвокат.— Утверждение, что никто из таинственного дома не выходил,— вовсе не оскорбление чести и тоже не повод для жалобы. Потом тут еще говорится, что полиция не сочла нужным пролить свет на обстоятельства скандального происшествия. Это уже, собственно, касается не вас, а полиции.

— А что вы скажете о «преступных бесчинствах»? — взревел пан Голоушек.

— Тут написано: «преступные бесчинства так называемых «заслуженных мужей». Вот если бы была названа ваша фамилия... Словом, говорю вам, Голоушек, идите домой и ложитесь спать. Тут нет повода для судебной жалобы.

— Но ведь,— задыхался Йозеф Голоушек,— ведь теперь всякий может подумать, что я кого-нибудь убил или совершил что-либо не менее ужасное!

— Дружище,— постарался успокоить его адвокат,— нельзя подавать жалобу в суд на то, что кто-то может подумать. Хотите услышать мое мнение? Не обращайте на это никакого внимания. Советую вам как друг: не связывайтесь с газетами. Плюньте на все.

Йозеф Голоушек рухнул на стул.

— Но дорогой мой,— простонал он,— вы же знаете, что я всегда был порядочным человеком. Как... как я могу терпеть... чтобы вот так...

— Ну, ну,— утешал его юрист,— вы же не вчера родились. Любой скандал живет не больше недели, и самое большее — если поднят очень уж сильный шум — дней десять. Не надо зря волноваться.

После этого разговора с приятелем Йозеф Голоушек решил и в самом деле не обращать ни на что внимания.

2

На другой день в «Хоругви» была помещена статья:

СКАНДАЛЬНАЯ АФЕРА В ДОМЕ НОМЕР 171.

С безусловной достоверностью подтвердилось, что в доме под номером 171 проживает не кто иной, как «выдающийся» представитель наших самых недостойных политических противников пан Йозеф Голоушек. И хотя сей пан должен бы только радоваться, что наша общественность не проявляет интереса к нему, к человеку с таким прошлым, он возымел неслыханную наглость

притязать на первые места

в различных национальных и общественных организациях. Стоит ли удивляться после того, что добропорядочные граждане игнорируют спектакли общества театральных любителей, коль скоро его секретарем может быть подобная личность! Неудивительно также, что все образованные люди демонстративно отказываются посещать публичные лекции, находя среди их организаторов столь сомнительное имя! Сейчас выясняются все

новые и новые подробности,

проливающие свет на сенсационное происшествие, о котором мы вчера сообщили! Стала явной вся грязь, о которой уже давно ходили слухи. Мы молчали достаточно долго, но теперь заявляем во всеуслышание, что не прекратим своих усилий, пока до конца не разоблачим

развратное поведение нескольких хулиганов,

которые отравляют атмосферу нашей общественной жизни. Мы хотим *правды и только правды!!* А посему публично и без околичностей задаем пану Йозефу Голоушеку вопрос:

Что он делал в своей квартире 17 декабря в послеполуденное время??

Любопытно будет посмотреть, как вышеупомянутый пан станет выкручиваться, пытаясь увильнуть от ясного ответа на наш вопрос! Ибо мы более чем сомневаемся, чтобы он отважился ответить прямо и определенно!

В тот же день клерикальное «Обозрение» опубликовало такую заметку:

Тяжкое обвинение против Йозефа Голоушека

Как сообщалось во вчерашней «Хоругви», 17 декабря минувшего года в квартире Йозефа Голоушека, известного своими масонскими и еврейскими связями, имело место происшествие, возбудившее законное негодование самых широких общественных кругов. Все совершалось за спущенными шторами, через которые доносились душераздирающий крик и звериный рев развратного сборища. О том, что там происходило, может поведать нашей общественности прокуратура, которая, несомненно, со всей строгостью расследует обстоятельства и выяснит, не совершались ли там вопиющие преступления против нравственности, равно как и покушения на безопасность человеческой жизни. В истории можно найти немало примеров тому, как «просветители», атеисты и всяческие распутные «умники» «служили», а кое-где и по сей день «служат» Черную Мессу, во время которой способом, который мы не решаемся описать, оскверняется святая религия и кощунственно, бесстыдно и более чем непристойно попираются святое учение и обряды. Разве законы, преследующие сексуальную распущенность, теряют свою силу, когда подобные оргии разыгрываются под покровом так называемого «прогрессизма»? Католическая общественность возмущена и ожидает, что надлежащие учреждения не уклонятся от выполнения своего прямого долга.

И в тот же день независимый «Глашатай» напечатал нижеследующую информацию:

ИЗ ПАТОЛОГИИ НАШЕЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ

Как сообщает вчерашняя «Хоругвь», в роскошной квартире пана Йозефа Голоушека собирается компания его политических единомышленников, чтобы «развлекаться» и... совещаться при тщательно завешенных окнах! По сведениям «Хоругви», недавно дело дошло до особенно бурных сцен, был слышен грохот переворачиваемой мебели, а возможно, даже и выстрелы. Теперь мы понимаем, почему господа из оппозиционного лагеря вводят своих читателей в заблуждение низкими и яростными нападками на все и вся: они хотят отвлечь внимание общественности от самих себя, зная, что за ними водятся грешки и что небу будет жарко, как только их темные делишки станут достоянием гласности. Кстати, было бы небезынтересно узнать, где берет пан Голоушек денежки для своих политических оргий? Может быть, они завелись у него потому, что некогда он был в своей партии членом комитета по увеселительным мероприятиям?!? Заметим, что однажды мы видели его в обществе сенатора В. и министра З. Судя по одному этому, уже сейчас можно сказать, что в афере замешан не только пан Голоушек, что последствия ее, как совершенно справедливо констатирует «Хоругвь», будут самыми серьезными.

Когда Йозеф Голоушек прочел все это, он почувствовал, что в горле у него встал какой-то отвратительный ком. Он подошел к окну, но тут ему почудилось, что все прохожие как-то странно оглядываются на его дом. И он решил сказаться на службе больным. После полудня пришла его экономка, вся распухшая от слез, и объявила, что берет расчет и что в доме, где творятся такие вещи, она служить не станет. Уже с сегодняшнего вечера ноги ее больше здесь не будет.

— Послушайте, Мери,— возразил пан Голоушек,— не делайте глупостей. Ну скажите сами, был у меня в декабре кто-нибудь? Впускали вы кого-нибудь в квартиру? Был тут слышен душераздирающий крик? Скажите, странная вы личность, был или не был?

— Так ведь в газетах написано,— ответила странная личность, всхлипывая.— А я тут не останусь и до вечера!

— Гром вас разрази! — не выдержал пан Голоушек.— Послушайте, Мери, вы у меня уже три года. Вы знаете, что я каждый день после полудня сплю? А потом в половине пятого иду на прогулку? Ведь так? А в восемь возвращаюсь ужинать, правда? Вы отпираете всем, кто позвонит. Так скажите на милость, был тут вообще кто-нибудь? Слышали вы хоть раз какой-нибудь шум? Да или нет?

— Так ведь в газетах же написано,— разревелась Мери.— Господи Иисусе, не стану я служить в доме, где убивают и насилуют. Я, милостивый пан, не из таковских... Я бедная женщина, но честь свою соблюсти умею, это уж точно. Обо мне никто худого слова не скажет! Ведь меня теперь каждый спрашивает, не была ли я при этом! Срам-то какой! — и она завыла в голос.

— Ради всего святого, не кричите так,— испуганно воскликнул пан Голоушек.— Мери, вы же сами можете засвидетельствовать, что тут никого не было! Вы можете кому угодно доказать, что во всем этом нет ни словечка правды.

— Да ведь во всех газетах пропечатано,— рыдала Мери.— Господи Иисусе Христе, что бы сказала моя покойная матушка! Нет, нет, я не останусь здесь ни минуты!— выкрикивала она в отчаянии.— Как бог свят, лучше пойду у людей милостыню просить, чем служить в таком притоне!

— Убирайтесь! — взревел наконец пан Голоушек и указал ей на дверь. В эту минуту он решил, что так дело не оставит, сел к столу и исписал несколько страниц.

3

На следующий день в «Хоругви» было напечатано:

СКАНДАЛЬНАЯ АФЕРА ГОЛОУШЕКА

Йозеф Голоушек извлек на свет... параграф 19. Свидетельствует уволенная экономка! Дальнейшие поразительные подробности!

Пан Йозеф Голоушек прислал нам «опровержение» согласно § 19 австрийского имперского закона о печати:

«Неправда, что в роскошном особняке под номером 171 чья-то рука опустила на окнах шторы, чтобы непрошеный глаз не мог подсмотреть, что за ними происходит, поскольку правда заключается в том, что в доме под номером 171 никакая рука штор не опускала по той простой причине, что в окнах дома 171 вовсе нет штор.

Неправда, что примерно через полчаса тихую улицу огласил страшный вопль, поскольку правда заключается в том, что никакого вопля из дома номер 171 не раздавалось. Точно так же неправда, что потом можно было услышать, как несколько голосов о чем-то возбужденно и резко спорили, поскольку правда заключается в том, что в доме 171 никакого спора не было.

Неправда, что до самой ночи никто из таинственного дома не выходил, поскольку правда заключается в том, что Йозеф Голоушек вышел из дому в половине пятого. Неправда, что с наступлением темноты всем особам, которые являлись прямыми или косвенными участниками этого загадочного происшествия, удалось скрыться, поскольку правда заключается в том, что никому не требовалось скрываться, ибо никакого загадочного происшествия в доме номер 171 вообще не происходило».

Помещаем сие неслыханное «опровержение», опирающееся к тому же на устаревший, направленный к удушению всяческой свободы печати § 19, хотя мы и не обязаны были делать это, так как «опровержение» пана Голоушека не соответствует закону, ибо он опровергает вещи, утверждать которые нам и в голову не приходило. Мы вовсе не собираемся утверждать ни того, что в доме под номером 171 на окнах есть шторы, ни что в нем раздался страшный вопль. Мы могли бы преспокойно бросить «опровержение» пана Голоушека в мусорную корзину, если бы с первого взгляда на него не становилось очевидным: так не отвечает человек, который говорит правду и *которому нечего*

скрывать!! Разумеется, пан Голоушек ни словом не обмолвился о том, что же он делал дома, а, изворачиваясь, судорожно хватается за такие ничтожные мелочи, как тот факт, что на его окнах нет штор. Совершенно верно, штор там нет. Но зато есть *ставни!* А за этими ставнями можно чувствовать себя в еще большей «безопасности», чем за спущенными шторами! Пан Голоушек заявляет, что в половине пятого вышел из дому, но забывает сказать нам, *куда* он направлялся с такой явной поспешностью! Любой здравомыслящий читатель и сам видит, что сим «опровержением» пан Голоушек сослужил себе плохую службу!

ПОКАЗАНИЯ ГЛАВНОЙ СВИДЕТЕЛЬНИЦЫ!

Йозеф Голоушек изобличен!

В последний момент перед сдачей в набор этого номера нам удалось выяснить, что Йозеф Голоушек

грубо выгнал на улицу

старую, верой и правдой прослужившую ему свыше тридцати лет экономку, девицу Марию Малу, ибо, несмотря на все его угрозы и даже попытки применить силу, она

отказалась лжесвидетельствовать

в его пользу и подтвердить, что в доме ее «высокочтимого» кормильца не совершалось преступных политических махинаций и противных человеческой природе оргий! Наш корреспондент тотчас же навестил

девицу Марию Малу

и увидел пожилую седовласую женщину, лицо которой до сих пор хранит следы былой красоты, хотя в тот момент оно было искажено горьким плачем и *покрыто несчетным множеством синяков* — следов зверских побоев Голоушека. Задыхаясь от рыданий, она заявила нашему корреспонденту, что ноги ее больше не будет *в таком бардаке*, как особняк пана Голоушека. С ужасом отказалась она отвечать на вопросы о подробностях того, чему была свидетельницей, и со слезами на глазах *благодарила нашу печать*, вызволившую ее из этого *логова безбожников*. Ввиду высокой интеллигентности несчастной старушки, наша редакция сочла возможным принять ее на службу

в качестве разносчицы газет

для обслуживания наших новых абонентов. *Приобретая для нашей газеты новых подписчиков, вы поддержите эту жертву политического и морального скотства наших противников.* Взносы высокоуважаемых благотворителей в пользу пострадавшей принимает редакция нашей газеты.

Обзор печати — сенсационные разоблачения на страницах «Обозрения» и «Глашатая»

Вчерашнее католическое «Обозрение» полностью подтверждает нашу позавчерашнюю информацию о скандальной афере Голоушека и отмечает, что этим уже заинялась прокуратура. По сведениям «Обозрения», в квартире Голоушека дело дошло до неслыханных нарушений нравственности, более того — до посягательств на человеческую жизнь. «Обозрение» дает понять, что все происходило под декорумом так называемой Черной Мессы, в чем, разумеется, нужно усматривать прямое и преступное богохульство. А если это так, то мы с удивленнем вопрошаем: возможно ли, чтобы подобные распутники преспокойно расхаживали по городу, цинически насмехаясь над попранной ими справедливостью? Или, может быть, их охраняют от суда политические мандаты? Как сообщает «Обозрение», в самых широких народных слоях возникает брожение, последствия которого невозможно предусмотреть.

Вчерашний независимый «Глашатай» также получил из самых достоверных источников подтверждение наших первоначальных сообщений и констатирует, что в политических оргиях у Голоушека замешаны сенатор В. и бывший министр З. Возможно ли пасть ниже! Как отмечает «Глашатай», в квартире Голоушека происходили политические совещания, во время которых имела место стрельба из автоматического оружия! Не исключено, что ведутся приготовления к мятежному заговору, а может быть — и к покушениям на наших наиболее выдающихся политических деятелей! «Глашатай» за-

дает вопрос: откуда располагает пан Голоушек тайными фондами для покупки оружия и содержания разветвленной подпольной организации? Ответ, видимо, прост: пан Голоушек в свое время распоряжался определенными суммами, предназначенными для благотворительных целей.

САТИРИЧЕСКИЙ УГОЛОК

Пепика Голоушека
За ушко — да на солнышко!
Аристофан

В тот же день «Обозрение» напечатало передовицу о неистовствах безбожников и мексиканцев, о преследовании святой церкви, о позорном распутстве, которое совершается чуть ли не с благословения властей; передовая оканчивалась словами:

> Наша партия уже принимает меры, чтобы католическая религия была ограждена от беззастенчивых оскорблений, а общественная мораль не осквернялась слюною и ядом гиен. Наш депутатский клуб занят обсуждением официального запроса правительству относительно мер охраны чести и жизни верующих. С этим запросом представители нашей партии предполагают выступить на ближайшем же заседании парламента. Fiat institutia *, как говорил святой Амбросий.

Кроме того, «Обозрение» поместило следующую хроникальную заметку:

> Пан Йозеф Голоушек прислал нам опровержение со ссылкой на § 19 закона о печати, которое мы вышвырнули в мусорную корзину, во-первых, потому, что оно доставлено нам уже после того, как этот номер был сверстан, и, во-вторых, потому, что оно не отвечает требованиям закона. Напоминаем читателям, что на основании § 19 можно опровергнуть и передернуть любую истину, будь она даже полностью доказана. Порядочный, сознающий свою невиновность человек никогда не станет прятаться за спасительный § 19, а, напротив, сам потребует от прокуратуры расследования выдвинутых против него обвинений. На это, по понятным причинам, пан Голоушек не осмеливается. Наши читатели знают, что честно исполняющего свою трудную работу журналиста не нужно заставлять быть правдивым с помощью § 19, поскольку он и сам всегда добровольно и самоотверженно служит правде. В истинных интересах общества давно следовало бы внести в пресловутый § 19 оговорку, что на органы правящих партий он не распространяется.

И наконец «Глашатай» напечатал нижеследующее «Письмо нашего читателя:

Слава богу, что в нашем местечке теперь новые фонари. Мы уже знаем, кто на них будет висеть. А propos, не тот ли это Голоушек, что украл в Новом Быджове кашфас? Так их! Клеймите носатых гомосексуалистов и гуманистов, нам известно, откуда они получают свои кровавые денежки. Вот для чего порядочный чешский парикмахер должен платить грабительские налоги! Ничего, выйдут на свет божий еще и другие делишки, и тогда у некоторых панов пройдет охота ругать меня за то, что я умею устраиваться. Об этом Голоушеке вы написали лучше всех остальных газет. Рубите правдуматку!

Ваш Читатель

4

Следующий день нужно признать относительно спокойным. «Хоругвь» поместила на первой странице такое сообщение:

Клуб депутатов нижней палаты и сенаторов от нашей партии вчера в течение трех часов обсуждал вопрос о скандальной афере Йозефа Голоушека. Поскольку сообщения о ней до сих пор не были официально опровергнуты, единогласно решено выразить

* Да будут приняты постановления *(лат.)*.

публичное возмущение тем фактом, что, по сведениям из газет, готовилось покушение на наших виднейших политических деятелей, а следовательно,— в этом не может быть никаких сомнений — и на дорогого вождя нашей партии, коему клуб выразил свою преданнейшую любовь и благодарность за его недюжинные заслуги перед самыми различными слоями народа. Клуб принял решение подать правительству официальный запрос, были ли приняты меры, обеспечивающие безопасность его особы, и внести проект закона, по которому каждый, кто когда-либо в чем-либо злоумышлял или будет злоумышлять против уважаемого председателя нашей партии, привлекается к ответственности. Закон этот должен иметь обратную силу вплоть до начала политической и общенациональной деятельности нашего вождя (1888 год).

СКАНДАЛЬНАЯ АФЕРА ГОЛОУШЕКА

Вчерашняя печать сообщила подробности о преступном заговоре в доме Голоушека. Как удалось установить «Обозрению», клуб депутатов нижней палаты и сенаторов католических партий предполагает подать на чрезвычайном заседании парламента, которое, очевидно, будет созвано в ближайшее время, официальный запрос правительству. К столице уже стягиваются жандармские части и, по всей вероятности, дело дойдет до массовых арестов. Из достоверных источников получены сведения, что отдельные расквартированные в казармах полки приведены в боевую готовность.

Испанская газета «Маньяна» сообщает, со слов своего пражского корреспондента, что Йозеф Голоушек арестован по подозрению в растрате и содомии. Подтверждений этого известия вплоть до выхода сего номера не поступило. Издающаяся в Болонье «Ресто дель Карлино» получила сведения, будто к скандальной афере Голоушека причастна широко разветвленная сеть большевистской агентуры и будто обнаружены нити заговора, ставящего целью покушение на жизнь Вождя! Правда, пока еще не совсем ясно, идет ли речь о покушении на Муссолини или на дорогого вождя нашей партии. Общественность требует, чтобы министр иностранных дел выступил с безотлагательным разъяснением, насколько эти сообщения обоснованны.

Девица Мария Мала просила нас напечатать, что она была на службе у пана Голоушека вовсе не свыше тридцати лет, а лишь три года, причем необходимо отметить, что отроду ей всего тридцать шесть лет. Судьба этой юной жертвы политического заговора Голоушека возбудила всеобщий интерес нашей великодушной публики. Сумма пожертвований в ее пользу достигла уже 47 крон 60 геллеров. Поступило также семь пар поношенной обуви и множество брачных предложений. Выражаем всем высокочтимым пожертвователям благодарность.

Пан сенатор В. просил нас сообщить, что 17 декабря он не был в квартире пана Голоушека, поскольку весь декабрь провел на Ривьере. С удовольствием выполняем его просьбу в интересах правды, которой наша газета всегда честно служит. Однако позволительно будет задать вопрос: кто же был в тот день у пана Голоушека? Разумеется, сам пан Голоушек трусливо промолчал — как, впрочем, молчал и до сих пор!

«Обозрение» в этот день ограничилось всего несколькими строками:

> Вчерашний «Глашатай» утверждает, что в скандальной афере Голоушека замешаны видные политические деятели, такие, как бывший министр З., сенатор В. и многие другие лица, чьи имена в осведомленных кругах произносятся лишь шепотом. Есть основания предполагать, вопреки всем лихорадочным попыткам еврейских и масонских кругов замять дело, что эта безобразная оргия разрастется до значения аферы общегосударственного масштаба. Далее, как сообщает «Хоругвь», Йозеф Голоушек истязал, а затем спустил с лестницы престарелую Марию Малу из уважаемой католической семьи, после того как безрезультатно пытался вынудить ее лжесвидетельствовать в свою пользу. Бедная старушка была отвезена к Братьям милосердия, где в настоящее время борется со смертью. Утверждение, что Мария Мала служит в «Хоругви» разносчицей газет, не соответствует действительности, поскольку она является давней и верной сторонницей нашей партии. Возмутительное поведение полиции, до сих пор не арестовавшей преступника, станет предметом обсуждения на ближайшем парламентском заседании.

Наконец, в этот относительно спокойный день, в газете «Вольная свобода» был напечатан первый ответ Йозефа Голоушека. Накануне он потел над ним с утра до ночи, стараясь, чтобы ответ вышел как мож-

но более кратким и одновременно абсолютно ясным. Поэтому Голоушек не дал выхода всему, что так и просилось на язык, и написал только следующее:

ОТВЕТ ПОДВЕРГШЕГОСЯ НАПАДКАМ

Уже в течение нескольких дней я являюсь мишенью анонимных выпадов, которые вопреки всем общепринятым установлениям затрагивают мою частную жизнь. Не знаю даже, в чем, собственно, меня обвиняют. Если судить по сообщениям газет, то 17 декабря пополудни я в своей квартире при завешенных окнах совершил убийство, развратничал, богохульствовал, принял участие в организации вооруженного заговора и подготовке покушения на политического лидера и был замешан еще бог ведает в каких преступлениях. Между тем, чтобы раз и навсегда положить конец этим фантастическим вымыслам, мною может быть доказано, что 17 декабря в своем доме, под номером 171, я с трех до четырех часов спал на диване после утомительной дневной работы, и окна при этом ничем не были завешены, никаких воплей или криков в моей квартире не раздавалось, что может засвидетельствовать мой сосед пан Ян Вондрачек, торговец рыбой. С половины пятого до половины седьмого я, согласно своему каждодневному обычаю, прогуливался в городском парке, что без труда подтвердят лица, которых я встретил и с которыми здоровался: пан старший советник Шток, пан Артур Тауссиг, редактор Славик и др. С половины седьмого до восьми я был в «Общественном кафе», где играл в домино с паном Костомлатским, учителем, паном Гуго Ледерером, комиссионером, паном Рокосом и другими. В восемь часов я, по своему обыкновению, раскланялся и пошел домой ужинать, часть пути — в сопровождении пана Рокоса. Это все, что я делал 17 декабря. Дома в течение всего дня я никого не принимал и ни с кем не разговаривал. Не припомню, чтобы я в тот день был еще где-то... Пусть анонимные газетные авторы простят мне, но хотелось бы добавить, что я обращаюсь к общественности с горькой жалобой на их грубое и необоснованное вмешательство в мою частную жизнь. Надеюсь, этим все достаточно объяснено.

Йозеф Голоушек

Читая этот ответ, люди качали головами и говорили: «Вот что я вам скажу: уж больно невразумительно. В том, что пишут об этой афере, все же, видимо, есть доля правды. Официант, принесите мне «Хоругвь» и «Обозрение»! Я всегда говорил: у нас сплошная коррупция и грабеж. Что? У вас нет больше красного перца? Да это скандал! Черт подери, ну и времена настали».

5

Вечером того же дня вышел специальный экстренный выпуск «Хоругви» со следующим текстом:

СКАНДАЛЬНАЯ АФЕРА ГОЛОУШЕКА

Наконец-то Голоушек осмелился отвечать! Трусливые увертки и отговорки. Хитроумное «алиби» Голоушека. Его виновность бросается в глаза. Страшное признание обвиняемого!!

Когда мы предали гласности тщательно проверенные сведения о неслыханной афере Йозефа Голоушека, нам и в голову не приходило, что этот индивидуум наберется нахальства опубликовать ответ на наши обвинения! Мы даже не могли себе представить, что найдется орган, который не постесняется напечатать на своих страницах такую

трусливую ложь, такое малодушное выкручивание, до какого способны унизиться лишь негодяи, пойманные in flagranti *. Но подобная газета нашлась! Разумеется, это «Вольная свобода», известный своим низкопробным враньем жалкий листок, не гнушающийся никакими инсинуациями против нашей печати и нашей партии. Какое страшное свидетельство *морального упадка и вырождения* либеральной прессы! Да, слава богу, что ты спишь, Гавличек **, в своей могилке... Но вернемся к «ответу» пана Голоушека. Бросающаяся в глаза беспомощность и невиятность этого «ответа» невольно выдают страх, охвативший преступника после наших разоблачений! Только в конце своего «ответа» он вдруг обрел храбрость и выступил с подстрекательствамн против нас, униженно клянча, чтобы общественность защитила его «частную жизнь» от «вмешательства журналистов». Уаы, испуганно кудахтающий паи Голоушек поведал о тайиах своей «частной жизни» значительно больше, чем этого ему хотелось...

Старая, как мир, уловка! Пойманный с поличным вор разыгрывает невинного младенца. Пан Голоушек лицемерно провозглашает, что «не поннмает даже, в чем его, собственио, обвиияют». Может быть, иам иужно еще весомее сказать об этом? Даже воробьи на крышах и те знают, в чем виновен пан Голоушек, только он сам не знает, потому что не хочет знать! Иначе ему пришлось бы кое-что объяснить...

Итак, пан Голоушек утверждает: «Мною может быть доказано, что 17 декабря я с трех до четырех часов спал иа диваие после утомительной дневной работы, и окна при этом ничем не были завешены». И тут мы спрашиваем прямо н открыто:

1. Как может пан Голоушек доказать, что он спал?

2. Почему пан Голоушек не осмеливается сказать, с кем он спал? А именно это в высшей степени и по праву интересует нашу обществеиность!

3. О какой «утомительной работе» идет речь, если после нее пан Голоушек вдруг почувствовал такую настоятельную потребность крепко засиуть, что даже не завесил окна?

4. Коль скоро паи Голоушек спал, то откуда ои может зиать, что в это время ие было никакого крика или шума? Читатель видит, в какие серьезные противоречия впадает пан Голоушек!

5. Незначительную ошибку отиосительно спущенной шторы мы уже исчерпывающим образом объяснили. Весьма подозрительное впечатление производит тот факт, что пан Голоушек хватается за эту соломинку!

Далее пан Голоушек пускается в многословиые разъяснения: «С половины пятого до половины седьмого я прогуливался в городском парке, что без труда подтвердят лица, которых я встретил и с которыми здоровался: пан старший советник Шток, пан Артур Таусснг, редактор Славик и др.» Пусть пан Голоушек постарается ответить иа следующне вопросы:

1. Что же в таком случае он делал с четырех до половины пятого? За такое время может произойти... очень многое!

2. Кто эти «и др.», которых ои встретил во время прогулки и чьн имена стыдливо замалчивает? Почему он их ие называет? Вероятно, у него имеются на то достаточно веские основания!

3. Как могло случиться, что он точно помнит, кого встретил случайно шесть недель назад во время своей «ежедневной прогулки»? Такой подозрительной памятью обычно обладают люди, по тем или иным причннам... настоятельно нуждающиеся в алиби!

4. Почему паи Голоушек выходит на прогулку... лишь в сумерки? И что, собственно, он делает в городском парке в половиие седьмого?

5. Откуда паи Ян Воидрачек может зиать, что происходило в доме пана Голоушека с трех до четырех? Неужели все это время 17 декабря (температура в тот день, как мы устаноаили, была 3 градуса ииже нуля) ои находился... иа улице? Предупреждаем этого свидетеля, что за ложные показаиия закон строго карает!

Далее, пан Голоушек полагает необходимым заявить: «С половины седьмого до восьми я был в «Общественном кафе», где играл в домино с паном Костомлатскнм, учителем, паном Гуго Ледерером, комиссионером, паном Рокосом и другими». В связи с этим также возникает несколько вопросов:

1. Если до половины седьмого пан Голоушек был в городском парке, то как в той же половине седьмого ои мог очутиться в «Общественном кафе», находящемся по крайней мере в десяти минутах ходьбы от парка? Мы вндим, как шаг за шагом паи Голоушек запутывается в своей лжи!

2. Действительио ли вышеназваиные господа играли в домиио, сидя в отдельиом кабинете кафе? Весьма в этом сомиеваемся, поскольку в домино на большие деиьги обычно ие играют!

3. Кто были те, чьи имена пан Голоушек вновь предпочитает не оглашать, хотя, как выясняется, речь идет о людях достаточно известных?

---

* На месте преступления *(лат.)*.

** Карел Гавличек-Боровский (1821—1856) — выдающийся чешский политическнй деятель, поэт и журналист. «Спи, Гавличек, в своей могилке» — слова народной песни.

И далее: «В восемь часов я, по своему обыкиовению, расклаиялся и пошел домой, часть пути — в сопровождеиии паиа Рокоса». Мы хотели бы в связи с этим задать следующие вопросы:

1. Было ли это в восемь часов вечера или... в восемь утра?
2. Вел и поддерживал пан Рокос пана Голоушека... или наоборот?
3. Не тот ли это пан Рокос, у которого есть племяиник... коммуиист?!?

Совершенно очевидно, что ии одио слово «ответа» паиа Голоушека ие выдерживает объективной критики! Но, видимо, понимая, что нельзя же все подряд отрицать, и пребывая в явной растерянности, пан Голоушек неожиданно

делает признания!

«Я в тот день был еше где-то»,— пишет он сам, выдавая таким образом то, что мы напрасно пытались вытянуть нз него силой! А в другом месте, оказавшись в полном тупике, делает следующее

страшное признание:

«17 декабря пополудни я в своей квартире при завешенных окнах совершил убийство, развратничал, богохульствовал, принял участие в организации вооруженного заговора и подготовке покушения на политического лидера!»

Это ipsissima verba * Йозефа Голоушека! И после этого он еще просит защиты от вмешательства в его «частную жизнь»! Не знаем, чему больше удивляться: трусливости или цинизму его ответа! Невольное призиание Голоушека полностью подтверждает правильность наших сведеиий. И именно не кто иной, как печать нашей партии, вскрыла этот гнойный нарыв, чем блестяще оправдывается девиз нашей газеты: Правда, одна лишь правда, только правда — и все это ради отчизны! Дальнейшую судьбу дела Йозефа Голоушека мы препоручаем Правосудию.

6

На другой день «Обозрение», частично процитировав экстренный выпуск «Хоругви», добавляло от себя:

Из признаний Голоушека явствует, что в его ужасающей афере замешан целый ряд личностей. Из тех, кого он назвал сам, обратим особое внимание на имена Артура Тауссига и Гуго Ледерера и вспомним, что с самого начала мы отмечали ритуальный иудейский характер разыгрывающихся в доме Голоушека непристойных сцен. Редактор Славик, также немало скомпрометированный признанием Голоушека, является членом партии социалистов и во времена Австро-Венгрии был осужден за антимилитаристские козни. Земскому школьному совету настоятельно предлагаем обратить особое внимание на имя учителя Костомлатского, поскольку сей «уважаемый» воспитатель юношества, по словам Голоушека, проводит ночи за игрой в запрещенные азартные игры и участвует в подобных оргиях. Разве можно доверять таким личностям заботу о нежных детских душах? Следует ли после этого удивляться, что преступность растет, как белена в гнилом колодце!

Пан старший советник Шток, напротив, уполномочил нас заявить, что не поддерживал и никогда не собирался поддерживать никаких дружеских связей с Йозефом Голоушеком и что 17 декабря его не встречал и с ним не разговаривал. Таким образом все хитроумно возведенное здание «алиби» Голоушека рушится, как карточный домик. Следующий компаньон Голоушека большевик Рокос когда-то уже имел дело с судом, куда его вызывали в качестве свидетеля по какой-то тяжбе. Одним свидетельством больше или меньше — разве для людей подобного рода это не безразлично? Стоит ли потом удивляться, что ложные присяги множатся у нас, как грибы после дождя! Что же касается Яна Вондрачека, то один из его приказчиков был уже в позапрошлом году осужден за насилие, совершенное в пьяном виде. Наш народ сам сделает выводы о надежности этих свидетелей, которые мечтают уличить печать правящих партий в какой-либо, пусть даже и непредумышленной неточности.

Одновременно сообщаем, что Мария Мала, жертва зверских истязаний Голоушека, умерла вчера у Братьев милосердия, так и не придя в сознание. Как нам удалось выяснить, в течение долгих лет она собирала милостыню на паперти собора св. Томаша и последние полгода пролежала, прикованная к постели. Похороны будут совершены за счет Погребального братства блаженной Девы Анежки.

Клуб депутатов нижней палаты и сенаторов от нашей партии постановил вчера подать министру иностранных дел срочный запрос: пусть обнародует, что

* Собственные слова *(лат.)*.

ему известно об участии Голоушека в покушении на Муссолини, а также насколько значительна его роль в организации большевистского шпионажа.

Как нам удалось установить, положение министра иностранных дел ввиду последних событий серьезно пошатнулось.

«Глашатай» также процитировал экстренный выпуск «Хоругви» и заметил от себя:

Старший советник Шток, один из «свидетелей» Голоушека, был известен во время войны своими черно-желтыми, проавстрийскими настроениями; тогда он, разумеется, подписывался «Stock» * и свирепо преследовал чешских патриотов и всех прогрессивных людей за то, что они, мол, прячут дома сало. Главным свидетелем Голоушека является владелец рыбной лавки Ян Вондрачек, о котором нам сообщили, что его рыба воняет тиной. Может быть, это грязная тина аферы Голоушека?! Остальные соучастники Голоушека — это сплошь большевистский и еврейский сброд да в придачу несколько немцев и монархистов, которые за гнусные деньги служат врагам нашей нации. То ли еще мы увидим, когда всплывут остальные имена, которые Голоушек по-прежнему тщательно скрывает! Вероятно, он надеется, что его молчание... будет хорошо оплачено! Во всяком случае бросающееся в глаза равнодушие всех государственных органов к скандальной афере Голоушека свидетельствует о том, что «сверху» было дано указание замять дело, насколько это еще возможно. Но мы неуклонно стоим на страже общественных интересов! Cavean! consules! **.

— Послушайте,— спросил приехавший из Америки чех, прочтя все это за столиком в кафе,— эти газеты... они что... о... оппозиционные?

— Что вы! — возразил чех отечественный.— Это органы правящих партий.

— Да ну,— удивился американский чех,— зачем же они... э... как это... are they agitating...*** бьют по властям и государственным учреждениям?

— Это уж у нас такая привычка,— поучал его отечественный чех.

— Гм,— раздумывал американец,— а почему у вас не линчуют? Знаете, обмазать дегтем, обвалять в пуху — и на фонарный столб. Знаете?

— Нет,— сказал чех с достоинством.— Мы цивилизованная нация.

— Да ну! — искренне удивился американец.

На события откликнулся и «Красный день»:

Чем развлекается буржуазия. Буржуазные газеты «раскрыли» еще одну аферу в кругах «избранного общества». Они упрекают буржуа Голоушека в том, что тот в своей роскошной квартире развлекался с девочками и за бокалом шампанского показывал разным политикам и министрам из правых партий пикантные спектакли, которые в народе принято называть попросту свинством. Оскорбленный в своем целомудрии Голоушек защищается. Мол, он тут вовсе ни при чем. Он совершенно невинно сделал ам-ам и попил «молочка»; обессиленный этой тяжкой работой, он отправился бай-бай на диванчик и сладко спал до самого вечера. Потом вышел погулять на улицу, чтобы протрясти свое толстое брюхо, заглянул в отдельный кабинет кафе, сыграл там невинную партию в картишки и, освежившись таким образом, опять возвратился домой, чтобы жрать, нашиваться и дрыхнуть, как пай-мальчик. И этим всем буржуи еще гордятся, как верхом добродетели, в то время как миллионы бедняков своим каторжным трудом обеспечивают их благополучие. Берегитесь, Голоушеки, новый мир сведет с вами счеты незамедлительно и бесповоротно!

В тот день о скандальной афере Голоушека поведали также статьи и хроникальные заметки в 19 чешских ежедневных газетах, 178 местных еженедельниках и во всех крупных газетах мира. Что касается заграничной печати, то, согласно ее сообщениям, Йозеф Голоушек был в 13 случаях растерзан разъяренной толпой, в 2 случаях заживо сожжен в своем доме и в 51 случае посажен за решетку. Из чего явствует, что на свете до сих пор не умерло чувство справедливости.

---

* Окончание фамилии «ск», вместо «к».— намек на австро-немецкое происхождение ее владельца.

** Пусть консулы будут бдительны (*лат.*).

*** Так волнуются (*англ.*).

7

Очередной номер «Хоругви» гласил:

СКАНДАЛЬНАЯ АФЕРА ГОЛОУШЕКА

Изобличенный Голоушек... молчит!

Истинное лицо его собутыльников

Ком грязи растет!

Как мы и предполагали, Голоушек не способен ни словом возразить на наши уничтожающие разоблачения!

Молчит, словно воды в рот набрал,

и особенно упорно хранит тайну о том, кого из неназванных прежде лиц «встретил» во время своей таинственной ночной прогулки в парке, а также — где он еще был в тот день, где провел ночь с 17 на 18 декабря и т. д. и т. п. Все ранее применявшиеся им увертки при проверке оказались бесстыдной ложью; зато обнаруживаются

неожиданные подробности,

касающиеся облика его собутыльников, имена которых он в замешательстве выболтал. Старший советник Шток (фамилия пишется через «ск»)— известный черно-желтый австрофил, во время войны приговоривший к повешению не одну тысячу чехов по ложному обвинению в государственной измене! Владелец лавки Вондрачек был осужден за насилие, совершенное в пьяном виде! Редактор Славик — завзятый большевик и антимилитарист! Артур Таусснг (разумеется, еврей) вызывает сильное подозрение своими частыми поездками в Германию! Учитель Костомлатский находится в каждодневном общении с несовершеннолетними и, как было замечено, заставляет детей приносить тетради к себе на дом! Не исключено, что Гуго Ледерер (также еврей) состоит в родстве с известным венгерским убийцей Ледерером! И, напротив, мы уполномочены заявить, что пан Рокос — наш давний подписчик и член нашей партии, вследствие чего находится вне всяких подозрений. Однако что же это, как не

самая низкая подлость

— запутать в сети своих интриг невинного человека лишь для того, чтобы замести следы настоящих виновников! С минуту на минуту ожидается, что раскроются имена

и других соучастников,

среди которых — можно утверждать заранее — будут почти все лидеры наших политических противников! Министр иностранных дел подаст в отставку сегодня или завтра.

Девица Мария Мала просит нас довести до сведения читателей, что — вопреки утверждениям «Обозрения» — никогда не собирала милостыню на паперти собора св. Томаша и не умерла, и по этой причине погребение ее сегодня не состоится: напротив, она оправилась от потрясения, вызванного злодейскими поступками Голоушека, и дала согласие занять место экономки в доме пана Алоиса Почепицкого, владельца рыбной лавки.

В тот же день «Обозрение» пишет:

Уточняем наше вчерашнее сообщение в том смысле, что пан Костомлатский, частный учитель пения, ныне уроков уже не дает. Долгие годы он был регентом хора в костеле св. Гавела и своей добропорядочностью снискал всеобщее уважение. Пан Алоис Рокос просит нас сообщить читателям, что он и большевик Рокос, замешанный в аферу Голоушека,— лица совершенно не тождественные и что ни в каких родственных связях они не состоят. Во всем же остальном, разумеется, наши предыдущие сообщения и наша точка зрения на аферу Голоушека остаются неизменными. Полагают, что позиция министра внутренних дел серьезно пошатнулась в связи с готовящейся интерпеляцией парламентских клубов правительственного большинства, а также в связи с тем, что на кресло министра внутренних дел по праву претендует наша партия.

Из «Глашатая» приводим следующую выдержку:

В своем «ответе» Голоушек осмелился протестовать против вмешательства анонимных авторов в его «частную жизнь». Наша пресса не нуждается в поучениях разных сомнительных личностей. Как будто мы и сами не знаем о неприкосновенности частной жизни каждого порядочного гражданина, неприкосновенности, которая гарантирована законом! Ну, а если кто-нибудь в своей «частной жизни» развлекается содомией или развращает несовершеннолетних? Если он подделывает деньги, изготовляет ручные бомбы или сжигает в печи разрезанные на куски человеческие трупы? В таких случаях безусловно святой долг журналиста, проникшего в тайное логово, извлечь на свет божий и заклеймить преступление, угрожающее безопасности человечества! Разыграв эту отвратительную сцену, Голоушек лишил себя права на последнюю каплю сочувствия и т. д. и т. п.

В тот же день «Вольная свобода» опубликовала письмо Яна Вондрачека, владельца рыбной лавки:

Нижеподписавшийся подтверждает, что 17 декабря в доме номер 171 ничего особенного не случилось, поскольку в этот день оный получил партию свежей рыбы к рождеству и укладывал ее в кадки перед упомянутым домом, в каковой никого не видел входящим, а, наоборот, из коего вышел, направляясь на прогулку, один лишь пан Голоушек, с которым оный и обменялся несколькими словами о погоде и дороговизне рыбы. Оный же не слыхал никакого вопля, за исключением того обстоятельства, что ученик пана Якуба Тмея, гастрономия, кофе и смешанные товары, дом номер 172, уронил бутыль с маринованными огурцами, за что тотчас был наказан, после чего я до шести часов наблюдал за укладкой рыбы, но ничего иного не произошло. Точно так же не соответствует действительности утверждение, будто моя рыба воняет тиной, поскольку мои уважаемые клиенты никогда на дурной запах не жаловались и, наоборот, обращались ко мне с доверием, поскольку оный торгует на одном и том же месте уже двадцать семь лет. Вот и все, что я имел сказать в интересах общественности.

С уважением

Ян Вондрачек, торговец рыбой

В том же выпуске «Вольной свободы» был помещен второй ответ Йозефа Голоушека, уже выдававший, нужно признаться, некоторое раздражение:

АНОНИМАМ ИЗ «ХОРУГВИ», «ОБОЗРЕНИЯ», «ГЛАШАТАЯ» И Т. П.

Господа, прикрываясь своей трусливой анонимностью, вы подвергаете меня самым низким нападкам. Требую, чтобы вы наконец поставили под написанным свое имя, как делаю это я, публично называя вас лжецами и клеветниками.

Мне нет надобности оправдываться в чем бы то ни было, ибо приводить доказательства — обязанность обвиняющей стороны. Тем не менее, чтобы оградить себя от жесточайшей травли, повторяю, что 17 декабря после краткого отдыха я выпил свой кофе, написал одно или два письма и отправился на прогулку, во время которой, помимо уже упомянутых мною лиц, встретил в какой-то мере знакомых мне помощника инспектора Котрбу, доктора Валяйногу, начальника отдела Горака и пани Шейногову — других уже не припомню. Вечер я провел в дружеской компании, где разговаривал также со священником Никличеком и сотрудником «Хоругви» Паржиком. Никого более я не встречал и ни с кем более не разговаривал. С восьми вечера я находился дома и слушал по радио «Травиату».

Господа, мне весьма неприятно, что я должен публично отчитываться в столь повседневных мелочах жизни. Настоятельно требую, чтобы вы привели, наконец, какие-либо доказательства того, что я делал что-либо иное, нежели то, что я утверждаю. В случае же, если подобные доказательства приведены не будут, я с полным основанием публично провозглашу вас злостными клеветниками и анонимными подстрекателями.

Йозеф Голоушек

Читая это, люди качали головами и говорили: «До чего разоряется! Сразу видать, сел в лужу. Ведь с самого начала говорили: что-то здесь есть! Куда ни глянь — всюду одно канальство. Ну скажите, было ли что-нибудь похожее при австрийцах?»

8

На другой день в «Хоругви» можно было прочесть:

СКАНДАЛЬНАЯ АФЕРА ГОЛОУШЕКА

Брань вместо ответа!
Снова ложь и увертки!
Попытки оплевать честных людей!
Хам и подлец!

Иными словами нельзя в порядочном обществе назвать человека, который, будучи по заслугам пригвожден к позорному столбу, вместо того чтобы защищаться,

неистово бранится и брызжет слюной,

оскорбляя всю чешскую прессу самыми вульгарными уличными выражениями, из коих наугад приведем наиболее мягкие: «низкие нападки, трусливая анонимность, лжецы, клеветники, жестокая травля, оградить свое спокойствие, мне весьма неприятно, настоятельно требую, злостные выдумщики, анонимные подстрекатели». Какой букет грубостей, оскорблений и просто хулиганских ругательств! Разумеется, бумага подлой, способной на любую мерзость и даже бандитскую выходку «Вольной свободы» все стерпит и не покраснеет от этого потока грязи, воияющей сточной канавой и тюремной камерой... Вот где мы видим нашего политического противника в его истинном обличье, во всем его «благородстве», какого устыдился бы последний бродяга и висельник! Кроме бессмысленных ругательств, за душой у этого подонка ничего не оказалось: он лопочет нечто совершенно противоположное тому, что пытался доказать раньше, запутывается во все новой и новой лжи и пытается запятнать грязью клеветы особ, которые и руки бы ему не подали, как, например, членов нашей редакции, авторов известных патриотических романов и книг для девиц пана Паржика, пана священника Никличека, пана начальника отдела Горака и многих других. Кого еще попытается затянуть в свое болото изрыгающий непотребную брань пан Голоушек? Стыдно смотреть, как он корчится в бессильной злобе, измышляя все новые и новые обстоятельства дела: он, видите ли, выпил свой кофе (!), написал одно или два письма (кому? Одно или все-таки два?), а с восьми вечера слушал по радио «Травиату» («Травиата» начинается в семь!); зато ни на один из наших вопросов он так и не отвечает, а с дерзостью опытного налетчика обрушивается на нас, начальственным тоном требуя, чтобы мы представили доказательства его гнусных злодеяний! Пыжась доказать свое «алиби», он называет имена четырех лиц, якобы встреченных им за время двухчасовой прогулки — мол, больше никто ему не повстречался!

Человек, которому не от кого прятаться, встретит за два часа сотни, а то и тысячи людей! Грубой бранью этот беспардонный лжец тщетно пытается возместить слабость своих доказательств...

В этот день под заголовком *«Клеветник хуже убийцы»* «Обозрение» напечатало:

> **Закон давно уже должен положить конец тому падению нравов, которое инспирируется определенной частью нашей прессы, обожающей сальности и пошлость. Вчерашняя «Вольная свобода», так сказать, поставила в этом отношении рекорд, окончательно запятнав чистый щит нашей журналистики: она сочла возможным опубликовать проклятия и ругань Йозефа Голоушека, которые вносят неслыханное хамство и наглость в методы, которыми пользуются люди, которые гордятся своим свободомыслием, которое процветает и на самых ответственных постах, в своих нападках на порядочную прессу. Чтобы не оскорбить слуха наших простых и неиспорченных читателей, мы воздерживаемся от цитирования непристойных ругательств Йозефа Голоушека. Ограничиваемся лишь на-**

стойчивым вопросом министру внутренних дел: к чему тогда существует у нас цензура печати и почему не были незамедлительно изъяты эти скотские выражения, вызывающие возмущение любого образованного человека?

Вчерашняя «Хоругвь» пытается поучать нас относительно наших репортерских обязанностей, утверждая, что Мария Мала не умерла и не была вчера достойным образом погребена. В наших руках оригинал свидетельства о смерти Марии Малой, рожденной в 1841 году в Горшове Тыне. Советуем «Хоругви» заметать перед собственным порогом!

«Глашатай» в этот же день опубликовал заметку, выразительно озаглавленную *«Хулиган»:*

Аферист и негодяй, которого наша газета изобличила в подлейших преступлениях, с бешенством невменяемого мстит теперь порядочной прессе, назвав наших виднейших, поседевших в неустанном служении отчизне и борьбе за правду журналистов трусливыми анонимами, лжецами и клеветниками! Эти грубые оскорбления мог, разумеется, опубликовать лишь такой дрянной, беспринципный и продажный листок, каким является «Вольная свобода». Наша пресса сделает из этого свои выводы и бескомпромиссно выступит против такой, с позволения сказать, печати, отравляющей своими миазмами общественную атмосферу. Как нам стало известно, этим вопросом уже занимается Синдикат журналистов. Пусть он выяснит еще, на какие деньги издается «Вольная свобода» и почему из ее редакции выжили Флориана Зедника, ныне сотрудника «Обозрения».

Пан Якуб Тмей просит нас довести до сведения читателей, что утверждение пана Яна Вондрачека, будто бы он, пан Тмей, награждает подзатыльниками и избивает своих учеников, является мерзкой политической инсинуацией, а также, что ученик, который 17 декабря разбил бутыль с маринованными огурцами, в скором времени был уволен за кражу орехов. Вот как выглядят защитники Голоушека в свете истины!

В ту бурную пору Йозеф Голоушек смог убедиться, кто его подлинные друзья. Это люди, которые не стараются избегать потерпевшего, а помогают ему участием и добрым советом.

— Послушайте,— обратился к нему один из таких людей.— Вы повели себя совершенно неправильно. Нужно было все эти нападки попросту игнорировать, понимаете?

— Знаете,— говорил другой,— я на вашем месте сразу подал бы на всех этих клеветников в суд. Вы все испортили тем, что стали с ними спорить. Это была большая ошибка.

— Дорогой мой, вам ни в чем не нужно было сознаваться,— считал необходимым заметить третий.— Всегда попадешь в ловушку, если начнешь подсказывать им, что ты делал. Нужно было сказать только: «Докажите!» — и больше ни словечка, понимаете? Вот как это делается! Не давать им в руки ни одного лишнего козыря!

— А я говорю, надо было смазать им просто по морде,— заявил четвертый. — Две-три пощечины — и дело с концом. А то, что вы там писали,— это сплошная сладкая водичка. Потому-то вы и прошляпили все.

— Нужно было отвечать им абсолютно корректно,— задним числом советовал пятый.— Тогда бы все порядочные люди были на вашей стороне. А так...

Короче говоря, пан Голоушек понял, что, как бы он ни защищался, он делал бы это из рук вон плохо и что каждый другой на его месте поступил бы иначе. Это огорчало его еще больше.

9

Назавтра самая крупная газета самой крупной чешской партии поместила такую поистине возвышающую душу проповедь:

В защиту журналистской чести

В последние дни наша общественность была взволнована известной аферой, которой мы до сих пор не уделяли внимания, будучи убеждены в том, что перед нашей прессой стоит множество гораздо более значительных проблем, чем подобные минутные сенсации. Мы не можем, однако, не высказать своего мнения по поводу формы и духа печатной полемики, ведущейся вокруг этой скандальной аферы. Допускаем, что и газеты, пытавшиеся установить факты, связанные с историей Йозефа Голоушека, порой могли впасть в определенные преувеличения, что вполне простительно и объясняется лишь всегдашней поспешностью журналистской работы, а также отсутствием в нужный момент необходимой информации, хотя мы ни в коей мере не собираемся утверждать, будто бы в этом направлении не было проявлено достаточно доброй воли. Впрочем, существует множество способов для исправления мелких неточностей, которые легко могут вкрасться и в изложение хорошо проверенных фактов. Однако в данном случае особа, которая сочла себя оскорбленной, вместо того, чтобы защитить свою честь перед судом, обрушилась на причастные к этому конфликту газеты в форме, выходящей за принятые рамки и — скажем без обиняков — грубой, ставя им в упрек ложь и анонимность. Тут мы хотели бы заметить, что несправедливо обвинять во лжи сверх головы загруженного тяжелой работой журналиста, когда речь может идти самое большее об ошибке, на которую следовало бы деликатно обратить его внимание. Знай читатель, с какими трудностями приходится сталкиваться журналисту в его служении истине, он с величайшим уважением смотрел бы на его самоотверженную деятельность, не дающую ему ни минутки отдыха, и понял бы, что пенсионное обеспечение престарелых журналистов — вопрос в высшей степени наболевший. Мы уверены, что наши политические круги имеют в связи с этим прискорбным эпизодом не преминут вознаградить достойный всяческого уважения труд наших журналистов срочным изданием закона об обеспечении их старости.

Столь же несправедливо упрекать нашего журналиста и в анонимности. Это не только доказательство его скромности, но и признак того, что он,— отодвигая собственную личность на второй план,— служит своей газете, своей партии, своим читателям, служит истине, родине и человечеству. Пусть тщеславные люди носятся со своим именем, девиз журналиста: все для газеты, ничего для себя! Поэтому порядочное общество с возмущением отвергает любые нападки на анонимность, понимая, что этим затрагивается честь всех журналистов!

«Хоругвь»: Сатирический уголок

Наш Голоушек — ай-ай-ай —
Всех бранит, как попугай.

Аристофан

«Обозрение»:

...изобличенный аферист и клеветник Йозеф Голоушек, не брезгающий жаргоном уголовников...

«Глашатай»:

...бросается в глаза, что одновременно с раскрытием позорной аферы Голоушека, неоднократно замешанного в различных денежных махинациях, появилось в обращении подозрительно много фальшивых денежных знаков стоимостью в двадцать крон...

«Хоругвь» днем позже:

...и наконец, как ядовитая змея, уполз в свою нору, прекрасно сознавая, что во мнении порядочного общества, по горло сытого отвратительными аферами, его дело проиграно окончательно.

Сенсационная афера

в художественно-промышленном банке!

Многотысячная недостача! Тайный фонд депутата М. Незадолго до сдачи этого номера в набор и т. д.

«Обозрение»:

...Личности вроде Голоушека нарушают спокойное течение нашей общественной жизни скандальными и пошлыми аферами.

«Глашатай»:

...как и скандальная афера Голоушека, немало подорвавшая нашу национальную репутацию. К чему в таком случае известное министерство отпускает столько миллионов на заграничную пропаганду? Или, быть может, эти деньги идут на иные цели?

Коррупция в Комитете по междугородней торговле

Как нам стало известно, у заведующего одним из секторов вышеназванного комитета поразительно красивая секретарша. У этой малютки в свою очередь имеется двоюродный брат, который совсем недавно был взят тем же официальным лицом на должность временно исполняющего обязанности подсобного рабочего, в то время как более квалифицированные претенденты были отвергнуты... и т. д.

Через день в «Хоругви» не было уже ни единой строки, касавшейся пана Голоушека. Ни строки и в «Обозрении». Ни строки в «Глашатае». Ибо тем временем разыгрался скандал с поставками пряжек для воинских ремней.

Читая газеты, пан Голоушек не верил собственным глазам. Когда он убедился, что действительно ни словом не упомянут, ему стало как-то грустно, словно чего-то не хватало.

Он чувствовал себя покинутым и вечером лег спать, даже не зажигая лампы.

10

В тот вечер на тротуаре под его окном стояли два гражданина и разговаривали о гриппе.

— Взгляните, у этого Голоушека даже свет не горит,— сказал один.— Возможно, у него тоже грипп.

— Дьявол его ведает,— отвечал другой,— что он там делает в темноте. Наверняка опять что-нибудь... этакое.

— Знаете,— продолжал первый,— я бы на его месте ей-богу повесился. Чем такой позор — лучше петля на шею. Я бы так и сделал.

— Вы правы,— согласился второй.— Впрочем, если бы он и повесился — невелика потеря.

Через минуту в редакции «Хоругви» зазвонил телефон и кто-то сообщил:

— Послушайте, только что я слышал, будто Голоушек повесился.

— Какой Голоушек? — спросил ночной редактор.

— Ну тот самый, что был замешан в афере,— ответил голос в трубке.

— Ага,— сказал ночной редактор.— Ну что же, хорошо.

Наутро в «Хоругви» появилась следующая заметка:

Сам себя осудил. Йозеф Голоушек, тот самый, что печально прославился своей скандальной аферой, вчера был найден у себя в квартире повесившимся. На столе он оставил письмо, в котором говорится, что на этот отчаянный поступок толкнули его угрызения совести. Покойный просит извинить его за грубые нападки на нашу прессу, тактично обратившую внимание в интересах истины на известные непристойности, которыми он запятнал свое некогда доброе имя. А ведь в былое время он был активным общественным деятелем и пользовался всеобщим уважением, пока не вступил в ряды наших заклятых политических противников. Вот печальный итог политической кампании, предпринятой нашими врагами! Труп Голоушека препровожден в морг для вскрытия.

«Обозрение» написало:

Конец безбожника. Вчера у себя на квартире повесился в припадке безумия Йозеф Голоушек, известный нашим читателям по одной скандальной афере. Как он жил, так и умер. Это новая жертва современного вольномыслия, которое потрясает все нравственные устои и находит свое логическое завершение в петле самоубийцы.

«Глашатай» сообщил:

Так это кончается. Пресловутый Йозеф Голоушек повесился вчера в собственном доме... голый, со вскрытыми венами и наполовину заживо сожженный на костре, который он сам развел под собой, выпив предварительно яду. Так он хотел спастись от Правосудия.

Вечером того же дня в редакцию «Хоругви» явился неизвестный посетитель и обратился к ночному редактору:

— Послушайте, ведь этот Голоушек, по-моему, вовсе не повесился. Я только что его встретил. Он покупал у колбасника окорок.

— Да что вы? — удивился редактор.— А каков он на ваш взгляд?

— Вполне приличный,— ответил неизвестный.— Жирку совсем малость. Видать, поросенок был совсем молоденький.

— Да я не про окорок,— буркнул редактор.— Я вас спрашиваю о Голоушеке.

— А, вы про него... Немного похудел, а в остальном... Придется вам, видно, опровергнуть сообщение о его смерти.

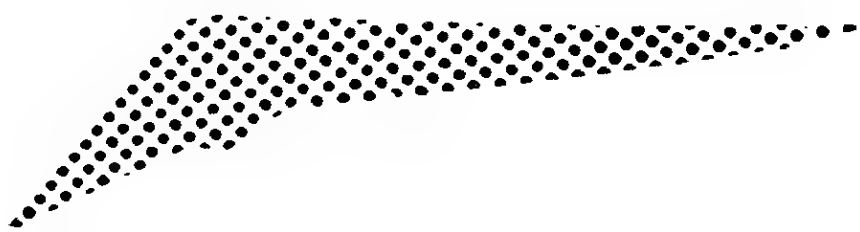
— Опровергнуть? Нам? — изумился редактор.— Милейший, видели вы когда-нибудь в газете опровержение собственного сообщения? Раз мы напечатали, что он повесился, значит повесился — и баста!

— Но он же не повесился,— возразил посетитель.

— Тем хуже для него,— пробормотал редактор.— Да что, мы так без конца и должны валандаться с этим проклятым аферистом? Повесился — так повесился, и черт с ним. Мы теперь заняты другими аферами. Слыхали про скандал в художественно-промышленном банке?

— А скажите, пожалуйста,— спросил после минутного молчания посетитель,— что там, собственно, было с этой аферой Голоушека?

— Как? — протянул редактор, и лицо его приняло многозначительное выражение.— Разве вы не знаете? Это, дорогой мой, было очень серьезное дело. Ведь Голоушека метили в комиссию по строительству новой школы! Должны мы были протолкнуть туда своего человека или нет? А вот вы прочтите, какая у нас завтра будет отличная статья — достанется министру на орехи!



ПЕТР БЕЗРУЧ

К столетию со дня рождения поэта

Есть писатели и поэты, которым путь к славе, путь в историю мировой литературы открыли не многочисленные тома собрания сочинений, а только одно произведение. И это произведение, по существу,—дело всей жизни писателя, с наибольшей полнотой выражающее сущность его творчества.

К таким писателям принадлежит и чешский поэт Петр Безруч (1867—1958), автор всемирно прославленных «Силезских песен».

На пороге XX столетия в чешском журнале «Час» появились стихи до той поры неизвестного читательской публике поэта Петра Безруча. Его своеобразный голос отчетливо выделился в мощном хоре чешской поэзии. Безруч выступил от имени шахтеров, гнувших спины в шахтах и рудниках Остравского края, от имени крестьян, из последних сил трудившихся на чужой земле под Бескидами, от имени 70 000 силезских чехов, чья родная речь была речью изгоев.

«Силезские песни» были восторженно встречены передовой чешской общественностью и быстро завоевали популярность в демократических кругах читателей. Рабочая печать широко публиковала стихи Безруча, они звучали на рабочих собраниях и вечерах. И правительственная цензура уже с появлением первых стихов поставила под сомнение благонадежность поэта, запретив публикацию ряда стихотворений как опасных для существующего общественного порядка и спокойствия, наносящих оскорбление царствующему дому. Они увидели свет лишь много лет спустя.

Поэт хотел, чтобы его стихи воспринимались как проявление коллективного гнева и силы, как выступление безымянного барда угнетенных. Он тщательно скрывал свое настоящее имя. Одни уверяли, что это силезский шахтер, другие — что горный инженер, третьи распускали слухи о чудаке-нелюдиме. На самом деле под именем Петра Безруча, ставшим символом революционного протеста шахтеров, черных от угольной пыли, и рабочих, опаленных жаром доменных печей, ставшим символом сопротивления национальному гнету, скрывался почтовый чиновник Владимир Вашек. Он прожил скромную трудовую жизнь, небогатую событиями, наедине с природой родного края, любимыми книгами и верными друзьями.

«Силезские песни» Безруча были как бы переходным звеном, мостом, связавшим чешскую реалистическую поэзию XIX века — поэзию Чеха, Сладека, Неруды — с творчеством пролетарских поэтов XX века — Неймана, Волькера, Библа. Впервые в истории чешской поэзии поэт говорил от имени пролетариата. Впервые поэтические строки рисуют величественный образ «углекопа с гор», исполненный драматического и героического пафоса. Никто в чешской поэзии до Безруча не передал с такой эмоциональной силой понимания того, что национальный и социальный гнет неотделимы. «Силезские песни» отличаются большой конкретностью изображения при масштабных, приобретающих символический смысл обобщениях социальных явлений. Смелое обличение реально существующих крупных капиталистов, хозяев Силезии, также было новым, безруческим словом в чешской поэзии и придавало его «песням» боевое, злободневное звучание.

В остром полемическом тоне поэт выступает против отвлеченной, далекой от жизни народа поэзии, против эстетства и нарочитой усложненности стихотворной формы, противопоставляя им простоту своей поэтической мелодии, правдивость своих образов, навеянных жизнью, широко пользуясь органическим для него приемом контраста в изображении враждующих миров угнетателей и тружеников.

Поэтический строй стихов Безруча несет в себе и следы поэтики славянских народных песен, и высокую поэтическую культуру своего времени, и богатство античной

образиости, и новаторскую образность, связанную с жизненным материалом поэта. Безруч изучал классическую филологию в Пражском университете, он знал около пятнадцати языков, читая лучшие образцы мировой поэзии в оригиналах. Зиал он и русский язык. В письме к автору этих строк он писал: «Каким бы я был славянином, если бы ие знал языка великого родственного народа», и с гордостью отметил, что смог по-русски вести беседу с навестившим его Алексеем Сурковым.

Хотя главным цветом в палитре певца «Силезских песен» был красиый цвет борьбы, стихи его отличаются богатством и разнообразием эмоциональиых красок и оттенков. Мягкая элегичность, терпкий привкус печали, которые поэт прячет за легкой иронией, отличают его лирические стихотворения.

В годы буржуазной Чехословацкой республики Безруч не оставляет пера, хотя произведеиия этих лет уступают в своей идейной и художествеиной силе «Силезским песням» и ие играют такой ролн в литературной и общественной жизни Чехословакии двадцатых—тридцатых годов, какую сыграли его стихи на рубеже XIX—XX вв. Однако, как и все передовые культурные деятели страны, он высказал свое отрицательное отиошение к порядкам республики. В поэме «Голубая бабочка», в ряде стихов он развенчивает лживую, фарисейскую демократию буржуазной Чехословакяи, где «спасители народа» иаживают миллионы за счет трудящихся.

Поэт свято верил в победу иарода над фашизмом и всей душой принял новую, социалистическую действительиость, горячо радуясь успехам родины.

Стихи Безруча переведены на все европейские языки. В советское время на русском языке дважды издавались «Силезские песни» в переводах известных советских поэтов.

Мы предлагаем вниманию читателей «хрестоматийные» стнхотворения Безруча («Острава», «Успех») в новых переводах и несколько стихотворений, впервые переведенных иа русский язык.

А. СОЛОВЬЕВА

Острава

Сто лет крошил я уголь в лавах,
сто лет глотал я пыль отвала,
сто лет в руках моих костлявых
железо мышц затвердевало.

В губах обугленных нет крови,
в глаза навечно уголь вкраплен,
навечно в бороду и в брови
вцепились угольные капли.

Хрустел от угля хлеб мой жалкий,
тонула в шахтах синь дневная —
и превращался пот мой жаркий
в дворцы на берегу Дуная.

Сто лет молчал я... Горе, голод
стоят за этими годами.
Когда ж, грозя, я поднял молот —
то был осмеян господами.

Сперва панов лишь в смех кидало,
ан вскоре страх затряс всю Вену,
и смеха оказалось мало —
штыки пришли ему на смену.

Паны внушали мне «с любовью»:
вернись в забой, подумай здраво!
Но грохнул молот мой — и кровью
покрылась Польская Острава...*

* Польская Острава — название квартала в городе Остраве, где в мае 1894 года была жестоко подавлена стачка углекопов.

Пусть всем силезцам будет слышно:
— Земляк мой, Петр ты или Павел!
Зажги в груди свой гнев давнишний,
чтоб жар тот кандалы расплавил.

На всю Силезию кричу я:
— Вы, чьи дворцы блестят богато!
Из шахт огонь взлетит, бушуя,—
за все сто лет придет расплата.

Всегда в тучах

Земля силезская... Всегда дожди, и тьма,
и тучи, тучи, словно покрывало,—
лишь к осени их солнышко прорвало...
Силезская земля — как жизнь сама:
сплошь — горький сумрак, сплошь — тоска, тюрьма,
а радости так мало.

Пусть останутся

Снег... Отпечатки глубокие тянутся
вслед нагруженной дровами повозке...
Так и в сердцах пусть надолго останутся
песен и мыслей моих отголоски.

Две девицы

С ними лишь с двумя днюю и ночую:
книга — звать одну,
трубка — звать другую.
— Дайте мне ответ, верные девицы:
скоро ль суждено с вами разлучиться?
— Как пройдем с тобой
всю юдоль земную —
первую закрой,
погаси вторую...

Успех

Песни мои! Не напрасны ли
речи о вашем успехе?
Вы — только вспышки болотные,
памяти грустные вехи.

Правда ль, что вывел вас в люди я,
боль вам свою отдавая?
Нет! Это — боли Силезии,
порабощенного края.

То-то вас Прага и слушает,
то-то вам жалует славу!
Видно, страданье народное
многим в столице по нраву...

Песни! Когда б над Бескидами
пламя борьбы возгорелось,
да расковали б вы скованных,
да пробудили в них смелость,

да повели б их, затоптанных,
в бой до последнего вздоха,—
с ними шагая, сказал бы я:
пел я и вправду неплохо!

Мюнхен

Топит в позоре, в измене
нашу страну этот год.
пали вожди на колени...
Но не склонился народ!

Мир

«Нет!» — так народ мой говорит войне.
И мне ли оставаться в стороне?
Свой голос, как и кровь, и жизнь свою.
с моим народом я в одно солью.

Перевод ВАЛЕНТИНА КОРЧАГИНА

Т. БАЛАШОВА

СОЦИАЛЬНАЯ ПАНОРАМА И ПОИСКИ ФИЛОСОФСКОГО ЖАНРА

Двадцатый век, едва вступив в свои права, увидел, как жадно приникло искусство к роднику социалистических идей. Роллан, Золя, Франс, Горький, Лондон, Нексе, Барбюс, Драйзер, Верхарн...— кажется трудно назвать художника, который остался бы равнодушным к перспективам социалистического переустройства общества. Еще труднее отыскать такое имя сейчас, когда первая республика Советов отмечает свой пятидесятилетний юбилей, а за плечами ее младших сестер — других социалистических стран — уже два десятилетия борьбы и побед. И, наверное, поэтому так изменчива граница между демократической и социалистической литературой наших дней; наверное, поэтому так стремительно ширится круг явлений реалистических по художественному видению мира, социалистических по самой своей сути — принципам понимания современных путей прогресса, критериям добра и зла, нравственным идеалам.

Черты этого нового мироосзерцания, родившегося вместе с научным социализмом, но постоянно уточняемого опытом реальных, сегодняшних общественных конфликтов,— черты то более, то менее рельефные, то отличающиеся постоянством, то проступающие эпизодически,— видны непредубежденному глазу в драматургии Бертольта Брехта, Шона О'Кейси, Артюра Адамова, в романах Жоржи Амаду, Джеймса Олдриджа, Халлдора Кильяна Лакснесса, Жан-Пьера Шаброля, Эльзы Триоле, Андре Стиля, Джека Линдсея, Ханса Шерфига, Ханса Кирка, в поэзии Элюара, Неруды, Хикмета, Гильена, Кётлума, Гёльстеда... Цепь имен не замкнута, и ход истории, очевидно, будет отдалять ее от финальной завершенности.

В облике революционного искусства на Западе — художественных ситуациях, характере героя и методе его образного воплощения, соотношении автора с героем и героя с историей — сегодня происходят знаменательные перемены, и хочется уже сейчас собрать некоторые наблюдения об этих переменах, даже если выводы будут спорными, а доказательства далеко не исчерпывающими.

Наиболее характерные произведения социалистического искусства 40—50-х годов — «Коммунисты» Арагона, «Красные всходы» (1946) и «Подполья свободы» (1952) Жоржи Амаду, трилогия о «крылатых семенах» (1946—1950) Катарины Сусанны Причард, «Дипломат» (1949) Олдриджа, автобиографический цикл Шона О'Кейси, романы «о британском пути» (1953—1957) Линдсея, «Первый удар» Андре Стиля (1951).

При всех индивидуальных оттенках очевидна тенденция к созданию широкого социального полотна, изображению общества «в разрезе», в многогранности классовых взаимосвязей. Роман 30-х годов, условно названный «рабочим», фокусировал внимание чаще на одной стороне баррикады и прежде всего давал крупным планом саму баррикаду — открытую, ясную линию огня. В «Коммунистах» и «Подпольях свободы» нация, разделенная жестокими социальными антагонизмами, предстала тем не менее единым живым организмом, где гангрена, тронувшая один класс, может погубить всю страну, а героизм загнанной в подполье «партии расстрелянных» спасает честь целой нации: была открыта сложная диалектика сочетания классового и общенационального. Благодаря ярким образам героев нашего

времени — коммунистов — вся эта сложная картина общества приобрела принципиально новую художественную ценность.

Этап литературного развития, когда созданы были «Коммунисты» и «Подполья свободы»,— важнейший момент в биографии революционного искусства. Но искусство не любит повторять свои достижения. Рано или поздно наступает час, когда художника увлекают те нюансы объективного или субъективного мира, которые новы и для него, и для читателя.

И никогда, пожалуй, искания социалистического искусства не были так напряженны, дерзки, как сегодня.

Если бы можно было одним словом передать впечатление от многих и многих произведений последнего времени,— пришлось бы произнести слово «неожиданность». Неожиданным было появление «Страстной недели» (1959) после «Коммунистов» (1949—1951) Арагона; неожиданно вслед за «Подпольями свободы» пришли «Старые моряки» и «Габриэла» Жоржи Амаду, а под пером Пабло Неруды после сложноголосой «Всеобщей песни» (1949) родилась естественная, как дыхание, «Ода простым вещам» (1954—1957); внезапно ворвался охотник Рой Мак-Нэйр («Охотник», 1950) в мир героев Олдриджа, уступив затем дорогу сложно рефлексирующим героям «перепутья» Гордону и Скотту. Конечно, «неожиданность» эта относительна: от «Страстной недели» свободно можно протянуть нити к «Реальному миру», от «Старых моряков» — к байанскому циклу Жоржи Амаду, а Скотт легко подружился бы с Мак Грегором.

И все-таки здесь можно заметить обновление поэтического строя романа, сознательный выбор какой-то новой тропы. Едва ли стоит считать простым совпадением, что многие художники, представляющие социалистическое направление в искусстве,— Арагон, Амаду, Олдридж, Мальц, Стиль и др.— увлечены сегодня поисками особой формы философско-психологического романа.

В исторической ситуации конца 50-х — начала 60-х годов искусство оказалось всерьез встревоженным вопросами о личной ответственности каждого за моральную атмосферу, складывающуюся в стране и мире, о границах доверия к поступкам и решениям исторической личности, о крайностях «массовой» психологии, об истинно-патриотическом долге в условиях колониальной войны и т. д.

На человечество надвинулась угроза всеобщего атомного разрушения. В разных уголках света вспыхивают вооруженные конфликты, ежечасно готовые стать прологом новой трагедии; мирное сосуществование систем становится непреложным условием жизни на земле.

XX съезд Коммунистической партии Советского Союза очистил само понятие «социализм» от чуждых ему наслоений, утвердил метод доказательной полемики как самый действенный метод идеологической борьбы. Социалистические и рабочие партии всех стран решительно осудили догматизм, защитив право человека отстаивать свои убеждения в открытом, честном споре и право наций искать особые национальные пути к грядущему коммунистическому обществу. Атмосфера горячих споров, трудных дискуссий захватила и искусство. Пристальное внимание к внутреннему миру человека, к работе тончайшего механизма сознания индивидуума, размышляющего о судьбах мира, сущности человека, своих взаимоотношениях с «другими»,— становится определяющим для реалистического романа 50—60-х годов. И вполне естественно, что роман социалистического реализма не остался в стороне от этих общих процессов; напротив, именно здесь отображение всех новых проблем современности — фантастического технического прогресса и угрозы крушения цивилизации, бесплодности одиночного протеста и вместе с тем необходимости хранить свое особое, самостоятельное «я», непримиримой борьбы с империализмом, затевающим все новые и новые колониальные авантюры, и бескомпромиссного преодоления догматических предрассудков — принимает наиболее глубокий характер.

Социалистическое искусство отчетливо тяготеет сегодня к жанру философского и психологического романа, философской поэмы, не избегая порой и «камерных» художественных форм, представляющих укрупненным планом иногда один день, один час напряженной борьбы героя с самим собой за право называть себя человеком.

Эти новые художественные формы, конечно, вобрали в себя опыт социального эпоса, и сложность национальных контрастов, общественных взаимосвязей просвечивает даже сквозь «монологическую» композицию. Искания современного философского романа или драмы не повторяют ни философских утопий Франса, ни интеллектуальных драм Шоу: иные проблемы стоят перед обществом и личностью, иными литературно-художественными традициями сформированы сегодняшние романы Арагона и Лакснесса, поэмы Неруды и Гильена. И если говорить об обновленном интересе к философии истории и психологии личности, то акцент приходится сделать на «обновленном», настолько своеобычны возникающие сейчас романические и поэтические формы. Эволюция художественного образа, самый тип повествования обнажают глубинную философскую основу злободневно-политических споров, открывают как бы подтекст сложнейших социальных проблем. Такое вновь возникшее направление поисков сочетается с линией социально-эпического жанра: в русле этого жанра развивается датский, голландский, норвежский роман социалистического реализма: творчество Х. Шерфига и Х. Кирка Тойн де Фриза, Эйвина Болстада отражает жизнь общества в целом — всех его слоев и классов в противоборстве антагонистических тенденций. Да и в литературе французской особенно увлеченной сегодня утонченным анализом психологии, социально-эпическая линия романа отнюдь не производит впечатления старомодной, наоборот, она ведет порой к интереснейшим открытиям, каким, бесспорно, является, например, роман Ж.-П. Шаброля «Мятежные». В английской ли-

тературе сильны традиции так называемого «рабочего романа»; широкая панорама общества возникает и в драмах ирландского драматурга Шона О'Кейси, и в новом английском театре (пьесы Уэскера).

Не исключено, что сочетание этих двух тенденций, сегодня несколько расходящихся, даст в будущем начало какому-то новому художественному синтезу. Социалистическое искусство ищет путей к новому типу романа, поэмы, драмы, которые выразили бы смятенно-вопрошающую атмосферу современного мира и помогли бы человеку самому, не ожидая помощи «сильных», дать ответ на трудные вопросы, чтобы «мир объяснить и его переделать» (П. Элюар).

Пути выбираются самые разнообразные, даже в пределах этого условного единства философско-психологического жанра.

В последних книгах Джеймса Олдриджа самобытно сочетается обстоятельное исследование мышления героя с воссозданием бурного политического ритма сегодняшнего дня. Писательской индивидуальности Олдриджа близок так называемый жанр романа-концепции, о котором много пишут в последнее время. «Герои пустынных горизонтов» (1954), «Не хочу, чтобы он умирал» (1957) и «Последний изгнанник» (1961) — открытое борение идей. Размышления, раздумья определяют конструкцию пространных диалогов и монологов, самый характер авторского комментария.

Герои ожесточенно спорят, но почти никогда не складывается ситуация, когда один герой просто доказывал бы другому свою правоту. И тот, кто прав, все время ищет, не довольствуясь очевидным, то и дело сам ставя свою «правоту» под сомнение, мучительно взвешивая аргументы противника. Еще в большей степени, чем к диалогу, это относится, конечно, к внутреннему монологу, когда герой сурово, словно со стороны, судит свои поступки или свое бездействие, анализирует самые первые движения души, инстинктивные реакции, удивляющие иногда его самого. Чтобы найти для себя этическую норму «как жить», «герою пустынных горизонтов» Гордону мало признать справедливость борьбы арабов; Скотту — мало понять преступность политики британского правительства в Египте. Социальная правда отношений между страной-эксплуататором и свободолюбивым народом колонии не исчерпывает всей трагической сложности дилеммы, вставшей перед героем. Нужно решить еще целый ряд нравственных вопросов — о выборе между двумя позициями, каждая из которых, по мнению Скотта, несовершенна, об ограниченных возможностях борьбы одного, даже очень честного и последовательного человека против целой системы, завоевавшей на свою сторону или просто парализовавшей многих; о том, наконец, как выдержать принципиальный открытый бой против политики британского колониализма, не убоявшись обвинений в гражданском предательстве, в измене своей стране.

Читатель призван пройти вместе с героем все круги современного ада: быть свидетелем жестокости колонизаторов, стыдиться имени своей нации, думать и догадываться, находить, казалось бы, истину и опять впадать в отчаяние, упорно, мучительно искать свое место в сложнейшем переплетении социальных сил. Этому и подчинен своеобразный жанр философско-политического романа, избранный Олдриджем для «Героев пустынных горизонтов», «Не хочу, чтобы он умирал» и «Последнего изгнанника».

Арагон в историческом повествовании о «страстной неделе», днях, когда Наполеон с острова Эльбы двинулся на Париж, близок к жанру философско-исторического романа. Исторический роман всегда соотносится с современностью и часто по самой своей сути философичен. Но «Страстная неделя» вся пронизана двадцатым веком, это книга взволнованных авторских раздумий о смысле истории, характере социального прогресса, о сложности становления национального сознания и личной ответственности гражданина за порядки в своей стране. Критиками замечено, что художник Жерико должен отдать предпочтение либо королю, либо Бонапарту, а в итоге отдает предпочтение третьему участнику этой исторической драмы — народу. Но народ в трактовке Арагона противоречив: народ как творческая сила противостоит в романе толпе, которую легко спровоцировать на любое преступление. Роман учит трудному искусству социального выбора, убеждает, что искусство гражданственно по самой своей сущности; но, пожалуй, доминирующий, полемически-заостренный вывод этого многопланового повествования — необходимость самостоятельно мыслить, заново, самому отыскать в каждой ситуации конкретные формы своей причастности к лагерю добра.

В отличие от книги Олдриджа философский роман Арагона лирически окрашен. Здесь размышляет по преимуществу автор. Это он, не прибегая к посредничеству героя, сближает, словно методом киномонтажа, исторические эпохи, вычерчивает параллели, позволяет себе хронологические перебросы. Философский подтекст романа Арагона — при всей точности исторических реалий — несет очень много личной пристрастности, темперамента, не столько убеждает строгостью фактов, сколько увлекает искренностью чувства.

Особое отношение автора к читателю — вернее, даже шире: человечеству — зрелое желание принять ответственность за его грядущие судьбы и прямой, «накоротке», разговор с ним обо всем, что не чуждо человеку, проявляется сегодня с одинаковой страстью в лирике, романе, драме, по праву называемых гражданственными; а там, где гражданственность соединяется с социалистической устремленностью, этот философский разговор о мире, о далеком прошлом и бурлящей современности обре-

---

Т. БАЛАШОВА
СОЦИАЛЬНАЯ ПАНОРАМА И ПОИСКИ ФИЛОСОФСКОГО ЖАНРА

тает максимальную широту и перспективность.

■

В литературе наших дней появляется все больше значительных произведений, где художник как бы нарочито отходит от социально-исторических проблем эпохи, чтобы заново осмыслить простые, «изначальные» понятия, самую сущность человеческой личности.

Такова «Ода простым вещам» (1954—1957) Пабло Неруды, «Охотник» (1950) Джеймса Олдриджа, «Старые моряки» и «Габриэла» Жоржи Амаду. Характерно, что все эти книги родились после остраполитических или философских произведений: «Охотник» после «Дипломата», «Ода простым вещам» после «Всеобщей песни», «Старые моряки» после «Подпольев свободы». Другими словами, художественный строй образов, непосредственно связанных с миром природы и ощущениями человека, не оторвавшегося от природной стихии, в данном случае — не просто индивидуальная склонность таланта. Очень разные художники, и причем художники зрелого философского интеллекта, почти одновременно ощутили потребность сложить свою «оду простым вещам».

Эти не похожие друг на друга, но в чем-то очень родственные «оды» красоте человеческой души, природной смелости, такту, дружелюбию весьма далеки от возрождения руссоистских иллюзий. Пафос «Охотника», «Старых моряков» и «Габриэлы» — не в надежде вернуться под сень девственных лесов, к «чистой» самостийности инстинкта, а в призыве сохранить неповторимое человеческое «я» среди бури страстей, правящих сегодняшним миром. Причем чувство ответственности за «другого» становится мощным стимулом к проявлению человеческой сущности — как случилось с Рой Мак-Нэйром, героем «Охотника».

Интересно, что поиск первозданной основы человеческого характера сочетается в названных выше произведениях с прояснением его национальной специфики. Для Жоржи Амаду и Х. К. Лакснесса это — внутренняя задача первостепенной важности.

Неожиданные, почти фольклорно-самобытные грани открыл читателю Жоржи Амаду в своей любимице Габриэле.

Все движения Габриэлы подчинены инстинкту безграничной свободы, врожденной привычке делать то, что хочется. Служанкой ей быть легче, чем женой, босиком ходить приятнее, чем в модных туфельках, иметь двух любовников интереснее, чем одного. Естественный, не тронутый эгоистическим расчетом человеческий инстинкт дружествен по отношению к другому. Чем вернее человек самому себе, чем меньше насилует его общество, тем вероятнее ситуация, при которой люди будут друг другу братьями.

Амаду убежден, что инстинктивное тяготение к дружбе и равноправию способно разорвать даже весьма искусно сплетенные сети зла, как, совсем шутя и тем неожиданнее для читателя, рвут их Мартин и Курио, герои «Пастухов ночи», отодвинув со своего пути женщину, привыкшую жить по иным законам — законам господства и подчинения.

Конечно, многие компоненты социальных отношений автор «Габриэлы» и «Пастухов ночи» оставляет в стороне, многие интонации романа звучат так, будто «естественная», не тронутая обществом личность возможна, но в этом-то и состоит условность избранной художником формы. Допустив некоторый отход от строгого правдоподобия, он ярко выявляет качества, которые считает в людях главными, показывает, насколько радостно для человека бескорыстное общение с другими и как богат счастливыми мгновениями мир, если он подвластен доверию. И перспектива грядущей социальной революции возникает как торжество свободной, полноправной личности. Нищета, бросившая Габриэлу в город, неравенство, намеченное здесь почти аллегорическими штрихами, рано или поздно могут толкнуть героиню к бунту. Такой характер сохранит в любой ситуации естественность поступка и самостоятельность выбора. На городском празднике, нарушив церемонию шествия, Габриэла поддалась искушению танца, и вдруг все, даже самые чопорные граждане Ильеуса, последовали ее примеру. «Я думаю, что Габриэла обладает силой, которая помогает свершать революции и делать великие открытия»,— так сливается в представлении Амаду естественная щедрость души с новым, революционным идеалом. В романах Ж. Амаду, как, скажем, и в романах Х. Лакснесса последних лет, как будто и речи нет о человеке-борце, избравшем для своей страны путь к социализму. Но затронута очень важная проблема естественности человеческого поступка, без которой социалистическая активность была бы только «делом», не становясь вдохновенным деянием.

К идеалу справедливого переустройства общества романисты в данном случае ведут читателя через художественное открытие «души» народа, особых, исторически обусловленных национальных черт.

Герой произведений Лакснесса — исландский крестьянин с его ревнивой приверженностью к патриархальному укладу и одновременно с деловым, без робости и страха, отношением к прогрессу техники: недоверием к иностранным «дарам», и поразительной для этой полукрестьянской страны тягой к мировой культуре. Лакснесс не идеализирует патриархальный уклад. Еще в романе «Салка Валка» (1932), удостоенном Нобелевской премии, он с болью рассказал о том, как неохотно поддаются исландский рыбак и крестьянин коллективным начинаниям. Горькой иронией окрашено и повествование о «самостоятельности» Бьяртура из Летней обители (роман «Самостоятельные люди», 1935). Лакснесса давно беспокоила проблема сочетания исконно исландской замкнутости с новой этикой

действия и коллективизма. Благие начинания Салки, кажется, терпят крах, и Бьяртуру уже не перевоспитаться... Но следующее поколение — герои «Атомной станции» (1948) и «Летописи хутора Бреккукот» (1957) — меньше страшится выхода в открытое море общественных противоречий. Служанка Угла, сохранив в своем сердце веками воспитанную гордость, отбрасывает слепую приверженность старине. Тревога о судьбе Исландии, превращаемой в иностранную атомную базу, обогащает независимый, самолюбивый характер Углы чувством новой ответственности. «Летопись хутора Бреккукот», оставаясь в кругу проблем, касающихся как будто только творчества, искусства, продолжает этот волнующий Лакснесса разговор о том, как войти исландцу в большой современный мир, не утратив связи с народом, с его древней традицией.

Возрастало внимание к самобытным чертам народного характера — и художники серьезнее размышляли о национальной специфике искусства в целом и его социалистического направления. Идея, которую Арагон с достаточной резкостью высказал еще в 1938 году,— о необходимости для каждой литературы выбирать свой собственный путь к новым художественным принципам — окрепла. Писатели хотят прояснить, в чем же конкретно заключается специфика их национальной традиции по сравнению с традициями, сформировавшими литературы других стран.

Так, Джек Линдсей считает, что «линия английского социалистического реализма должна определяться разнообразием английского искусства. У нас есть Шекспир, но есть также Марло и Донн. У нас есть Байрон и Бернс, но есть также Блейк, Китс и Шелли». Вот почему, убежден Линдсей, если бы возникли намерения ограничить социалистический реализм уже существующими образцами, они были бы «плохи в любом случае, но могут сыграть поистине роковую роль в такой стране, как Англия, с ее многовековой историей развития исключительно разнообразных литературных традиций». Линдсей дал своему циклу подзаголовок: «Романы о британском пути». И хотя произведение не запечатлело всей сложности классовой борьбы в Англии, чуткая осторожность в обращении с национальным материалом оставила благодатный след: цикл отразил некоторые специфические особенности «такой страны, как Англия, где со времени буржуазной революции прошло триста лет и правящий класс постиг все тонкости маскировки и защитной окраски».

Интересно, что вопрос о национальной специфике классового конфликта был главной нотой дискуссии, развернувшейся в США вокруг «Волшебного папоротника» (1961) Ф. Боиосского: читатели упрекали автора за стандартизацию картины классовой борьбы и пренебрежение к сложным, завуалированным формам, которые приняла она на современном этапе.

«Колорит» французской традиции в понимании Арагона определяется, с одной стороны, «политическим» характером реализма (Стендаль, Бальзак, Золя, Валлес), с другой — сложным развитием французской поэзии, и, в частности, традицией импрессионизма, которая не имела, по мнению Арагона, большого значения, например, для русского искусства; художественное видение мира может быть иным в каждой стране. Особенно темпераментно это стремление постичь суть национального отразилось в латиноамериканских литературных спорах. Жоржи Амаду пришел к заключению, что бурное вхождение политической проблематики в бразильский роман вело очень часто к «обеднению чувств», из-за чего бразильский реализм терял важнейшее свое качество, унаследованное от фольклора. Амаду подчеркнул, что считал бы губительной попытку искусственно форсировать развитие нового метода, то есть вносить в живую картину реальности какие-либо элементы, идущие скорее от теоретической системы, нежели от наблюдения. «Желание превратить немедленно ростки социалистического реализма в колоссальные деревья означает смертельную опасность для этого метода».

Создавая масштабный и столь новаторский для бразильской литературы роман «Подполья свободы» (1952), Амаду обнаружил зрелый талант аналитика, вскрывая смысл многогранных и сложных проблем жизни Бразилии. Тематически и композиционно «Подполья свободы» близки «Коммунистам» Арагона, но, по наблюдению исследователей бразильской литературы, внутренний мир героев был беден национальными красками.

Новые произведения Амаду гораздо вернее воссоздают эмоциональный мир его соотечественников. Ко времени работы Амаду над этими последними книгами и относятся его мысли о необходимости хранить верность национальному колориту своей литературы.

■

Философскому осмыслению важнейших проблем эпохи в их национальной определенности сопутствует интерес к сложным психологическим конфликтам. На путях исканий социалистического искусства жанр психологического романа развивается параллельно жанру романа философского, а иногда и образуя с ним сложное единство.

Причем произошло определенное перемещение художественного объектива: раньше он схватывал характеры, уже нашедшие истину, давно пережившие этап внутренней ломки или не знавшие его (Рауль Бланшар, Жильбер Сесброн и многие другие герои «Коммунистов»; Гарри Мэнсон у Линд-

---

Т. БАЛАШОВА

СОЦИАЛЬНАЯ ПАНОРАМА И ПОИСКИ ФИЛОСОФСКОГО ЖАНРА

сея. Аполинарио Родригес, Жоан, Карлос у Жоржи Амаду). Вокруг них располагались герои «перепутья», которые, мучительно преодолевая укоренившиеся предрассудки, постепенно понимали, что именно в борьбе личность обретает подлинное достоинство. К чести многих романистов, процесс «влияния» представал обратимым; в ходе напряженного спора происходило взаимное обогащение характеров, но все-таки ситуация, при которой один герои ищут истину, уже очевидную для других, многократно повторялась в произведениях того времени.

Сейчас роман (выразительный пример — французский роман 60-х годов) охотнее избирает ситуацию, когда человек должен свершить выбор самостоятельно: рядом нет никого, кто был бы готов помочь, разъяснить, направить, и нет законченной истины, которую надо либо принять, либо отвергнуть. Герой отыскивает какую-то свою, сугубо личную форму протеста, выражая ее в тех формах, которые ему подвластны: художник Жерико — в живописи, герои романа Э. Триоле «Душа» — в страсти изобретательства, ее же Кларисса из «Козней судьбы» — просто в нарушении принятых норм этикета и зреющем желании как-нибудь воспротивиться козням судьбы.

Модест Бестеги, герой «Пиренейской рапсодии» (1963) Пьера Гамарра, вместо медведя, злого духа его рода, за которым он охотился всю жизнь, убивает фашиста; это его особая тропка в мир общественных антагонизмов: нечаянно принять оккупанта в коричневой униформе за медведя мог только Бестеги, но для него — это самый закономерный шаг к пониманию логики антифашистской битвы.

То, что покажется естественным грядущему поколению, для индивидуума — часто подлинный ад вопросов, полуответов, непоправимых ошибок и тяжко вызревающих итогов. Вот почему так мучительно существование Гордона и Скотта, вот почему буквально заболевают от «проклятых вопросов» новобранцы Раймон и Бернар, герои алжирского цикла Андре Стиля. Сложность психологических процессов, отражаемых современным романом, требует внимания к тем сферам психики, которые не подвластны голосу рассудка. И художник вводит в повествование картины сна, болезненного бреда, алогичные внутренние монологи. По внешнему рисунку отдельные страницы книг Арагона, Стиля, Пьера Дэкса, Армана Лану близки модернистскому психологическому роману.

О влияниях здесь говорить, пожалуй, неправомерно; в крайнем случае о некоторой моде, захватившей очень разные направления французской литературы. Но важнее установить не законы «моды», иногда совершенно некстати сбивающей писателя с присущей ему интонации, а некоторые общие задачи, встающие перед современным романом.

В течение некоторого времени процессами подсознания, часто извращая их, занимался почти исключительно модернистский роман. Поэтому роман социалистического реализма, обратившись к исследованию глубин психики, оказался перед довольно сложной задачей: трудно было воссоздать внутренний мир героя, осознанно избирающего путь борьбы; но еще труднее было касаться тех явлений в сфере сознания, трактовка которых в модернистском романе стала своеобразной нормой. Могла возникнуть некоторая инерция художественного движения, которая заставила бы выражать состояние душевного кризиса гротескными образами в стиле Кафки, поток нахлынувших воспоминаний — по законам прустовской прозы, а нудную серость бытия — бесконечной цепью джойсовских деталей.

Эти художественные элементы, конечно, пригодились реалистическому роману. Схожими психологическими ситуациями может диктоваться и определенный тон художественного повествования; например, бред тяжелораненого в «Лабиринте» (1959) Алена Роб-Грийе и в «Страстной неделе» Арагона — та же алогичность, то же причудливое чередование реальных звуков или мгновенно вспыхивающих перед затуманенным взором картин и резких болевых ощущений, приходящих словно извне, тот же лихорадочный бег образов. Ревность, приводящая человека на грань безумия, в романе Женевьевы Серро «Вихрь» (1962) и поэме Арагона «Эльза» (1959) — то же мучительное правдоподобие воображаемых картин измены, то же фантастическое совмещение реального и предполагаемого. Внешний мир, уродующий личность в «Планетарии» Н. Саррот и «Нейлоновом веке» Э. Триоле,— гиперболизированная роль детали, желание-наваждение, которым индивид, попавший в рабскую зависимость от в е щ и, одержим как болезнью, как роковой страстью.

Многие ноты повествования — по самой логике изображаемой ситуации — совпадают. Но цельная художественная идея романа, рассказа или даже отдельной романической ситуации зачастую прямо противоположна.

Многоплановая композиция может выразить мысль о сложности исторических законов или полном отсутствии их; доверие к будничному факту может стать или утверждением героического в каждом человеке, или снобистским презрением к «серости»; экономная ассоциативность может открыть новые грани художественной выразительности, или обнаружить полную потерю вкуса к общению с читателем.

Считает ли художник сопротивление вещному миру практически бессмысленным или, напротив, видит возможность противостоять ему, сохранив в себе желание «сажать розы для других» (Э. Триоле)? Кажется ли ему психология задавленного бытом индивидуума неким стереотипом мироощущения личности вообще или частным симптомом социальной неустроенности? От того, какой ответ дает себе на эти вопросы автор, конечно же зависит вся атмосфера произведения. Ответ необязательно выра-

жен прямо, он возникает постепенно, по ходу изложения, но общий тон художественной картины — от детали к детали — становится все более определенным.

Таков, во всяком случае, урок развития современного французского романа. Конечно, не все в этом процессе сближения-отталкивания гладко. Иногда писатель, увлекшись модой, берется за жанр, не свойственный его творческой индивидуальности, и терпит поражение; иногда, предпочтя героическому обыденное, сбивается на бытописательство, и тогда замысел — показать душевную красоту «маленького человека» и могущество солидарности — оказывается уничтоженным невыразительностью художественного образа.

Особую опасность таит беспредельная многозначность образа, принятая в качестве исходной эстетической позиции. Модернистский роман многогранность образа часто сводит к «всезначности», когда образ терпит любое прочтение и не имеет никакого определенного. Но многозначность может быть интерпретирована и реалистически. Лирическому герою «Неоконченного романа» Арагон дает «двойника» с иным, почти антагонистичным мироощущением. Этот «двойник» — нигилист «с абстрактным сердцем» — одновременно и близок главному герою и неприемлем для него: авторская позиция сводит таким образом воедино взаимоисключающие начала.

Однако по ходу развития поэтической идеи один из образов-двойников становится главным, он как бы побеждает своего антагониста в ожесточенном споре, и тем самым образ сохраняет реалистическое содержание.

Сложнее ситуация в последнем романе Арагона «Гибель всерьез» (1965). Автор растворен одновременно в четырех персонажах романа. Каждый из них в свой черед многолик. Многоликость героев усилена частым совмещением одного образа с другим. За этим угадывается авторская идея о необходимости уважать каждую человеческую личность. Автор заставляет Альфреда дорогой ценой заплатить за желание быть единственным, за неумение понять «независимого Антуана с его личной жизнью и особым видением мира».

Понять нравственную позицию другого и попытаться увидеть мир «объективно, без себя», то есть откинуть традиционную пристрастность, привычку судить обо всем по законам собственного мироощущения,— таков, пожалуй, совет, выраженный Арагоном в причудливой, условной форме. Еще одна очень важная для романа мысль — уметь разбираться в самом себе, разгадать различные, порой противоборствующие тенденции своей натуры, одна из которых при соответствующих условиях станет превалирующей, научиться изменять не только мир, но и себя. Ведущие философские идеи сконцентрированы в сложной системе образов-двойников в романе Арагона «Гибель всерьез».

Но возникают и сопутствующие темы, приходящие с главными в столкновение: трагической разорванности сознания современной личности, невозможности для человека собрать себя воедино. Сложность внутреннего мира, реальное богатство человеческой натуры в какие-то моменты повествования оборачиваются природной двуликостью, и ответственность индивидуума за свои жизненные акции подвергается сомнению.

«...Мы — двойные души,— исповедуется Христиан,— мы живем в эпоху, которую, может быть, станут когда-нибудь называть эпохой двойных душ... У нас, детей века, добро и зло не принимают символических аспектов, они сосуществуют в одном человеке, как альтернатива души, и тот, кто ненавидит войну, может вполне искренне свершать поступки, ее развязывающие». Проникнуть в глубинный смысл своих действий, посмотреть, не делаешь ли ты чего-либо, объективно противоречащего твоим убеждениям,— таков гуманистический урок раздумий героя. Но здесь он неразрывно слит с другим, суть которого будто бы в неизменности человеческой натуры, равно готовой к героизму и преступлению; да и не только готовой, но постоянно перемежающей их в своей жизненной практике *.

Таковы некоторые сложные моменты исканий реалистического романа последнего десятилетия, исканий, дерзость которых, даже если она не сразу оправдает себя, не может не вызвать уважения. Ведь эта дерзость мысли, дерзость философского обновления структуры повествования и самого стиля,— путь, избранный художником, чтобы добиться абсолютного взаимопонимания «и с тем, и с этим, и с другим...» (Элюар).

Пожалуй, только во французском романе обновленный интерес к психологии «маленького человека», не нашедшего еще для себя места в сложном мире современной борьбы, обращен и к сферам подсознания. Английский и американский роман социалистического реализма занят скорее «вторичными» областями психики, где мысль преобладает над инстинктивной реакцией и момент сознательного осмысления ярче. Но качество, отмеченное выше,— отказ от готовых решений, которые можно было бы сразу предложить герою, сосредоточенность на процессе «воспитания чувств» — присуще и социалистическому искусству других стран: и творчество Олдриджа, и творчество Мальца или Марзани тяготеет сегодня к жанру психологического романа.

Внутренний кризис сознания личности, стоящей перед выбором, исследован Альбертом Мальцем, автором «Длинного дня в короткой жизни» (1957). За бесконечно длинные тюремные сутки Томас Макпик, случайный свидетель нападения на негра, должен решить, по какую сторону барри-

* См. А. Пузиков «История и современность». «Иностранная литература», № 12, 1966.

Т. БАЛАШОВА

СОЦИАЛЬНАЯ ПАНОРАМА И ПОИСКИ ФИЛОСОФСКОГО ЖАНРА

кады ему встать. Едва ли Макпика можно было бы корить, откажись он дать показания: сложность морально-этического конфликта очень часто усугубляется тем, что при обоих решениях сохраняется декорум порядочности. Лишь серьезным актом совести свершается истинный выбор.

Напряженная психологическая атмосфера «Длинного дня» определяется не только душевной борьбой героя, но и (это, пожалуй, еще важнее для Мальца) попыткой объяснить причины, подготовившие ту или иную психологическую реакцию. Рабочий Макпик, хоть и предпочитал всегда позицию «наблюдателя», невольно несет в себе многолетний опыт пролетарской солидарности. А вместе с убийцей Флойдом Варнеем перед судом должны были бы предстать и отец, и мать Варнея, и те многочисленные люди, которые постоянно внушали ему ненасытную жажду обогащения. Роман Мальца утверждает ответственность личности, свершающей в каждой ситуации «свободный» выбор, и одновременно необходимость принимать во внимание длинный ряд социальных условий, частично этот выбор предопределяющих.

Психология «маленького человека» пристально изучается сегодня романом социалистического реализма, причем им, по существу, оспаривается понятие «маленького», «среднего» человека. И весьма знаменательно, что среди этих будничных героев появляются как равные среди равных исторические личности, интеллектуально одаренные индивидуальности, чьи имена символизируют целую эпоху. В центре многих произведений социалистического реализма последних лет — художник, творец, писатель, напряженно думающий о судьбах мира и искусства. Таковы «Страстная неделя» (1959), «Поэты» (1960), «Гибель всерьез» (1965) Арагона, пьеса «За зелеными занавесями» (1961) Шона О'Кейси, «Летопись хутора Бреккукот» (1957) Х. К. Лакснесса. Все эти произведения освобождают интеллектуала, мыслящую личность от какой бы то ни было исключительности. Если образ «маленького человека» поднят современным романом, то образ творца-художника как бы сознательно опущен с пьедестала исключительности на почву общности всех людей.

Даже в труднейшей поэме Арагона «Поэты» круг усложненных философско-эстетических образов то и дело размыкается: автор подтверждает свое человеческое равенство с безвестным читателем:

О, я такой же, как вы,
О, я, как вы,— такой же!
Мы похожи, словно песчинки,
Словно капли пролитой крови,
Словно пораненные пальцы.
Я такой же, как вы, такой же!
В вашем аду и я горю.
Мы живем по одним законам.
Вы окровавлены, и я в крови
И томлюсь с вами в оковах...

Чтобы не потерять путеводную нить в профессиональном споре, поэту необходимо осознать свою причастность к реальным сражениям.

Пьеса Шона О'Кейси «За зелеными занавесями» запечатлела интеллигенцию, отнюдь не «горящую в аду» со своим народом; но и эта, иная, ситуация художественно организована той же идеей: побудить героев обратиться к общечеловеческим проблемам, раздернуть на окнах гостиных тяжелые шторы. «За зелеными занавесями вы — большие люди, а на открытом месте — стадо пугливых овец» — вот упрек, брошенный героям. Гениальность — только мираж, если она гаснет от соприкосновения с большим миром.

Таково характернейшее качество и философского, и психологического романа сегодня: художник социалистического реализма прозревает великое в малом и интимно-человеческое в величественных свершениях эпохи. Уважение к «маленькому человеку», рядовому труженику окрашено верой в его могущество, утверждаемое всем ходом истории.

■

Направление движения современного социалистического искусства, его готовность касаться общественно-этических и историко-философских проблем, его стремление понять и объяснить разноречивые идейные позиции наших современников — все это создает новую литературную атмосферу.

Содружество социалистического реализма с «реализмом демократическим, или — если угодно — критическим» (Арагон) предстает сегодня как нечто естественное, как очевиднейшая закономерность литературного процесса.

Советское литературоведение богатыми наблюдениями аргументировало тезис о движении реализма XX века ко все более четким идейно-художественным решениям, к панорамической широте отражения современного мира, к исследованию характера борца, который долго казался критическому реализму не очень понятным, не очень привлекательным. Революционное искусство прошло свой путь: оно включает в свою сферу и вопиющие социальные контрасты и сложные философские проблемы (представавшие как неразрешимые в прозе экзистенциализма и многих произведениях реализма критического), и образы героев, решительно избравших идеал борьбы, и образы тех, которым еще предстоит его избрать. В процессе этого взаимообогащающего движения возникают интереснейшие «пограничные» явления.

Для настоящего момента, пожалуй, самые характерные в ряду таких явлений — новый политический театр Западной Германии и французский «общественный театр», представленный именами Артюра Адамова, Армана Гатти, Ги Демуа, Мориса Реньо.

Французский драматург Арман Гатти в пьесе «Публичная песнь перед двумя электрическими стульями» (1964) решается избрать центром драматической ситуации не героев, а публику — сотни тысяч людей, смотрящих в разное время и в разных стра-

нах пьесы о Сакко и Ванцетти, Розенбергах, Джо Хилле. Театр в театре, сцена на сцене требуются Арману Гатти для того, чтобы, отвлекаясь от конкретных реалий неправедного суда, заставить зрителя болезненно-остро воспринять вопрос о своем отношении к творимой несправедливости.

Ответственность за каждый поворот мысли — а не только за поступки — эта часть этической программы А. Адамова, А. Гатти, Рольфа Хохгута и Петера Вайса, конечно, очень созвучна концепции активной личности, утверждаемой социалистическим реализмом.

Подобно тому как исследование социальных взаимосвязей вело, например, Бальзака к выводам, противоречившим некоторым его убеждениям или предрассудкам, честный анализ логики мысли своего героя очень часто увлекает автора современного романа к заключениям, в известной степени для него неожиданным.

Проблема правомерности революционного насилия в борьбе с силами зла возникает как художественный итог аллегорического романа Р. Мерля «Остров» (1961). К коммунисту Шапону-Жоресу, личности необычайной нравственной чистоты и силы, стянуты сюжетные линии романа Ж. П. Шаброля «Мятежные» (1965). Таковы же взаимоотношения между героем и автором в некоторых романах Армана Лану или Роже Вайяна, такова эволюция английского писателя Алана Силлитоу, детально, с психологической убедительностью воссоздавшего ход раздумий рабочего парня, который постепенно начинает угадывать классовый смысл колониальной войны, куда его бросили солдатом.

■

Социалистическое искусство продолжает свои трудные поиски, то создавая широкие художественные панорамы современности, то отдавая предпочтение историческим жанрам, то увлеченно разрабатывая новые формы психологического или философского романа.

Но всегда у истока этих исканий — стремление утвердить самую гуманную революционную этику — этику ответственности и действия.

Г. ЗЛОБИН

ПОСЛЕ АБСУРДА

(Американская драматургия 60-х годов. Проблемы и стиль)

Шестидесятые годы в США отмечены по крайней мере тремя крупными общественными потрясениями. Это — выстрел в Далласе 22 ноября 1963 года, положивший конец тысяче дней президентства Джона Ф. Кеннеди. Это — невиданный дотоле разворот движения американских негров за гражданские права, сидячие забастовки, митинги, марши свободы, вызвавшие ярость расистов и переполох среди тех, кто стоит у штурвала государственного корабля. Это, наконец, война во Вьетнаме, противная совести и разуму нации, которая первой в истории провозгласила «Декларацию независимости», война, посеявшая тревогу среди самых широких слоев общества.

Какое, казалось бы, значение имеют достижения и провалы американской литературы и театра на фоне этих драматических событий? И так ли уж реагируют они на бурную историю? По-прежнему огромными тиражами сбывается всякого рода чтиво — мещанское, криминальное, эротическое. По-прежнему властвует на подмостках развлекательность. И все же в воздухе носится нечто новое. Умами овладело беспокойство. Литературное приложение к лондонской «Таймс» в специальном выпуске «Исследуя 60-е годы: США» так обрисовало картину: «Тич-ин и марши протеста, брошюры и публичные дискуссии — вот главные черты интеллектуальной и духовной жизни. Будь то вопрос о Кубе или строительстве жилых домов, о Вьетнаме или интеграции в школах — к голосу писателей, художников и ученых стали прислушиваться... От Вашингтон-сквер... до Беркли дует ветер 30-х годов...»

Весной нынешнего года «разгневанные музы» — так называют в Америке выступления писателей, художников, артистов против войны во Вьетнаме — перекрыли грохот пушек.

Ветер перемен проник и в книгу, и на сцену. Даже те пьесы и романы, которые ограничены узкими пределами частной жизни, сплошь и рядом несут следы общественных бурь. Американская литература все больше насыщается гражданским содержанием. На IV съезде советских писателей Джозеф Норт говорил, что если в недавнем прошлом американский писатель и выступал в общественных делах как гражданин, то теперь он выступает как художник.

Исследователям современной американской культуры еще предстоит охватить этот процесс во всей его сложности и диалектической цельности. Время произведет естественный отбор произведений. И многие выдержат испытание — если не как факт большого искусства, хотя есть и такие, то, во всяком случае, как свидетельство того, как и чем жил американец на подступах к последней трети века.

Общие закономерности, наблюдаемые в литературе США 60-х годов, наиболее ярко, пожалуй, обнаруживаются в драматургии — очевидно, в силу ее специфики как литературы, представляемой и рассчитанной на коллективное восприятие.

Интеллектуальность против хэппенинга

После десятилетнего почти молчания с двумя пьесами, последовавшими одна за другой, выступил Артур Миллер. «После грехопадения» и «Это случилось в Вишн» обозначили поворот писателя к получившей распространение на Западе и не очень свойственной американской традиции ин-

теллектуально-аналитической драме. Этот тип драмы характеризуется не столько сшибкой сценических характеров, сколько исследованием философских и нравственных категорий, которые приобрели особую остроту в наше время,— и в первую очередь проблемы ответственности личности за историю. В пьесе «После грехопадения» она затуманена тезисом о некой общей и извечной вине человечества, тезисом, в котором странно соединились отголоски кальвинистской доктрины греховности и экзистенциалистских теорий свободы. Когда в 1942 году в оккупированном Париже игралась трагедия Сартра «Мухи», в картинах нечеловеческой жестокости, в звучащей с подмостков мысли о виновности всех и каждого за зло можно было услышать призыв к сопротивлению. Схожий тезис в иных исторических условиях неизбежно приобретает оттенок асоциальности.

В пьесе «Это случилось в Виши» Миллер продолжает исследовать проблему виновности человека, выдвигая мысль о том, что все высокие человеческие принципы — «это только скудный налог, который он платит за право ненавидеть и убивать с чистой совестью». Читатели «Иностранной литературы» помнят, какую острую — хотя и несколько условно-лабораторную — ситуацию создает Миллер в этой вещи для определения психофизических свойств каждого из задержанных нацистами на основании «законов о чистоте расы». Примерно так же, как и в сартровской пьесе 1947 года «Смерть без погребения», здесь развертывается игра убеждений и предубеждений, совести и страха, вины и искуплении.

В пьесе есть момент, когда обнаруживается, что самый гуманный человек причастен к силам зла. Возникает такой нравственный кризис, из которого драматург видит выход лишь в личной порядочности, безотносительно к убеждениям, и заставляет своего героя отдать свой пропуск другому.

Другой, Ледюк, обрел свободу и вместе с тем ощущение вины. Разве он более достоин жить, чем фон Берг, чем остальные? Но единственно от него зависит трансформировать эту вину в ответственность и затем в действие. Проблема выбора и получает разрешение, и возникает снова — перед каждым, каждый раз.

В ином направлении от традиционной драмы движется Тенесси Уильямс. Давно замечено, что при всей своей склонности к болезненной живописности и надрывности он обильно черпает из христианской мифологии и словаря. Драмы его утрачивают черты игровой пьесы и превращаются в современные моралите. Даже искусство строить драматургический характер, которое редко изменяет Уильямсу, в последней вещи подчинено скорее задаче широких аллегорических обобщений. Старая великосветская шлюха Флора Гофорт, умирающая в роскошной вилле на Дивина Костьера (*Божественный берег*), и Крис, альфонс, поэт и приживал, поднимающийся сюда, как на Голгофу,— не просто персонажи несостоявшейся любовной истории, а фигуры, олицетворяющие грех и искупление.

Крис наделен чертами святости. Он — будто современный мессия. Он предлагает Флоре сострадание, а та ему — себя: «Благостные словечки — не для меня» (примерно так следует переводить название пьесы «The Milk Train Doesn't Stop Here Anymore»).

Но Крис — спаситель наизнанку. Он несет избавление в смерти: ни на что иное уже не способен мир, который представляет богатая и бессильная, жестокая и жадная, циничная и непристойная Флора.

И еще одна, тревожная, нота. Крис хочет научиться «жить и умереть с большим достоинством, нежели умеет большинство из нас... не пугаться незнания того, чего не дано знать, примириться с тем, что мы ничего не знаем — кроме того, что в данное мгновение мы еще существуем,— и не узнаем до тех пор, пока не перестанем существовать, и примириться с этим мгновением». Отчаяние и страсти персонажей Т. Уильямса сменяются умиротворенностью и стоическим смирением. И тут происходит парадоксальное, казалось бы, сближение Тенесси Уильямса с Эдвардом Олби, признанным лидером американского театра абсурда. Проведя своего героя, современного мессию, через бесчисленные круги ада, Олби заставляет его восторженно принять смерть от «крошки Алисы», хотя никто не знает, что она такое: божество? случай? общество? Следуя догмам антитеатра, он до бессмыслицы шифровал то, что хотел сказать о благости и жестокости, божественном и низменном, вере и сомнении. Но развязка, итог — полемически недвусмыслен. Когда в Нью-Йорке впервые поставили «Убийцу не для заработка» Ионеско, Брукс Аткинсон справедливо усмотрел в этой и подобных пьесах «мрачное комикование — борьбу людей с безумием, с Ничто». Прошло несколько лет, и американский вариант этой абсурдной борьбы вылился в слепое экзальтированное подчинение Ничто.

Другое, еще более очевидное проявление распада антитеатра — так называемые хэппенинги, характернейшая разновидность авангардистского искусства «века поп-культуры». Так окрестили изобретательные американские журналисты 60-е годы. В статье, открывающей раздел искусства в специальном новогоднем номере журнала «Лайф» «Середина 60-х годов» (20 декабря 1965 года), между прочим читаем: «Поп-культура — широкий термин, покрывающий почти всю текущую моду... Увеличенные комиксы, железный лом и банки консервированного супа «Кэмпбелл» составляют эстетику поп-культуры».

Хэппенинг (от английского глагола to happen — случаться, происходить) обозначает серию, комбинацию бессистемных сцен, в которых участники свободно взаимодействуют друг с другом и с окружающими

предметами Текст в хэппенингах сведен до минимума, зато велика роль звуковых, шумовых и световых эффектов. В представлении могут участвовать и зрители — они включаются не только в творческий акт художника, уверяют теоретики хэппенинга, но и своим присутствием в собственно композицию, тоже становясь «произведением» искусства. Волна хэппенингов прокатилась по всему миру, и зарубежная пресса полна описаний этих «ивентс» (от английского event — событие, случай), «тотальных спектаклей», «театра свободного выражения», «кинетических постановок», «театра художника» — одним словом, *случайно-действий.*

Хэппенинг — это по сути дела движущийся поп-арт, который в конце 50-х годов пришел на смену абстрактному экспрессионизму. Но еще в манифестах дадаистов есть призывы перейти от «предметов искусства» к «событиям искусства», сделать картину действием, а художника — его участником.

Не случайно, разумеется, устроителями хэппенингов чаще всего выступают не литераторы, а художники, скульпторы, музыканты, хореографы — Р. Раушенберг, Э. Уорол, Дж. Кейдж и т. д.

Ни групповые декларации, ни второстепенные расхождения не могут скрыть единой философской основы нынешних авангардистских школ. У анархистского искусства нет ни модели во внешнем мире, ни внутренних законов. Свобода, насильно оторгнутая от необходимости, неизбежно превращается в своеволие. Стихийное и случайное становится верховной идейно-эстетической категорией. Напечатанные наобум строки машинописи, по уверению американца Джексона Маклоу, «могут быть использованы как текст для чтения в одиночку или группами, для музыкальных или драматических представлений, для рассматривания, обнюхивания и вообще для чего угодно, а могут быть и не использованы вовсе».

Принципиальная установка сторонников хэппенинга — отказ от глубинного смысла, подтекста, вообще какой бы то ни было «философии». Драматурги-абсурдисты строили в своих пьесах умозрительные схемы всеобщего отчаяния и отчужденности. А хэппенинг, как и поп-арт, вообще не показывает ничего, кроме самого предмета и взаимодействия предметов, выражая, быть может, лишь стабильность вещи. Алан Капров, один из тех, кто положил хэппенингам начало в США, говорил, что его представления — прототип неоформленного, зарождающегося сознания. Поп-артист Алекс Хэй тоже подчеркивает, что в его танцах-постановках нет никакого скрытого смысла, а есть лишь то, что видит зритель. «Визуальные и ситуационные элементы, равно как и звуки, образуют мгновенный театр, и он превосходит старые формы театра, ибо то, что происходит, происходит на самом деле и не требует названия»,— объявлял в манифесте ивентистов Майкл Горовиц. «Представители поп-арта — это в первую очередь ремесленники, мастера,— констатировал американский художественный критик Гарольд Розенберг,— и их ателье — это мастерская... а не кабинет философа или келья романтика-отшельника»

Покидая зыбкую, по их мнению, почву идей, общественных и психологических закономерностей, заигрывая с «коммерческой цивилизацией», многие новейшие модернисты вольно или невольно оказываются в положении сторонников статус-кво и, стало быть, теряют право считать себя авангардом.

Каземат. Подземка. Лавка в Бруклине

Как реакция на «классический» антитеатр, в теснейшем порой взаимовлиянии с ним и острейшей полемике зарождались два новых направления в сегодняшней американской драме: «театр жестокости» и комическая драма.

«Театр жестокости» связывают сейчас прежде всего с именем Антонена Арто, французского драматурга, режиссера, поэта, человека, который кончил жизнь в сумасшедшем доме. Когда в 1958 году в США появился английский перевод его книги «Театр и его двойник», она стала евангелием для некоторых драматургов и режиссеров.

«Призрак Арто стал нашим наставником»,— признается Джулиан Бек, руководитель «Живого театра», в своем очерке «Штурмуя баррикады», посвященном исканиям и мытарствам этой самой популярной, пожалуй, авангардистской труппы в Нью-Йорке до того, как она переселилась в Лондон.

Что же привлекло Бека и других в книге двадцатилетней давности?

Отвергая коммерческий дух и самодовольного буржуазного зрителя парижского «театра бульваров» межвоенного двадцатилетия, Арто ратовал за физически осязаемую поэзию на подмостках, мечтал превратить театр в храм языческой магии (об этой стороне концепции Арто одобрительно отозвался Жан Вилар). Однако ученичество Арто у сюрреалистских школ не прошло даром: он нигилистически относился к драматургическим традициям, закономерностям, к слову вообще и возрождение сценического искусства усматривал в «театре жестокости». Главный тезис Арто — представить в театре жестокость, чтобы внушить людям отвращение к ней: «Я бросаю вызов такому зрителю, который, выйдя из театра, может поддаться идеям войны, бунта, буйного убийства». При ближайшем рассмотрении «театр жестокости» оказывается старинным гран-гиньолем в авангардистской оболочке. И все-таки именно эту сторону романтически-декадентской концепции театра воспринял у Арто, переводя ее, разумеется, на язык американских условий, Джулиан Бек. Он рассказывает, что, пройдя эксперименты пьес Гертруды Стайн и «Сонату призраков» Стриндберга, метафизичность Элиота и буйство ранних вещей Брехта, «театр в театре» Луиджи

Пиранделло и хэппенинги Маклоу и Кейджа, труппа подошла к «театру жестокости», к пьесе «Каземат» Кеннета Брауна.

«В «Каземате» зафиксированы все преступления абстрактного, лишенного человеческих свойств авторитарного режима,— пишет Джулиан Бек.— Эту пьесу надо видеть, она должна воздействовать не только на ум, но и на нутро. Это — муки Арто. Это — театр жестокости, это скорее ужас, чем красота, скорее истерия, чем разум».

Пьеса Брауна и в самом деле жестока. В 1957 году автор служил в частях американской морской пехоты в Японии и за какие-то дисциплинарные провинности был отправлен в «каземат» — так называли место для заключения с особо строгим режимом. Все, что происходит на сцене, фотографически воспроизводит один день жизни «каземата» — от подъема до отбоя. Нет персонажей — только четыре охранника на одно лицо и одиннадцать заключенных, различающихся порядковыми номерами. Обезличенные, словно пешки на шахматной доске, люди, выверенные, как геометрические фигуры, движения. Личность зажата стальными тисками регламента. Нет ни единого живого слова — только вопросы, ответы, команды, рапорты об исполнении. Топот ног по бетонному полу, стук кулаков по живому телу. Один день, представленный на залитой слепящим белым светом сцене, символизирует не только тупую жестокость милитаризма, но и узость, ограниченность человеческой деятельности в условиях деспотического режима.

«Каземат» — пьеса конструктивистская. Она словно построена графически — словом, именно «план спектакля или фильма», как указано в подзаголовке. Автор хотел, видимо, дать понять, что «Каземат» создан не им, а теми, кто воздвигает тюрьмы и концлагеря.

В четком схематическом рисунке пьесы Бек усматривает абсолютную красоту и абсолютную критичность. Драма «неистово выставляет напоказ износ человека, придавленного властью, и в этом — глубочайшая критика разрушительных сил нашего общества... Можно ли смотреть «Каземат» и не загореться желанием разбить стены всех тюрем? Освободить всех заключенных. Смести барьеры».

Можно представить себе, какой силой непосредственного воздействия на зрителя обладал спектакль. Однако совершенно очевидно, что его гуманистический пафос, изображение того, как действует механизм подавления личности, много теряет из-за натуралистичности пьесы. Возрожденный реализм и поэтичность, которые декларирует Бек, оборачиваются страшной неподвижной фотографией. Драма остается замкнутым в самом себе миром, который единственно приводит зрителя в шоковое состояние, когда он вряд ли способен «штурмовать баррикады».

Широкое движение 18-миллионного негритянского народа за равноправие наталкивается на бешеное сопротивление реакционных элементов. Постоянные лишения, дискриминация во всех областях жизни, издевательства, которым подвергаются в США граждане с черной кожей, сплошь и рядом вынуждают их к ответным действиям. Пламя негритянского гнева разгорелось в невиданные расовые волнения, охватившие минувшим «долгим жарким летом» всю страну. В таких условиях неизбежен также рост националистических настроений, появление мелкобуржуазных анархических группировок, проповедующих враждебность ко всем белым, сепаратизм. Расовые конфликты, приобретающие подчас весьма запутанный и взрывчатый характер, не могли не отразиться в творчестве многих писателей-негров. Особенно характерны в этом смысле пьесы тридцатичетырехлетнего Лероя Джонса, и особенно его «Голландец».

...Нью-йоркская подземка. В полупустом вагоне к молодому негру буржуазного вида присаживается белая женщина средних лет. Завязывается разговор, полный навязчивости, намеков, непристойностей. Лула обрушивает на своего собеседника град оскорблений, унижая его человеческое, национальное и мужское достоинство. И неожиданно тот образ смирного, мечтательного, «блюзового» народа, который сложился в представлении белой женщины, лишается всякой достоверности. Негр — не просто «голландец» (эпитетом dutch в английском выражается высокомерно-презрительное отношение к чему-то чужому). Негр — близкая и грозная сила.

В апреле 1965 года Лерой Джонс сделал доклад на конференции «Взгляд негритянского писателя на Америку». В зарубежной прессе много писали и пишут о том, что давно уже американские институты не подвергались такой убийственной критике, какая звучит в публичных выступлениях писателя. В качестве примера приводят его слова: «Роль американского художника-негра состоит в том, чтобы способствовать разрушению существующей Америки... И если то, что он делает, будь то полемика, лирика или любой другой способ выражения, способствует разрушению Америки,— это прекрасно».

Прямое сопоставление заявлений писателя с мыслями, которые высказывают его персонажи, обычно чревато ложными умозаключениями. И все-таки в «Голландце» улавливаешь нотки, перекликающиеся с приведенными выше словами. Монолог Клея — это сигнал, грозное предупреждение, что «в следующий раз — пожар!» (Дж. Болдуин). Стихийный клокочущий гнев вот-вот выплеснется наружу. «Целая нация невротиков бьется изо всех сил, чтобы быть не в своем уме. И единственное, что вылечит невроз,— это убийство. Все очень просто. Я хочу сказать, что если бы я убил тебя, другие белые начали бы понимать меня... Сумасшедшие негры поворачиваются спиной к здравому смыслу. А все,

---

Г. ЗЛОБИН

ПОСЛЕ АБСУРДА

что требуется,— это убить. Убить — и все! Это излечило бы нас».

Полную противоречий, но вполне предметную, связанную с самыми болезненными явлениями в социальном организме Америки драматургию Лероя Джонса буржуазная критика толкует по-разному. Одни стремятся объяснить ее извечным агрессивным началом в человеке, и тут на помощь берутся теории Арто — теории такого театра, который «снабжает зрителя правдивыми мечтаниями, куда выливается его склонность к преступлению, его эротическая одержимость, его варварство, его химеры, его утопическое восприятие бытия и материи, даже его холодный каннибализм». Другие выставляют Л. Джонса прямым проповедником негритюда и насилия, «черным расистом». Третьи за зажигательными обличениями писателя усматривают универсальную иронию и скептицизм. Суть, конечно, не в этом. Главная тема пьес Лероя Джонса — негр в сегодняшней Америке. Что он такое? Каково его место в общественном устройстве? Как быть неграм дальше? Проблема самоутверждения личности в мире не нова в западной литературе XX века. Тут же она становится вопросом номер один, причем в плане сугубо житейском: негр постоянно чувствует, что он посторонний, чужой, вроде бы даже не существующий в принятом порядке вещей. «Никто не знает моего имени»,— сказал названием своего сборника Джеймс Болдуин. Джонсовский «голландец» — приблизительно то же самое, что герой романа Ральфа Эллисона «Человек-невидимка».

И никто, верно, не узнает имени негра, в которого — в ответ на его гневную тираду и спровоцированную пощечину — вонзила нож белая шлюха.

Новейшая негритянская литература США вертится на одном стержне: белые и негры. Л. Джонс — не исключение. Он постоянно варьирует эту тему. В одноактной пьесе «Раб» он рисует картину вооруженного захвата Америки восставшими неграми. (Кстати, тема восстания негров, образование отдельного государства возникает все чаще и чаще, она присутствует, например, в романе Эрла Конрада «Премьер» и в романе Уоррена Миллера «Осада Гарлема».) У другой пьесы Лероя Джонса, «Туалет», итог прямо противоположный.

Бурные дискуссии в американской критике и среди зрителей вызвала пьеса Уильяма Хэйли «Медленный танец на бойне». В драме — три действующих лица, разного возраста и жизненного опыта. Они случайно сходятся в лавочке у старого немца-эмигранта Гласа в отдаленном районе Бруклина, и начинается «медленный танец» обнажения сердец. Две темы сопровождают этот душевный стриптиз — безмерная усталость и ощущение вины. Именно этими темами да беспощадным и беспросветным анализом души, едва не ломающейся под тяжким бременем неспокойной совести, эта пьеса перекликается с драмой «После грехопадения».

Акт первый — па-де-де Гласа с Рэнделом, негритянским юношей. Тот появляется в лавке из темноты — паясничающий, издерганный, как загнанное животное. И снова тот же, «негритянский» мотив — «никто не знает моего имени». Уинстон Черчилль, отвечает незнакомец на вопрос, как его зовут, или Франц Кафка, и с ним случилось то же самое, что и с героем новеллы «Превращение». Впрочем, заявит он позднее, каждый человек — насекомое, большое или крохотное, но все равно насекомое. А то вдруг он заговорит о себе в третьем лице, как о ком-то постороннем, не имеющем отношения к человеку, который забрел сюда в поисках прибежища от страшного мира, «бойни» и «мясной лавки», от призрака только что содеянного им. «Мир дал волю страстям! Страсти слушать крики насилия и наблюдать зрелище мучений! Страсти к смерти и разрушению! Мы по шею в крови... приходится плыть или идти на дно — третьего не дано. Тс-с, слышишь? Ты слышишь там вдали слабый протяжный вой? Прислушайся хорошенько. Ты знаешь, что это? Йеху, алкающие крови».

Во втором акте — па-де-труа — на сцене появляется Рози, которую пытаются убедить не делать аборт, не губить зарождающуюся в ней жизнь. Но в доводах Гласа и Рэндела нет ни убежденности, ни морального основания.

Настает черед Гласа. Впервые за двадцать три года уединения он поверяет свою тайну другим. После захвата фашистами власти перед ним встал выбор: остаться с женой-еврейкой и сыном и, может быть, принять смерть — или уйти с коммунистами в подполье. Он выбрал нечто среднее и оказался «жертвой истории». Глас даже завидует казненному Эйхману: «Он совершил преступление и понес наказание. Но кто будет судить меня? Кто осудит меня и по каким законам?»

И все-таки его судят. В третьем акте — кода — Рэндел инсценирует судебное разбирательство. Глас обвиняется в том, что оставил семью перед лицом смертельной опасности, что водил в Маутхаузен транспорты с обреченными евреями, что покинул поле битвы, обвиняется в том наконец, что продолжает жить.

Однако моральный релятивизм Гласа («кто осудит меня?»), по всей видимости, торжествует. Оказывается, его судья, Рэндел — тоже убийца, он убил мать, убил за искалеченное детство «на дне» и в исправительных колониях. Убил потому, что у него «дыра в сердце».

Каждый из нас сам или по воле обстоятельств выбирает свою темную тропу — к такому выводу ведет драматург. Каждый из нас виноват, ибо вольно или невольно губит жизнь. Мы тоже участники «медленного танца на бойне», убийцы не только другие, убийцы мы сами. Таким образом, проблема ответственности личности за общество и историю и ставится, и одновременно как бы даже снимается. Раз виноваты все — значит, не виноват никто. Раз не виноват никто — значит, не виноваты и виновные.

Вряд ли есть смысл искать сходство материала, манеры, мастерства у К. Брауна, Л. Джонса и У. Хэнли. Однако есть нечто большее, что покрывает различие между графической неподвижностью «Каземата», нервической напряженностью «Голландца» и лабораторной психологичностью интеллектуального «Медленного танца»: влияние теорий и практики «театра жестокости» и, с другой стороны, изображение совершенно реальных обстоятельств сегодняшнего американского общества — «брутальность», культ насилия.

Общество, облик которого складывается из этих пьес,— противоестественно, нечеловечно, жестоко и потому абсурдно в действительном значении этого слова. Беспорядочные словесные структуры у сторонников мета-абсурда, преследующие цель показать стандартизацию душ и их отчужденность, меркнут перед зрелищем одного дня одиннадцати заключенных в «Каземате» Брауна или перед финальной картиной у Хэнли: перед тем как опуститься занавесу, на сцене, тускло освещенной сальным огарком, застывают, отвернувшись друг от друга, три фигуры. Современные модернисты заигрывают с многозначностью и вечностью, а авторы, о которых идет речь, знают, что расправы над неграми, выстрел в Далласе, тактика выжженной земли во Вьетнаме — не умствования досужих доморощенных философов о свойственной будто бы спокон века склонности человека к насилию, об агрессивном начале в человеке и т. д., а действительность, на которую не закрыть глаза.

Кеннет Браун, Лерой Джонс, Уильям Хэнли с большой художественной силой констатируют факт жестокости общества. Но ни один из них не видит надежды на спасение. Сильная сторона их пьес — предметность, натуральность — одновременно и наиболее уязвима. Авторы остаются в пределах каземата, вагона подземки, бруклинской лавки.

Натурализм — давняя слава и давняя слабость американской литературной традиции. Частные противоречия этих пьес восходят к общим противоречиям натуралистического искусства.

Драматурги смеются

Отталкивание от антитеатра со своеобразным иронически-пародийным использованием наиболее ходовых его ситуаций и приемов представляют собой пьесы Сола Беллоу «Последний сеанс» и Мьюррея Шизгэла «Ай да любовь!», которые явственно обозначили новое направление в развитии американской комедии. Обе были поставлены на Бродвее осенью 1964 года, и хотя первая практически провалилась, несмотря на громкое имя автора, а вторая имела успех, несмотря на то, что автор был практически неизвестен, в обеих есть та стихийная юмористическая струя, которая издавна присуща американской литературе. Авангард издевался над затасканными клише дешевого оптимизма. Беллоу и Шизгэл издеваются над затасканными клише дешевого пессимизма.

Герой Беллоу — комик, некогда популярный, а теперь утрачивающий свою притягательную силу. Бесхитростные эстрадные куплеты и остроты уже не трогают искушенную публику. Требуется что-нибудь новое, немыслимое, щекочущее нервы, и Филип Баммидж на сбережения решает устроить по телевидению просмотр для узкого круга. Он покажет «театр души», основанный на фрейдистском психоанализе, он даст «последний сеанс», во время которого продемонстрирует перед учеными-психиатрами и зрелищными предпринимателями разработанный им «экзистенциальный самоанализ действием» как метод лечения личных и коллективных неврозов.

Примерясь к бюсту Фрейда, Баммидж выступает то в роли пациента, то в роли врача. А Беллоу, искусно пародирующий псевдонаучный жаргон и популярные клише психоаналитической терминологии, подает его то как пророка, то как шарлатана. Посреди наиболее интимных откровений он начинает жевать сандвич, громко требуя горчицы, или усаживается на детский горшок, чтобы легче «войти в детство» и «восстановить забытую правду» подавленных желаний.

«Последний сеанс» — не только осмеяние вульгарного фрейдизма. Содержание пьесы, как писал Беллоу в предисловии,— «борьба разума за то, чтобы с помощью комического выжить среди засилия идей, его завороженность символами и та особая рабская торжественность, с какой американцы поддаются всякого рода программам, фантазиям и интеллектуальным поветриям». Именно в изобличении интеллектуально-художественной моды и в изображении того, как эксплуатируется эта мода, выявляется сатирический элемент пьесы.

Старый комик разыгрывает свои тайные страхи, неосознанные иллюзии, подавленные инстинкты, кризисные моменты своего существования. Момент зачатия, рождения, брака, страданий, смерти, возрождения (как в библейской легенде о Лазаре) — все находит свое пантомимическое и словесное выражение. Иногда эти сцены изобретательны и остроумны, иногда безвкусны до отвратительности, и тогда положение спасают приемы старой комедии, которые искусно использует Беллоу (прятание, узнавание, тумаки, фарсовые оскорбления, потасовки) и которые как бы «снимают» излишнюю серьезность.

«Борьба разума» среди хаоса идей — давняя тема Беллоу. Герцаг, герой одноименного романа, который несколько лет назад выдвинул автора в число ведущих американских прозаиков, тщетно пытался найти некий интеллектуальный синтез эпохи. Что

не удалось профессору, удалось, как полагает писатель, комедианту.

Баммидж давно обнаружил, что жизнь, которая дается человеку для радости,— цепь страданий, что, говоря словами Симоны де Бовуар, «между рождением и смертью лежит абсурд». Оттого и развилась в нем особая «болезнь за человечество» — гуманитис. Как же лечить ее и чем? «Обиды и боль, отчаяние и смерть — отовсюду слышится их грубый животный хохот. Что же остается комику, кроме высмеивания мелкой глупости? Он хочет быть экстремистом, но обнаруживает, что мир полон экстремизма. Посему надо возродить острословие, комедию, чтобы социальный порядок не имел на них монополию».

Отчаяние — наиболее опасный, пожалуй, враг искусства. Безжизненность многих американских—и не только американских— пьес есть следствие не столько интереса драматургов к «абсурдности» мира, если допустить экзистенциалистскую терминологию, сколько капитуляция перед абсурдом. И в этом смысле выход Беллоу за пределы абсурда знаменателен.

Вместе с тем в доктрине комического как единственного средства не запутаться в парадоксах и противоречиях нынешних условий человеческого существования заключена и позиция известной отстраненности от них.

Если у Беллоу есть еще следы «черного юмора», если у него нет-нет да появится саркастическая. холодно-отстраненная усмешка над всем и вся, то у Мьюррея Шизгэла звучит здоровый непосредственный смех. Быть может, в «Ай да любовь!» нет той глубины, на какую претендует Беллоу, зато и сатирический эффект в конечном счета оказывается, пожалуй, сильнее. Предмет насмешки драматурга — аффектация чувств, прикрываемая высокими и пустыми словами, тщеславные попытки быть во всем впереди века и самолюбование, которое сменяется мелодраматической жалостью к себе, когда оказываешься позади его, бездеятельность, оправдываемая ссылками на бесплодность каких бы то ни было человеческих дел, «оригинальное» мышление, которое на поверку выходит готовым набором отрывков из модных философских теорий. Уолтер Керр писал, что Мьюррей Шизгэл «на шаг впереди авангарда», а «место, на котором топчется авангард, называется «на краю». На краю отчаяния, на краю пустоты, на краю парковой скамейки — всюду можно увидеть сломленных, потерпевших поражение в ожидании Годо, в ожидании любви, в ожидании слова, которое позволит понять друг друга, в ожидании, что кто-нибудь или что-нибудь облегчит их страдания».

В пьесе безраздельно властвует комическая стихия — от проходной вроде бы реплики и случайного жеста до общей структуры, которая возвращает трех персонажей после всех перипетий к исходной точке. Основной комический эффект достигается тем, что они из всех сил стараются быть трагическими фигурами, не имея на то ни малейших оснований. Они кутаются в плащи заимствованной мировой скорби. Им отчаянно нужно отчаяние. При одной мысли, что на свете есть люди несчастнее их самих, они чувствуют себя ущемленными. Душевная боль и одержимость комплексами — их прерогатива. «Я дошел до точки. Все распадается. Мир. Люди. Жизнь. Смерть. Меня душат старые проклятые вопросы»,— заявляет один из них, Гарри. Какая-то собачонка в парке помочилась на его новые габардиновые брюки, и это стало наваждением, навязчивой идеей, кошмаром, роком. Другой, Милт, прыгает из постели жены в постель любовницы и обратно. Он несказанно счастлив только в момент прыжка, но в остальное время у него разрывается сердце от тоски и горя. Эллен, прочитавшая уйму книг в твердых переплетах, страдает от того, что никто не способен по-настоящему пробудить в ней женщину. Во втором акте она является перед зрителем в черном пальто, в черном свитере, в черной юбке, в черных чулках, черных ботинках. Она счастлива. Ее жизнь полна трагедий. Она была дважды замужем — за Милтом и Гарри, дважды страдала, а страдание, как известно, облагораживает. Они устраивают игры «кто несчастнее?» и пытаются броситься с моста или вешаться. Они обвиняют друг друга в бессердечии, беспредметном мудрствовании, в половых извращениях. Они замышляют убийства, притворяются больными, радостными, несчастными, глубокомысленными... почти невозможно экспонировать эту чисто игровую комедию, полную движения, иронии, буффонады и большого, вразрез с американской комедийной традицией, интеллектуального содержания.

Пламя причастности

«Театр жестокости», натуралистический, фиксирующий пороки социального организма Америки, и комическая драма, опрокидывающая абсурд в театре и в умах,— оба эти направления словно бы сошлись в пьесе, которой суждено, по-видимому, остаться в американском театре 60-х годов образцом реалистической трагедии, наиболее полно представившей противоречивый и изменчивый облик времени.

Январским днем 1965 года в возрасте 34 лет умерла Лорейн Хэнсберри. Долгие месяцы, превозмогая тяжелый недуг, боролась писательница за жизнь. Одновременно лучшие люди театрального Нью-Йорка боролись за ее новую драму, за то, чтобы «Знамя в окне Сиднея Брустейна» не было снято.

Новая вещь автора «Изюминки на солнце» — пьеса идей, к тому же идей, идущих вразрез с общепринятыми. Наверно, поэтому премьера спектакля, состоявшаяся в середине октября в театре «Лонгэкр», была весьма сдержанно встречена «большой» прессой США Любая пьеса, как бы хороша она ни была, сходит со сцены, если не получит полную поддержку хотя бы четырех

из семи основных газет театральной столицы Америки. А недельные расходы на постановку исчислялись суммой 30 тысяч долларов. На театре царил спад: из-за финансовых затруднений перестали играть «Физиков» Дюрренматта, «Наместника» Хохгута, «Бедного Битоса» Ануя...

Основных действующих лиц пьесы Хэнсберри нашла среди кварталов Гринвич Вилидж, этого давнего обиталища литературно-артистической богемы Нью-Йорка, среди тех, кому хочется быть бунтовщиками против окружающего общественного порядка или, по крайней мере, людьми, обособленными от него. Среди них и Сидней Брустейн — фантазер, насмешник, философ, сорокалетний без малого мужчина с детскими глазами. Американский «отчужденный» интеллигент наших дней, своего рода «шестидесятник». Вместе с тем он — тип современного мыслящего человека западного мира, зараженный его недугами: душевной усталостью, разочарованностью, скепсисом, прикрывающим тоску по недавнему радикальному прошлому. Болезнь века — в нем самом. Он мучается язвой желудка и сознанием бессилия перед всепроникающим и неуловимым злом: «...как сражаться с тысячами безымянных, безликих призраков, которые и есть зло нашего времени?.. Гнев человеческий превратился в отравленный желудочный сок. Человек теперь не борется со злом — он хватается за живот и глотает нилюли...»

«Герои современной трагедии заражены болезнью души, которая отражает болезнь нашей культуры. Враг — не какая-то внешняя сила. Враг — внутри них самих»,— писал критик Морис Валенси. Таково самое распространенное, пожалуй, мнение среди зарубежных театроведов. Да, источник трагического в человеке. Но не в болезни его души, а скорее, в таком внутреннем разладе, который непременно вбирает в себя конфликт с другими, со средой, с обществом. Сломленная натура — фигура ложнотрагедийная.

Всем ходом драмы, всеми обстоятельствами и перипетиями Сидней обретает умение действовать.

Когда-то Сидней был для Айрис «возлюбленным, отцом, миром, богом». Но теперь постоянные чудачества мужа вызывают в ней глухой протест. Пьеса и начинается в тот момент, когда потерпело крах предприятие Сиднея, очевидно, очередное, причем начинается с явно комедийной ситуации. Неслучайно группа драматургов и актеров, среди них Дж Болдуин, П. Чаефски, О. Дэвис, У. Гибсон, Дж. Харрис, Л. Хеллман, С. Кингсли, Ш. Уинтерс, писала в поддержку спектакля: «Новая пьеса мисс Хэнсберри — выдающееся явление. В ней есть юмор и проникновенность, которую мы связываем с лучшими традициями отечественной драмы». Единственное, что удалось спасти из «Серебряного кинжала» перед приходом налогового инспектора,— это сто пятьдесят добротных бокалов. Незадачливый владелец ночного бара с клубом народной песни тут же решает выпускать газету, в которой «не брать никаких обязательств, отрицать любую позицию, высмеивать все громкие слова».

Айрис недовольна Сиднеем, недовольна и его окружением: «Герои, повсюду герои, и ни одной выигранной битвы». Это недовольство усугубляется резкой неудовлетворенностью собой, несостоявшейся актрисой. Реальные проблемы дополняются надуманными: тут и сеансы у психоаналитика, и вселенский Angst — метафизическая неустроенность бытия. Впрочем, ей порядком надоели пустые «разговоры о реформах и Альбере Камю», она неосознанно тянется вкусить от американского успеха.

Айрис — одна из трех сестер, которые когда-то, наподобие чеховских, задыхались в провинции. Они вырвались оттуда, но ни одна не стала счастлива. В отличие от Айрис, старшая, Мэвис, вроде бы устроена: дом, семья, благополучие. Однако ее муж — состоятельный и самодовольный лицемер, «принц филистеров». Третья сестра, Глория, считается модной манекенщицей, которая много ездит — «живой символ Мэдисон-авеню», а на деле у нее нет никого и ничего, кроме вереницы чужих отвратительных мужчин. Оттого она трижды пыталась покончить с собой, оттого судорожно ищет, кому бы довериться.

Кажется, что она почти нашла верную мужскую руку, чтобы опереться,— руку влюбленного в нее молодого негра Элтона. Однако впечатление обманчивое. Элтон и сам потерял точку опоры. Не разобравшись в событиях 1956 года в Венгрии, он сгоряча вышел из коммунистической партии, терпит идейный и личный крах. Он не в силах перешагнуть барьер буржуазной нравственности в отношениях с любимой женщиной. Фигура Элтона — одна из самых сложных в драме, но и предельно, до боли, достоверная.

Есть в пьесе еще один персонаж — сторонник того направления в современном искусстве, которое решительно отвергает Хэнсберри. Вознамерившись «вырвать театр из тисков ибсенистского натурализма», Дэвид Рэджин сочинил четырнадцать абсурдных пьес. Мир — голая пустыня, где ничего не происходит, кроме того, что мы случайно прибываем сюда и в один прекрасный день отбываем неизвестно куда, твердит он зады вульгарного экзистенциализма — ими вполне снабжают страждущих общедоступные журналы. Впрочем, и это лишь фраза. Рэджин удручен не столько бренностью всего сущего, сколько тем, что неузаконен гомосексуализм.

Вообще, нужно хорошо ощущать атмосферу литературно-художественной жизни Америки 60-х годов, чтобы по достоинству оценить целеустремленность полемического заряда пьесы Хэнсберри. Нужно в подробностях знать, чем дышит ее так называемый интеллектуальный авангард, чтобы уловить многочисленные намеки — и про-

---

Г. ЗЛОБИН
ПОСЛЕ АБСУРДА

зрачные, и скрытые — на ходячие мнения и на ложные кумиры в искусстве и философии. Иногда иронико-сатирические стрелы облекаются в форму случайной вроде бы реплики, иногда изящной пародии, иногда пространной и своеобразно, согласно общему замыслу, повернутой парафразы какого-нибудь произведения. Один пример. В третьем акте, на пороге трагической развязки драмы у Сидиея случается очередной приступ язвы желудка. Он не хочет показаться слабым — у него Глория и Дэвид — и потому паясничает, юродствует, смеется «черным смехом». Гремят из проигрывателя бешеные ритмы. Чуть не корчась от боли, Сидней декламирует: «Быть или не быть?»... Посреди этого нелепого и буйного действия все трое затягивают: «Не пугает нас абсурд, нас абсурд...»

Совершенно очевидно, что этот эпизод — парафраза некоторых моментов в пьесе «Кто боится Вирджинии Вульф». Олби до бесконечности разыгрывал абсурдные фантазии и прихоти своих приниженных персонажей. Хэнсберри же мужественно ведет героев сквозь реальный абсурд к истинно драматическому, я бы сказал, и трагическому, исходу. Именно после этой сцены Глория схватит пузырек с пилюлями и скроется в ванной комнате.

Айрис, Глория, Элтон, Дэвид, сам Сидней — все они глубоко несчастны, они — жертвы того самого неуловимого зла, «тысяч безымянных безликих призраков», которое есть норма сегодняшнего американского стиля жизни. Есть от чего прийти в отчаяние, есть от чего поддаться мрачной, но в конечном счете уютной философии бессмысленности бытия. Но если бы все они остались только жертвами, тогда драма Хэнсберри не стала бы качественно новым явлением в американском театре последних лет.

В образе Сиднея Брустейна, специфически американском и безошибочно сегодняшнем (время действия — 1964 год), схвачены вместе с тем типичнейшие черты тех западных интеллигентов, кто в свое время ходил в «левых», но после растерял на камеинстых тропах истории сьой пыл, а взамен не обрел ничего.

«Да, у меня, пожалуй, нет уже амбиций институтского революционера,— говорит Сидней.— Признаю, что у меня не осталось ни энергии, ни наивности, ни желания «спасать человечество»... Я даже не верю, что когда-нибудь вообще настанет весна... Я пережил смерть восклицательных знаков... Одна мысль о «Движении», о том, что нужно что-то делать, бросает меня в дрожь».

А жизнь шла дальше, и они, субъективно честные, все же оказались перед необходимостью принимать решения. Накануне премьеры Л. Хэнсберри опубликовала статью, где обосновала свой замысел нарисовать «фигуру западного интеллигента, застывшего в нерешительности перед пламенем причастности», духовный климат его среды. Пути и перепутья радикальной мелкобуржуазной интеллигенции за минувшие 20—30 лет — проблема эта, освободившись в какой-то мере от оков маккартизма, сиова входит в литературу и драму США. Но если большинство авторов все же покидает своих героев на распутье — взять хотя бы Квентина из драмы «После грехопадения»,— то для Л. Хэнсберри распутье— лишь исходиан точка. «Немногие проблемы привлекают меня так, как муки человека, делающего выбор»,— писала она в статье. И ее Сидней Брустейн делает выбор, преодолевает общественный индифферентизм.

Политическая наивность и романтичность натуры толкают его иа первое подвернувшееся дело — на поддержку в своей, уже «ангажированной» газете приятеля, выставившего свою кандидатуру на местных выборах.

Пережить вдобавок к прежним бедам разрыв с жеиой, самоубийство близкого человека и предательство друга, сумевшего втянуть его в избирательную кампанию наперекор представлениям, будто всякая политика — грязь, и обманувшего своим приспособленчеством,— пережить все это и не сломиться, а, напротив, возродиться к жизни и действию, надо быть характером незаурядным. Таких характеров в сегодняшней американской прозе и драме мало. Зато таких людей снова стало больше в жизни. Хэнсберри чутко уловила пробуждение общественного сознания у лучшей части американского общества, сообщив пьесе редкую реальную перспективу.

«Знамя в окне Сиднея Брустейна» несет следы драматургической незавершенности: писательница работала над этой вещью уже тяжело больной, почти на пороге смерти. С точки зрения канонов «well-made play» могли бы быть стройнее и строже и фабула, и композиция. Но пьеса исполнена такого драматизма, такой гражданской и философской страсти, такой художественной актуальности, которая выводит ее за пределы отечественного горизонта и равняет с лучшими произведениями мировой прогрессивной литературы сегодня. Именно это имел в виду Джеймс Болдуин, который после одного из представлений произнес вдохновенную речь: «Сидней Брустейн верит в то, во что я и большинство из нас тоже верили, но давно, в 30-х годах... Я был поражен... а я — из тех, кого, кажется, ничем не поразишь... так вот, я был неприятно поражен, когда подумал, до какой степени мы, все мы отличаемся от людей, какими были когда-то... какое большое расстояние из-за этого десятилетия, из-за маккартизма, пролегло между нами и нашей способностью занять определенную позицию — так, как это делает Сидней Брустейн».

Т. МОТЫЛЕВА

БУЛЬВАР МОНПАРНАС, 89

Поперек широко открытых ворот протянута трехцветная лента. Пройдет еще несколько минут, она будет перерезана, и в только что отстроенное уютное помещение школы имени Ромена Роллана войдут первые посетители — будущие ученики, родители учеников, гости, приехавшие на торжество. Открытие новой школы имени Ромена Роллаиа — радостное событие в жизни города Стэнса, расположенного к северу от Парижа, иедалеко от Сен-Дени: население здесь густое, а школьных помещеиий не хватает — это предмет постоянных забот муниципалитета. И мэр города коммунист Луи Борд, и выступающий вслед за ним депутат Вальдек Роше особо отмечают значение того факта, что школе присвоено имя Ромена Роллана — борца за мир и социальный прогресс, писателя, который еще в романе «Жан-Кристоф» поставил коренные проблемы человека XX века и сохранил верность передовым идеалам и в тяжелые годы войны — до самой смерти.

Столетие со дня рождеиия Ромена Роллана отмечалось во Франции — вечерами, собраниями, выступлениями печати — в течение всего 1966 года. В сентябре в городе Везеле, где Роллан провел последние шесть лет жизни и где он умер, состоялся коллоквиум, посвященный его памяти,— сюда приехали писатели и литературоведы из разных стран, от Советского Союза в этом собрании участвовал И. Г. Эренбург. В ноябре в одном из старинных зданий Парижа, принадлежащих архивам Франции, в Отель де Роан, открылась большая выставка, посвященная жизни и творчеству Ромена Роллана; в декабре состоялась серия радиопередач, посвященных «Жан-Кристофу», с участием известных артистов, со специально написанной музыкой.

В книжных магазинах Парижа можно видеть томики «Жан-Кристофа» и «Очарованной души» в массовом издании «Ливр де пош». В этом издании оба романа вышли сравнительно недавно. Писатель-мыслитель, которого иные влиятельные во Франции критики не раз объявляли устаревшим, слишком многословным или умозрительным, находит, наконец, дорогу к действительно широкой читающей публике.

О росте интереса к Роллану говорит и другое. Специальный номер журнала «Эроп», вышедший к юбилею, объемистый, богато иллюстрироваиный, содержащий серьезные статьи и публикации неизданных документов, был хорошо принят читателями и разошелся в короткий срок.

■

...В августе 1942 года Ромен Роллан писал Луи Жилле — давнему литературному собрату, с которым он возобновил дружбу во время войны: «Когда удастся увидеться? У меня нет никакой возможности попасть в ваши края. Мне нельзя выезжать из моей зоны. Я прижат к моей скале. Иногда удается разве только выпорхнуть в Париж, где я снова снял антресоли на бульваре Монпарнас, 89, возле Нотр-Дам-де-Шан. Да и туда добираться становится все труднее из-за общих помех в передвижении и потому, что мне самому тяжело путешествовать»*. В маленькую квартирку, находящуюся довольно далеко от центра Парижа, Роллан приезжал изредка (кстати, и издательство Альбен Мишель, с которым он был

* Cahier Romain Rolland. Correspondance entre Louis Gillet et Romain Rolland. Paris, 1949, p. 321-322.

связан долгие годы, находится тут же поблизости, на улице Гюйгенс). Сюда Роллан приехал и совсем незадолго до смерти, после освобождения Парижа, и принял участие в праздновании 27-й годовщины Октябрьской революции в посольстве СССР.

Трудно не волноваться, когда впервые входишь на второй этаж старого дома на бульваре Монпарнас: вот по этой винтовой лестнице, крутой и неудобной, не раз поднимался Роллан, наверное, слегка задыхаясь. Теперь здесь живет его вдова и находится его Архив.

Со словом «архив» обычно связывается представление о тишине, об академической отрешенности от всяких текущих дел. Нет, в Архиве Ромена Роллана все не так. В небольшой квадратной комнате стрекочут две пишущие машинки, нередко толпятся посетители, то и дело подает голос телефон. Сюда приходит почта со всех концов света. Мария Ромен Роллан успевает делать несколько дел одновременно: диктует письма, отвечает на телефонные звонки, разбирает рукописи. Вот и сейчас она взялась за корреспонденцию: давно пора написать советским исследовательницам творчества Роллана З. Гильдиной в Ригу и М. Тахо-Годи в Орджоникидзе. Идут срочные переговоры с посольством Чехословакии: Марию Павловну приглашают поехать в Прагу посмотреть пьесу «Игра любви и смерти» в оригинальной постановке режиссера Радока, вызывающей много споров. А тут еще пришли сотрудники редакции «Жён Африк», вихрастый юноша француз и молодая негритянка с тонким одухотворенным лицом (как оказывается, дочь писателя Ричарда Райта): они просят что-либо из текстов Роллана для опубликования в журнале и получают письмо, содержащее мысли писателя о колониализме.

В этой же квадратной комнате, на высоких стеллажах, в объемистых папках-скоросшивателях — копии рукописей Ромена Роллана и сокровища его неизданной переписки. Исследователи из разных стран проводят здесь долгие счастливые часы. Бородатый студент из Бельгии лихорадочно перелистывает папку с письмами: ему уже скоро уезжать. Над другой папкой склонилась гостья из США, профессор колледжа. Она работает над книгой о связях Ромена Роллана с американской культурой — вот сейчас ее заинтересовали строки из его письма к Стефану Цвейгу от 20.II.1932 г.— строки, в самом деле примечательные: «Пожалуй, мне следовало бы быть похороненным у подножия Кремля, возле Джона Рида и некоторых других отважных разведчиков Нового Мира...»

Мы знаем теперь о Ромене Роллане уже значительно больше, чем знали при его жизни. Роллан всегда помимо романов, повестей, пьес, статей, музыковедческих трудов, предназначенных для печати, писал много такого, что было не для печати, а только для друзей-корреспондентов или даже (если речь идет о дневниках) для читателей будущего. Посмертные публикации его писем и дневников уже внесли — и все время вносят — существенные новые оттенки в понимание его личности и творчества. Глубокого уважения достоин труд вдовы писателя, которая отобрала и обнародовала много ценнейших страниц его наследия. Вышло уже 16 томов «Тетрадей Ромена Роллана» — а объем неопубликованного все еще необозримо велик.

Материалы роллановского Архива широко используются в новых трудах ученых. В числе этих трудов стоит назвать книги французских авторов — Рене Шевалля «Ромен Роллан, Германия и война» (1963) и Жана-Бертрана Баррера «Ромен Роллан. Душа и творчество» (1966); три книги польской исследовательницы Зофьи Карчевской-Маркевич — монографии о театре Роллана, о структуре «Жан-Кристофа» и краткий очерк жизни писателя; вышедшую в 1966 г. в Белграде объемистую книгу Радослава Иосимовича «Литературные взгляды Ромена Роллана»; следует назвать и книгу чешского литературоведа Владимира Бретта об Аири Барбюсе и группе «Кларте», где специальная глава посвящена истории взаимоотношений Барбюса и Роллана. Не раз бывал в Архиве Роллана И. И. Анисимов. Большое исследование о творчестве Ромена Роллана до 1914 года готовит ленинградский ученый В. Балахонов, который работал в Париже два года. Без учета материалов Архива Роллана теперь уже крайне трудно, если не невозможно, писать серьезные работы о нем.

В письмах Роллана много ценных свидетельств о творческой истории его основных произведений, там есть и примечательные самооценки, мимо которых нельзя пройти. Сколько раз уже писали о «Жан-Кристофе» как романе особого рода, романе музыкальном, лирическом, своего рода поэме, отражающей в первую очередь судьбу могучего творческого духа! Все это не лишено оснований, но стоит прислушаться к словам Роллана из письма к М. Мартине (23.III.1920 г.), где фиксируется внимание на объективном содержании «Жан-Кристофа»: «Я считаю, что слова «история», «историзм», «исторический» выражают — пусть и не в полной мере, но лучше, чем слово «роман»,— одну из основных особенностей произведения и его автора». Любопытно и другое. «Жан-Кристоф», как известно, открывается авторским посвящением «Свободным душам всех наций, которые страдают, борются и победят»*. Когда написано это посвящение — в начале или в конце авторской работы над романом? В письме к тому же корреспонденту от 20.VI.1920 г. Роллан уточняет — посвящение появилось впервые при публикации последнего тома. Этим подтверждается, что конец «Жан-Кристофа» вряд ли стоит трактовать как спад или отступление. Старый мятежник Кристоф успокаивается, но не смиряется, его бунт прошел не бесследно, он помог приблизить «Грядущий день». В авторском посвящении как бы кристал-

* Перевод этого посвящения в Собрании сочинений Р. Роллана неточен. В подлиннике — vaincront, не побеждают, а победят.

лизуется важное свойство повествования — его обращенность к будущему.

В комедии-памфлете «Лилюли» торжествует стихия «чистой» сатиры: все подлежит отрицанию, все разрушается и гибнет. Где же тут положительное, утверждающее начало, столь характерное, вообще говоря, для творческой манеры Роллана? Об этом говорится в том же письме к М. Мартине от 20.VI.1920 г. «Подлинный замысел «Лилюли»: отхлестать, чтобы она проснулась, эпоху, погрязшую во лжи. И, пробудившись, самому насладиться прекрасным утром (как поется в начале «Лилюли») и тем, что *«кошмар вырван с корнем»*. Сама беспощадность сатиры, по мысли Роллана, заключала в себе преодоление кошмара, торжество над ним.

■

Интересны свидетельства в письмах крупных писателей — современников Роллана — о том, как воспринимались его книги при первом появлении. Эти свидетельства особенно важны тогда, когда речь идет о произведениях Роллана, не оцененных по достоинству западной критикой.

Вот что писал Роже Мартен дю Гар 15.I.1923 г.: «Я только что дочитал «Аннету и Сильвию», во мне еще не остыло волнение последних страниц (не знаю, как обращаться к вам, вы — Ромен Роллан, а не «дорогой мосье»). К этой книге отнеслись в целом несправедливо. Она не просто удачна, она *трепетна*. Она вся как живое существо, в ней есть ритм самой жизни, иногда немного замедленный, иногда поспешный, задыхающийся, но всегда мощный, глубокий, насыщенный энергией, как биение сердца. Первая часть — чудо свежести и молодости; а во второй части вы достигли вершин, которых никто до вас не исследовал с такой уверенностью, с такой удивительной способностью воплощения. Я, наверное, никогда не забуду обручения Анеты и ее разговора с женихом. После таких страниц стоит ли придавать значение некоторым длиннотам и натяжкам, которые попадаются то там, то здесь! Это пустяки. Самое важное — жизненный порыв, который одушевляет, например, все творчество Толстого. А в вашей книге это есть...»

Заслуживает внимания оценка «Робеспьера» в письме Стефана Цвейга к Ромену Роллану от 22.III.1939 г. «Мой дорогой друг, я прочитал вашего «Робеспьера» за два дня и был счастлив убедиться, что вы закончили ваш грандиозный цикл таким замечательным произведением. Отличная идея — показать Робеспьера на вершине власти, а не в эпоху демагогии, менее симпатичную; вы отдали ему должное, показав его таким, каким он был,— напористым и неуверенным, чистым и упрямым, а главное — носившим в себе предчувствие беды, которая грозила революции, и краха, который грозил ему самому... То новое, что вы дали современному театру, заключено в финале. Я всегда чувствовал, что историческая драма в какой-то мере мертва, если не удается оживить ее идеей. В двух последних сценах прежние узкие рамки разбиты: чувствуется воздух нашего времени и большой поток нашей жизни. Это вам превосходно удалось: пьеса не оставляет ощущения, что речь идет о поражении революции. Мы должны чувствовать и чувствуем, что этот человек — одна из жертв на пути, но что сам путь не закрыт».

Это письмо любопытно не просто тем, что Стефану Цвейгу понравился ролановский «Робеспьер». Важно, что австрийский писатель, далекий от революционных симпатий, сумел ощутить новаторский характер трагедии Роллана, ее жизнеутверждающий дух.

■

Тема Октябрьской революции и Советского Союза занимает в переписке Роллана громадное место.

Октябрьская революция раскрыла перед лучшими, мыслящими художниками Запада *такие* исторические перспективы, поставила перед ними *такие* проблемы эпохального масштаба, от которых они, даже при желании, не могли отвлечься. Это относится и к Бернарду Шоу, и к Герберту Уэллсу, и к Томасу и Генриху Маннам, и к другим большим писателям XX века — относится, конечно, и к Ромену Роллану.

Влияние Октябрьской революции на западных мастеров культуры, вообще говоря, представляло длительный и сложный процесс. У каждого из крупных зарубежных писателей этот процесс протекал по-своему, в каждом отдельном случае приходил во взаимодействие с национальной традицией, творческой личностью писателя, нередко включал и трудные поиски, и душевные конфликты.

Своеобразие Ромена Роллана сказалось тут прежде всего в том, что он намного раньше большинства своих западных литературных сверстников осознал революционный характер века, ощутил под почвой старой Европы подземные толчки великого социального переворота. Предчувствие больших общественных потрясений отозвалось едва ли не во всем творчестве Роллана, начиная с ранней неоконченной драмы «Побежденные»; оно определило и его стойкий интерес к теме Французской революции. Размышления о революционных перспективах XX столетия содержатся и во многих ролановских письмах разных лет.

Марксистом Ромен Роллан никогда не был и не стал; от идей большевизма его отделяло много сомнений, возражений и разногласий, которые не были целиком устранены и после того, как он опубликовал свое знаменитое «Прощание с прошлым». Во многих письмах первых послеоктябрьских лет он отстаивал дорогую ему идею «независимости духа», старательно отгораживал «интернационал интеллекта» от «интернационала действия». Однако проблема соци-

Т. МОТЫЛЕВА
БУЛЬВАР МОНПАРНАС, 89

алистического преобразования мира неотступно стояла перед ним. Советский Союз, его исторический опыт, его трудный путь, то и дело побуждал Роллана к раздумьям; его симпатия к народу, строящему новую жизнь, становилась все более горячей и действенной, а сомнения оттеснялись на второй план.

Эта динамика ищущей мысли Роллана в 20-е годы отражена, например, в его письме к эмигранту из России, анархисту Лазаревичу, от 16. XI. 1927 г. По-видимому, адресат этого письма обратился к Роллану с претензиями по поводу его приветствия советскому народу к 10-й годовщине Октября. Роллан ответил ему (в частности, ссылаясь на вышедшее незадолго до того исследование Гвидо Мильоли о новой советской деревне):

«...В течение последних шести лет я получаю из России столько различных, даже противоречащих друг другу сведений — причем все сведения (все те, которые я учитываю) основаны на добросовестных, тщательных наблюдениях (и в немалом числе исходят от русских, живущих в России),— что мне нельзя не прийти к выводу, что в этом огромном формирующемся мире добро и зло смешаны в гигантских пропорциях. Но если я, как вы видели, всегда готов был протестовать против злоупотреблений, о которых я узнавал, то я не могу не восхищаться размахом известных мне новых начинаний в области народного просвещения, социального обеспечения, больших общественных работ. Я представляю себе, что пока что это лишь капли воды в степи. Но за десять лет громадная Россия, изолированная, окруженная врагами, не могла сразу перешагнуть через столетия. Самое существенное — что она идет вперед и что народ такого склада, о каком говорит Мильоли, существует, пусть даже в виде островков. Найдите мне где-нибудь на Западе хоть один такой островок! Не вмешивайте меня в ваши партийные распри! Большевики, социалисты, анархисты интересуют меня мало, пока речь идет о теориях. Я не защищаю какую-либо партию. Я защищаю (как вы и отметили) народы России против всех происков правительств Европы и Америки. И с этих позиций я отказываюсь понимать, почему все свободные люди не могут заставить умолкнуть свои личные горести и обиды (пусть даже и тысячу раз обоснованные). Общий фронт! Когда я прославляю годовщину события, которое произошло десять лет назад, я думаю о Сталине или о Бухарине не больше, чем о Троцком или о Зиновьеве,— я думаю скорей всего о Ленине. Я думаю о цепях, которые были разбиты, о Бастилии, которая была низвергнута. А теперь (как говорит у меня Камилл Демулеи в конце пьесы «Четырнадцатое июля»): «Доведите до конца наше дело! Бастилия пала, но в мире остались другие Бастилии. На приступ! На приступ против всяческой лжи, против мрака! Разум победит силу!»

В этом же плане интересны и строки из письма к Виктору Маргериту от 5. III. 1931 г.: «Не будучи коммунистом, не отказываясь от тактики *ненасилия* (или, точнее: *неприятия* без насилия), которой учит и которую победоносно применил мой великий друг Ганди,— я абсолютно убежден, что для самого Запада и для всего мира *жизненно* необходимо свободное и полное развитие Всемирного Союза Труда, воплощаемого в современном мире *только* СССР, и осуществление гигантского социального опыта — Пятилетнего Плана. Защищать его, помогать ему — главный предмет моих усилий в настоящее время».

Роллан с вниманием следил за хозяйственными успехами СССР. Однако он (не в пример многим западным «советологам», в том числе и сегодняшним) понимал, что увеличение производства материальных благ не является для советского общества самоцелью. Его больше всего волновал вопрос: каковы те перспективы морального, духовного развития человека, которые открываются или откроются в дальнейшем, в условиях социалистического строя? Этот аспект размышлений Роллана отразился, например, в его письме к известному философу-идеалисту Н. Бердяеву от 2. XI. 1932 г. Роллан благодарит Бердяева за присланную им книгу «Христианство и классовая борьба», сообщает, что его привлекло в этой книге стремление автора «вернуться к живым истокам христианства, существовавшим, пока река еще не была загажена». Далее в письме идут строки, по сути дела представляющие полемику с антиреволюционными воззрениями Бердяева.

«Но не думаете ли вы,— говорит далее Роллан,— что эти угнетенные массы организовались в рамках «класса» именно потому, что угнетатели, эксплуататоры загнали их в эти рамки и что эти массы, вынужденные вести борьбу в свою защиту, всегда имели в виду, в итоге борьбы, исчезновение «классов» и утверждение «человечности» для всех? Я часто дискутировал об этом с лучшими из их среды — молодыми рабочими и интеллигентами СССР. И я почти всегда находил в них гордую уверенность, что они работают над созданием не только нового мира, нового социального устройства, но и нового понимания индивидуума, нового склада человеческой личности, более широкой, включающей все лучшее, что было завоевано духом на протяжении веков. Пусть их настоящее и далеко от этого идеала — этот идеал тем не менее светится в конце пути».

На свое общение с советскими людьми Роллан нередко ссылается и в других письмах. Переписка с многочисленными русскими читателями-друзьями — затем и личные встречи с ними во время пребывания в СССР летом 1935 г.— была для него гораздо более важна, чем любые экономические или статистические данные, которые он мог почерпнуть в книгах. Общение с людьми социалистического мира все более основательно подтачивало роллановскую концепцию «независимости духа».

Общеизвестно, что роман «Кларамбо», носивший подзаголовок «Один против всех»

(«романи-размышление», как называет его Роллан в некоторых письмах), в свое время, в момент выхода (1920), отчасти выражал взгляды самого автора. Но вот что писал Роллан С. Цвейгу 17. VII. 1936 г.:

«Нет, я вовсе не один, не одинок, как вы мне пишете. Я, напротив, чувствую себя окруженным дружбой миллионов людей из разных стран, и я возвращаю им эту дружбу. Не проходит и дня, чтобы она не доходила до меня горячим дыханием любви и доверия. Я объявляю себя солидарным с этой молодежью — я ежедневно могу оценить ее великодушие и преданность справедливым и гуманным делам. Время Клерамбо прошло. Такие, как Клерамбо, были последним прибежищем духа, наперекор безнадежности старого мира. Но теперь надежда явилась вместе с верой и энергией молодого, нового мира и благодаря ему. Мне не нужно больше, чтобы спасти свою свободу, запираться у себя в комнате. Сбываются слова Фауста: свободы достоин тот, кто каждый день, на разных полях земли, идет за нее на бой». Далее Роллан критически отзывается о французских литераторах, из которых многие заняты лишь «собственной лавочкой», и добавляет: «Вот почему смерть Горького — такой жестокий удар для меня. Ибо я чувствовал себя кровно связанным с этим большим художником, чуждым всяческой литературщине; вся его сила была в ясных глазах и честном, искреннем сердце. Это громадная потеря для СССР и всего мира».

Понятен боевой тон этого письма: оно было написано в период ощутимых успехов Народного фронта во Франции и до начала гражданской войны в Испании. Это был момент, когда антифашистское движение в разных странах Европы находилось на подъеме. Важно, однако, и другое. Чувство общности, крепкой спаянности со всем передовым человечеством, несомненно, усилилось у Роллана после путешествия в СССР.

Находясь в Горках под Москвой в гостях у Горького, Роллан писал М. Мартине (12. VII. 1935 г.):

«Я не могу вам описать сейчас мои впечатления от этого великого мира с его бьющей через край энергией. Времени не хватает, и силы мои ограничены. Не простое дело для больного семидесятилетнего старика предпринять такое путешествие. А люди здесь ненасытные. И какой поток любви на меня обрушивается! Это трогательно и ни с чем несоизмеримо. Если бы я не был под охраной, они задушили бы меня в своих объятиях.

У меня тут были интересные разговоры. Я увидел вблизи территорию битв, которые еще ведутся, и, кажется, понял их лучше, чем мог бы понять во Франции. Так или иначе, могу вам сказать, что здесь сложились замечательно крепкие, боевые и дисциплинированные отряды; и подрастают уже новые отряды для будущего, кадры руководителей, которые по уму и энергии не уступают нынешним. Ничто здесь не строится на песке».

Через несколько месяцев после возвращения из Москвы — в январе 1936 г.— Роллан писал своей бывшей жене Клотильде Бреаль-Корто:

«Я не намерен публиковать описание путешествия в СССР. Мои заметки могут пригодиться только на будущее. Их у меня много.

Во время путешествия я находился в привилегированных условиях и не выезжал дальше Подмосковья. Но я собираюсь вернуться туда в будущем году и посетить другие области этой огромной страны. Учусь русскому языку.

В ограниченных пределах моего пребывания там я увидел и выслушал довольно много разнообразных людей, включая ведущих политических деятелей и людей интеллектуального мира. В доме Горького, у которого я был в гостях, мы ежедневно встречались с делегациями из разных республик; я переписывался и продолжаю переписываться с сотнями мужчин и женщин из городов и деревень, со школьниками и красноармейцами — и особенно с молодежью.

В целом — оставляя в стороне те или иные оттенки — у меня создалось и сохранилось впечатление потока энергии, веры, радости, превосходящего все, что можно вообразить. Особенно привлекательна та радость, которая чувствуется в людях от 20 до 35 лет, выросших уже за годы революции. Они счастливы тем, какими они стали, какую работу выполняют, какой дорогой идут! И я с ними поистине счастлив. Руководители там выдающиеся, но элита широких масс еще больше заслуживает внимания. Я уверен в их победе.

Все это, конечно, не исключает и промахов, ошибок и недостатков. Это цена любого дела. Но они достаточно разумны и сильны, чтобы отдать себе отчет в этих недостатках и справиться с ними.

Не говорю об искусстве. Оно в данное время относительно менее интересно. Но и для него время придет; в толще людей много неистраченных сил; есть здесь и те, кого искусство вовсе еще не коснулось. В доме Горького я слышал поразительную хоровую полифонию Грузии и хорошую музыку из Средней Азии и Монголии» *.

Письма Роллана помогают понять, почему он не выступил в печати с рассказом о своем путешествии в СССР. Дело было не только в том, что он отдавал себе отчет в неполноте своего знакомства с советской жизнью. Дело было и не только в том, что он (как он писал позднее С. Цвейгу) из соображений такта не считал возможным «обнародовать свои интимные впечатления о тех, чьим гостеприимством только воспользовался». Роллан старался воспринимать все то, что он видел, трезво — без предвзятости, но вместе с тем и без наивной восторжен-

* Опубликовано в книге: Zofia Karczewska-Markiewicz. Romain Rolland. Warszawa, 1964. Str. 267-268.

Т. МОТЫЛЕВА
БУЛЬВАР МОНПАРНАС, 89

ности (об этом говорят и те фрагменты его путевого дневника, которые были опубликованы в журнале «Эроп» в 1960 г.). Он видел в большом советском доме не только свет, но и тени - подмечал «промахи, ошибки, недостатки», понимал, что перед народами СССР много сложных и нерешенных задач, и не считал уместным делиться с широкой публикой своими суждениями по этим поводам. Так или иначе, радостные, положительные впечатления были *главным,* что он вынес из поездки в Советский Союз: об этом и говорится в приведенных письмах.

К концу 30-х годов контакты Ромена Роллана с советскими людьми резко ослабевают. В лице Горького он потерял одиого из ближайших друзей, с которым мог откровенно говорить обо всем. Приходившие из СССР известия об арестах и о судебных процессах причиняли Роллану глубочайшую душевиую боль. Он старался объяснить происходящее себе и другим, но это было крайне трудно. В некоторых случаях он пытался заступиться за лично знакомых ему людей: в частности, он по просьбе Виктора Баша, председателя Лиги прав человека, написал в защиту профессоров, лечивших его в Москве,— Д. Плетнева и Л. Левина *. Но Роллан и в это нелегкое для него время оставался — как показывают и его письма — другом СССР и международного коммунистического движения. Его обрадовало, что «Робеспьер» вышел в 1939 г. в Москве. Он продолжал антифашистскую публицистическую деятельиость, протестовал в октябре 1938 г. против Мюнхенского соглашения, а в марте 1939 г.— против захвата Чехословакии гитлеровцами.

В 1938 г. Роллан переехал из Швейцарии во Францию, в Везеле. Еще в декабре 1937 г. он писал по поводу предполагавшегося переезда своему японскому корреспонденту Тосихико Катаяма: «Я решился, не без труда, оставить Швейцарию, потому что больше не могу там дышать свободно: она поддалась заразе «коричневой» или «черной» чумы. Мое место — во Франции Народного фронта, тем более что она под угрозой».

Последние годы жизни Роллана меньше всего освещены в критических и биографических работах о нем. И тут особенно необходимо привлечение новых материалов.

Недавно в Москве вышла книга, содержащая мемуарные свидетельства о Ролланe — автобиографический труд А. Н. Рубакина «Над рекою времени». Автор был знаком с Роменом Ролланом, встречался и беседовал с ним. Описание дома и жизненного уклада Роллана в Швейцарии, метко схваченные бытовые и портретные зарисовки — все это в книге А. Н. Рубакина представляет познавательный интерес. Но со многими его оценками, касающимися творчества Роллана, невозможно согласиться. Из художественных произведений Ромена Роллана А. Н. Рубакин ценит, в сущности, одну лишь повесть «Кола Брюньон». «Жан-Кристофа» он считает «сентиментальным и бледным, рассудочным»; по его мнению, автор «Лилюли» «никогда не мог подняться до сатиры»; по его утверждению, женские образы в романах Роллана «отвлеченны, тусклы, теоретичны» (и Горький, и — как мы видели — Роже Мартен дю Гар были об «Очарованной душе» иного мнения).

О вкусах, разумеется, не спорят. Одиако необходимость поспорить с А. Н. Рубакиным или внести уточнения в его свидетельства возникают там, где речь идет о наиболее трудном периоде жизни Роллана.

А. Н. Рубакин с осуждением пишет о Роллане: «В сентябре 1939 года он написал открытое заявление Даладье, в котором выражал свою готовность всецело поддерживать его в борьбе с германским фашизмом, хотя именно с фашизмом-то Даладье и не собирался бороться. В заявлении Роллана не было ни слова протеста против арестов и интериирования в концлагерях антифашистов, против отмены демократических свобод». Роллан действительно обратился с открытым письмом к Даладье: существенно, что оно было написано *третьего* сентября, когда антидемократический характер политики президента не до конца еще раскрылся. Газета «Юманите» была запрещена в тот же день, 3 сентября, компартия была объявлена вне закона 26 сентября, депутаты-коммунисты были арестованы и преданы суду 5 октября.

Роллан и вправду проявил наивную доверчивость по отношению к правительству Франции. Исходя из субъективно благородных побуждений, он совершил ошибочный поступок: тут отчастн сказалась и та атмосфера идейного разброда в предвоенные дни, о которой так достоверно рассказал Арагон в первой книге романа «Коммунисты». Однако в заявлении Роллана шла речь *не* о его готовности поддержать Даладье, а о его желании помочь делу борьбы с германским фашизмом. А это, как-никак, не одно и то же.

В последующие месяцы «странной войны» Роллан вовсе не выступал в печати. К деятельности тех французских литераторов, которые заняли в это время официозную, «конформистскую» позицию, он относился с резким неодобрением. Он писал С. Цвейгу 18. XII. 1939 г.:

«Не ждите от меня статей! Мне не разрешили бы напечатать — или написать (даже обращаясь к друзьям) — больше чем половину правды или одну ее треть. Половина или треть правды — это ложь, которая может быть выгодна в военных условиях. Нет, эта пища — не для меня. Мне надо либо все сказать, либо ничего.

Нужно уничтожить Гитлера и гитлеризм — в этом мы с вами согласны и будем полностью согласны — до конца. Мы были антигитлеровцами первого часа и останемся ими до последнего часа.

Но о многом другом у нас тоже есть что сказать. А это нам не дозволено».

«Одни лишь крупные «конформисты», вроде Дюамеля, Жироду, Жюля Ромена, отлично приспособились. Лекция Жюля Ромена в Женеве — образец того, чего я никогда

* Europe. Novembre—décembre, 1965, p. 167-168.

не сделаю. У этих господ часы всегда идут в соответствии с большими часами Информационного центра».

Книга А. Н. Рубакина содержит суровые упреки Ромену Роллану за то, что он не принял личного участия в Сопротивлении. Но мог ли Роллан — в тех условиях изоляции и постоянной полицейской слежки, в каких он находился в Везеле во время оккупации,— участвовать в подпольной деятельности французских патриотов? На этот вопрос ответил еще в 1950 г. один из немногих свидетелей последних лет жизни Роллана, писатель Рене Аркос. Он сам находился в Везеле в день прихода гитлеровских войск. Роллан с женой пытались уехать, но было уже поздно. В последние часы перед вторжением немцев Роллан сжег много писем в предвидении возможного обыска: не хотел подвергать опасности своих друзей и корреспондентов. «В 1940 году,— вспоминает Аркос,— французам приходилось терпеть цензуру своих собственных правителей, а затем, после поражения — цензуру Гитлера и его пособников из Виши. В апреле 1941 г. Роллан мне писал: «Извиините, что я пишу вам так мало. Слишком толстый кус говядины лежит на языке...» Однако, добавляет Аркос, «пусть все знают, что Роллан в уме и душе хранил верность своим прежним убеждениям и упрямо верил в будущность человечества. Он писал мне (6 марта 1942 г.) по поводу самоубийства нашего общего друга Стефана Цвейга: «Бедный Стефан. Он был таким европейцем — и такой отчаянный конец. А нам надо держаться. Худшее из зол не может быть долговечным» *.

Некоторое представление о жизни Роллана в дни войны дают экспонаты выставки в Отель де Роан. Номер «Журналь оффисьель» от 21.III. 1941 г. со списком запрещенных книг: туда попало и школьное издание «Жан-Кристофа». Профашистский журнальчик «О пилори» («К позорному столбу») со статьей о Роллане, написанной в духе самой разнузданной травли. Повестки из супрефектуры г. Аваллона, адресованные Роллану и его жене с требованием явиться «по личному делу» в такие-то часы, под угрозой строгого наказания в случае неявки. Тут же и две открытки, которые Роллан написал Франсу Мазерелю в 1940 и 1941 г.: обе они были возвращены Роллану, так как выходили за пределы той семейной переписки, которая разрешалась в то время населению различных зон Франции. Вторая открытка представляет готовый формуляр письма: гражданам оккупированной зоны дозволялось вставлять от руки отдельные слова, дополняя печатный текст. Зачеркнув ненужное, вписав бисерным почерком несколько своих фраз рядом с казенными формулами, Роллан ухитрился составить письмо, которое все же носит отпечаток его личности. Приведу эту открытку целиком (печатные слова выделены курсивом):

«Мы более или менее *здоровы* (зачеркнуто: *устал, легко, тяжело ранен, болен... убит... в плену... скончался*). Счастлив, что получил наконец от вас *известия* (зачеркнуто: *семья... благополучно... нужны продукты... деньги... новые вещи*). Я *работаю* над несколькими книгами, в том числе и над завершением Бетховена (зачеркнуто: *поступит... принят*). Только что видел Рене Арк., который мне сообщил о вашем отъезде. Желаю радости и силы в работе. Работа — самое настоящее и лучшее, что есть на свете. *Сердечный привет* вам и вашей жене. Ромен Роллан».

В дни войны Роллан *работал*, писал. И это было лучшее, что он в тех условиях мог делать. Это была та форма сопротивления оккупантам, которая была для него доступна. «Прижатый к скале» фашистскими захватчиками, старый писатель-антифашист напряженно трудился — для Франции, для будущего.

■

Выставка в Отель де Роан была составлена умно и умело. Книги, рукописи, фотографии, документы раскрывают не только жизненный и творческий путь Роллана, но и широту тех откликов, которые вызывал и вызывает он во всем мире.

Книги Роллана на разных языках (тут много, конечно, и наших советских изданий). Имя любимого ролановского героя приобретает иной раз непривычное звучание, в соответствии с языком, на который переведен роман: Иоганн Кристоф, Ян Кшиштоф, Хуан Кристобаль. Здесь и «Кола Брюньон» в разных национальных обличьях: по-немецки он называется «Мастер Брюньон», а по-чешски — «Добры чловек еще жие». Знакомый рисунок Е. Кибрика на книге с еврейскими буквами: это «Кола Брюньон» на языке иврит.

Отдельный стенд посвящен японскому фильму «Очарованная душа». Есть, оказывается, такой фильм — и можно себе представить, как взволновал он японских девушек, стремящихся, вопреки вековым традициям, к полному гражданскому равноправию. На одном из кадров миловидная узкоглазая Аннета Ривьер идет по дороге, оживленно споря о чем-то со своим спутником (быть может, это и есть тот эпизод объяснения Аннеты с Роже Брессо, который понравился Роже Мартен дю Гару).

Зал «Роллан и театр»: афиши, фотографии театральных постановок. Как много раз ставились пьесы Роллана — наперекор всем разговорам об их несценичности! «Волки» шли в Женеве, Лейпциге, Нью-Йорке, Токио, Буэнос-Айресе, Брно, Загребе и многих других странах и городах, не говоря уж о пяти парижских постановках, с 1898 по 1964. Не меньшее число раз шла и «Игра любви и смерти». И даже столь трудная для исполнения драма, как «Робеспьер», шла не раз в Лейпциге — в 1952 г., в Брно — в 1960 г., в Западном Берлине в постановке Э. Пискатора — в 1963 г..

Т. МОТЫЛЕВА
БУЛЬВАР МОНПАРНАС, 89

* René Arcos. Romain Rolland. Paris, 1950, p. 117-118.

На столе под стеклом — детские фотографии: есть и белокурые головки, есть и черные как смоль. Дети разных народов — зачем они здесь? Это — те, кому родители дали имена Роллаи, Ромен, Жан-Кристоф, Оливье.

Много книг писателей разных стран с дарственнымн надписями. Книга австрийского писателя-антимнлитариста А. Лацко «Люди на войне», вышедшая в 1917 г., с надписью: «Ромену Роллану, подлиниому герою этой войны, с искренним восхищеиием». Стихи Райнера Мария Рильке, подареиные в 1913 г.— «Ромену Роллану, преклоняясь перед совестью его творчества, упорного и чистого». Том рассказов А. М. Горького с собственноручной авторской надписью на французском языке: «Ромену Роллану, чье творчество мне так близко и дорого».

Автографы писем, полученные Роменом Роллаиом в разное время: от Альберта Эйнштейна, Элеоноры Дузе, Альберта Швейцера, А. Луначарского, И. Эренбурга, Махатмы Ганди, Рабиндраната Тагора, Георгия Димитрова, Рихарда Штрауса, Клода Дебюсси, Игоря Стравинского. Дипломы разлнчных музыкальных академий и обществ. Диплом почетного члеиа Академии наук СССР, полученный Ролланом в 1932 г. А вот и еще один диплом, выданный Роллану в 1938 г.,— «Благодетелю Республиканской Испании», за подписями Долорес Ибаррури н Альвареса дель Вайо.

О Ромене Роллане пнсали много н по-разному. Споры в критике о нем началнсь еще в первые годы нашего века. В зале, где представлена антивоенная деятельность Ромена Роллана,— любопытная коллекция статей и брошюр, написанных его противникамн и гонителями. Названия говорят сами за себя: «Ромен Роллан против Францин», «Ромен Роллан — инициатор пораженчества», «Союз пораженчества и большевизма в Швейцарии».

На выставке были показаны работы современных нсследователей, включая и научную молодежь. В разных странах защищаются днссертации о Роллане; средн новых работ — специальная монографня о женских образах в «Очарованной душе», написанная в Каире, диссертация австралийца Р. Уайта «Дебют Роллана-драматурга», защищенная в 1966 г. в Сорбонне, н дипломная работа выпускницы Латвийского Государственного уииверситета им. П. Стучки И. Карбановой «Очарованная душа» Ромена Роллана как эпопея социалнстического реализма».

Среди советских экспонатов выставки мне особо запомннлось редкое издание первых послереволюцнонных лет — потрепанный, отпечатанный на серой бумаге экземпляр бюллетеня I Всероссийского съезда по рабоче-крестьянскому театру, состоявшегося 17—26 ноября 1919 г. Почетным председателем съезда, иаряду с В. И. Лениным и другими руководителямн советского государства, был избран «первый идеолог социалнстического театра Ромеи Роллан».

Страна Советов давно оценила Роллана по заслугам. И продолжает ценить.

ГАРОЛЬД ГРИФФИН

ЖИЗНЬ И ЛИТЕРАТУРА

(Письмо из Канады)

Однажды в кулуарах заседаний Ассоциации канадских литераторов я услышал разговор группы писателей о перспективах нашего книгоиздательского дела. «Канада на книжном рынке не котируется»,— с горечью заявил один из них.

Если бы эта реплика прозвучала в зале заседаний, она вызвала бы оживленную дискуссию, дискуссию, которая помогла бы осветить некоторые важные проблемы, волнующие наших издателей и писателей.

На конференции мы слушали выступления представителей трех ведущих канадских издательств — «Райерсон пресс», «Макклеланд энд Стюарт» и «Лонгманз оф Канада»,— рассказавших о планах на 1967 год, год столетнего юбилея Канады.

Все трое утверждали, что в стране возникли необходимые, с их точки зрения, экономические предпосылки для успешного развития книгопечатания, в особенности для широкого издания художественной прозы. Главными предпосылками были названы рост численности населения — полагают, что число канадцев в этом году должно превысить 20 миллионов, то есть возрастет число потенциальных читателей,— а также развитие национального самосознания канадцев, говорящих на английском языке.

Показательно, однако, что, рисуя радужные перспективы для издания романов, ни один из трех докладчиков не говорил, о каких романах идет речь.

Писатель, сказавший, что Канада на книжном рынке не котируется, выразил мнение, широко распространенное среди канадских романистов. Этот писатель — сам романист — заявил также, что наши издатели не берут романы, действие которых развертывается в Канаде, так как, по их мнению, Канада — страна скучная, провинциальная, лишенная какого бы то ни было своеобразия. Романы на канадском материале не интересны ни американскому, ни английскому читателю, а именно на него больше всего рассчитывают наши издатели, выпуская книгу массовым тиражом одновременно в Канаде и США или в Канаде и Англии или переиздавая ее впоследствии в Америке и в Англии. Чтобы облегчить проникновение книги на американский или английский рынок, канадский издатель требует иногда превратить главного героя соответственно в американца или англичанина.

Какова бы ни была подоплека этого обвинения в адрес издателей, факт остается фактом: некоторые из лучших канадских романистов, пишущих на английском языке, переносят действие своих романов из Канады в какую-нибудь другую страну. Малькольм Лоури — в Мексику («У подножия вулкана»), Маргарет Лоренс — в Африку («Укротитель завтра»), Этель Уилсон — в Англию и Францию, хотя действие романа начинается в Канаде («Хетти Дорвал»).

Выступивший в 1965 году на конференции Ассоциации канадских литераторов д-р У. Р. Уиз (представитель издательства «У. Дж. Кейдж, лимитид») напомнил делегатам: «Мы, как нация, только недавно избавились от неграмотности. Если это заявление вас шокирует, почитайте, что пишет Эгертон Райерсон (зачинатель канадской системы образования) о неграмотности в Верхней Канаде (сейчас провинция Онтарио) сто лет назад, когда Англия создавала классическую литературу для всего англосаксонского мира».

В течение первых лет XX века, когда «в борьбе и муках рождалась канадская творческая мысль»,— говорил У. Р. Уиз,— издание книг в Канаде почти прекратилось. Опубликованная в 1921 году книга Вильялмура Стефанссона «Дружелюбная Арктика» — книга, которая должна была бы пробудить в каждом канадце чувство гордости потенциальными возможностями своей страны,— разошлась 40 000-м тиражом в «неграмотной» России, 10 000 экземпляров было продано в США, 5000 — в Англии, 1000 — в Австралии и только 250 — в Канаде».

Несмотря на усилия туристских агентств и на то обстоятельство, что каждый год миллионы американцев пересекают канадскую границу, американцы в целом абсолютно не знают, чем живет Канада, а в штатах, далеких от границы, все еще существует мнение о Канаде как о малонаселенной девственно дикой стране. В Англии подчас бывает трудно разрушить твердо укоренившееся представление, что Канада — край снега и льда. Это представление сложилось еще в колониальные времена, когда компания Гудзонова залива, вербуя молодых англичан и шотландцев для работы на крайнем севере, создавала им такие условия, что все их познания о Канаде ограничивались картинами ледяных пустынь Арктики.

Некоторые канадские писатели остроумно высмеивают эти стереотипные представления. Так, в литературно-критическом сборнике «Наше национальное самосознание», выпущенном под редакцией Мальколь ма Росса, драматург Листер Синклер рассказывает о дискуссии, возникшей несколько лет назад на одной писательской конференции. Докладчик, закончив вступительное слово об основных компонентах драматургического произведения, задал аудитории вопрос: «Есть еще что-нибудь, без чего не может обойтись ни одна пьеса?» — «Есть! — ответил женский голос.— В каждой пьесе должен быть «маунти» (так в народе фамильярно называют стрелков королевской конной полиции Канады). Их алые мундиры так живописны и придают всему такой канадский колорит!»

Она была абсолютно права, пишет Синклер. «Если в пьесе есть «маунти», она безусловно канадская, если его нет, мы не знаем, что с ней делать... Не все канадские писатели столь же прямолинейны и так же заботятся о читателе и зрителе. Некоторые довольствуются тем, что их герои иногда произнесут «Саскачеван» и «Торонто» или упомянут каких-нибудь канадских зверей. Все бы ничего, да только из-за этого местного колорита (как мы его называем) канадская литература иногда злоупотребляет географическими и зоологическими названиями. И тем не менее мы правильно делаем, используя местный колорит, потому что в основе этого лежит наше стремление писать по-канадски. Некоторые даже говорят — «на канадском языке»... Только никто из нас не знает, что такое канадский язык».

В том же сборнике поэт А. Дж. М. Смит утверждает: «Если вы открыто пишете о крайнем севере, о диком западе или о живописной природе восточного побережья да еще подаете обильную приправу из канадского гуся, пушистых елей, кленового листа, меховых сапог и северного сияния, читатель сразу догадывается, что вы — канадский поэт и ваши книжки следует покупать из тех же патриотических соображений, по которым покупатель спичек «Эдди» и сельскохозяйственного инвентаря фирмы Мэсси-Харрис читает каталог Ральфа Коннора и Итона (одного из крупнейших в Канаде универсальных магазинов)».

Как отмечает Л. Синклер, «если у нас есть какая-то традиция, то это традиция границы, пионерского духа, которому не дают остывать, подчеркивая слабость человека перед лицом природы, захлестывающей пришельцев, как океанская волна».

«Граница» все еще существует, и, хотя она отодвинута далеко на север, до ее форпостов можно долететь за несколько часов из любого города страны. Правда, сегодня пионера сопровождают бульдозер и электробур. За четверть века после войны автострады и плотины, шахты и нефтяные вышки полностью изменили лицо Канады. Все это по своему значению может сравниться только со строительством Канадской тихоокеанской железной дороги, которая связала колонии, объединившиеся сто лет назад в Канадскую конфедерацию.

Канадские газеты на первых страницах обсуждают политическое и социальное значение экономических преобразований. А художественная литература, в особенности литература на английском языке, почти никак не откликнулась ни на эти преобразования, ни на те глубокие изменения, которые они вызвали в канадском обществе. И это наносит литературе больший урон, чем стереотипное представление о Канаде за рубежом.

Главная особенность послевоенного экономического развития Канады состоит в том, что страна получает от него лишь косвенную выгоду. Прямую выгоду получают Соединенные Штаты. Они и определяют характер этого развития с помощью своих канадских партнеров, переправляющих через границу канадскую нефть, руду, электроэнергию и мечтающих даже повернуть реки, чтобы удовлетворить нужду США в пресной воде.

Газеты и те немногие журналы, которые еще остались в Канаде, вынуждены признать, что в стране растет недовольство таким положением дел и беспокойство за будущее.

Слов нет, американский рынок, сулящий массовые тиражи, а если повезет, то и славу, весьма притягателен для канадских писателей. Поток американской книжной продукции, распространяемой в Канаде «Клубом лучшей книги месяца» и тому подобными организациями, оказывает огромное влияние на канадских читателей. А это еще больше соблазняет канадских писателей вынести действие романа за пределы

страны и заставляет их избегать тем, которые могли бы пробудить национальное самосознание и вызвать протест против господства США.

Один из наиболее известных сейчас в Канаде романистов Морли Кэллехан начал писать в тридцатые годы. Его книги «Таков мой любимый» и «Они унаследуют землю» отчасти носят отпечаток отчаяния и гнева тех времен. Но даже и такое отражение действительности постепенно исчезает из более поздних произведений писателя. Вот что замечает по этому поводу профессор Карлтонского университета Роберт Л. Макдугал в журнале «Кенэдиен литерачер» (осень 1965 года). «...Я признаю, что Морли Кэллехан глубоко проникся проблемами веры и вины в мире падших... я признаю, что каждый достойный своего призвания писатель видит личность как единицу в классе себе подобных, что все хорошие романы раскрывают внутренний мир человека и что проблемы человеческого сознания и совести, вытеснив внешние социальные отношения, заняли ведущее место в западной литературе последнего пятидесятилетия. Но где в нашей литературе, старой или новой, можно найти героя, чьи индивидуальные проблемы были бы неразрывно связаны со структурой общества, как это имеет место в литературе Англии и США?»

Примером литературы, в которой «проблемы человеческого сознания и совести вытеснили внешние социальные отношения», может служить второй роман Маргарет Лоренс «Каменный ангел», построенный на канадском материале. Героиня романа, старая женщина, бежит из дома, чтобы не попасть в богадельню. Эта драматическая ситуация давала богатую возможность показать весьма острую для Канады социальную проблему.

Можно согласиться со словами профессора университета Британской Колумбии С. Э. Рида о том, что «М. Лоренс создала великолепный, убедительный и непреходящий образ гордой, независимой женщины преклонных лет». Но факт остается фактом — Канады в романе М. Лоренс по существу нет. Рид признает это, но считает маловажным: «На обложке книги написано, что действие романа происходит в Канаде. Верно. Часть событий разворачивается в маленьком городке Манавоке, где-то в прериях, часть — в каком-то большом городе (возможно, Ванкувере) на западном побережье. Но все это только приправа, дающая вкус и аромат, а не основное блюдо».

Более существенная слабость романа в том, что нет никакой связи между бегло нарисованной обстановкой и обществом, которое так ожесточило героиню, сделало ее судьбу столь горькой. Если бы этот великолепно очерченный образ не был оторван от социальной среды, он мог бы стать значительным. Здесь же он как бы оказывается в пустоте.

По контрасту с М. Лоренс другой писатель — Джордж Райга — в романе «Голодные холмы» с первых же страниц показывает нам, что его герои выросли в нищете фермерских районов провинции Альберта, и, нигде не изменяя реалистической палитре, доводит повествование до трагического конца. У этого писателя, в отличие от М. Лоренс, нет «хэппи эндов», как нет их в жизни нищих и обездоленных. Вместо тонких штрихов Маргарет Лоренс у Райги резкие, грубые мазки, но его образы почерпнуты в главном потоке жизни, естественно возникающем из «внешних социальных отношений», хотя, показывая эти отношения, Райга не пытается объяснить их.

Англоязычных писателей Канады, которые в своем творчестве исходили бы из глубокого убеждения, что «индивидуальные проблемы личности неразрывно связаны со структурой общества», так мало, что их всех нетрудно перечислить вместе с их произведениями.

Из послевоенных книг можно назвать кроме хорошо известного романа Дайсона Картера «Сыновья без отцов» его книгу «Будущее за ними» и роман Хуберта Ивенса «Туман над рекой». Действие последнего происходит на реке Шина в Британской Колумбии, а героем является молодой индеец. «Туман над рекой» остается лучшим из немногих произведений, в которых хоть как-то затрагиваются проблемы коренного населения Канады.

Вполне естественно, что в стране, где все еще сохраняется дух провинциальной автономии, препятствующей развитию национального самосознания (этот дух не имеет ничего общего со стремлением канадцев французского происхождения к равноправию, хотя кое-кто намеренно вносит путаницу), некоторые писатели, в частности Томас Х. Рэддел, широко используют местные темы своих родных или ставших родными провинций. В романах и рассказах Рэддела встает реалистическая картина Новой Шотландии. И все же, хотя сюжет его романа «Крылья ночи» строится вокруг борьбы крупного капитала в лесной промышленности Канады, борьбы, в ходе которой приобретаются огромные личные состояния и баснословно наживаются корпорации, выводы автора остаются нечеткими.

Другие писатели черпают вдохновение в жизни иммигрантов, чаще всего еврейских общин больших городов. Из таких писателей наибольшую славу приобрел в последние годы Мордекай Ричлер. Но если сравнить, например, его роман «Дадди Кравиц — подмастерье» с романом Адель Вайсман «Жертва», повествующим о жизни евреев рабочих с игольной фабрики, то в первом случае перед нами ловко скроенные мелкие циники, а во втором — яркие портреты настоящих людей.

Как и многие канадские писатели до него, Ричлер в своих книгах покинул родину и отправился за материалом в Испанию

ГАРОЛЬД ГРИФФИН
ЖИЗНЬ И ЛИТЕРАТУРА

и Англию. В самой последней работе он возвращается на канадскую землю, но лишь затем, чтобы высмеять ее. Выступая не так давно на страницах американского туристического журнала «Холидей», он выразил свое отношение к Канаде следующими словами: «В конце концов лучшие идеи приходят к нам из Нью-Йорка. Самая длинная в мире неохраняемая граница — явление искусственное, и, я надеюсь, наступит день, когда она совсем исчезнет, а канадцы полностью вольются в американское поступательное движение...»

Может возникнуть законный вопрос: «Что за поступательное движение?» Спору нет, в Канаде никогда не было недостатка в людях, готовых откликнуться на этот призыв и унизить свою родную землю ради щедрых американских подачек. Но не эти люди определяют настроения миллионов канадцев и английского, и французского происхождения. Наш народ больше всего обеспокоен тем «американским поступательным движением», которое оборачивается эксплуатацией природных ресурсов нашей страны, в ущерб ее будущему. Канадцам нужны писатели, поэты, драматурги, способные выразить стремления и чаяния народа.

Считают, что канадцы сдержанны в проявлении чувств, лишены творческого воображения. Однако в Канаде поразительно много поэтов, причем англоканадцев не меньше, чем франкоканадцев. Любой канадский издатель скажет вам, что значительное число писателей стремится выразить свои мысли и чувства в поэтической форме. Другое дело — сколько канадцев читает поэзию. Ведь мало кому из поэтов удается выпустить сборники стихов, а еще меньше удостаивается всенародного признания.

Как правило, за стихи не платят, сам факт публикации считается достаточным вознаграждением. А если и платят, то несоразмерно меньше, чем за прозаические произведения. При таком незавидном положении поэты, по крайней мере, свободны от материального соблазна, если, конечно, они не добиваются стипендии Канадского Совета — организации, созданной федеральным правительством с целью поощрения национальной культуры. Для всех поэтов, кроме знаменитых, основной проблемой остается проблема публикации — обычно в университетских или других малотиражных журналах либо в мелких издательствах.

За некоторым исключением, поэты, чувствуя отчуждение и стремясь к иллюзорной свободе, замыкаются в узких кружках; бунтуя против шаблонов традиционной силлабической поэзии, они подчиняются не менее жесткой дисциплине ударений, ритмических связей, ведущей роли гласных и графической композиции. Тем самым они отталкивают от себя воспитанное на классических традициях старшее поколение, которое совершенно не воспринимает все эти новшества. Полностью порвав с традицией, самые крайние представители этого направления в своей одержимости новыми формами почти перестают общаться даже друг с другом, а если в их произведениях и появляется какое-нибудь социальное содержание, выходящее за рамки отчаянных ругательств в адрес ненавистного мира, намерения автора бывают настолько неясными, что понять их нет возможности.

Еще в 1964 году, выступая на страницах журнала «Кенэдиен отор энд букмен», критик Том Фэрли противопоставлял «нежелание англоканадских поэтов посмотреть в лицо объективной реальности, приведшее современную канадскую поэзию на английском языке к острому неврозу», растущей социальной значимости франкоканадской поэзии, которая, по его словам, «вылупливается из кокона традиционного мышления».

Как бы там ни было, приходится признать, что «новая» поэзия заняла господствующее положение в канадской литературе,— такое же как абстракционисты в изобразительном искусстве, хотя они и не встречают поддержки у народа.

Критик Майкл Гнаровский в том же журнале (весна 1965 года) пытается проследить за тем, что он называет интеллектуальными и антиинтеллектуальными тенденциями в канадской поэзии.

Антиинтеллектуализм, пишет он, «восходит к истокам модернистского движения, но по-настоящему развивается в сороковых годах, когда канадская поэзия достигла такой степени зрелости, которая позволила ей иметь по крайней мере два, а то и три совершенно разных направления. Можно сказать, что весьма серьезные различия существовали между образовавшейся в двадцатых годах при Мак-Гиллском университете группой поэтов, ставших, по общему признанию, родоначальниками канадской модернистской поэзии, и их младшими современниками, которые через полпоколение столкнули своих старших собратьев с крохотной сцены канадской литературы... В политическом отношении старшая группа стояла на позициях фабианского общества, тогда как молодежь ушла на левый фланг социализма и исповедовала воинствующий марксизм. В литературном плане первая группа придерживалась традиций Элиота, Спендера, Одена, а вторая, называвшая себя по имени издаваемого ею журнала группой «Первого слова», продолжала линию Уитмена, Сэндберга, Каммингса».

В 1944 году на страницах этого журнала один из представителей второй группы Луи Дьюдек заявил, что канадская поэзия находится в руках «университетских профессоров» и полностью оторвана от жизни. Комментируя это заявление, Гнаровский говорит: «Каковы бы ни были наши симпатии, мы должны признать, что в общем Дьюдек был прав. Слишком много канадских поэтов тяготеет к университетским кругам, отчего наша поэзия превращается в интеллектуальные игры со сложными правилами, которые основываются на гипотезе «искусство — религия», — как доб-

родушно и расплывчато назвал это Джон Сазерленд».

Сазерленд долгое время был духовным наставником группы «Первого слова». В середине сороковых годов он выделял Дьюдека, Ирвинга Лейтона и Реймонда Сустера как поэтов, в чьем творчестве «можно найти проблемы и темы, характерные для Канады, и социальный реализм, отличающий это творчество от политических фантазий других поэтов».

В тридцатые годы список англоканадских поэтов, чьи произведения отмечены печатью социального реализма, а иногда и марксистского мировоззрения, пополнился именами Дороти Ливсей, Эрла Берни, А. М. Стивена, Уилсона Макдональда и Дж. С. Уоллеса. Четверо из них пишут и по сей день. А. М. Стивен — лидер левого крыла Кооперативной федерации (теперь Новая демократическая партия) Британской Колумбии, был исключен из своей партии за призыв к единству с коммунистами. Незадолго до смерти (он умер в 1942 году) Стивен отошел от социалистических убеждений, которые выразил в свое время в стихах, опубликованных в сборнике «Песни для новой нации», вышедшем посмертно в 1963 году.

Моя Канада еще не родилась —
Но утренний ветер несет
Дыхание весны,
Предчувствие величия, яркое, но
неопределенное...

Но в канадских университетских кругах, где успех поэта через двадцать лет после его смерти («Песни для новой нации» разошлись 5000-м тиражом) объясняют неразвитым литературным вкусом читателей, сборнику Стивена не придали особого значения. Такое академическое равнодушие достается и на долю Джо Уоллеса, который продолжает писать стихи, встречающие горячий отклик читателей не только в Канаде, но и далеко за ее пределами, и на долю Полин Джонсон, о которой недавно писал журнал «Кенэдиен литерачер» (лето 1966 года): «Пора перестать рассматривать ее как второстепенного версификатора, чья слава якобы не равноценна литературному таланту».

Голос Полин Джонсон в защиту канадских индейцев и сегодня звучит настолько страстно, что на него не могут не откликнуться голоса многих современных молодых поэтов.

Еще в 1936 году поэт А. Дж. М. Смит написал предисловие к сборнику избранных произведений шести ведущих канадских поэтов, который назывался «Новые провинции». Сюда вошли стихотворения самого Смита, Э. Дж. Прэтта, Роберта Финча, А. М. Клейна, Лео Кеннеди и Ф. Р. Скотта. Однако из-за каких-то возражений Прэтта предисловие было изъято из сборника и опубликовано только три года назад. Хотя кое-кто из поэтов того поколения, может быть, предпочтет сейчас не согласиться со словами Смита, они остаются в силе и по отношению к поэтам нового поколения:

«По крайней мере в наше время у художника есть более важное дело, чем закрепление на бумаге своих личных переживаний. Он должен стремиться к такому совершенству, чтобы в его произведениях сила соединялась с простотой, сочувствие — с пониманием. Тогда он сможет внести свой вклад в дело развития такого духовного и эмоционального восприятия мира, которое будет способствовать построению более справедливого общественного строя».

г. Торонто

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ

ЗАРУБЕЖНЫХ ГАЗЕТ И ЖУРНАЛОВ

БАНКРОТСТВО «ЭНКАУНТЕРА»

В последнее время название англо-американского журнала «Энкаунтер» замелькало на страницах газет и журналов в Англии и США. Этот внезапный рост популярности был вызван причинами, для журнала далеко не лестными. Один матерый, ныне отставной «деятель» американского разведывательного управления поведал миру, что этот журнал, пытавшийся присвоить себе роль независимого органа «интеллектуальной элиты», в течение многих лет самым прозаическим образом получал при посредничестве так называемого «Конгресса в защиту свободы культуры» субсидии от ЦРУ. Данные представлены неопровержимые. Добродетельная матрона от журналистики оказалась на содержании одного из самых малопочтенных заведений в мире. И это была не синекура. Свои тридцать сребренников — точнее говоря, тридцать тысяч долларов в год — «Энкаунтер» отрабатывал не за страх, а за совесть. Отныне само название этого журнала звучит как синоним продажности и бесчестия.

Конфуз получился превеликий, и сейчас ушедшие в отставку английские редакторы «Энкаунтера» — последний из них по времени Фрэнк Кермод, а первый — поэт Стивен Спендер (ныне живущий в США) — клятвенно уверяют, что они и слыхом не слыхали о каких-либо денежных отношениях между журналом и его «меценатами». Их интересовало лишь «чистое искусство», а делами практическими ведал один только американский редактор, сначала И. Кристол, а затем Мелвин Ласки. Однако, если отвлечься от вопроса об осведомленности или неосведомленности того или иного из редакторов и сотрудников журнала насчет финансовых субсидий, сам по себе факт прямой зависимости «Энкаунтера» от определенных кругов США, его служения целям американской пропаганды, давно уже был секретом полишинеля. Ведь именно в этом заключался смысл существования журнала, его raison d'être.

Журнал возник осенью 1953 года — четырнадцать лет назад. Возложенную на него миссию он выполнял неукоснительно. Уже в 1955 году в первом номере «Иностранной литературы» обзор вышедших к тому времени двадцати номеров «Энкаунтера» можно было с полным основанием озаглавить «Джентльмены с отравленными стрелами».

Вполне естественно было заинтересоваться вопросом, для чего этот журнал явно американского происхождения понадобилось издавать в Лондоне, зачем потребовалась ему английская «оболочка»?

Ответ на этот вопрос связан с серьезными неудачами и трудностями, обнаружившимися к тому времени в американской пропаганде, рассчитанной на западноевропейские страны. Вдохновителям этой пропагандистской деятельности стало, по-видимому, ясно, что нужны новые приемы и средства, более гибкие, менее топорные, менее «лобовые». Надо было создать такой орган печати, который не только символизировал бы «единение» английской и американской интеллигенции, но и сумел бы войти к ней в доверие и обладал бы репутацией издания «объективного», высоко интеллектуального, архисовременного и вместе с тем посвятившего себя вечным поискам истины, продолжающего традиции либеральных органов, оставивших свое имя в истории мировой журналистики. Все эти функции и надлежало принять на себя «Энкаунтеру».

Не случайно в статье, посвященной десятилетию этого журнала, опубликованной профессором Денисом Броганом в виде предисловия к сборнику «Избранных статей» из «Энкаунтера», автор характеризовал его, как наследника и продолжателя традиций таких изданий, как «Эдинбург ревью» или «Ревю де дё Моид»,— изданий, по словам Брогана, игравших большую роль в духовной истории Европы в течение почти двухсот лет.

Для того чтобы создать себе такую репутацию, журнал должен был постоянно прибегать к приемам, хорошо знакомым тем, кто, как мы теперь знаем, его финансировал — к камуфляжу. Он делал все для того, чтобы его приверженность к американской политике оставалась как можно дольше незамеченной, чтобы как можно дольше оставалась нераспознанной его подлинная сущность. Для этого он иногда даже позволял себе критиковать какие-то стороны американской жизни, в то же время исподволь внушая своему читателю, что западный мир, лишь пребывая под эгидой США, может не тревожиться о будущем.

Мимикрия была характерной чертой журнала не только в его ранний период, он сохраняет ее в своем арсенале до сего дня. Вот лишь несколько штрихов из редакционной практики текущего года. Известно, что широкий резонанс за рубежом получила поставленная знаменитым английским режиссером Бруком пьеса «US», обличающая преступную американскую политику во Вьетнаме. На эту пьесу журнал откликнулся статьей своего английского редактора (сейчас уже можно сказать — бывшего редактора) Фрэнка Кермода. Положение его было не из легких. Отозваться о пьесе одобрительно — не значило ли это нарушить традиционно верноподданническую позицию журнала по отношению к американским «покровителям»? С другой стороны — осудить пьесу без всяких оговорок за ее политическую направленность было бы слишком прямолинейно и вызвало бы сомнения насчет неизменных заверений журнала в независимости и объективности своих взглядов. Поэтому Кермод избрал «средний» путь — он резко нападает на пьесу и спектакль, но лишь, так сказать, с позиций «чистого искусства», за то, что пьеса якобы «скучна». Таково его, автора статьи, мнение, так ему кажется, и политика тут ни при чем... (Кстати говоря, в одной из своих статей, где речь идет также о Вьетнаме и американской политике в этом районе мира, журнал утверждает, что если США проиграют эту войну, то это в равной мере произойдет «как из-за их ошибок так и из-за их достоинств и добродетелей».)

И в подборе материала журнал не ослабляет усилий, имеющих целью засвидетельствовать его мнимую аполитичность. Так, в одном из недавних номеров было отведено чуть ли не двадцать страниц статье под заглавием «Ведьмы и колдовство». В ней шла речь не об «охоте за ведьмами» (как называют в США травлю прогрессивных деятелей), а о ведьмах чистейшей воды, отправляющихся на свои шабаши на самой доподлинной метле. Публикация этого пространного исследования проблемы ведьм в историческом ракурсе должна была лишний раз подтвердить чуждость журнала «суете» и треволнениям современности, его тяготение к темам, не вызывающим кипения страстей. Расчет на то, что читатель, убаюканный таким сугубо нейтральным, «академическим» исследованием, скорей «клюнет» на публикуемые в этом же или следующем номере злобные рассуждения очередного «кремлеведа», коих журнал усердно собирает под своим крылом, о политике и литературе стран социалистического лагеря.

Сочетание внешне безобидных материалов, якобы представляющих общечеловеческий интерес, с махровой реакционной пропагандой — отличительная особенность «Энкаунтера» с первых дней его существования.

Упражняясь в искусстве мимикрии, «Энкаунтер» особенно рьяно пытался создать о себе представление как о стойком борце против «предательства клерков» — против того, чтобы интеллигенция «оскверняла» себя причастностью к политике. Утверждая свою мнимую аполитичность, журнал обрушивался на тех «клерков», то есть представителей интеллигенции, которые изменили якобы своему призванию, совершили предательство, посвятив свои знания и способности отстаиванию политических идей. Именно на эту тему витийствовал в своей упоминавшейся выше статье профессор Броган. Сейчас, однако, даже предельно доверчивым людям нелегко будет поверить, что «Энкаунтер» — это оазис аполитичности и незамутненного искусства в бурном море политики. Факты показывают, что журнал лишь против той политики, которая носит прогрессивный характер, и против тех «клерков», которые выступают за дело прогресса, а не реакции. По-видимому, лучшие из всех возможных клерков, с его точки зрения, это клерки (уже без кавычек) из определенных американских ведомств.

Критические оценки «Энкаунтера» стали встречаться и в изданиях, едва ли могущих быть заподозренными в сочувствии к коммунизму. Более чем год назад в «Бук уик» — литературном приложении к американской газете «Вашингтон пост» появилась статья, в которой о роли «Энкаунтера» говорилось:

> «Политическая линия этого журнала заключалась главным образом в борьбе против влияния левых, особенно коммунистов, на интеллигенцию. Это проявлялось, в частности, в том, что журнал насаждал в Англии исключительно благожелательное отношение к политике США. И в Англии и в Америке он поощрял приспособление как писателей, так и читателей к власти в их странах.

Но еще более важно, чем это, следующее: журнал поощрял приспособление писателей и читателей, живущих в Англии, где власть находится в подчиненном положении по отношению к США, к требованиям главенствующей системы власти — то есть к Соединенным Штатам».

Характеристика достаточно выразительная. Не менее красноречиво и другое содержащееся в статье умозаключение о том, что проводниками такого курса в журнале должны были быть «люди понятливые», улавливающие с полуслова, чего от них хотят.

При этом, однако, надо сказать, что истинный характер «Энкаунгера» до последнего времени был ясен далеко не всем. Вводили в заблуждение маскировочные приемы и ухищрения редакции и то, что в журнал отдавали свои рассказы, эссе или стихи достаточно известные писатели, невольно прикрывая своим именем, как отмечалось в уже цитировавшейся статье, темные дела литераторов мелкого пошиба, преследовавших определенные политические цели. Совокупностью всех этих факторов (а также финансовой поддержкой из-за океана) объясняется солидный по английским масштабам тираж журнала.

Разоблачение грехопадения этого издания, равно как его «эквивалентов» в других странах (вроде «Моната», «Прёв», «Форума» и др., кормившихся из той же кормушки), как уже говорилось, привлекло к себе внимание зарубежной прессы, особенно английской. Однако в Англии нашлись у журнала и откровенные защитники, одновременно защищающие и ЦРУ. Такого рода позицию резко критикует в своих заметках на страницах «Нью стейтсмен» Александр Кокберн.

«Одним из самых уводящих в сторону аргументов,— пишет он,— явилось успокоительное утвержденне, будто во времена Маккартн ЦРУ было чуть ли не оазисом либерализма».

Он подчеркивает, что вокруг «Энкаунтера» после приступа растерянности вновь собираются «друзья» журнала, предпринимающие новую попытку реабилитировать его.

«Мы слышим, как вновь, после легких покаянных ударов в грудь, чирикают и щебечут преданные малиновки»,— горько иронизирует он.

Добавим от себя — затея реабилитировать «Энкаунтер» обречена на неудачу. «Причесать» это издание, пропагандирующее антикоммунизм и состоящее на службе у американской реакции, придать ему облик поборника «интеллектуализма» — в свете недавних разоблачений — задача едва ли осуществимая.

Трудно, ох, как трудно стало ныне «джентльменам с отравленными стрелами» «о честности высокой» говорить.

Вл. РУБИН

ИСКУССТВО ЭЛЛАДЫ ПОД ПЯТОЙ ФАШИСТСКОЙ ДИКТАТУРЫ

21 апреля тяжелые танки и мотомеханизированные части под командованием группы реакционных генералов и полковников ворвались на улицы греческой столицы. У подножия Акрополя с его легендарным храмом Парфенон вновь, как и в годы гитлеровской оккупации, возникли концлагери: тысячи людей были согнаны на стадион Панафинаикон и ипподром в районе Фалироиа. А через несколько дней грузовые пароходы перебросили 7 тысяч человек на безжизненный скалистый остров Юра, снискавший зловещую славу «лагеря смерти» в годы разгула греческой реакции после окончания гражданской войны 1946—1949 годов. Возрождаются концентрационные лагеря и на других островах Эгейского моря.

«Новые порядки в Афинах,— свидетельствует стокгольмская газета «Экспрессен»,— напоминают нацистский режим: концлагеря, пытки, убийства из-за угла».

«Греция находится под гнетом диктатуры фашистского типа»,— вынужден признать известный американский обозреватель М. Чайлдс в газете «Нью-Йорк таймс».

За тюремной решеткой и колючей проволокой оказались самые прогрессивные демократические деятели греческого народа: Манолис Глезос и Илиас Илиу, Леонидас Киркос и профессор Никос Кицикис — руководители Единой демократической левой

партии Греции (ЭДА), председатель греко-советского общества Георгиос Спилиопулос, лидеры профсоюзов и молодежной организации «Демократическая молодежь Ламбракиса». Вместе с ними арестам подверглись видные деятели крупнейшей буржуазной партии страны Союз Центра, в том числе бывший премьер-министр Георгиос Папандреу, незаконно отстраненный от власти указом короля в июле 1965 года; его сын Андреас Папандреу, бывший министр, крупный ученый-экономист, 20 лет прожнвший в США и хорошо знакомый с нравами американского ЦРУ и Пентагона. Вернувшись четыре года тому назад на родину, он встал на защиту ее национальных интересов.

В тюрьмах и концлагерях в настоящее время находятся крупнейший греческий поэт-демократ Яинис Рицос, писатели Василис Ротас, Спилиос, известная художница Васо Катракн, график Фарсакидис, критик Дромазос, замечательный актер современной Эллады Т. Карусос. Вновь схвачена жена Никоса Белоянниса — Элли Иоанниду, создавшая в годы длительного заключения мужественный, взволнованный цикл стихов о греческих демократах, об их борьбе за счастье своего народа. Под домашним арестом находится Костас Варналис — «отец» современной демократнческой поэзии Греции, лауреат Международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами».

Эти люди составляют честь и славу культуры Грецни наших дней. Мне довелось провести почти восемь лет на греческой земле. Я был свидетелем того, каким глубоким уважением и любовью в народе пользуются Яннис Рицос и Костас Варналис, Васо Катраки и Т. Карусос.

Стихи Рицоса звучали со страниц многих газет и журналов, с подмостков театров, на его слова лучшие греческие композиторы сочиняли музыку. Выдающимся событием в культурной жизни страны явилось творческое содружество Я. Рицоса и самого популярного, подлинно народного композитора Микиса Теодоракиса. Ими была создана широко известная ныне во всем мире «Эпитафия» — музыкальная поэма в честь греческой матери, мужественно переживающей гибель своего сына, расстрелянного во время рабочей демонстрацин. Не так давно «Эпитафия» впервые прозиучала в Москве во время гастролей Микиса Теодоракиса и его замечательного ансамбли музыкантов и певцов.

Неофашизм и культура — понятия несовместимые. И это полностью подтверждают злодеяния афинской хунты. Нельзя без гнева и возмущеиия читать в газетах о том, какие иечеловеческие страдания испытывает Яиинс Рицос в концлагере на острове Юра. А в это время полицейские ищейки рыщут по улицам Афин и других городов в поисках его друга — Микиса Теодоракиса. Любимый греками композитор сумел уйти в подполье, скрыться от палачей: ведь у него в стране всюду друзья *. Микис Теодоракис — ие просто выдающийся композитор современной Греции, песни которого распевает ее народ, передают радиостанции Парижа и Лондона, Москвы и Праги... Он — депутат парламента Греции, иезакоино разогианиого военной хунтой, председатель самой массовой и боевой организации греческой молодежи, носящей имя бессмертного Ламбракиса. Власти запретилн деятельиость этой органнзацин, но они бессильны сломить волю тысяч и тысяч ее участиков — студентов и рабочей молодежи, вышедшнх на самые передовые рубежи в годы борьбы за ликвидацню полицейского режима Карамаилиса, за глубокие демократнческие перемены во виутренней н внешней политике Греции.

Народ спасает Теодоракиса от палачей. И в этом — величайшее признание его творческих и гражданских заслуг перед своей страной, перед ее будущим.

— Я не скрываю, что был и остаюсь борцом за дело рабочего класса,— бросил в лицо реакции Микис Теодоракис на одном из массовых митиигов в Салониках, когда королевский двор, военная хунта, местная олигархия и стоящие за нх спиной американские разведывательиые и дипломатические службы готовились к расправе с этим мужественным борцом за демократическую Грецию, угрожалн объявить вне закона органнзацию «Демократическая молодежь Ламбракиса».

— В годы Сопротивлення реакции,— рассказывал мне Теодоракнс,— я держал в одной руке автомат, а другой писал музыку. Мои песни распевали партизаны. Разве может быть большая честь для 16-летнего юноши, каким я был в то время?

Афинская военная хунта боится песеи Микиса Теодоракиса. Она официально, как об этом объявлено в газете «Элефтерос козмос» «запретнла их исполнение по радио и в концертах»; запрещено продавать, покупать и слушать пластинки с музыкой композитора. Палачи вот уже полтора месяца пытают брата Микиса, требуи от него иазвать адреса тех, кто укрывает композитора.

Тревожиые вестн доиосятся на волю с острова Юра. В письме, чудом переданиом на материк и опубликованном в лондонской «Таймс», сообщается, что узники этого «лагеря смерти» переживают страшиые лишеиии и невзгоды. От недоедания,

* Номер был уже сверстан, когда пришло сообщенне об аресте М. Теодоракиса.

нестерпимого зноя и антисанитарных условий ежедневно там гибнет по нескольку человек. В опасности находятся здоровье и жизнь Янниса Рицоса.

За свои пятьдесят лет Яниис Рицос создал несколько томов поэтических произведений: стихи, поэмы, драмы. Как самое дорогое воспомнинание о годах, проведеиных в Греции, храню я в своей библнотеке 4 тома его книг с надписью: «В знак глубокого восхищения советским народом и его подвигами в борьбе с фашизмом, за человеческий прогресс». Рицос был и остается большим и искренним другом Советского Союза, и никакой террор не в состоянии поколебать его верности этой дружбе. Его самый любимый поэт — Маяковский. Рицос во многом следовал и следует примеру Маиковского. Ему близка поэзия Тараса Шевченко: к столетию со дня смерти великого украинского поэта Рицос перевел и опубликовал несколько его стихотворений.

Мне довелось присутствовать на встрече Яниниса Рицоса с Константином Симоновым, устроенной три года тому назад в доме моих греческих друзей под Афинами.

— Наши мысли созвучны,— говорил Рицос Симонову, читавшему стихи военных лет.— И я был в рядах тех, кто сражался с фашизмом. К тому же у меня за плечами несколько лет концлагерей в послевоенные годы — ведь я боролся за демократическую Грецию.

Сегодня поэт вновь в тюрьме. Но его стихи живут в сердце народа, призывают к непримиримости в борьбе с фашизмом.

Фашиствующие мракобесы дошли до того, что запретили продажу и публикацию книг многих греческих и зарубежных писателей. Как сообщило американское агентство Ассошиэйтед Пресс из Афин,

«правительство, возглавляемое представителями армии, запретило произведения примерно 70 греческих писателей, названных левыми и сторонниками коммунистов. Правительство заявило, что оно принимает меры, чтобы прекратить распространение книг, содержащих коммунистические и марксистские идеи. Этот запрет распространяется не только на греческие издания, но и на книги и брошюры, выпущенные в социалистических странах. Кроме того, правительство приказало изъять ряд энциклопедий и словарей русских авторов — членов советской Академии наук».

Министр внутренних дел генерал Паттакос, вице-премьер — министр Спандидакис и их приближенные, следуя гитлеровскому образцу, хотели бы разложить костры из книг на улицах Афин. Единственно, что их сдерживает, это страх перед народом, перед мировым общественным мнением, осудившим диктатуру, требующим обуздать неофашизм на греческой земле.

Вожаки хунты лицемерно бьют себя в грудь, утверждая, будто они хотят «возрождения греческой нации», а на самом деле они пытаются утвердить в стране мракобесие и откровенно фашистские идеи. Передо мной несколько грязных газетенок хунты, издаваемых на средства греческих органов безопасности и американского ЦРУ. В них объявлено о запрещении в Греции книг Льва Толстого и Достоевского, Максима Горького и Маяковского; предлагается под страхом наказания изъять из личных библиотек и уничтожить произведения В. И. Ленина. Закрыты все прогрессивные издания, прекращен выпуск литературных журналов. Заточен в тюремный застенок редактор массового демократического литературного альманаха «Эпитеориси техиис» К. Кулуфакос. Арестованы редакторы газет П. Параскевопулос, Г. Евангелидис.

Специальный корреспондент агентства ТАНЮГ Милутин Вуетович передал из Афин:

«С 21 апреля греческая печать переживает кризис. Любая, даже самая мелкая информация, которая должна публиковаться, предварительно просматривается офицерами, которые сейчас «легально» сидят в редакциях и выполняют работу редакторов».

В крайне тяжелом положении оказались греческие театры. Многие из них закрылись, а те, что продолжают свою деятельность, по требованию военщины были вынуждены изъять из репертуара большую часть пьес. Жалкое зрелище представляет в этом году XIII афинский музыкальный фестиваль. Большинство зарубежных коллективов отказалось принять в нем участие в знак солидарности с греческими деятелями культуры, подвергающимися репрессиям. Даже правительственная газета «Элефтерос козмос» откровенно признала провал фестиваля: в его программе оказались сплошь произведения на религиозные темы, исполненне их проходило на крайне низком профессиональном уровне. Это не фестиваль, а «католическая литургия» — констатирует газета.

Однако военная хунта и ее покровители — королевский двор, местная финансово-промышленная олигархия и агрессивные круги НАТО ошибаются, если думают, что им удастся поставить на колени свободолюбивый и мужественный народ Греции. В подполье создан руководящий орган патриотического фронта борьбы с диктатурой. Руко-

иодство запрещениой партии ЭДА обратилось с призывом к народу объединить усилия всех патрнотов и антифашистов в священной битве против воеино-фашистского режима, за восстановление конституционных прав и демократических свобод народа.

Выходят и распространяются нелегальные бюллетени патрнотического фроита. На площадях и улицах Афин и Пирея, Салоник и других городов по ночам разбрасываются листовки и прокламации демократов.

«Путчисты окружены плотной стеной народного гнева»,— сообщает французский еженедельник «Нувель обсерватёр». «Диктатура отвергается народом»,— констатирует западногерманский журнал «Шпигель».

Вместе с народом возвышают свой голос в защиту свободы и будущего Эллады деятели культуры этой страны. Писатель-демократ Костас Кодзяс, вырвавшийся из фашистской Греции, с трибуиы IV съезда советских писателей обратился к народам и деятелям культуры всего мира с призывом встать на защиту демократии в Греции. Его слова нашли глубокий отклик в сердцах советской иителлигенцни, писателей, музыкантов и художников Франции, Италии, Аиглии и других стран.

Н. БРАГИН

НАШИ ГОСТИ

О ДРАМАТУРГИИ ПАРАДОКСОВ

«Нам, швейцарцам, приходится создавать мировую литературу»,— сказал Фридрих Дюрренматт в беседе, недавно состоявшейся в редакции «Иностранной литературы». Он, вероятно, имел в виду, с одной стороны, малые размеры своей родной страны, в которой у писателя не может быть широкой аудитории, и, с другой стороны, то обстоятельство, что книги там пишутся на немецком, французском и итальянском языках. И хотя его утверждение прозвучало чуть-чуть парадоксально, оно отразило истинное положение вещей. Театр Фридриха Дюрренматта — так же, как и театр Макса Фриша,— обрел мировое значение. Проза обоих швейцарских писателей тоже известна всему миру.

Именно с этого — с разговора о прозе — и началась беседа с Фридрихом Дюрренматтом.

— Я всегда буду писать романы,— сказал он,— я очень люблю начинать романы. Я блестяще начинаю романы. Напишу страниц около ста, а потом... продолжение не следует... Мои романы — это дети, так и не ставшие взрослыми. Один такой ребенок умер сразу после рождения. Жена была очень опечалена. А я взялся за пьесу.

Советскому читателю хорошо известны доведенные до конца прозаические произведения швейцарского писателя: повести «Авария» и «Обещание», роман «Грек ищет гречанку». Так что слова, сказанные Дюрренматтом, требуют некоторых оговорок. Несомненно лишь одно: то, что Дюрренматт снова и снова пишет пьесы. Театр, драматургия, комедия — это его стихия.

И все же вернемся к одному из начатых и неоконченных романов Дюрренматта, который называется «Мистер Икс на каникулах».

...Некто в черном костюме поднимается по веревочной лестнице все выше и выше — до тех пор, пока не оказывается на небесах. Это — дьявол, который отправился к господу богу в надежде получить трехнедельный отпуск. Он — единственный, кто занимается человечеством, а это дьявольски утомительно. Он устал делать зло, ему хочется отдохнуть, делая добро...

А что такое добро и зло? И существует ли однозначный ответ на этот вопрос?

...Дьявол признается господу богу, что на свои деньги содержит небольшой женский монастырь. Если на грешной земле ему попадается сутенер, он очищает его карманы. Изъятые таким образом средства поступают на текущий счет женского монастыря. Монашки и не подозревают, что у их благородного покровителя, если верить традиции, должны быть рога и копыта. А он откровенно признается господу богу, что единственное место на земле, где в самом деле чтут дьявола,— женский монастырь.

Пораженный неожиданностью, господь бог включает небесный телевизор. Ему хочется все увидеть своими глазами. На экране появляется какая-то планета. Господь бог думает, что это Земля, а дьявол объясняет, что это Юпитер. Дело в том, что дьявол знает землю куда лучше, чем господь бог, который ее давным-давно не видел.

Вот и земля, вот и тот самый женский

монастырь, в котором чтят дьявола как бога. Все чистая правда. Господь в растерянности, он не знает, как быть. Ему кажется, что на свете должна быть справедливость и что дьявол заслуживает трехнедельного отпуска. Но у бога имеется ортодоксально мыслящий секретарь, которого он побаивается. А этот последний твердо убежден: не может быть, чтоб дьявол делал добро. По его мнению, этого не только не может, но и не должно быть, так как это означало бы нарушение мирового порядка, который должен оставаться незыблемым...

Должен ли? Почему, собственно? Вопросы возникают один за другим. Фридрих Дюрренматт, и прозаик, и драматург, всегда пишет так, что читатели и зрители задаются вопросами. На этот раз он написал всего лишь тридцать страниц прозаического текста, блестящего даже и в услышанном нами беглом пересказе. Будем надеяться, что продолжение следует. В том, как развертывается повествование, много парадоксов, смысл которых легко угадывается, но много и таких, которые трудно поддаются осмыслению. Дюрренматт остается Дюрренматтом. Об ответах на поставленные вопросы читатели и зрители должны позаботиться сами.

Казалось бы, у Дюрренматта не должно быть склонности к теоретизированию. Между тем, недавно в Цюрихе вышла книга, в которой собраны рассуждения и размышления Дюрренматта о самом главном в его жизни — о театре, драматургии, комедии. * Но это еще не все. Дюрренматт в настоящее время пишет вторую книгу — все о том же. Очевидно, ему хочется дать читателям и зрителям — а может быть, он это делает и для самого себя — ключ к своим драматургическим произведениям. Он не скрывает, что в известной мере им руководит желание ответить критикам. Но значение уже осуществленной и еще осуществляемой работы этим не исчерпывается, оно шире и глубже.

— Это будет, в сущности, книга о юморе,— говорит Дюрренматт о своей новой работе.— Конечно, о любом драматурге можно сказать: у него есть юмор или у него нет юмора. Кстати, то же самое можно сказать о любом зрителе. Но вопрос в том, что такое юмор. Ведь чувство юмора — доброе, в нем есть моральная сторона, оно — позитивное начало художественного творчества.

Во мне происходит внутренняя борьба,— продолжает Дюрренматт.— Сам не пойму, умно ли поступаю, тратя время и силы на работу над книгой о юморе. Приходится прочитывать уйму чужих книг, сплошь и рядом трудных для понимания. Я спрашиваю себя, стоит ли писать о театре? Не лучше ли писать для театра?

Разумеется, Дюрренматт пишет и для театра. Вслед за пьесой «Метеор» **, он написал пьесы «Перекрещенцы» («Die Wiedertäufer»), премьера которой состоялась в Цюрихе в марте этого года. Но его интерес к теории драматургии не ослабевает.

— Я различаю два вида театра,— сообщает Дюрренматт.— С одной стороны, трагедия, драма. Смотря ее, мы испытываем — об этом писал еще Аристотель — сострадание. И тут не обойтись без иллюзии полной достоверности всего происходящего на сцене. Для того чтобы нами овладело чувство сострадания к герою и его судьбе, надо, чтоб мы поверили, что все так и было. Был герой с его характером, с его поступками, с его окружением. Мы должны идентифицировать себя с героем, это непременное условие сострадания. Таким образом, от автора трагедии и драмы требуется непосредственный контакт с действительностью. Одним из великих сочинителей трагедий был Максим Горький. Я очень люблю его Егора Булычева.

Делясь с нами сильным впечатлением, произведенным на него горьковским персонажем, Дюрренматт замечает, что легче всего идентифицировать себя с положительным героем. Егор Булычев, по его мнению, не подходит под это определение. И все-таки идентификация имеет место, потому что многое, очень многое в Егоре Булычеве вызывает горячее сочувствие. Впрочем, Дюрренматт вообще оспаривает такую постановку вопроса о положительном и отрицательном герое, которая приводит к упрощению. По-видимому, он имеет в виду упрощенное деление героев на «чистых» и «нечистых», исключающее полноту и многообразие творческого отображения реальной действительности.

— Так может ставить вопрос лишь тот, кто лишен юмора,— говорит он.

Переходя от трагедии и драмы к комедии, Дюрренматт стремится определить ее специфику.

— Что касается комедии, то тут все иначе,— продолжает он свои рассуждения.— На комического героя мы чаще всего смотрим, как на клоуна, а с клоуном почти никогда не идентифицируются. В этом случае между зрителем и персонажем создается дистанция, ее создает смешное в персонаже, от которого зритель отмежевывается. В комическом, таким образом, заключается объективизация.

Думается, что такое разграничение трагического и комического несколько условно. Ведь и трагедия заключает в себе возможность объективизации, великие создатели трагедии всех времен и народов — назовем хотя бы Софокла и Шекспира — использовали ее до конца. К тому же история литературы знает комедии — вспомним хотя бы Грибоедова,— в которых комическое не только исключало, а, наоборот, создавало иллюзию полнейшей достоверности всего происходящего, не только не отодвигало, а, наоборот, приближало зрителя к персонажу. Однако Дюрренматт, по всей вероятности, имеет в виду

---

* См. рецензию Н. Павловой на эту книгу, опубликованную в этом же номере.

** См. «Иностранную литературу» № 2, 1967 г.

современную комедию, в которой комическое доведено до гротеска. А гротеск разбивает иллюзорную веру в то, что все так и было в жизни, как на сцене, он нарочито неправдоподобен, хотя и таит в себе правду. В комедии гротеска — в частности, в комедиях Дюрренматта — между зрителем и персонажем в самом деле создается дистанция, которую автор считает необходимой. Похоже, что он придерживается поговорки: со стороны виднее.

— Комедии бывают разные,—добавляет Дюрренматт.— В одном случае комичен персонаж или персонажи. В другом случае комично само действие. Дюрренматту больше по душе второй случай, писатель предпочитает комическое или, как он еще выражается, парадоксальное действие.

В конечном итоге Дюрренматт приходит к неожиданному выводу: и комедия дает зрителю некоторую возможность идентифицировать себя с персонажем. Это, по словам Дюрренматта, происходит «на основе юмора». Следя за развитием комического (или парадоксального) действия, зритель, обладающий чувством юмора, осознает, что и он мог бы оказаться в смешном положении, как тот или иной персонаж; он соображает, как поступил бы на месте этого персонажа. То, что начинается «на основе юмора», кончается «на основе познания».

Сколько бы Дюрренматт ни подчеркивал своеобразие комедии в ее отличии от трагедии, он прекрасно понимает, что на сцене, как и в жизни, «трагическое и комическое часто смыкаются», что гротеск большей частью трагикомичен. Пример тому — его последняя пьеса «Перекрещенцы», которую Дюрренматт привез в Москву уже отпечатанной, но еще не переплетенной; она в самое ближайшее время увидит свет, ее выпускает цюрихское издательство «Архе».

— Она полна боли,— говорит Дюрренматт об этой пьесе. И это боль за простых людей, обманываемых лжепророками. Такой лжепророк, Иоганн Бокельзон из Лейдена, в прошлом непризнанный актер, как Гитлер был непризнанным художником (это сопоставление сделано самим Дюрренматтом в ходе беседы), губит тех, кто идет за ним, а сам остается жить. Хотя действие пьесы относится к давно прошедшим временам, она современна по проблематике. Многое в ней можно толковать поразному, возможны, пожалуй, и кривотолки, но сущность ее в словах, вложенных в уста почти столетнего старца:

«Этот бесчеловечный мир должен стать человечнее.

Но как это сделать? Как?»

Дюрренматт говорит о двух философских учениях, которые он считает самыми крупными в наше время,— о марксизме и об экзистенциализме. Марксизм, по его мнению, «философия человечества, человеческого общества». Эта философия «исходит из общего, тогда как экзистенциализм исходит из частного». Сартр, как говорит Дюрренматт, пытается совместить несовместимое. Считая такое совмещение невозможным, швейцарский писатель полагает, что оба учения сами по себе имеют право на существование. Но экзистенциализм «никогда не приходит к историзму», тогда как марксизм всегда обращается к истории. С последним нельзя не согласиться, хотя из этого еще не следует, что проблемы личности остаются за пределами марксистского миропонимания.

Театр экзистенциализма Дюрренматт определяет как «театр одиночки». Беккет, например, «создает свою Одиссею», суть которой в том, что «человек — один, а вокруг него пропасть». У Беккета «человек — центр пустой Вселенной». Как у Беккета, так и в некоторых пьесах Ионеско нет действия, есть только ситуации.

Вообще же противоречие частного и общего, по словам Дюрренматта, наиболее характерно для нашего времени; в этом противоречии есть нечто парадоксальное.

— Парадокс — феномен сегодняшнего мышления,— возвращается к своей излюбленной идее Дюрренматт.— Сегодняшняя драматургия — драматургия парадоксов.

Это определение бесспорно относится к драматургии самого Фридриха Дюрренматта, однако его творчество не просто игра парадоксами, а заостренная постановка жгучих вопросов нашей эпохи. Вот почему пьесы Дюрренматта пользуются успехом у зрителей разных стран, в том числе и нашей страны.

Л. СИМОНЯН

Югославский скульптор

ИВАН МЕШТРОВИЧ

В Югославии есть все для развития великой скульптуры, особенно монументальной. Ее земля покрыта скалами. Ее почва камениста. Мрамор, гранит, известняки — все сорта материала под рукой у ваятеля. История этой страны исполнена страданий и подвигов. Римские колоиизаторы оставили следы по всему Адриатическому побережью. Тысячелетием позже богомилы — еретики, два века державшиеся против папы и Византии, чьи книги сожжены, чьи догматы прокляты, чье государство разгромлено,— усеяли поля Боснии и Герцеговины кладбищами из твердого камня с барельефами, удивительными по простоте и выразительности.

Величие страдаиий и подвигов запечатлено в народной памяти. В любом городке, даже самом маленьком, памятники, мемориальные доски. Ленинградский принцип — «никто не забыт и ничто не забыто» — очень понятен в Югославии. Иногда эти памятники просты и трогательны.

В Сараеве, например, в бетоне тротуара оттиснуты подошвы мужских штиблет. Небольшая доска удостоверяет, что именно здесь летом 1914 года стоял юный босняк Гаврило Принцип, стрелявший в угнетателя Боснии австрийского эрцгерцога Франца-Фердинанда.

В Белграде на кладбище,

Автопортрет, 1912 г.

И. Мештрович в Загребе, 1942 г.

где похоронены освободители города — советские солдаты и югославские партизаны, на небольших каменных плитах фамилии, воинские звания. На одной плите попросту слово — «Сидоровна» — ничего более не было известно об этой женщине — наверно, немолодой, может быть, поварихе или прачке из дивизионного тыла, в суматошном городском бою убитой не в своей части, а среди югославских бойцов, знавших о ней только то, что она «Сидоровна». Неподалеку другая плита — «Мишка Таикист». А рядом — наши офицеры, сержанты, солдаты...

Там, где есть хороший камень и твердое дерево, и великая история, и крепкая память о ней, обязательно должна появиться скульптура. В Югославии — замечательная скульптура. Наряду с литературой это ведущее искусство страны.

Девять из десяти югославов первым среди скульпторов назовут имя Ивана Мештровича.

Мештрович — хорват. Он родился в 1883 году во Вргполье, куда его родители-поденщики забрели в поисках работы. Однако вскоре они вернулись на родину в село Отавица в Далмации. Здесь Мештрович провел детство и юность. В те годы, в самом конце XIX столетия, Далмация была глухой окраиной Австро-Вен-

Лев Толстой, 1903 г.

Моя мать, 1909 г.

грии. Далматинские крестьяне — виноградари, пастухи, землеробы мало знали о жизни Вены и Будапешта. У них была своя достаточно богатая и напряженная духовная жизнь. В селах бытовали песни о былых подвигах славянских воинов — те самые песни западных славян, которые вдохновили Мериме и Пушкина. Национальное самосознание, ежедневно подавляемое австрийскими судьями и жандармами, ежедневно утверждалось в этих песнях. Певец, сказитель — это была уважаемая профессия. Литература письменная, складывавшаяся в те годы в Хорватии, Сербии, Черногории, исходила из эпоса, из его сюжетов и идей. Рядом развивалось другое народное искусство — скульптура. У него было два потребителя: католическая церковь, нуждавшаяся во множестве «богорезов», изготовлявших святых и мучеников для костелов и кладбищ, и рынки, где охотно покупали резную игрушку. До сих пор в старинных корчмах можно встретить деревянных зверей, реальных и фантастических, вырезанных народными мастерами. С корчмы в Отавицах началась слава Мештровича.

С детства слушавший и слагавший песни, он перелагал их в дерево и камень. Земляки, восхищавшиеся даром молодого парня, собрали денег, и Мештрович поехал учиться, сначала в недалекий Сплит, в скульптурную мастерскую Павла Билинича, где провел десять месяцев, а потом на долгие годы — в Вену, в Академию искусств.

Как тут не вспомнить сибирского казака Василия Сурикова, несколькими десятилетиями ранее прошедшего очень похожий путь. А немного спустя почти так же сложилась судьба болгарского приказчика, ставшего замечательным живописцем Цанко Лавреновом.

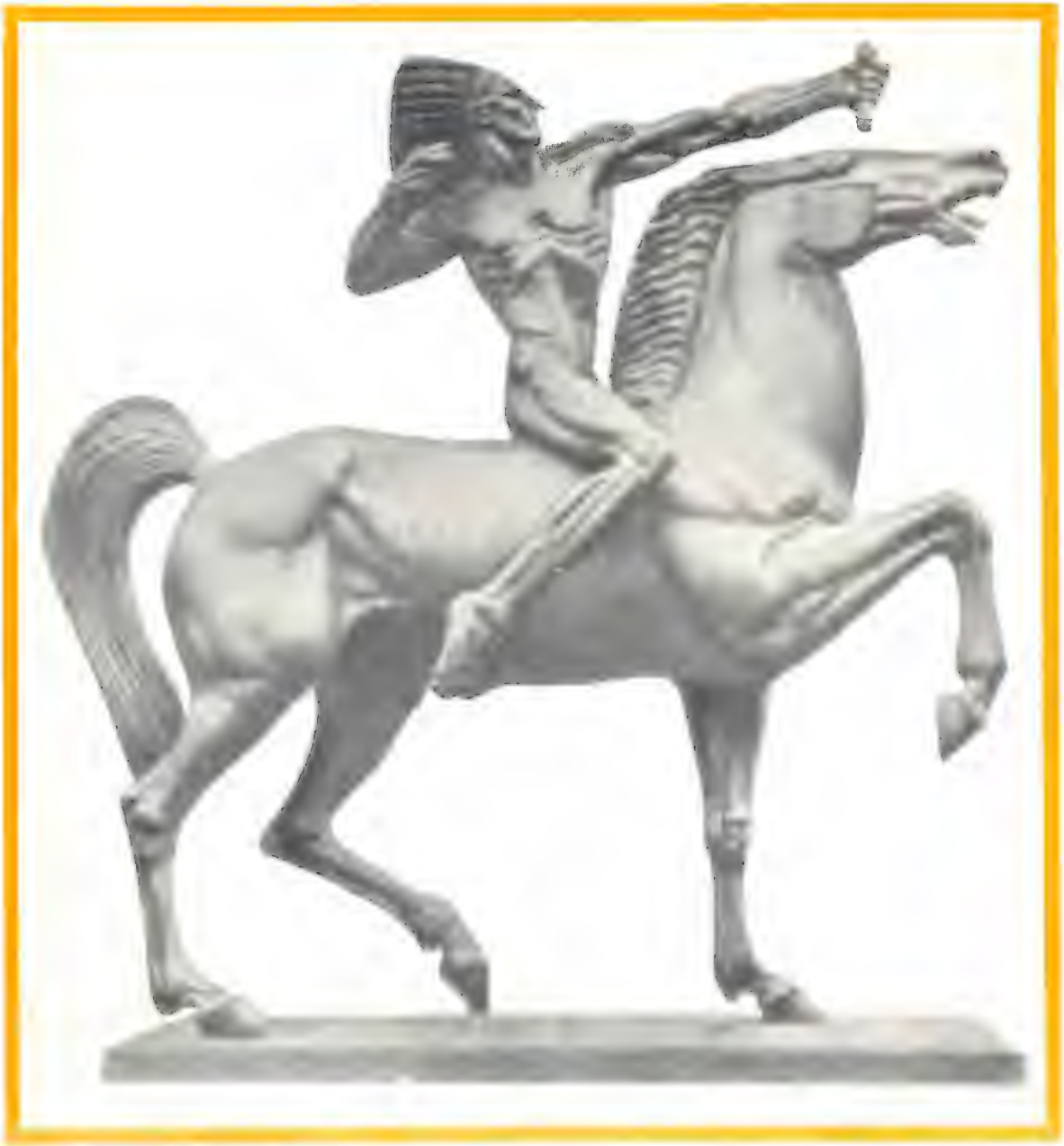
В Вене Мештрович жил из рубля в рубль, но много и упорно учился. Все бури модерна бушевали тогда над имперской столицей. Это были годы, когда утвердился и получил мировое при-

знание талант Родена, когда Майоль и Бурдель смело противопоставили ему свое понимание пластического. В России расцвели мощные дарования Матвеева, Голубкиной, Коненкова. Укрепился интерес к скульптуре народов Африки и Азии. Начали выставляться первые кубисты.

Мештрович учится и ищет, ищет и учится. Мы репродуцируем несколько его скульптур того периода — портрет Льва Толстого, о котором мастер как-то сказал, что наряду с Роденом он сыграл наибольшую роль в его жизни (это работа двадцатилетнего юноши, едва приобщившегося к профессиональной скульптуре), а также скульптуру, названную «Моя мать».

Скульптор еще вполне зависит от импрессионизма, особенно от Родена. Но все-таки в портрете русского писателя, в камерных портретах матери отчетливо проступает будущий Мештрович — монументальный и героический. Тот, кто внимательно вглядывался в лица крестьянок, в созданную четверть века спустя композицию «Могила неизвестного солдата» на горе Авале под Белградом, не мог не заметить сходства этих скульптур с ранними изображениями далматинской батрачки — матери художника.

Богородица с младенцем (деталь), 1917 г.



Индеец с луком, 1926—1927 гг

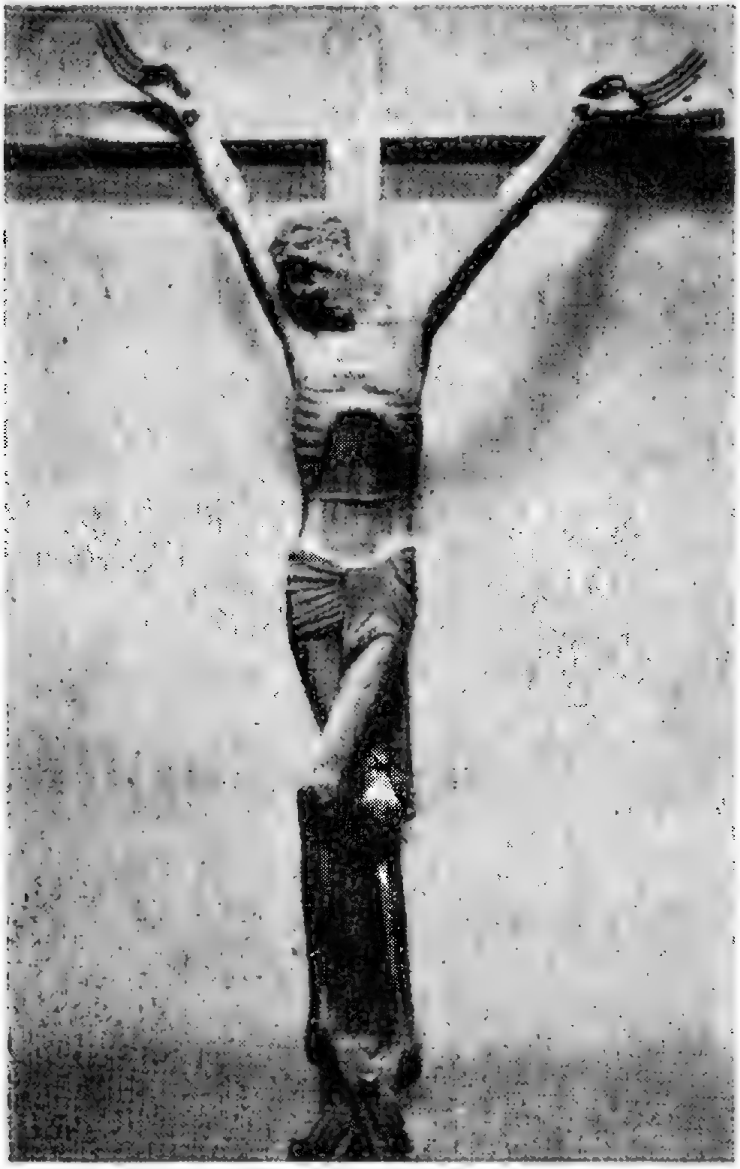
Печальные ангелы, 1916 г.

История хорватов 1932 г

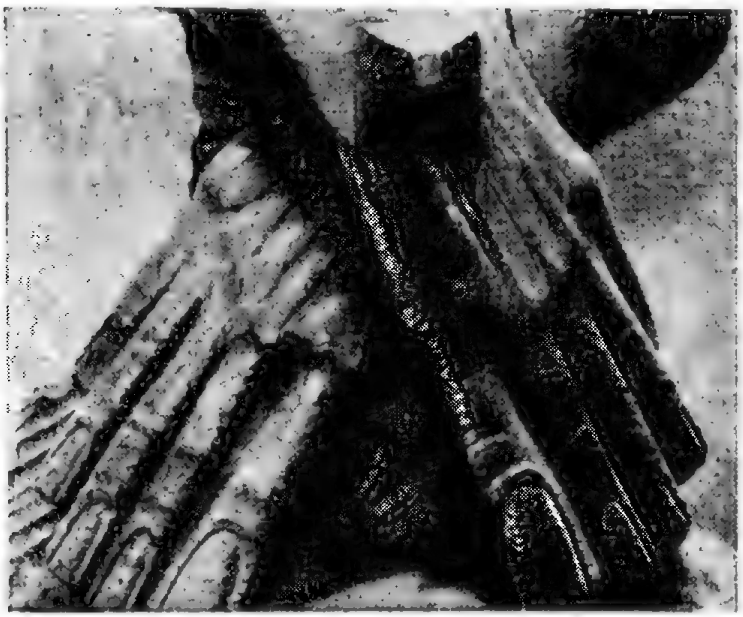
Девушка с лютней, 1918 г.

Богородица с младенцем (деталь), 1925—1928 гг

Молящаяся женщина, 1917 г



Распятие, 1916 г.

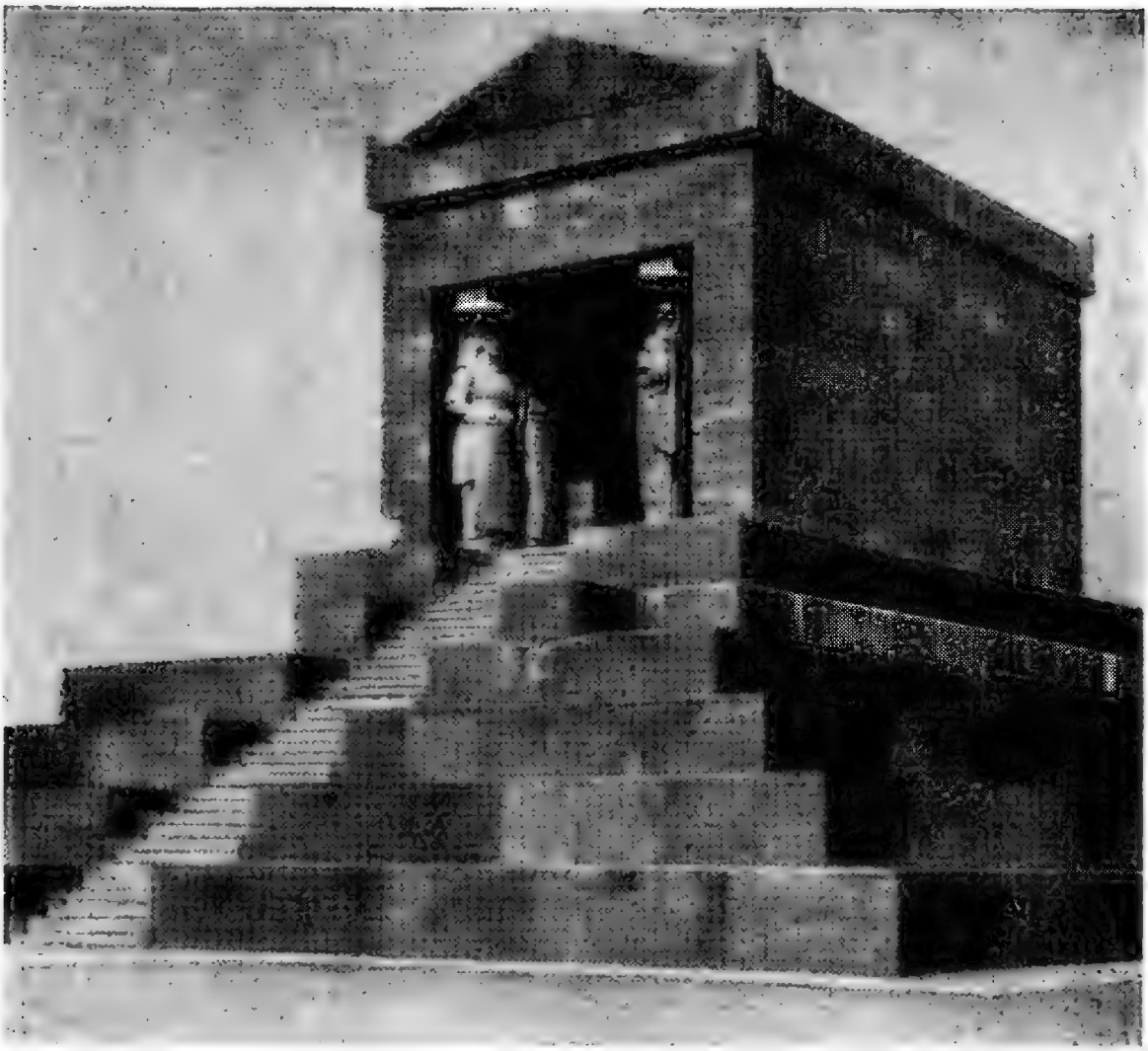


Распятие (деталь), 1916 г.

Слава рано пришла к Мештровичу. Двадцати пяти лет он выставился в Париже, в Весеннем и Осеннем Салонах — и был замечен. Годом-двумя позднее большой успех принесли ему выставки в Вене и Загребе.

В 1911 году Мештрович принял участие во Всемирной выставке в Риме, но показывали его не в павильоне Австро-Венгрии, а в павильоне Сербии. Это был обдуманный шаг, политическая демонстрация. В творчестве Мештровича художественная мысль часто принимала характер политической мысли. Накануне мировой войны все симпатии скульптора были на стороне Сербии и югославского единства. Пять лет (1907—1912) он работает над проектом Видовданского храма, который должен был быть устаиовлеи на Косовом поле, где сербы героически сопротивлялись турецким захватчикам. Этот проект не был осуществлеи, но работа над ним и многочисленные скульптуры, с ним связанные, определили весь будущий путь Мештровича. Скульптор принимал непосредственное участие и в политической жизни. В годы первой мировой войны он жил в Лондоне, Женеве, Канне и был членом югославского комитета, помогавшего Сербии и боровшегося за объединение сербов с хорватами и словенцами в единое югославское государство.

Иосип Штроссмайер, 1926 г.



Могила неизвестного солдата в Белграде, 1934—1938 гг.

Мы репродуцируем несколько скульптур того времени. Некоторые из них выполнены на религиозные сюжеты. Особенно впечатляет «Распятие». Надо думать, что разгром Сербии и австро-немецкая оккупация ее территории в какой-то степени обусловили тяжелую печаль, пронизывающую работы Мештровича.

В 1919 году Мештрович возвратился в Загреб. Его избирают почетным членом Югославской академии наук и искусств и еще нескольких академий. В стране и за рубежом выходят одна за другой книги о его творчестве. Последующие двадцать лет — время зенита его успеха. Он завален заказами, частными и правительственными. Он представляет Югославию на всех международных выставках. Во всех национальных музеях, начиная с Белградского, скульптуры Мештровича на почетных местах. То были годы необычайной производительности вообще много работавшего Мештровича.

Несколько слов о его монументах. В советской «Истории искусства Югославии» высказывается мнение, что именно Мештрович был в междувоенные годы крупнейшим монументалистом Европы. Пожалуй, это верно.

Я много раз глядел на памятник Иосипу Штроссмайеру в Загребе. Этот католический епископ изображен сидящим и разговаривающим

Григорий Нинский, 1926—1927 гг.

щим, точнее говоря, убеждающим. Вокруг него шумят знаменитые столетние платаны, воспетые нашим Николаем Тихоновым и асеми хорватскими лириками. Крупнейший деятель хорватского просвещеиия и слуга Ватикана, мечтавший об объединеиии всех славяи под эгидой папы, мастер полнтической интрнги, собеседник Владимира Соловьева и приятель венских министров и римских кардиналов. Все это есть в памятнике Штроссмайеру — величие и хитрость, самоуверенность и иителлектуалнзм. Времеиами он кажется похожим иа беспощадные портреты-разоблачения Валентина Серова. В то же время это — несомненный памятник, не только художественное исследование, но и прославление.

Совсем другой характер носит поставленная в 1934—1938 годах «Могила неизвестиого солдата».

Это — самый известный из монументов страны. Судьба этого памятника переплеталась и с иашей национальной историей. В октвбре 1944 года в дни битвы за Белград здесь были развериуты наши командные пункты. Подиожье Авалы обтекали выходящие из окружеиия немецкие части, а на вершине горы, метрах в ста пятндесяти от монумента стояли советские МГУ — мощные громкоговорящие установки, с немалым

Дом-музей И. Мештровича в Сплите.

Иов, 1946 г.

успехом призывающие нацистов к сдаче в плен. Это было, если не ошибаюсь, 15 и 16 октября.

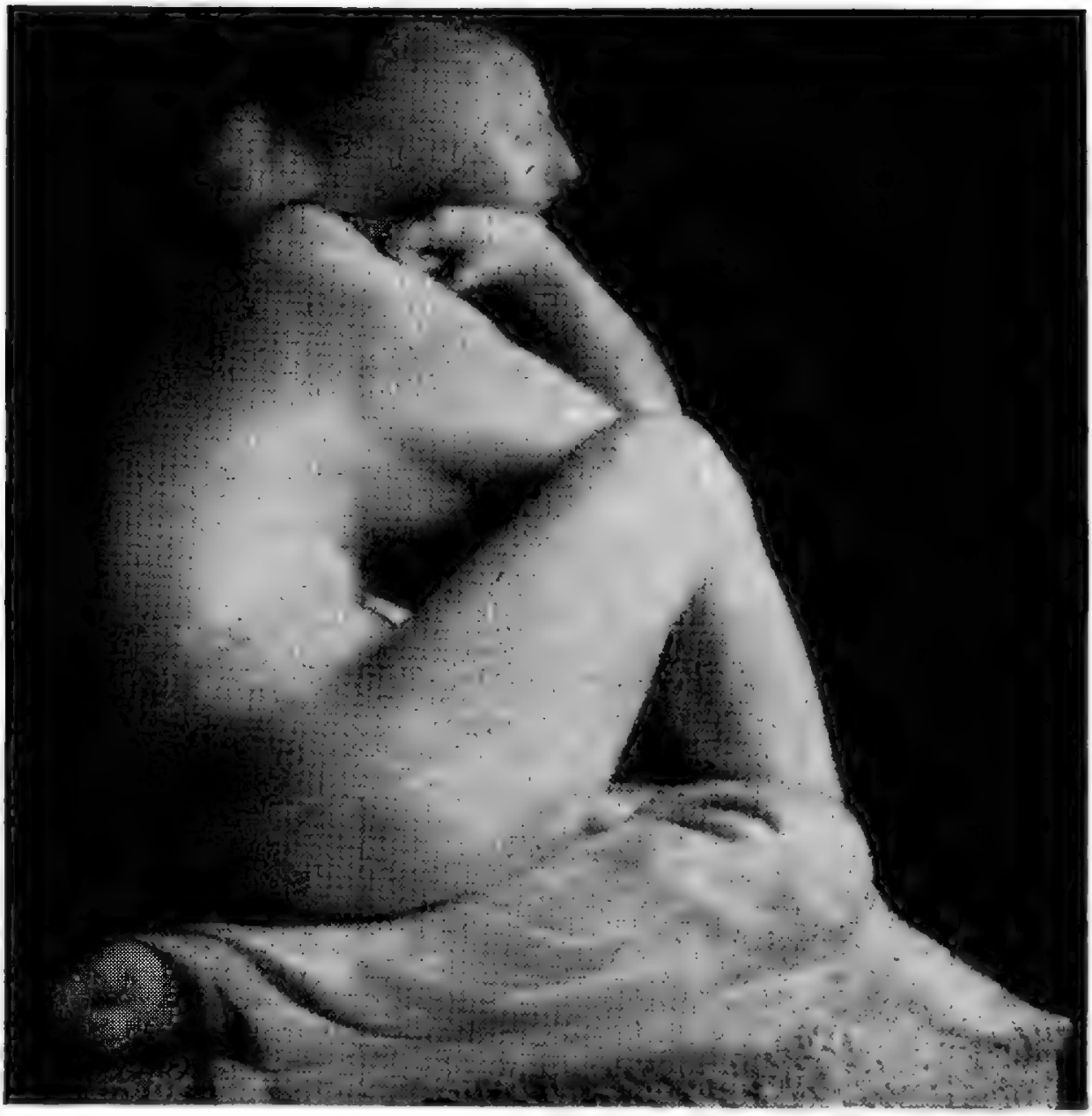
В 1941 году, после того как Загреб был оккупирован немцами, хорватские фашисты, усташи, арестовали Мештровича. В ту пору он был уже мировой известностью, самым знаменитым из хорватов. Может быть, поэтому Мештрович не разделил судьбу многих тысяч хорватских интеллигентов, замученных усташами. В 1942 году он уехал в Рим и начиная с 1943 года жил в Швейцарии и Соединенных Штатах, где его хорошо знали — в том числе по воздвигнутой еще в двадцатых годах в Грант-парке в Чикаго конной статуе «Индеец». Из поздних вещей

Мештровича мы репродуцируем замечательного «Иова» (ныне хранится в музее Мештровича в Сплите) — несомненно лирическую, автобиографическую вещь.

Мештрович был другом новой Югославии. Живя за океаном, он продолжал работать для родной страны. В 1954 году по его модели был поставлен памятник великому черногорскому поэту Негошу. В 1952 году скульптор подарил Югославии много своих работ. В Загребе и Сплите учреждены музеи Мештровича. Новое поколение скульпторов страны — его учеиики или ученики его учеников. Умер Мештрович в 1962 году на вершине мировой славы.

В заключение хочется напомнить, что 28 августа 1941 года во время тяжелых оборонительных боев у Ленинграда и Киева московская газета «Советское искусство» опубликовала статью Б. Н. Терновца «Иван Мештрович».

БОРИС СЛУЦКИЙ



Ожиданье, 1929 г.

МИЦОС
АЛЕКСАНДРОПУЛОС

СУД НАД УБИЙЦАМИ ЛАМБРАКИСА

Ровно год назад, 3 октября 1966 года, в окружном уголовном суде города Салоники начался процесс по делу об убийстве Григориса Ламбракиса. Сообщения о начале процесса и обширные публикации газет еще раз сосредоточили внимание греков на драматических событиях, происшедших в северной столице Греции примерно за 1200 дней до этого.

22 мая 1963 года. среда, 21 час 50 минут. Только что закончилось собрание сторонников мира, и ораторы, депутат парламента Григорис Ламбракис и адвокат Атанасиос Ригопулос, специально приехавшие из Афин, в сопровождении руководителей местного Комитета сторонников мира направляются к гостинице «Космополит», где остановился Ламбракис.

Ламбракис закончил свою речь фразой из Евангелия: «Блаженны миротворцы, ибо они названы будут сыновьями бога». И, прежде чем покинуть зал, он еще раз посылает через громкоговорители сигнал опасности: «Говорит депутат парламента Ламбракис, я обращаюсь к верховному инспектору жандармерии генералу Мицу, к начальнику полиции господину Камуцису, к прокурору и номарху — защитите нашу жизнь и настоящее собрание».

На лице Ламбракиса синяки от ударов, нанесенных ему террористами на улице перед началом собрания.

До гостиницы всего несколько шагов. Маленькая процессия пересекает крошечную площадь на перекрестке трех улиц — Гермеса, Венизелоса и Спандоннса.

Тротуары заполнены безумствующей толпой. Это «иначомыслящие». Они окружили зданне собрания и выкрикивают злобные угрозы: «Изменники! Смерть предателям!.. Долой коммуны!..»

Собрание еще шло, когда здесь, на этом месте, был избит депутат парламента от партии ЭДА Георгиос Царухас. Друзьям удается уложить его в санитарную машину, но чуть подальше террористы остановят ее, выволокут оттуда Царухаса и бросят его, бесчувственного, на мостовую.

Между тем на месте происшествия сосредоточены крупные полицейские силы — 180 жандармов призваны охранять здесь общественный порядок Их возглавляют начальник полиции города Салоники полковник Камуцис и верховный инспектор жандармерии генерал-майор Мицу. Сотни жандармов и полицейских в штатском снуют в толпе террористов, они тоже выкрикивают угрозы, забрасывают здание камнями, избивают сторонников мира.

...Маленькая процессия во главе с Ламбракисом продвигается к гостинице.

Три человека, отделившиеся от толпы, бросаются на Ламбракиса и его друзей.

Ламбракис останавливается и кричит:

— Вот они! Опять нападают! Куда смотрит полиция?

Это его последние слова. Внезапно раздается шум мотора. Трехколесный мотоцикл, переделанный в грузовой автомобильчик, вырывается с улицы Спандониса и проносится по телу Ламбракиса.

Страшное преступление свершилось. С этой минуты начинается долгая история расследования, главные действующие лица которой — следующие.

В основу этого материала положены подлинные документы, публиковавшиеся в афинской прессе в октябре — декабре 1966 года, когда в городе Салоники шел судебный процесс по делу об убийстве Григориса Ламбракиса, крупного медика, известного политического деятеля, депутата парламента, одного из лидеров греческого движения борцов за мир.

Кто есть кто

1. Эммануил Хаджиапостолу, сорока — сорока пяти лет, рабочий. Это он прыгает в кузов мчащегося автомобильчика, в жестокой схватке обезоруживает спрятавшегося там одного из убийц Ламбракиса и заставляет другого убийцу, находящегося за рулем, остановить свой «трехколесник» на перекрестке улиц Карла Дила и Александра Великого. Благодаря Хаджиапостолу становится возможным арест водителя «трехколесника» полицейским службы движения, не подозревающим, что он задерживает одного из убийц Ламбракиса и сообщника своих шефов.

2. Спирос Годзаманис, водитель «трехколесника», тридцати семи лет. Грузчик, известный в Салониках террорист, член организации «Борцы и жертвы Национального Сопротивления», возглавляемой Ксенофонтом Йозмасом. Свою роль в событиях 22 мая объясняет просто: «Был пьян и кого-то задавил». Обвиняется в предумышленном убийстве.

3. Эммануил Эммануилидис, человек, находившийся в кузове «трехколесника». Сорока лет. Маляр. Судился за изнасилование, педерастию, кражу, оскорбление действием, хулиганство и т. д. Когда Хаджиапостолу вступил в схватку с водителем «трехколесника», Эммануилидис выскочил из кузова и скрылся. На другой день он был арестован, однако полиция заявила, что Эммануилидис явился добровольно. Известный террорист, кум Годзаманиса и член организации Йозмаса. Обвиняется в предумышленном убийстве.

4. Христос Сотирхопулос, мебельщик, тридцати пяти лет. Утром 22 мая слышал, как Годзаманис сказал: «Сегодня я убью человека». Его показания опрокинули утверждения полиции о том, что имел место всего лишь «несчастный случай», и поставили следствие перед фактом предумышленного убийства.

5. Василиос Агиостратидис, пятидесяти лет, такой же перевозчик грузов, как и Годзаманис. Утром 22 мая слышал от Годзаманиса о готовящемся нападении на Ламбракиса, а несколько часов спустя узнал о состоявшейся встрече Годзаманиса с главой террористической организации Йозмасом и старшим лейтенантом жандармерии Капелонисом.

6. Ксенофоит Йозмас, пятидесяти пяти лет. В 1945 году был приговорен к смертной казни судом над военными преступниками. Сотрудничал с гитлеровцами и входил в одно из греческих квислинговских правительств периода оккупации.

Перед началом судебного процесса заявил журналистам: «Я фанатичный антикоммунист... Сражаясь вместе с немцами, я прошел всю Югославию. С севера на нас двигались четыре миллиона русских, и нам пришлось бежать. Я антикоммунист, но преступления вызывают у меня отвращение. Они оскорбляют мои тонкие чувства. Вот, например, в тюрьме у нас есть котенок, я кормлю его, ухаживаю за ним, защищаю его. Я не разрешаю другим заключенным дурно с ним обращаться. Может ли такой человек, как я, быть замешанным в преступлении?»

Обвиняется в подстрекательстве к убийству Ламбракиса.

7. Эммануил Капелоиис, сорока пяти лет, старший лейтенант жандармерии, начальник седьмого участка Асфалии * Салоник, один из организаторов террористических выступлений. Утром 22 мая встретился и беседовал с Годзаманисом. Обвиняется в подстрекательстве к преступлению.

8. К. Долкас, 50—55 лет, подполковник жандармерии, начальник Асфалии Салоник. Его роль в организации убийства осталась недостаточно освещенной следствием, зато совершенно явной была деятельность его, направленная на сокрытие преступления и виновных. Обвиняется в нарушении служебных обязанностей.

9. Э. Камуцис, пятидесяти пяти — шестидесяти лет, полковник, начальник полиции Салоник. Отвечал за порядок в районе здания, где проходило собрание сторонников мира. Вместе с генерал-майором Мицу утаил от прокурора факт ареста одного из убийц, что явилось одним из первых актов властей по сокрытию преступления. В сентябре 1963 года подвергся предварительному заключению по обвинению в соучастии в убийстве. Позднее был выпущен на свободу. Пытался подкупить основных свидетелей Хаджиапостолу и Сотирхопулоса, побуждая их изменить показания. Сам же обвинил их потом в шантаже с целью вымогательства. На основании этого обвинения оба свидетели были заключены в тюрьму.

10. К. Мицу, шестидесяти лет, генерал-майор, верховный инспектор жандармерии Северной Греции. Обвиняется как один из главных организаторов преступления. По требованию следователя в сентябре 1963 года подвергается предварительному заключению, однако постановлением № 910 Судебной коллегии первой инстанции от 13/X 1963 года освобождается от какого бы то ни было обвинения. В связи с апелляцией прокурора Бутиса Судебная коллегия второй инстанции решением № 167 оставляет Мицу на свободе, однако вместе с пятью другими высшими чинами полиции и жандармерии передает его суду по обвинению в нарушении служебных обязанностей.

11. Г. Вардулакис, шестидесяти лет, генерал-лейтенант, командующий греческой жандармерией. Прибыл в Салоники на следующий день после событий и предпринял максимум усилий, чтобы снять с жандармерии всякую ответственность. Составил не соответствующее истине официальное коммюнике, в котором утверждалось, будто Ламбракис пал жертвой несчастного случая, которому предшествовали столкновения сторонников мира с «инакомыслящими», будто Ламбракис ударил по лицу одного из «инакомыслящих», а когда произошел «несчастный случай» с мотоциклом, поли-

* Асфалия — греческая охранка.

ция устремилась в погоню, остановила и арестовала виновного. Все эти факты впоследствии будут признаны ложными. На суде по делу Ламбракиса Вардулакис не фигурирует в списке обвиняемых. Однако другой суд признает его виновным в нарушении служебных обязанностей при расследовании дела об убийстве Ламбракиса.

12. Х. Сартзетакис, тридцати лет, следователь. Дело Ламбракиса — его первое крупное дело. Ведет следствие на протяжении семи месяцев. Подвергает предварительному заключению генерал-майора Мицу и другие высшие полицейские чины, выдвигая против них обвинение в соучастии в преступлении. Приходит в столкновение с генерал-лейтенантом Вардулакисом и прокурором Ареопага * К. Колиасом. В драматической летописи 1200 дней, прошедших со дня преступления до суда, Сартзетакис безусловно является центральной фигурой.

13. Стилианос Бутис, старший прокурор Салоник. Одно из главных действующих лиц в ходе следствия. Поддерживает требование следователя о предварительном заключении офицеров полиции и квалификацию убийства Ламбракиса как организованного свыше политического преступления. Подвергается сильному давлению и угрозам. Внезапно умирает в 1964 году от сердечного приступа. Несколько позднее в юридическом журнале «Арменопулос» будет опубликован некролог, написанный следователем Сартзетакисом. В этом некрологе мы прочитаем фразу, сказанную прокурором следователю в один из самых драматических моментов следствия: «Послушайте, коллега, мошенником я не стану. Пусть придут и убьют меня. Я выполню свой долг до конца».

14. Афинские журналисты **И. Вультепсис** (газета «Авги») и **Г. Берцос** (газета «Элефтерин»). Благодаря инициативе этих журналистов и некоторых других их коллег стало возможным разоблачение попыток полиции скрыть от следствия убийц Ламбракиса. Статьи Вультепсиса и Берцоса прольют свет на многие темные звенья в цепи преступления. Их стараниями будут раскрыты имена целого ряда преступников, которые сядут потом на скамью подсудимых.

15. К. Капсаскис, заведующий афинской службой судебномедицинской экспертизы. Прибывает из Афин по распоряжению министра юстиции. Его задача — средствами судебномедицинской экспертизы обосновать версию «несчастного случая». И в самом деле, вывод Капсаскиса таков: «Смерть наступила вследствие раскола черепа, вызванного ударом его о гладкую твердую поверхность». Это значит, что «трехколесник» наехал на Ламбракиса, свалил его, отчего при падении Ламбракис ударился о «гладкую твердую поверхность», то есть об асфальт. Другие специалисты-медики с этой версией не соглашаются.

16. Н. Кавадзаракис, профессор медицины, бывший ректор университета Салоник, один из лечащих врачей Ламбракиса. Вместе с судебномедицинским экспертом Салоник Ровифисом, профессором Симеонидисом и другими специалистами он настаивает на том, что Ламбракис, будучи в вертикальном положении, получил смертельный удар по голове, нанесенный тупым орудием. Эту точку зрения разделяет директор Будапештского государственного института нейрохирургии профессор Ласло Золтаи, приехавший в Салоники вместе с другими иностранными хирургами, чтоб помочь спасению Ламбракиса *. Ласло Золтан сделал тогда следующее заявление: «На основании увиденного я могу сделать вывод, что Ламбракис получил сильнейший удар по голове тупым, возможно железным, предметом, вызвавший в конечном итоге смерть...»

17. Залохорис, бригадный генерал, один из высших командных чинов Генерального штаба армии. 24 мая, когда Ламбракис еще борется со смертью в салоникской больнице, Залохорис публикует документ под номером 281, 3-9-424648, в котором дает следующее толкование свершившегося в Салониках преступления:

«Скрывающиеся под маской «сторонников мира» коммунисты, потерпев неудачу в своих попытках выступить в Афинах на так называемом «марше мира», устремились в Салоники.

...Обосновавшись в центральном зале города и установив на улице громкоговорители, они начали выкрикивать коммунистические лозунги, бросая тем самым вызов населению...

...Народ Салоник, возмущенный действиями красных агентов, ответил на их вызов».

Этим текстом официальные круги Греции зловеще и цинично приветствовали убийство Ламбракиса.

Пресса не замедлила обнаружить почти дословное совпадение этого текста со статьей в салоникской газете «Элефтерос логос», являющейся органом министра при премьере Такиса Макриса, личного друга генерала Мицу и военного преступника Йозмаса. За день до этого газета писала:

«Коммунисты начали выкрикивать в громкоговорители коммунистические лозунги, вызывая тем самым негодование инакомыслящих граждан...

Однако они получили в Салониках жестокий урок от подлинных патриотов Греции, от **самого народа, поднявшего свой голос возмущения действиями красных агентов».**

За этой общей оценкой событий общественное мнение угадывает глубокие связи виновников страшного преступления с высоко стоящими лицами государственного аппарата.

---

* Ареопаг — высший судебный орган в Греции.

* Известие о покушении на Ламбракиса взволновало мировое общественное мнение. Известные зарубежные хирурги немедленно выехали в Грецию, чтобы оказать Ламбракису помощь.

МИЦОС АЛЕКСАНДРОПУЛОС
СУД НАД УБИЙЦАМИ ЛАМБРАКИСА

Что касается бригадного генерала Залохориса, интересно также отметить следующее обстоятельство. Почти одновременно с судебным процессом по делу Ламбракиса в Афинах проходит другой процесс — по делу «Аспида»*, сфабрикованному для того, чтобы в июле 1965 года нанести удар по демократическому правительству Г. Папандреу. Залохорис — один из членов военного трибунала по делу «Аспида».

18. К. Колиас, прокурор Ареопага. Когда становится очевидным, что нити преступления ведут к высоко поставленным лицам, он срочно является в Салоники и созывает совещание всех представителей судебных властей, занятых делом Ламбракиса. Колиас пытается убедить их, что план убийства Ламбракиса вовсе не существовал, что «инакомыслящие» хотели просто «помять ему бока». Он предлагает разделить дело и провести четыре отдельных судебных процесса: об убийстве Ламбракиса, об избиении Царухаса, о нарушении офицерами полиции служебных обязанностей и, наконец, о нарушении общественного порядка. Предложения Колиаса отвергаются.

31 июля 1963 года прокурор Ареопага звонит из Афин следователю Сартзетакису. Член Ареопага Антониос Флорос, расследовавший позднее по поручению нового демократического правительства Папандреу факты о давлении, оказанном прокурором Ареопага в деле Ламбракиса, так передает содержание телефонного разговора между Колиасом и Сартзетакисом:

«— Господин Сартзетакис, когда же наконец вы покончите с делом Ламбракиса?

— Надеюсь закончить его в течение августа.

— Вы вводите в заблуждение прокурора Ареопага. Не вы ли обещали закончить следствие в июне, а теперь говорите уже об августе? Чем вы, в конце концов, там занимаетесь?

— Сбор материалов следствия затруднен, его приходится вести буквально по крупицам.

— Это все потому, что вы меня не послушались! Не я ли говорил, что дело нужно разделить на четыре процесса? Чего вы хотите добиться? Как вы не понимаете, что, допрашивая все новых и новых свидетелей, вы можете обмануться в своих выводах? Что означают сообщения в печати о предстоящей выдаче новых ордеров на аресты? Выдайте их, чтоб мы наконец успокоились!.. Как вы объясните также публикации в прессе о препятствиях, чинимых вам при ведении следствия? Кто вам мешает? Что имеется в виду под газетными фразами о «невидимых силах»? Почему вы, господин Сартзетакис, выдаете ордера на арест офицеров жандармерии? Не договаривались ли мы, что предварительному заключению подвергнутся только те офицеры, судебный приговор над которыми не оставляет сомнений? А у вас нет достаточных оснований предрекать этот приговор.

— Я действую в соответствии с законом, гласящим, что предварительное заключение возможно при наличии серьезных подозрений в виновности. Предрекать же судебный приговор вообще нельзя!

— Более подробно говорить на эту тему по телефону я не могу. Мне жаль, что вы не понимаете, какой вред наносят ваши действия государству и отечественной юстиции».

Следователь закончил разговор следующей фразой:

«— Я выполняю свой долг!»

Между прокурором Ареопага и следственными органами Салоник начинается тайная и явная война. Несколько позднее новое правительство Папандреу наказует Колиаса за вмешательство в дело правосудия временным устранением от занимаемой им должности, однако Государственный совет, являющийся верховным административным судом страны, признав факт вмешательства, расценит его как незлоумышленное и Колиас останется на своем посту. Пользуясь властью прокурора Ареопага, он постоянно будет оказывать отчаянное давление на всех, причастных к делу Ламбракиса, и нет никаких сомнений в том, что благоприятные для офицеров полиции заключения №№ 910 и 167, о которых упоминалось выше, являются плодами его стараний.

19. Константинос Караманлис, 59 лет, премьер-министр, лидер партии ЭРЭ*. С 6/X 1955 года почти непрерывно стоит у власти, однако режим Караманлиса обречен. Выборы 1961 года останутся в истории политической жизни страны как классический пример фальсификации и насилия над волей избирателей. Гибель Ламбракиса ускорит падение Караманлиса. В Афинах, в Салониках, в крупных и маленьких городах и деревнях страны сотни тысяч греков выйдут на улицы и потребуют отставки правительства.

Похороны Ламбракиса выливаются в одну из самых величественных народных демонстраций на улицах греческой столицы.

Лидер партии Союз Центра ** Г. Папандреу заявляет:

— Союз Центра обвиняет лидера партии ЭРЭ Караманлиса в подстрекательстве к убийству депутата парламента Григориса Ламбракиса!

От этого удара режим Караманлиса оправиться уже не сможет.

Не понадобится много времени, чтобы на самом деле были найдены явственные улики, доказывающие, что нити преступления протянулись и к канцелярии бывшего премьера. 20 декабря 1963 года газеты сообщили, что организации «инакомыслящих», которые сыграли столь решающую роль в подготовке убийства Ламбракиса и в которых состояли не только двое убийц, но и многие другие соучастники преступления,

* Дело «Аспида» — судебный процесс над большой группой греческих офицеров, обвинявшихся в организации заговора и в государственной измене.

* ЭРЭ — Национально-радикальный союз, правая партия Греции.

** Союз Центра — либеральная буржуазная партия.

находились в непосредственной связи с официальными кругами. Общественное мнение познакомилось с секретным документом, который незадолго до убийства Ламбракиса, 27 апреля 1963 года, генеральный директор канцелярии премьер-министра Контас направил генеральному секретарю министерства Северной Греции Холевасу. Секретный документ призван был координировать деятельность террористических организаций и местных полицейских властей Салоник в борьбе против «коммунистической опасности».

Вот этот документ:

«Премьер-министр.
Политическая канцелярия.
Генеральная дирекция.
Номер протокола 2465.
Афины, 27/IV 1963.

Господин Генеральный секретарь!

Мы получили письма от национальных организаций Северной Греции «Верные нации борцы Сопротивления» и «Борцы и жертвы Национального Сопротивления», в которых выражается недовольство недостаточной активностью партийных и государственных деятелей в организации массовых народных выступлений протеста против коммунистических провокаций.

Разделяя беспокойство вышеупомянутых организаций, просим Вас содействовать установлению контактов между партийным клубом и народными комитетами и организациями и принять все дальнейшие необходимые меры.

Генеральный директор П. Контас».

Позднее, при правительстве Папандреу, увидят свет и другие документы, распространявшиеся ранее секретными государственными службами и направлявшие борьбу против политических противников правительства Караманлиса. В этих документах мы найдем точный рецепт убийства Ламбракиса.

20. Фридерика Ганноверская, королева Греции, супруга тогда еще здравствовавшего короля Павла. Питала личную ненависть к Григорису Ламбракису; от Фридерики и от ее окружения исходят нити убийства. Во время одного из визитов королевы в Лондон депутат от левой партии Ламбракис ходатайствовал, чтобы королева приняла Бетти Амбатьелу, англичанку, хлопотавшую об освобождении из тюрьмы ее мужа, греческого профсоюзного деятеля Антониса Амбатьелоса. Отказ королевы послужил поводом неприятных для нее эпизодов на улицах Лондона. Сообщая читателям об этих происшествиях, английские газеты не обошли молчанием и прошлое королевы, немецкой принцессы, которая до брака с наследником греческого престола Павлом, заключенного в 1937 году, состояла в гитлеровской молодежной организации. Тогда же публикуется письмо Фридерики к Гитлеру, в котором греческая королева просила главу государства, находившегося с Грецией в состоянии войны, не отправлять ее брата на Восточный фронт.

В эти дни в Лондоне у Ламбракиса произошло столкновение с сопровождавшим королеву майором Арнаутисом, адъютантом и советником нынешнего короля Константина. Арнаутис не позволил Ламбракису увидеть королеву и заявил, что передаст ей все, что скажет ему Ламбракис. Ответ Ламбракиса был краток:

— Я представитель народа и не желаю говорить с мальчиком на побегушках.

Во время судебного разбирательства дела Ламбракиса в зале заседаний прозвучит открытое обвинение, выдвинутое против майора Арнаутиса в том, что, удовлетворяя желание Фридерики, он явился вдохновителем убийства Ламбракиса.

Одним из доказательств связей Фридерики с преступниками послужит представленная поверенными иска фотография, опубликованная в прессе незадолго до убийства Ламбракиса, во время поездки королевской четы в Салоники. Справа, на первом плане, мы видим королеву Фридерику, слева, чуть позади,— короля Павла. Возле королевы, в роли ее телохранителя, шагает убийца Ламбракиса Эммануилидис. (На другой фотографии, сделанной несколько раньше или позже, место телохранителя королевы занимает соучастник в убийстве Ламбракиса старший лейтенант жандармерии Капелонис.) Слева, в роли телохранителя короля Павла, выступает курьер национального банка Сарацоглу, известный в Салониках террорист. В центре группы, чуть правее короля Павла, находится человек, призванный координировать деятельность террористических организаций и полицейских властей Салоник, получатель письма Контаса, генеральный секретарь министерства Северной Греции Холевас. Позади Холеваса — обвиняемый по делу Ламбракиса генерал Мицу.

Поверенные иска предъявят суду еще одну фотографию того периода, на которой король Павел пожимает руку убийце Ламбракиса Эммануилидису, незадолго до этого вышедшему из тюрьмы, куда был заключен за педерастию.

Суд идет

Салоники, 1 октября. *(От собств. корр.)*

«В понедельник утром в окружном уголовном суде Салоник начинается наконец самый потрясающий в истории греческого суда процесс. Обвиняемых много, и процесс обещает быть долгим. Через три с половиной года после убийства Григориса Ламбракиса и тяжелого ранения Г. Царухаса перед греческим правосудием предстанут только арестованные виновники преступления, ужаснувшего греческую и мировую общественность и оказавшего решающее влияние на дальнейшее развитие политической жизни страны».

Салоники, 3 октября. *(Газета «Димократики аллги»)*

«В тяжелой, напоминающей предгрозовую атмосфере настал час открытия судебного

МИЦОС АЛЕКСАНДРОПУЛОС
СУД НАД УБИЙЦАМИ ЛАМБРАКИСА

заседания, однако до сих пор неизвестно, явятся ли присяжные заседатели».

(Газета «Врадини»)

Салоники, 3 октября. *(От собств. корр.)*

«Здание окружного уголовного суда Салоник с раннего утра блокировано крупными силами полиции и пожарной охраны. Значительная часть присяжных заседателей не явилась в суд и не представила никаких оправдательных объяснений. Восемь человек — шесть мужчин и две женщины — уклонились от выполнения своего долга, вследствие чего открытие процесса оказалось сегодня невозможным. Председатель суда г. И. Графанакис перенес заседание на четверг, однако предварительно вынес решение о наложении штрафа на неявившихся присяжных заседателей в размере 1000 драхм и распорядился об их принудительном приводе в суд».

(Газета «Авги»)

Состав присяжных заседателей укомплектован, судебный процесс начинается 6 октября.

Обвиняемые:

В преднамеренном убийстве Ламбракиса

1. Спирос Годзамаиис, грузчик.
2. Эм. Эммануилидис, маляр.

В подстрекательстве

1. Эм. Капелонис — старший лейтенант жандармерии.
2. К. Йозмас, председатель общества «Борцы и жерты Национального Сопротивления».

В нанесении серьезных увечий депутату парламента Г. Царухасу

1. А. Пицокос — зеленщик.
2. Хр. Фокас — портовый рабочий.

В нарушении служебного долга

1. К. Мицу, генерал-майор.
2. Э. Камуцис, полковник.
3. М. Диамандопулос, подполковник.
4. К. Долкас, подполковник.
5. Д. Сеттас, майор.
6. Г. Папатриандафиллу, капитан.

В нарушении общественного порядка

24 человека, жандармы и члены террористических организаций.

Вызвано свидетелей — 115.

Предварительная стадия, растянувшаяся на три с половиной года, по существу исчерпала криминалистскую сторону этого процесса. Проблема заключается не в установлении бесспорного факта преступления, совершенного двумя главными обвиняемыми. Сейчас важно другое. Важно, чтобы в ходе процесса перед лицом публики стало возможным то, что при давлении и вмешательстве государства оказалось невозможным на предварительном следствии: нужно раскрыть двери, ведущие правосудие к вдохновителям преступления. Предварительная стадия была поединком между теми, кто боролся за расширение круга обвиняемых до подлинных его размеров, и теми, кто любыми средствами старался этот круг сузить. Куда склонится теперь чаша весов? Политическая обстановка к началу процесса безусловно благоприятствует обвиняемым. Уже полтора года, как король Константин (в июле 1965 года) сверг демократическое правительство Папандреу. В дни, когда начинается процесс, у власти находится правительство Стефанопулоса, а оно держится в парламенте исключительно голосами партии ЭРЭ, партии, которая фактически опять правит Грецией. Официальное государство предпринимает максимум усилий, чтобы атмосфера, в которой протекает суд по делу Ламбракиса, почти не отличалась от той, при которой свершилось преступление. За несколько часов до начала процесса в газетах будет опубликовано следственное заключение по делу «Аспида», сфабрикованному полтора года назад специально для того, чтобы дать повод к свержению Папандреу. По обвинению в государственной измене на скамью подсудимых сядут многие демократически настроенные офицеры. Суд над ними будет протекать в Афинах как бы в противовес суду по делу Ламбракиса в Салониках. В роли одного из судей на афинском процессе выступит бригадный генерал Залохорис, которого демонстративно произведут в генерал-майоры. В эти же дни внимание общественности привлечет еще один акт военного командования. За подписью начальника Генерального штаба генерала Спандидакиса будет издан приказ всем греческим офицерам: вооружитесь и убивайте коммунистов! Симптомы надвигающегося неприкрытого диктаторского насилия становится все явственнее.

Пройдет шесть-семь месяцев — и только что названное нами имя генерала Спандидакиса будет вторым в списке членов правительства фашистской диктатуры, установленной в Греции в ночь на 21 апреля 1967 года. Генерал Спандидакис станет заместителем премьер-министра.

Премьер-министром окажется прокурор Ареопага Константинос Колиас.

Однако вернемся в Салоники. Атмосфера перед началом процесса такова, что военный преступник, министр печати в последнем предательском греческом правительстве периода оккупации К. Йозмас, глядя на только что опубликованную газетами фотографию, где он позирует в гитлеровском мундире, заявляет журналистам: «Да, я национал-социалист и фанатичный поклонник Гитлера. Ничего плохого в этом не вижу!»

На второй день суда другой обвиняемый, террорист Кинигос, роль которого и день убийства была, по-видимому, намного значительнее, чем это удалось выяснить следствию, вскакивает со скамьи подсудимых и кричит журналистам те же самые зловещие слова, которые сотрясали воздух, когда Ламбракис без чувств падал на мостовую:

— Предатели! Мы устроим вам здесь Техас!

Несколько дней спустя Салоники посетит лидер партии ЭРЭ П. Канеллопулос, заменивший удалившегося в Париж Караманлиса. Обвиняемый Кинигос покинет скамью подсудимых, чтобы присутствовать на встрече своего лидера и служить ему телохранителем. Газеты опубликуют фотографию, где Кинигос верным стражем стоит возле Канеллопулоса, и поверенные иска представят ее суду...

В этих условиях трое несомненно способ-

ных судей И. Графанакис (председатель), Христофоридис и Ламбридис, а также убеленный сединами опытный прокурор Павлос Делапортас, который знает больше, чем говорит, и хочет большего, чем осмеливается, призваны вести суд по делу об убийстве депутата парламента Григориса Ламбракиса, павшего жертвой в борьбе за мир.

Но судить будут другие. Судить будут присяжные заседатели, десять человек, семь мужчин и три женщины, все в одинаковой степени напуганные и почти все государственные служащие...

Суд идет...

Стены

С первого дня становится очевидным, что драматический диалог предварительной стадии перенесен сейчас в зал окружного уголовного суда. Специальным постановлением суд по существу запрещает поверенным гражданского иска затрагивать вопрос об ответственности офицеров. Адвокатам родственников Ламбракиса предоставляется право выступать только по вопросам, связанным с требованиями их клиентов о компенсации со стороны виновников преступления. Однако по отношению к офицерам это требование отклоняется, так как принимаемое судом узкое и скорее всего искаженное толкование закона 2998/1954 избавляет их, как государственных служащих, от выплаты компенсации. Это решение суда воздвигает еще одну серьезную преграду перед представителями обвинения.

Дает показания свидетель **И. Пацос**, председатель Комитета сторонников мира Салоник.

Илиопулос (поверенный иска): Какие причины могли побудить обвиняемых к нападению на Ламбракиса?

Свидетель: Личных причин у них не было. Эти люди исполняли чужую волю.

Илиопулос: Были у Йозмаса причины, побуждающие его организовать убийство?

Свидетель: Личных причин не было.

Илиопулос: Что же все-таки побудило его к этому?

Свидетель: Я полагаю, что существовали подстрекатели подстрекателей.

Председатель: Они находятся среди подсудимых?

Свидетель: Нет.

Председатель: Тогда это нас не касается. Вопрос запрещен.

Илиопулос: Господин председатель, мы обязаны расследовать все обстоятельства совершившегося убийства. Мы привлечем все показания, касающиеся обвиняемых. Если же при этом выяснятся новые факты, дело будет за прокурором.

Председатель: Продолжайте.

Илиопулос: В материалах следствия есть докладная записка, направленная обвиняемым генералом Мицу прокурору Ареопага г. Колиасу. Почему генерал Мицу уклонился от передачи этих данных следователю и предпочел сообщить их лично г. Колиасу? Не должен ли был генерал Мицу направить следователю хотя бы копию своей докладной записки к Колиасу?

Свидетель: Безусловно.

Защитник Мицу: Здесь не судят прокурора Ареопага!

Илиопулос: Господин председатель, не должен ли был Мицу передать следователю эти данные?

Председатель: Этот факт является нарушением служебных обязанностей, однако рассмотрению поверенных иска не подлежит.

Илиопулос: Он может подлежать рассмотрению прокурора. Мы постараемся изучить все факты, все детали, благодаря которым можно будет обнаружить всех виновных.

Дает показания свидетель **С. Пападнмитриу**, адвокат из Салоник.

Катриванос (поверенный иска): Не ездил ли Ламбракис незадолго до убийства за границу?

Свидетель: Да, он ездил в Лондон.

Катриванос: Не имело ли там место происшествие, связанное с королевой-матерью, являвшейся тогда королевой?

Свидетель: Да, об этом писали газеты.

Катриванос: Имело ли тогда место столкновение между Ламбракисом и господином Ариаутисом, нынешним адъютантом короля?

Свидетель: Я читал об этом в газетах.

Катриванос: Не писали ли газеты от 23 мая, что, согласно признанию властей, убийство Ламбракиса вызвано тем обстоятельством, что именно с Ламбракисом связаны неприятные для королевы происшествия в Лондоне?

Свидетель: Да, так писали газеты.

Катриванос: Посмотрите на эту фотографию, господин свидетель. Кого вы видите здесь рядом с королевой?

Свидетель: Обвиняемого Эммануилидиса.

Катриванос: Как вы полагаете, он случайно оказался рядом или же идет в группе официальных лиц?

Свидетель: Он идет в группе официальных лиц.

Катриванос: Узнаете ли вы на этой фотографии кого-нибудь еще?

Свидетель: Капелониса и Мицу.

Катриванос: Как позволила Асфалии такому лицу, как Эммануилидис, находиться возле королевы?

Председатель: Вопрос запрещается.

Катриванос: То обстоятельство, что Эммануилидис находится возле королевы, свидетельствует о благожелательном отношении к нему полиции?

Председатель: Вопрос запрещается.

Илиопулос: Присутствие Эммануилидиса в группе сопровождающих королеву вместе с верховными чинами полиции должно было придать ему уверенность в себе?

Свидетель: Несомненно.

Илиопулос: Как расценило население появление Эммануилидиса возле королевы?

Председатель: Вопрос запрещается.

Галанопулос (повереиный иска): О чем свидетельствует факт использования Эммануилидиса для охраны королевы, а также для охраны президента Франции де Голля во время его пребывания в Салониках?

Председатель: Вопрос запрещается.

Галаиопулос: Свидетельствует ли этот факт о том, что полиция считает Эммануилидиса способным отразить возможное нападение на высокие особы или же совершить нападение в случае опасности?

Председатель: Вопрос запрещается.

Галанопулос: Прошу суд рассмотреть степень правомерности этого вопроса и вынести решение.

Председатель: Слово имеет господин прокурор.

Прокурор: Возможно, что Эммануилидис случайно оказался возле королевы. Во всяком случае, рассмотрение этого обстоятельства отклоняет нас от слушаемого дела. Суд запретил вопрос по праву.

Галанопулос: Господин прокурор, напоминаю вам, что в вашем предложении к апелляционной инстанции на стадии предварительного расследования вы сами ставили вопрос, каким образом именно Эммануилидис был выбран для охраны де Голля. Почему же теперь вы считаете это обстоятельство не заслуживающим внимания?

Прокурор: . . . . . .

Председатель: Суд рассмотрел дело и постановил запретить вопросы на эту тему.

Поверенным иска придется прибегнуть к другой тактике. Косвенными путями, через бесчисленные детали, всплывающие при доскоиальнейшем допросе свидетелей, они постараются показать, куда ведут нити преступления. С этой точки зрения уже известные всем подробности убийства неожиданно приобретают совершенно особое звучание. Рассмотрев необъятную массу фактов, так или иначе связанных с убийством, и приведя их в систему, гражданский иск дает суду доказательный материал, свидетельствующий, что:

сушествовал заранее разработанный план убийства Ламбракиса;

полиция знала об этом плане;

полиция явилась вдохновителем и организатором преступления, участвовала в нем, а затем предприняла отчаянные попытки спасения и сокрытия убийц;

главные виновники преступления стоят за полицией.

«На меня готовится покушение»

Дает показания свидетель **В. Агиостратидис.**

Свидетель: Утром 22 мая в восемь часов утра на стоянке «трехколесников» я встретил Годзаманиса. Работать ие хотелось, и я пригласил его выпить рецины.* Он согласился. Когда мы шли в таверну, правая моя рука коснулась его левой ноги. Почувствовав, что там спрятано что-то твердое, я спросил:

— Что там у тебя?

Он ответил:

— Дубинка.

— Зачем она тебе?

— Сегодия к нам в Салоники приедет какой-то Ламбракис. Придется проучить его как следует. Мы приготовили ему хорошую засаду!

Я посоветовал ему подумать о своей семье и сидеть смирно. Когда мы выпили рецину, я пошел в магазин, где работает Тула Феофаниду, и передал ей все, что слышал от Годзаманиса. Муж Феофаниду работает в канцелярии ЭДА *. Тула сообщила мужу, что на Ламбракиса готовится нападение.

Председатель: Просил ли ты Феофаниду ничего не говорить мужу о тебе?

Свидетель: Да, я просил ее не называть моего имени. Я боялся полиции.

— Только, пожалуйста, не говори, что это я тебе сказал,— попросил я Тулу,— а то я написал в полицию заявление, чтоб мне выдали права на «трехколесник». Если в полиции узиают, никаких прав не дадут.

Председатель: После обеда ты сиова встретился с Феофаниду. Что еще ты ей сказал?

Свидетель: Я сказал ей, что Годзамаиис встретился утром со своим главарем Йозмасом, а потом со старшим лейтенантом Капелонисом и о чем-то тайком с ним разговаривал.

Председатель: Ты хорошо помнишь, что у Годзаманиса была полицейская дубиика? Какого она была цвета?

Свидетель: Коричневая. Он мне ее показал.

Прокурор: Не говорил ли тебе Годзаманис о собрании сторонников мира?

Свидетель: Говорил, что они его разгонят.

Председатель: Почему ты испугался полиции? Ты узнал о готовящемся преступлении. Твой долг — заявить об этом, а долг полиции — предотвратить преступление.

Свидетель: Я не сомневался, что полиция будет меня преследовать. Годзаманис сам по себе ничего бы делать не стал. Все мы знали, что он связан с полицией.

Прокурор: Что стало потом с твоим заявлением о правах на «трехколесник»?

Свидетель: Прав до сих пор так и ие дали.

Дает показания свидетель **Г. Феофаиидис.**

Свидетель: Утром 22 мая в канцелярию ЭДА, где я работаю, позвонила жена. Она просила, чтоб мы срочно увиделись, потому что хотела сказать мне что-то очень серьезное. Мы встретились иа улице. Она сказала, что кто-то сообщил ей о готовящемся нападении на Ламбракиса. Я спросил, откуда такие сведения, но она не назвала мне этого человека. Поскольку осиований сомневаться в этих сведениях у меня не было, я сразу вернулся в каицелярию и сообщил обо всем секретарю ЭДА. Уже иа другой

* Рецина — виноградное вино.

* ЭДА — Единая демократическая левая партия Греции.

день после событий я попросил жену назвать мне имя человека, который ее предупредил. Мне пришлось долго настаивать, и в конце концов жена сказала, что ее известил Агиостратидис. Мы пошли к Агиостратидису и стали убеждать его, чтобы тот дал показания следователю. Тот вначале боялся, но под конец все-таки пошел.

Дает показания свидетель **Г. Котзьяс**, адвокат, член Комитета сторонников мира Салоник.

Свидетель: В полдень 22 мая представители Комитета сторонников мира во главе с Ламбракисом посетили полицейское управление Салоник. Вместе с Ламбракисом были господа Патцос, Ригопулос, Пападимитриу и я. Нам предстояло обсудить вопрос о помещении для предстоявшего собрания. Вначале у нас существовала договоренность о проведении собрания в зале «Пиркандили», однако накануне владелец зала под давлением полиции отказался нам его предоставить. Он потребовал разрешения полиции, тогда как согласно закону такое разрешение не нужно...

Обсудив вопрос о помещении с господином Камуцисом, мы уже покидали его кабинет, когда я увидел, что Ламбракис вернулся и, приблизившись к сидевшему за своим столом господину Камуцису, сказал:

— Господин начальник полиции, у меня есть сведения о готовящемся на меня покушении. Обращаю на это ваше внимание.

Господин Камуцис выглядел взволнованным.

— Не беспокойтесь,— ответил он Ламбракису,— все будет в порядке.

Иорданоглу (защитник): Каким образом столь серьезный вопрос Ламбракис отложил на конец беседы и обратился с ним к господину Камуцису, когда другие представители комитета уже покидали кабинет?

Свидетель: Этот вопрос волновал потом и меня, и я дал на него такой ответ: Ламбракис обладал высоким чувством собственного достоинства, и он не хотел, чтобы окружающие сочли его напуганным этими сведениями. Кроме того, он не хотел, чтобы его беспокойство передалось и нам.

Иорданоглу: Вы утверждаете, что существовал план убийства Ламбракиса. Если это так, то зачем же полиции понадобилось оказывать давление на владельца зала «Пиркандили», чтобы он отказал вам? Каждому очевидно, что это должно было бы сорвать собрание.

Свидетель: Срыв собрания тоже входил в план. Полиция не сомневалась, что законным образом собрание провести не удастся.

Генерал Мицу: Откуда вы это заключаете?

Галанопулос (поверенный иска): Из ваших показаний, генерал Мицу. (Читает отрывок из показаний генерала Мицу следователю):

«Были достаточные основания сомневаться в том, что сторонники мира найдут помещение для собрания, поскольку же всем известна была энергия Ламбракиса, существовали опасения, что последний предпримет попытку провести это собрание без разрешения полиции под открытым небом».

Сторонники мира устроили бы демонстрацию, что повлекло бы за собой столкновение. Это вы предвидели и на это рассчитывали. На это и на известную вам «энергию» Ламбракиса. План был продуман во всех деталях.

Илиопулос: Господин председатель, утром 23 мая агентство Рейтер передало следующее известие:

«Полиция сообщила, что при столкновении левых и правых элементов тяжело ранены депутаты парламента от партии ЭДА Г. Ламбракис и Г. Царухас. Волнения произошли на центральной улице Салоник во время организованного левыми митинга сторонников мира. Легко ранены еще 20 человек».

Известно также, что утром 23 мая, когда Годзаманис был уже арестован и подвергнут допросу, полиция за подписью господина Камуциса передала печати сообщение, в котором говорится о столкновениях, происшедших на улице между сторонниками мира и «инакомыслящими», о том, что некоторые «инакомыслящие» были ранены сторонниками мира, а Ламбракис якобы дал пощечину одному из «инакомыслящих».

Как выяснилось потом, все это ложь, отчетливо характеризующая стремление полиции дать заведомо искаженное толкование преступления. Составленное Вардулакисом коммюнике повторяет те же самые ложные утверждения. В связи с этим обвинение требует представления суду книги происшествий 5-го полицейского участка, куда сначала был доставлен Годзаманис.

(Запись из книги происшествий будет зачитана на суде 6 декабря. Под записью фигурирует подпись начальника участка капитана полиции Папатриандафиллу. Запись гласит:

«Произошли столкновения между сторонниками мира и инакомыслящими.

«Трехколесник» случайно наехал на группу сторонников мира, возглавляемую Ламбракисом.

Полиция и граждане преследовали виновного, виновный Годзаманис арестован.

Ламбракис дал пощечину одному из инакомыслящих, имя которого неизвестно».)

Председатель суда обращается к обвиняемому Папатриандафиллу.

Председатель: Откуда вы это взяли, обвиняемый Папатриандафиллу?

Обвиняемый: Такие сведения мы тогда получили.

Председатель: Прошло три с половиной года доскональ ного следствия, да и мы уже заседаем ровно два месяца, но ничего подобного не обнаружили.

Катриваос: Каким числом датирована эта запись, господин председатель?

Председатель: 23 мая 1963 года.

23 мая. В этот день в Салоники прибыл генерал Вардулакис, и полиция координирует свои действия, чтоб избежать грозящей ответственности. Она составляет фальшивки, скрывает истину от судебных властей и развязывает кампанию оголтелого террора против тех, кто может дать следователю правдивые показания.

Контрмитинг «инакомыслящих»

Заключение № 167, освобождающее офицеров от обвинения в злоупотреблении властью и соучастии в убийстве, передает их, однако, суду по обвинению в нарушении служебных обязанностей. Для того чтобы это обвинение подтвердилось, суд в соответствии с заключением обязан доказать, что контрмитинг «инакомыслящих» организован полицией. Но это ни для кого не является секретом. Перед зданием, где проходило собрание сторонников мира, собралось более 600 «инакомыслящих». Полиции утверждает, что они собрались случайно, услышав передававшиеся через громкоговорители призывы сторонников мира и желая выразить свое возмущение проходящим собранием. Однако, как выяснилось, «инакомыслящие» сошлись туда из разных и очень отдаленных концов города, причем заранее запаслись камнями. Среди них находились многие жандармы в штатском, о чем свидетельствуют фотографии, снятые на месте происшествия и опубликованные затем в печати.

Дает показания свидетель **Пападимитриу.**

Прокурор: Для осуществления плана преступления была ли необходимой организация контрмитинга «инакомыслящих»?

Свидетель: Безусловно.

Прокурор: Были ли у виновников преступления основания учинить расправу над Ламбракисом именно на этом месте, на глазах у присутствовавших здесь офицеров?

Свидетель: Расправа над Ламбракисом приурочивалась к собранию сторонников мира, это обстоятельство диктовалось политическими соображениями. Ламбракис был одним из первых демократически настроенных политических деятелей Греции, которые стали сотрудничать с левой партией, и расправу над ним предполагалось осуществить таким образом, чтобы это послужило уроком для остальных. Кроме того, план предусматривал бегство убийц, с этой целью выбор остановился на «трехколесиике», который призван был послужить не только орудием убийства, но и средством спасения убийц. Если бы не Хаджианостолу, прыгнувший на ходу в кузов «трехколесника», никто и никогда не узнал бы, как все это произошло.

Прокурор: Была ли полиция в силах рассеять собравшихся «инакомыслящих»?

Свидетель: Одного слова генерала Мицу было бы достаточно, чтобы эти толпы моментально рассеялись.

Председатель: Пыталась ли полиция рассеять «инакомыслящих»?

Свидетель: Действия полиции были всего лишь фиктивными. Единственный момент, когда она проявила расторопность, наступил уже после убийства: полицейские поторопились уничтожить следы крови прежде, чем их успеют сфотографировать журналисты.

Говорит старший лейтенант **Капелонис,** единственный из офицеров, который все три с половиной года предварительного следствия просидел в тюрьме. Он считает себя обиженным и покинутым своими коллегами и решается ради собственного спасения сказать на суде долю правды.

Прокурор: Ваши заявлении опровергают показания ваших начальников и подтверждают выдвинутое против них обвинение. Я еще раз спрашиваю: настаиваете ли вы на своих показаниих?

Свидетель: Я еще раз заявляю, что контрмитинг был организован. Накануне мы оповестили «инакомыслящих», чтобы они пришли на собрание, где будет выступать Ламбракис. Каждый из нас должен был известить людей своего участка и доставить их к месту собрания.

Тактика контрмитингов «инакомыслящих» — это новая тактика антикоммунистической борьбы, используемая полицией по указаниям свыше. За то время, когда у власти будет правительство Папандреу, в архивах секретных служб обнаружится немало документов, составленных специалистами-«советологами», разрабатывавшими новые методы борьбы с коммунизмом. Один из этих методов — контрмитинги «инакомыслящих»..

Дает показания бывший министр правительства Папандреу **Д. Милоиас.**

Свидетель: Я осмеливаюсь утверждать, что расправа над Ламбракисом свершилась при участии официальных лиц. Это явствует из документов и приказов об организации контрмитингов «инакомыслящих». Если бы в тот день не состоялось организованного по специальному приказу контрмитинга «инакомыслящих», Ламбракис не был бы убит.

Сражение судебно-медицинских экспертов

На заседании 12 октября возглавляющий защиту адвокат Иорданоглу делает следующее заявление:

— Мы не утверждаем, что Ламбракис пал жертвой несчастного случая!

Это заявление делается накануне одной из самых напряженных фаз судебного процесса, накануне «сражения судебномедицинских экспертов».

Убийцы Ламбракиса действовали столь молниеносно, что ни у кого не осталось яс-

ного представления о деталях этой сцены. В показаниях свидетелей много противоречий. У большинства сложилось впечатление, будто «трехколесник» убийц свалил Ламбракиса и раны, полученные им при падении, послужили причиной его смерти. Однако рана, послужившая причиной смерти Ламбракиса, находится на голове, тогда как следы от соприкосновения с «трехколесником» остались у него только на ногах. Свидетель **Верос** первым дал показания о том, что видел убийцу, стоявшего позади Ламбракиса в момент нанесения ему смертельного удара по голове: «Ламбракис не был опрокинут «трехколесником», он упал сам, свалился, как опустевший мешок, и уже потом по нему проехал «трехколесник». Это показание явилось одним из самых важных. Полиция и правительство предприняли все, чтобы доказать версию автомобильного происшествия. Из Афин специально приезжает судебномедицинский эксперт Капсаскис. Его вывод подтверждает версию несчастного случая — Ламбракис ударился об асфальт при падении.

Дает показания **А. Симеонидис**, профессор медицины.

Симеонидис: У Ламбракиса не было никаких повреждений на теле, кроме ссадин на коленях и кровоизлияния левого глаза. Правая сторона черепной коробки имела раскол сверху вниз. Левая часть мозга находилась в разжиженном состоянии, что свидетельствует о нанесении удара справа, ибо при ударе, нанесенном по одной стороне черепной коробки, мозг ударяется о противоположную ее сторону и переходит в разжиженное состояние. Следующий вывод заключается в том, что удар был нанесен, когда Ламбракис находился в вертикальном положении. Он не был опрокинут, а упал сам. Еще до того как по нему проехал «трехколесник», Ламбракис фактически был уже обезглавлен.

Председатель: Наблюдается ли когда-нибудь подобное разжижение мозга при падении?

Симеонидис: Чрезвычайно редко. В данном случае я это исключаю, ибо тогда Ламбракис должен был иметь повреждения и на других частях тела.

Дает показания **Д. Ровифис**, судебномедицинский эксперт Салоник.

Ровифис: Вместе с профессорами Кавадзаракисом и Симеонидисом, судебномедицинским экспертом Капсаскисом и врачом Фелисом я направился в больницу, где было произведено анатомическое исследование тела, после чего, когда все удалились, мною было произведено бальзамирование. На другой день я получил приглашение прокурора прийти в прокуратуру и подписать заключение, составленное господином Капсаскисом. Я ответил, что не могу подписать заключение в прокуратуре, потому что должен сначала изучить его. Заключение было послано мне домой. Изучив его, я позвонил прокурору и сказал, что не согласен с заключением господина Капсаскиса и подписать его не могу...

Прокурор: Может быть, судебномедицинский эксперт Капсаскис не только выразил свое несогласие с вашей точкой зрения, но и пытался оказать на вас давление, что вызвало между вами столкновение?

Ровифис: Когда началось анатомическое исследование тела, господин Капсаскис пытался навязать нам свою точку зрения. Он говорил:

— Упал... Ударился...

Тогда произошло первое столкновение. Я сказал ему:

— Давайте проводить исследование.

Председатель: Не торопился ли он высказать эту свою точку зрения?

Ровифис: Он как бы ставил нас перед неоспоримым фактом. Я сказал ему:

— Оставьте ваши выводы при себе.

За этим последовало второе столкновение. В момент вскрытия черепа ланцет порезал кость черепной коробки. Господин Капсаскис тотчас сказал: — Трещина.

Я возразил, так как видел, что это след от ланцета, и добавил, что высказывание господином Капсаскисом подобных суждений вызывает печальное недоумение. Присутствовавшие при вскрытии профессора осмотрели порез и признали, что он нанесен ланцетом.

Председатель: Ваша точка зрения сводится к тому, что удар нанесен Ламбракису, когда тот находился в вертикальном положении, и вы заключаете это по...

Ровифис: По разжижению мозга в противоположной удару стороне черепной коробки.

Прокурор: Вы не признаете возможным разжижение мозга от удара головы о твердую гладкую поверхность?

Ровифис: Я это исключаю. Когда человек падает боком, он ударяется выступающими частями своего тела — плечом, локтем. Если бы Ламбракис падал, опрокинутый столь сильным толчком, он должен был бы иметь повреждения на этих частях тела.

Председатель: Кроме того, какой-то след остался бы и на ухе?

Ровифис. Конечно. Ваше замечание правильно. Между тем ухо убитого не было повреждено, не изменило формы, не имело ни кровоподтеков, ни ссадин...

Председатель: В своих показаниях вы указываете, что господин Капсаскис прибегал к резкому и категорическому тону, более того — крику, пытаясь убедить вас заранее в том, что смерть Ламбракиса произошла вследствие падения.

Ровифис: Все это правда.

Присяжный: Каким, по вашему мнению, орудием было нанесено ранение?

Ровифис: Тупым орудием.

Присяжный: Могло ли оно быть железным? Скажем, рукояткой револьвера?

Ровифис: Возможно.

Присяжный: Полицейской дубинкой?

Ровифис: Возможно.

Дает показания **Н. Кавадзаракис.**

Кавадзаракис: Во время анатомического исследования тела я обратил внимание, что господин Капсаскис еще до окончания вскрытия настойчиво высказывает мнение, будто Ламбракис упал и ударился об асфальт. Я сказал ему:

— Мы не намерены сейчас определять, обо что ударился Ламбракис. Мы должны констатировать то, что видим. Мы призваны обследовать подлинные результаты случившегося независимо от того, какие последствия будет иметь наше заключение. Горе научной мысли, если она подчиняется ненаучным соображениям.

Позднее я сказал Ровифису:

— Главное — это честь и доброе имя судебномедицинского эксперта.

Дня два спустя господин Капсаскис вновь попытался убедить меня, что Ламбракис ударился при падении. Я сказал ему:

— То, что вы говорите, не находит никаких научных подтверждений. Если вы намерены продолжать, я вынужден буду уйти.

Потом я позвонил господину Ровифису и сказал ему:

— Не забывай о своем долге, долге врача и судьи. Ты обязан служить правосудию.

На заседании 10 ноября дает показания судебномедицинский эксперт **Капсаскис.** Он непоколебим в своем мнении, что Ламбракис был опрокинут «трехколесником» и ударился об асфальт.

Капсаскис: «Трехколесник» ударил Ламбракиса по левой голени и выбил у него почву из-под ног, отчего Ламбракис потерял равновесие и, повернувшись в воздухе, упал, ударившись головой об асфальт. Один только шанс из миллиона может быть за то, что Ламбракис упал от ранее нанесенного удара.

Утверждения Капсаскиса базируются на предположении, будто тело Ламбракиса при падении повернулось таким образом, что все выступающие его части, а в данном случае плечо, локоть, избежали удара, который пришелся на голову и оказался смертельным. Однако аргумент, выдвинутый членом суда, сделает очевидной беспочвенность объяснений Капсаскиса даже при этих обстоятельствах. Когда Ламбракис еще только направлялся в зал собрания, на него было совершено нападение террористов. От нанесенного ими удара на голове Ламбракиса осталась крупная опухоль.

Член суда: Где расположена рана, явившаяся причиной смерти Ламбракиса?

Капсаскис: Как раз ниже опухоли.

Член суда: Была ли затронута опухоль при ударе об асфальт?

Капсаскис: Нет.

Член суда: Каким же образом могло случиться, что удар об асфальт, вызвавший смертельную рану, не задел тут же расположенную опухоль?

Капсаскис (подходит к кафедре и кладет голову на ее край): Вот так мог прийтись удар, вызвавший рану, но не затронувший опухоль.

Председатель: Но вы же сами говорили, что Ламбракис ударился о ровную поверхность! Если бы он ударился об угол тротуара, это можно было бы понять...

Объяснения Капсаскиса не находят фактических обоснований. Только движущееся орудие могло нанести удар между ухом и опухолью, не задев ни то, ни другое.

Судебномедицинский эксперт Капсаскис выдвинет еще одно доказательство своего заключения — фотослайды, на которых, как говорит Капсаскис, сняты кровоподтеки на ногах Ламбракиса, вызванные ударом «трехколесника». Другие медики настаивают, что на ногах Ламбракиса были только ссадины. Это расхождение тоже очень существенно. Капсаскис требует просмотра фотослайдов, снятых им примерно за три дня до смерти Ламбракиса. Заседание суда прерывается демонстрацией слайдов. На левой ноге Ламбракиса выступают три полосы — на колене, по середине голени и в нижней ее части. Нижняя полоса вызывает наибольшие разногласия.

Симеонидис: Этот участок тела был обследован столькими специалистами, и все мы, охарактеризовав эти полосы ссадинами, поставили под заключением свои подписи. Нельзя же наше собственное мнение, составленное при осмотре тела, менять при виде фотографии, на которой могут быть тени.

Капсаскис: Фотографии были сделаны за три дня до смерти. Ко времени вскрытия кровоподтеки могли исчезнуть, и остались одни лишь ссадины.

Кавадзаракис: Сердечно-сосудистая система Ламбракиса была совершенно разрушена с самого первого момента ранения. Не только семь, но даже двадцать семь дней такой жизни не могли бы дать каких бы то ни было значительных перемен.

Доводы Капсаскиса опровергаются один за другим. В конце концов и сам судебномедицинский эксперт, с полной уверенностью заявлявший в печати после убийства, что Ламбракис пал жертвой автомобильного происшествия, вынужден будет отступить по многим важным пунктам своего первоначального заключения.

Софьянопулос (поверенный иска): Следы преступления, пусть даже автомобильного происшествия, сохраняются обычно до прибытия следователя?

Капсаскис: Конечно.

Софьянопулос: Что вы скажете по поводу того, что пролившаяся на асфальт кровь Ламбракиса была тотчас вытерта одним из полицейских?

Капсаскис: Этого нельзя было делать. Сначала надлежало сделать фотографии.

Софьянопулос: Есть ли в вашей практике хоть один случай, когда на глазах столь крупных полицейских сил свершается преступление, а жертву отвозят в пункт скорой помощи не полицейские, а частные лица? Был ли в вашей практике хоть один такой случай?

Капсаскис: Нет. Ламбракиса должна бы-

ла отвезти полиция. И, пользуясь случаем, я хочу заявить следующее. Я убедился, что нападение «трехколесника» на Ламбракиса было предумышленным. Нападение преследовало своей целью убийство. Гангстерский способ, которым было совершено преступление, применяется не только в Греции. Автомобильное происшествие исключается, так как при этих обстоятельствах побег виновного мог произойти только в пустынной местности. В местности же населенной, тем более при таком стечении народа и полиции, виновник автомобильного происшествия остановился бы посмотреть, что произошло, поспешил бы на помощь своей жертве или же бросился бы бежать, оставив «трехколесник», но ни в коем случае не смог бы хладнокровно, наращивая скорость, продолжать свой путь. Автомобильное происшествие исключено, имело место предумышленное действие.

Убийца—Эммануилидис

Еще один свидетель, **Г. Бакалис,** успел уловить тот момент, когда убийца, стоявший позади Ламбракиса, нанес ему смертельный удар.

Член суда: Можете вы описать нам человека, ударившего Ламбракиса?

Свидетель: Ознакомившись с фотографиями, опубликованными в газетах, я убедился, что убийца Ламбракиса — Эммануилидис.

Член суда: Какого роста был человек, ударивший Ламбракиса?

Свидетель: Он был немного ниже, чем Ламбракис.

Прокурор (обращаясь к врачу И. Филису): Можем мы на основании ранения установить рост виновного?

Филис: Мы должны по крайней мере знать направление удара, длину орудия, которым он был нанесен, и рост жертвы. Пользуясь собранными по данному случаю фактами, мы можем судить о том, что виновный был на пять сантиметров ниже Ламбракиса*.

Прокурор (к свидетелю Бакалису): Что вы предприняли, увидев, как ударили Ламбракиса?

Свидетель. Почти в тот же самый момент я увидел «трехколесник», стремительно пронесшийся по телу Ламбракиса. Человек, ударивший Ламбракиса, прыгнул в кузов, и «трехколесник», развивая бешеную скорость, помчался дальше. Никто из полицейских не двинулся с места. В памяти у меня запечатлелась следующая картина: на противоположном тротуаре стоит и смеется старший лейтенант Кацулис в штатском и двое других неизвестных мне мужчин... Тут я понял, что убийцы вот-вот скроются, и бросился бежать за «трехколесником». В кузове я увидел человека, ударившего Ламбракиса. Он лежал, скорчившись, спиной к кабине водителя. Кто-то из толпы ухватился за борт кузова, но человек, спрятавшийся там, столкнул его на мостовую. Тут же я заметил, что кому-то другому удалось все-таки подняться в кузов. Это был Хаджиапостолу. Что произошло потом, я не знаю.

Злоключения одного свидетеля

Дает показания свидетель **Э. Хаджиапостолу.**

Свидетель: Едва я прыгнул в кузов, как сразу же увидел, что возле кабины водителя, согнувшись, сидит какой-то человек и что-то запихивает в сумку. Я схватил его за волосы, а он стал пинать меня ногами. Я упал, мы начали бороться. Он выхватил револьвер и хотел ударить меня рукояткой, но я вышиб у него револьвер, и револьвер вылетел за борт.

...Когда я одолел Эммануилидиса, то разбил стекло кабины водителя и норовил ударить его по голове. Я хотел убить его, схватил обрезок стекла и собирался перерезать ему горло. Он испугался и остановил машину. Я выпрыгнул из кузова, но водитель выхватил полицейскую дубинку и начал бить меня по голове...

Вокруг собирается народ. «Трехколесник» успел преодолеть значительное расстояние от места преступления, и остановившиеся прохожие не знают, кто и почему здесь дерется. Оказавшийся поблизости заместитель начальника пожарной охраны Салоник задерживает Годзаманиса, пытающегося вернуться в кабину «трехколесника» и бежать. Он передает задержанного регулирующему движение полицейскому Аспиотису, который отведет Годзаманиса в расположенный по соседству клуб 5-го полицейского участка. Одиннадцать часов вечера. Годзаманиса переводят в полицейский участок. Составляется протокол передачи задержанного, который, однако, никогда не попадет в руки судебных властей, так же как полицейская дубинка Годзаманиса и сумка Эммануилидиса. Никто никогда не узнает имя офицера, принявшего в участке Годзаманиса, его дубинку и сумку Эммануилидиса. Все попытки следствия и суда выяснить эти обстоятельства будут наталкиваться на стереотипный ответ полицейских: «Не знаю. Не помню».

Председатель (к Хаджиапостолу): Что было потом?

Хаджиапостолу: Потом, господин председатель, начинается новый этап. То я за ними гонялся, теперь они будут гоняться за мной.

Председатель: Кто они?

Хаджиапостолу: Полиция. С тех пор они гоняются за мной и хотят убить.

МИЦОС АЛЕКСАНДРОПУЛОС
СУД НАД УБИЙЦАМИ ЛАМБРАКИСА

* Таков приблизительно рост Эммануилидиса.

Злоключения Хаджиапостолу, а также другого важного свидетеля — Сотирхопулоса — составляют целую цепь фактов, весьма красноречиво свидетельствующих об участии в преступлении обвиняемых офицеров. Хаджиапостолу они пообещают купить дом и дать крупную сумму денег, если он изменит свои показания, добавит, будто «трехколесник» преследовали также и полицейские, пытавшиеся арестовать убийцу. Оба свидетеля вынуждены будут покинуть Салоники и переехать в Афины. Там им предложат переселиться в Новую Зеландию. Неграмотного Хаджиапостолу пригласят в редакцию правой газеты и уговорят перерисовать своими каракулями письмо, в котором говорится, что Ламбракис пал жертвой левых, убивших его при перевозке в больницу. Наконец полковник Камуцис разыщет в Афинах Хаджиапостолу и Сотирхопулоса и за вознаграждение в два миллиона драхм предложит им добавить в показаниях Хаджиапостолу: 1) что Манолис Глезос, член исполкома ЭДА, научил Хаджиапостолу показать, будто у Эммануилидиса был револьвер и 2) будто полицейские тоже преследовали «трехколесник» Годзаманиса. Командующий греческой жандармерией при правительстве Папандреу генерал Вутиракис арестует Камуциса с поличным в тот момент, когда последний будет вести переговоры с двумя свидетелями. Министр общественного порядка подвергнет полковника дисциплинарному наказанию. Однако политическая обстановка переменится, и Хаджиапостолу вместе с Сотирхопулосом окажутся в тюрьме по выдвинутому против них Камуцисом обвинению в шантаже. Пока идет суд по делу Ламбракиса, обоих свидетелей доставляют в зал заседаний в наручниках и в сопровождении жандармов.

Вне судебного разбирательства

Соучастие полиции в преступлении и злоупотребление властью было доказано. Для того чтобы правосудие могло продолжить свое дело, требовалось отмести преграды, поставленные перед ним заключением 167. На заседании 19 ноября поверенный иска Димакис поставил вопрос об изменении обвинения, выдвинутого против офицеров полиции, однако суд отклонил его предложение, ссылаясь на статью 526 Устава уголовного судопроизводства, согласно которой изменение обвинительного заключения возможно только в том случае, если доказан факт подкупа обвиняемыми судебных властей. Это решение вызовет следующее заявление адвоката **Илиопулоса:**

«Обвинение заявляет, что на суде имеет место укрывательство виновников преступления, совершенного 22 мая, и в данных условиях раскрытие истины невозможно. Мы не допустим нарушения наших прав. Участниками разыгрываемой здесь комедии мы не будем. Обвинение определит свою дальнейшую позицию».

Заявление Илиопулоса — отчетливое предупреждение о предстоящем самоустранении обвинения.

Прокурор **Делапортас,** выступая в суде на следующий день, сделает шаг к сближению с позицией обвинения.

Прокурор: Суд обычно избегает политики, но на данный процесс политика является сама. Она является в виде свершившегося политического преступления, и мы волей-неволей должны подняться на эту ступеньку. Недостаточно пролить на это дело тонкий лучик солнечного света. У обвиняемых не было личных причин убить Ламбракиса. Он не затронул их чести, не оскорбил их жен. Он был их политическим противником. Преступление совершено против депутата парламента. Утверждать обратное было бы данью наивности, выгодной обвиняемым... Вершя правосудие, мы обязаны сейчас изучить обстановку, в которой могло быть подготовлено такое преступление. Мне интересно было бы выяснить, являлось ли движение сторонников мира самостоятельным или же примыкало к организациям коммунистической партии.

Дает показания свидетель **Л. Киркос,** депутат парламента от партии ЭДА.

Председатель: Кем конкретно было задумано преступление?

Свидетель: Теми, кто в тот период нес политическую ответственность за всю страну.

Председатель: Судить о политической ответственности мы здесь не будем. О ней будет судить парламент, общество, народ.

Свидетель: Я согласился бы с этим, если бы речь шла об обычном преступлении. Но с той минуты, как преступление квалифицируется политическим, мы обязаны направить правосудие и по этому пути. Преступление предстает перед нами в новом свете, если мы рассмотрим, что же именно являло собой для Греции движение сторонников мира, какие цели оно преследовало. Греция — без ядерного оружия и иностранных баз. Балканы — зона, свободная от ядерного вооружения. Достижение прочного мира путем полного разоружения. Об этом говорил Ламбракис вечером 22 мая, за это через несколько минут после окончания речи он был убит.

Председатель. Кого конкретно вы обвиняете?

Свидетель: Я обвиняю, во-первых, генерала Мицу...

Председатель: Заключение коллегии освобождает его от обвинения...

Свидетель: Я обвиняю начальника греческого ЦРУ генерала Нанциаса, начальника службы информации генерала Гогусиса, главнокомандующего вооруженными силами генерала Фроидистиса, начальника Генерального управления национальной обороны генерала Коидопулоса.

Дает показания свидетель **Манолис Глезос.**

Свидетель: Я знал Ламбракиса как человека, идеолога и борца. Мы стали друзьями

во время похода мира в Олдермастоне в 1963 году. Тогда мне предоставилась возможность оценить недюжинный характер этого человека...

На следующий день после покушения я приехал в Салоники. Всех ужаснуло преступление — в городе царил страх. Я знаю, что преступление свершилось во время контрмитинга террористов и в присутствии жандармерии. Примерно через месяц я снова приехал в Салоники и выступил на митинге памяти Ламбракиса. Характерен тот факт, что ни один террорист на этом митинге не появился. На основании своего опыта я могу заверить вас, что выступления террористов организуются только тогда, когда того хочет местное управление жандармерии. И в свою очередь местное управление жандармерии предпринимает такие действия только по правительственным указам.

Член суда: На кого вы возлагаете ответственность?

Свидетель. Я уже говорил об этом, и мои слова — не просто ораторский прием. Да, Ламбракиса убил «трехколесник», и он несет на себе всю ответственность. Этот «трехколесник» — правительство, королевский двор, иностранная агентура.

Дает показания свидетель **Микис Теодоракис,** композитор, депутат парламента от партии ЭДА.

Свидетель: Я убежден, что решение об убийстве Ламбракиса исходит из непосредственного окружения королевы Фридерики и господина Арнаутиса.

Диалинас (защитник генерала Мицу): Если вы считаете, что в убийстве Ламбракиса виноват королевский двор, говорите об этом прямо.

Свидетель: Я прямо заявляю суду: Фридерика и Арнаутис являются моральными соучастниками преступления.

Председатель: Запрещаю дальнейшее упоминание имен королевских особ.

«Вершина правосудия»

Еще одно имя не раз прозвучит в зале заседаний, имя прокурора Ареопага Колиаса. 2 декабря дает показания свидетельница **К. Капелони,** жена обвиняемого Капелониса.

Свидетельница: Я убедилась в том, что другие офицеры решили покинуть моего мужа и взвалить на него всю ответственность. Я должна была принять меры для его спасения. В Афинах, в одной из самых высоких судебных инстанций, меня принял человек, которого можно назвать вершиной греческого правосудия. От него я услышала, что Судебная коллегия не освободила моего мужа от предварительного заключения, как других офицеров, потому что его показания, содержащие обвинительные данные против других офицеров, не понравились судебным властям. Он сказал мне также, что при определенных условиях суд оправдает моего мужа.

Илиопулос: Назовите нам его имя.

Свидетельница: Я не назову его имени.

Илиопулос: Господин председатель, всем очевидно, что речь идет о прокуроре Ареопага господине Колиасе. Мы получаем новые доказательства его вмешательства в дело правосудия. Прошу суд зачитать решение Государственного Совета, изучавшего вопрос о вмешательстве господина Колиаса в дело следствия.

Председатель: Решение Государственного Совета не имеет отношения к слушаемому делу и зачитано не будет.

Катриванос: После показаний госпожи Капелони, сообщившей о вмешательстве «вершины правосудия», то есть господина Колиаса, в дело правосудия, представление суду этих документов является необходимым. «Вершина правосудия» заявил, что заключение Судебной коллегии второй инстанции освободило бы и Капелониса вместе с другими офицерами, если бы тот не оказал содействия правосудию. Он сказал также, что Капелонис будет оправдан судом при определенных условиях, то есть в том случае, если согласится скрыть правду. Как видите, вмешательство господина Колиаса сказалось и на заключении Судебной коллегии и на настоящем процессе.

Тем не менее и судьи, и прокурор не решатся обратить внимание суда на роль, которую сыграл и продолжал играть прокурор Ареопага Колиас. Через несколько дней, когда на суде с оправдательной речью будет выступать обвиняемый **Капелонис,** поверенный иска Илиопулос предпримет еще одну попытку пролить свет на этот вопрос.

Илиопулос (Капелонису): Ваша супруга сказала, что представитель высших судебных властей заявил ей, будто Судебная коллегия, вынося обвинительное заключение, находилась под влиянием данных вами показаний. Он добавил также, что суд вас оправдает. Что это, по вашему мнению, означает?

Председатель: Вопрос запрещается.

Илиопулос: Кто этот представитель высших судебных властей, которого посетила ваша супруга?

Обвиняемый: Я не назову его имени.

Илиопулос: Я обращаюсь к суду и требую, чтобы госпоже Капелони был задан вопрос: кто этот представитель высших судебных властей. Вопрос чрезвычайно важен.

Прокурор: Допрос свидетелей уже закончен.

«Дело об убийстве Ламбракиса остается открытым»

На этом процесс по делу об убийстве Ламбракиса по существу закончился. Правосудие постучалось в дверь подлинных виновников преступления, но салоникский

МИЦОС АЛЕКСАНДРОПУЛОС
СУД НАД УБИЙЦАМИ ЛАМБРАКИСА

суд эту дверь не открыл. В субботу 7 декабря поверенный иска Илиопулос сделал от имени обвинения следующее заявление:

«Главные виновники убийства Ламбракиса не находятся сегодня на скамье подсудимых... На волнующий всех тревожный вопрос, где эти виновники и почему их не судят, не сможет дать ответ ожидаемое решение суда, приговор, который, по-видимому, будет вынесен подсудимым. Поэтому дело об убийстве Ламбракиса отается открытым.

Торжество правды, наказание преступников и отмена варварских методов политической борьбы будут ждать своего осуществления в будущем.

Долг и ответственность каждого приобретают сейчас историческое значение, и каждый обязан это сознавать.

С этим убеждением, сознавая свой долг перед историей, обвинение, исчерпавшее уже все возможности, считает необходимым прервать свое присутствие на процессе и удаляется».

Реакция председателя суда на это заявление передает нам драматическое напряжение момента. Графанакис выглядит глубоко потрясенным.

Председатель: Значит ли это, что упреки обращены против меня?

Илиопулос: От имени моих коллег я заявляю, что наш уход не является упреком ни председателю суда за ведение процесса, ни лично членам суда. Мы констатируем свои юридические расхождения и разграничиваем свою ответственность.

Председатель: То, что у вас нет упреков ко мне, дает мне по крайней мере хоть какое-то удовлетворение. Прошу вас, господин секретарь, занести в протокол последнее заявление обвинения. Это дает мне хоть какое-то удовлетворение.

Процесс продолжится до конца декабря Накануне Нового года присяжные вынесут свое решение, в котором не потребуют наказания виновных. По выражению прокурора Делапортаса, это решение раздает новогодние подарки: офицеры освобождаются от какого бы то ни было обвинения, осуждаются только Годзаманис за непредумышленное нанесение смертельного ранения и Эммануилидис, как его соучастник.

Решение присяжных будет единодушным, и это лишит прокурора права опротестовать его. После оглашения решения присяжных прокурор обратится к ним со следующими словами:

«Ваше решение не столь блистательно, как сияющее солнце. Оно излучает тусклый свет, подобный свету от иссякшей батарейки электрического фонаря. Я хотел бы отнестись с уважением к вашему решению не по служебному долгу, а из глубочайшего внутреннего побуждения. Теперь же я могу принять ваше решение только потому, что оно вынесено единогласно».

Поиочь, кануи Нового года. Генерал Мицу покидает здание суда. Его приветствуют собравшиеся на улице молодчики:

— Да здравствует отважный генерал! Теперь прямая дорога в парламент!

Но увы! Примерно через три с половиной месяца в Греции не будет уже парламента даже для генерала Мицу.

Мыслящий человек, следивший хоть сколько-нибудь внимательно если не за всей эволюцией политической жизни Греции последних лет, то хотя бы за ходом суда по делу Ламбракиса, нисколько не удивится, когда в трагической истории Греции начнется новый этап, открытый фашистским переворотом 21 апреля 1967 года. Он воспримет как логическое завершение известных ему событий то обстоятельство, что прокурор Ареопага Колиас — теперь премьер фашистского правительства, тогда как не только почти все свидетели обвинения на суде по делу Ламбракиса, но даже адвокаты, представлявшие гражданский иск, и, наконец, не только они, но даже и прокурор Павлос Делапортас являются сейчас узниками тюрем и концлагерей правительства Колиаса...

Все это похоже на страшную сказку. Какая-то злая колдунья вроде Бабы-Яги из славянских преданий витает над дремучим лесом современной греческой действительности, крадет маленьких детей, подстерегает у источников живой воды, превращает живые существа в камни, сжигает и истребляет все, что попадается на пути ее огнедышащих коней, а потом заметает метлой ужасные следы своих деяний...

И в Греции, и за рубежом люди по-разному представляют себе образ этой злой колдуньи. Одни говорят о чудовищной и многоголовой, как лернейская гидра, греческой военщине. Другие имеют в виду королевский двор и ганноверскую принцессу Фридерику. (Они рассказывают, например, что месяц спустя после фашистского переворота радио сообщило, будто на побережье острова Родос волны выбросили тело адвоката Н. Мандилараса, арестованного в ночь переворота. Те, кто следил за ходом процесса по делу «Аспида», помнят, конечно, как молодой и талантливый адвокат Мандиларас вызвал бешеную ненависть королевского двора своими смелыми выступлениями, доказывавшими, что и это дело было сфабриковано во дворце. Одно уже известное нам имя неоднократно звучало тогда в выступлениях Мандилараса и других адвокатов, имя фаворита Фридерики и нынешнего адъютанта короля Константина майора Арнаутиса.) И, наконец, третьи указывают на американское ЦРУ. Думается, что более правы те, кто называет все три колеса зловещего «трехколесника».

Перевод с греческого С. ИЛЬИНСКОЙ

СРЕДИ КНИГ

ИЗДАНО В СССР

КНИГА О ПЛАМЕННОМ СЕРДЦЕ

Ирина Кун. Бела Куи (Воспоминаиия). Авторизованный перевод с веигерского Агнессы Кун. Москва, «Молодая гвардия», 1966. 312 стр.

Яркая, самобытная фигура Бела Куна — венгра по национальности, революционера по профессии, одного из близких соратников В. И. Ленина в первые послеоктябрьские годы, организатора Венгерской коммунистической партии и вдохновителя Венгерской советской республики — никогда ие перестанет вызывать живейший интерес советских людей.

Недавно у нас была выпущена объемистая книга «Статьи и речи Бела Куна». Она вышла к восьмидесятилетию этого пламенного революционера. И была мгновенно раскуплена. Превратилась в библиографическую редкость. Таков интерес к этому необыкновенному человеку. Это были отличные, горячие статьи. Это были пламенные речи, не из тех, что готовятся заранее, так сказать, аппаратом, а потом читаются с трибуны. Это были речи, рожденные в иепосредственном соприкосновении с аудиторией, и в каждой их строке жил этот горячий, страстный, убежденный революционер-ленинец, билось его сердце. Выход книги увеличил интерес советских читателей, и в особенности юношества, к этой колоритной фигуре, и издательство «Молодая гвардия», идя иавстречу возросшему читательскому интересу, выпустило книгу о Бела Куне, принадлежащую перу его жены, его, как сказали бы мы в дни войны, боевой подруги. Книга вышла в серии «Жизнь замечательных людей», и это правильно, ибо Кун был во всех отношениях замечательным человеком.

Интересная, своеобразная и необыкновенно увлекательная получилась книга. Это не сухая биография славного человека, какие часто пишутся публицистами, досконально изучившими по документам «предмет суждения» и строго выстраивающими факт за фактом его биографию. Образ Бела Куна освещен как бы изнутри. Это воспомииания о любимом человеке, с которым автор прожил не рядом, а вместе двадцать четыре года, разделяя все невзгоды и радости беспокойной жизни неугомонного революционера, иаблюдая его не только иа людях, иа трибуне, в соприкосновении с политическими противниками, в общении с массами, но и дома, когда, отдыхая, раскрывалась его

душа, и он делился с ней, своей боевой подругой, успехом и неудачами, мыслями о совершившемся и мечтами о будущем.

Ее звали Ирина Гал. Она была очень красивой девушкой из состоятельной семьи. От претендентов на ее руку и сердце отбою не было. Он — с юных лет находился во власти революционных идей. Когда они познакомились, про него шла недобрая слава: «пишет разные крамольные статьи», «хочет перевернуть весь мир». И объяснился он очень своеобразно: «Знаете что, Ирина Гал,— сказал он любимой,- будьте моей женой. Обидно, если вы выйдете замуж за какого-нибудь мещанина и проведете с ним скучную жизнь».

Ирина Гал за мещанина замуж не вышла. Она стала Ириной Кун. Жизнь ее не была скучной. Жизнь ее была очень тяжелой, даже трагической на каком-то этапе. Но вот сейчас, когда семидесяти пяти лет она взялась за перо, чтобы рассказать о своем муже и друге, она, перелистывая написанное, эту правдивую повесть об очень нелегкой жизни своей, с полным правом говорит: «Если б пятьдесят лет назад, когда я решила выйти замуж за Бела Куна, кто-нибудь положил бы передо мной эту книгу и спросил: «Ирина Гал, учительница музыки, прочтите и дайте ответ — готовы ли вы взять на себя эту жизнь, готовы ли связать свою судьбу с Бела Куном?» — я ответила бы: «Готова».

И в самом деле, какая нелегкая и какая героическая это была жизнь. Королевская Венгрия, в системе Австро-Венгерской монархии. Надзор полиции. Уход Бела Куна на войну. Плен в Сибири. Октябрьская революция. Гражданская война. Венгерская советская республика, возникшая под влиянием идей всепобеждающего ленинизма. Работа в Коминтерне и работа по заданию Коминтерна — Москва, Будапешт, Вена, Болонья, Берлин, Крым, Екатеринбург, снова Москва, и снова Вена, и снова Берлин. И оттого, что весь этот путь, путь коммуниста, мы видим в книге глазами храброй, мужественной женщины, делящей с ним все сложности опасности, трудности бытия, он, этот путь, описанный не холодной и бесстрастной рукою исследователя, а горячим пером, предстает перед читателем во всей своей красоте. И каким обаятельным, чистым, привлекательным рисуется Бела Кун этим искренним, бесхитростным повествованием. «Бела Куну лучше всего было бы родиться сказочным богачом,— пишет автор,— так он был широк по натуре, так не знал цену деньгам и вещам. И разве только одно не позволило бы ему стать богачом — полное отсутствие чувства собственности... попросту у него не было такого инстинкта».

Вот из таких характерных черт и складывается в книге образ революционера, коммуниста, складывается без громких слов, без восклицательных знаков. В книге видно, как из молодого человека, одержимого социалистическими идеями, смутно мечтающего об установлении справедливых порядков на земле, желающего «перевернуть мир», под влиянием Октябрьской революции, под воздействием всепокоряющего ленинского обаяния вырастает революционер ленинского типа, ученик Ленина, ученик Октябрьской революции, человек, который закаляется в борьбе и учится на собственных ошибках.

И как глубоко и страстно это звучит в книге: «Ошибки совершает тот, кто действует. А тот, кто бездействует, кто не напрягает все силы во время революции, кто во время неблагоприятной для революции конъюнктуры отстраняется от ответственности и выжидает благоприятную конъюнктуру... тот совершает уже не ошибку, а преступление».

Такими мыслями Бела Куна, мыслями, высказанными не на трибуне, а дома, где человек отдыхая облегчает душу,- изобилует эта ценная и искренняя книга.

И каждый, кто ее прочтет, от души скажет большое спасибо Ирине Кун за то, что она так просто, так бесхитростно и так глубоко воскресила образ одного из славных революционеров-коммунистов незабвенной ленинской поры.

Б. ПОЛЕВОЙ

БЛИЦКАРЬЕРА ЛЕ ГЕРНА

Робер Эскарпи. Литератрон. Плутовской роман. Перевод с французского Э. Лазебниковой. Редактор Н. Жаркова. Москва, «Молодая гвардия», 1966. 154 стр.

Карьера Мериадека Ле Герна счастливо сочетает традиции и новаторство. Подобно своим далеким предшественникам и прототипам Гусману из Альфараче или Жиль Бласу де Сантильяна, Мериадек Ле Герн (сокращенно — Мерек) делает из надувательства символ веры, считая, что простаки созданы, чтоб их водить за нос, а жуликн — чтобы их пережулить. Однако верный этим славным правилам, возникшим на заре буржуазных отношений, Мерек понимает, что в век структурализма, электроники и технократического упоения было бы смешно и нерационально работать по старинке. Так рождается Литератрон. Магический суффикс «трон» — знак великих открытий двадцатого столетия — служит предприимчивому и наглому пикаро рычагом, с помощью которого можно если не перевернуть мир — на это Ле Герн не посягает,— то, во всяком случае, устроиться в этом мире с максимальными удобствами.

Робер Эскарпи следует в романе всем законам плутовского жанра. Здесь и темное происхождение Мерека — отец его, разыскиваемый полицией, спьяну вышел в море на утлой шлюпке, распевая лихие песни, и утонул еще до рождения героя; мать — особа не слишком строгих нравов, вынужденная бежать из Франции после того, как

она безмятежно прожила годы оккупации, даря свои прелести немецким офицерам, кончает дни содержательницей борделя в Алжире. Здесь и благородный покровитель — инженер Филиппо, один из возлюбленных матери, благодаря которому Ле Герн получает образование. И женщины — ферзи в игре, которую с юных лет ведет Мернадек. И повествование от первого лица, где ирония всегда двусмысленна,— и в «я себе цену знаю» плута звучит одновременно самоутверждение и самоиздевка.

Как в классическом плутовском романе, Ле Герн всего лишь повод, предлог для социальной сатиры: некий зоид в образе человеческом, с помощью которого Робер Эскарпи проникает в министерские канцелярии и избирательные участки Пятой республики, в генеральские кабинеты и приемные магнатов прессы, на коллоквиумы ЮНЕСКО и на заседания «мозговых трестов», где не столько творится, сколько эксплуатируется наука.

Литератрон — «думающая машина». Но, как известно, машина думает о том, о чем прикажут ей думать люди. Ее выводы зависят от материала, заложенного в нее людьми. Литератрону Ле Герна установки даются недвусмысленные: поручается ли ему дело сугубо политическое (разработать безошибочную платформу для кандидата в парламент) или литературное (написать бестселлер) — его продукция должна служить для оболванивания общественного сознания. И Литератрон выдает квинтэссенцию мещанских суждений, вкусов и склонностей. Потрафляя обывателю, продукция Литератрона (и в этом изобретении Ле Герна доводит до логического предела сущность всех «средств массового воздействия») возводит в перл создания подмену мысли — формулой, личности — статистической единицей, искусства — шлягером, дела — словом.

Литератрон получает право на существование, то есть на миллионные государственные субсидии, когда, обработав 17 738 перфорированных карт, содержавших опись слов, выражений и собственных имен, тщательно подслушанных и записанных с помощью совершеннейшей магнитофонной техники в избирательном округе Педуйяк, а также анализ грамматических их комбинаций, эмоциональных оттенков (хвалебных, уничижительных, восторженных или презрительных) и классификацию по частоте употребления, артикуляции, логике, фонетической нагрузке (звучности, тональности, интенсивности, ритму), Литератрон выдает в качестве идеального текста политической пропаганды сгусток идиотического аполитизма: «В политике чем больше все меняется, тем больше все остается без изменений. Везде плутовство, кумовство и К°. Повесить бы парочку-другую, авось дело бы лучше пошло» и т. д. Даже тертые мэтры «литературоники» ошарашены этим шедевром скудоумия, проникнутым одной убогой идейкой — нам нужен сильный человек.

Однако с помощью именно этого свода «сокровенных мыслей» мещанина, размноженного на избирательных афишах, опубликованного в местной газете и прочтенного одиннадцать раз проникновенным голосом перед избирателями, Жозеф Бледюр, не пользовавшийся никаким авторитетом среди педуйяков и педуйячек, оказывается избранным в палату депутатов большинством в 85 процентов голосов. Как комментирует сам Ле Герн — сработал «эффект Нарцисса»: «сочетание удивления и душевного довольства. Невропатологи доказали, что тут действует явление резонанса... Сокровенные мысли человека, будучи ему реинъецированы, вызывают в нейронах высших нервных центров отклонение гипнотических и эйфорических колебаний. Короче говоря, не признаваясь себе в том, что в прочитанном или услышанном он обнаружил собственные мысли, человек впадает в состояние блаженной воспринимчивости, которая временно притупляет его способность мыслить критически».

Вдохновленные успехом «операции «Нарцисс», деятели психологической службы и, в частности, министр Убеждения Кромлек лелеют план создать с помощью Литератрона словарь в пятьсот слов, сочетаемых согласно определенным и немногочисленным правилам грамматики, который будет утвержден в качестве единственного дозволенного канона для прессы, радио и телевидения. Естественно, что «слова и грамматические правила будут подобраны с таким расчетом, чтобы они могли соответствовать лишь определенному числу строго определенных схем и в любых случаях отвечали взглядам правительства».

Робер Эскарпи и сам в известной мере применяет метод Литератрона: он рассматривает множество фактов и делает из них выжимку. Едкость этой эссенции тем больше, что, не в пример «думающей машине», Эскарпи обладает высшей способностью человека — умением посмеяться. Посмеяться

весело и посмеяться так зло, что камня на камне не остается ни от Пятой республики, ни от политиканов, исследуя речи которых Литератрон «Хамелеон» запоминает независимо от политической ориентации оратора «не более пяти слов, и всегда одних и тех же: «Я, мне, Франция, народ, будущее». И даже после снижения порога частоты и смысловой интенсивности (нужно же все-таки отобрать пятьсот слов) дело идет немногим лучше, «Хамелеон» дополняет лексикон терминами «процветание, мир, справедливость» и, наконец, значительно реже употребляемым понятием «свобода».

Достается и псевдоученым, потрясающим мир открытиями вроде гипнопедии, которая позволит убить одним ударом двух зайцев: не нужно будет строить новых учебных корпусов, так как студенты будут постигать науки, лежа в собственных кроватях, и можно будет им внушить как раз то, что должно, ибо разум их будет усыплен.

И коммерческой литературе, в разных жанрах которой Литератрон подвизается с небывалой легкостью и успехом: он создает «Секретаршу-девственницу» — роман сентиментально-чувствительный (в духе трогательных историй известного радиокомментатора Жана Ноше, служащего эталоном пошлости), «Хулиган метит в пах» — роман «черной серии» и «Сапоги всмятку» — роман «объективно-феноменологический» (по отрывкам из него видно, что среди перфорированных карточек, заложенных в Литератрон, не обошлось без извлечений из Роб-Грийе, Бютора и молодых авторов журнала «Тель кель»), рассчитанный на «элиту» и написанный во втором лице множественного числа настоящего времени без абзацев и знаков препинания.

Как водится в плутовском романе, Ле Герн, вознесшись на высоты карьеры, кубарем летит вниз. Его обошли. Оклеветав своего самого верного друга, ученого Бреаля, он спасает шкуру и удаляется от дел. Мерек возвращается в маленький домик приемного отца, чтоб на покое, вдыхая смолистый запах сосен, обдумать новую атаку на общество. И здесь, вдали от суеты блицкарьер, дипломатических интриг и государственных дотаций, он неожиданно для самого себя начинает всерьез заниматься аппаратом, сконструированным инженером Филиппо для обнаружения нефтяных залежей. Впервые Ле Герн имеет дело не с миниостями, не со словесной эквилибристикой, не с продажей воздуха, заключенного в мерцающую оболочку рекламы, а с реальным плодом человеческого разума. И на минуту им овладевает соблазн добродетели — перейти в лагерь тех, кто делает, кто творит, создает действительные ценности.

Однако Ле Герн не был бы пройдохой, эксплуатирующим нравы того общества, в котором он живет, а Робер Эскарпи не был бы сатириком, ядовито их высмеивающим, если бы финал романа погружал нас в розовый туман, источаемый торжествующей добродетелью. Пытаясь продать аппарат Шоссону де Фюрмижье — владельцу «заводов, газет, пароходов», а также, разумеется, и нефтяных акций («когда располагаешь таким состоянием, как мое, волей-неволей интересуешься нефтью»), Ле Герн начинает как честный человек и говорит об оригинальности детектора Филиппо, определяющего месторождения нефти и позволяющего экономить миллионы. Но его предложение не вызывает никакого энтузиазма. И тогда, тряхнув стариной и вспомнив, что главная сила психологического воздействия в модных суффиксах и приставках, Ле Герн выкладывает на стол неопровержимый козырь: аппарат называется теле-олео-трон. В глазах Фюрмижье зажигается блеск, предвещающий удачу Ле Герну и предостерегающий читателя: не поддавайся литеротеле-радио-психо-плуто-тронике, думай сам!

Л. ЗОНИНА

ПОЭЗИЯ ТУРЕЦКОГО НАРОДА

«Плач Лаии». Турецкая народная поэзия в переводах Н. Гребнева. Предисловие, составление и примечания И. Боролиной. Москва, «Художественная литература», 1966.

В отличие от многих европейских стран, где капитализм загнал народную поэзию в резервации этнографических музеев, народная поэзия Турции из глубины веков дошла до наших дней живой. И по сию пору можно еще встретить здесь менестрелей-«ашиков», что по-турецки значит «влюбленных». Объясняется это не только запоздалым буржуазным развитием страны, но и тем, что, начиная со средних веков, поэзия турецкая развивалась по трем самостоятельным руслам — поэзии придворной, так называемой «диванной», поэзии духовной, дервишской, и поэзии народной,— которые не сливались друг с другом вплоть до двадцатого века. Как знать, не потому ли передовые поэты Турции сумели быстрей подойти к синтезу поэзии народной и поэзии, вооруженной современной техникой, синтезу, который так ясно прозвучал в стихах Назыма Хикмета.

В крохотном зале стамбульского клуба «Картьер», где от табачного дыма слезились глаза, стало тихо. Невысокий седой человек проиграл на саазе короткое вступление и запел. Горный воздух цветущих яйл — альпийских лугов Малой Азии, запах конского пота, топот копыт по гулким мостам над горными реками, свист пуль, задыхающиеся голоса погони, плач женщин, в отчаянии бьющих себя по бокам, как птицы крыльями, пляс, от которого подрагивают рукоятки воткнутых в землю кинжалов, освещенных пламенем костров, стук мотыг об иссушенную солнцем каменистую землю, покачивание черной морской волны в звездах, безысходный вековой плач насильно отданных замуж девушек развали-

ли подвальные стены ночного клуба, голоса прошлого слились с голосом настоящего. Пел Рухи Су, великий артист, подвижник, народный певец.

Каждый вечер собираются здесь послушать его актеры и писатели, адвокаты и студенты, передовая интеллигенция Стамбула, чтобы, прикоснувшись к живой воде народной поэзии, вопреки разъединяющему, отчуждающему людей друг от друга и от самих себя торгашескому духу современного буржуазного города, ощутить себя едиными с бессмертным и огромным целым — с народом. Интеллигент не тот, кто кормится плодами интеллекта, а тот, кто осознает свое место в истории своей страны и народа. Он — мост между бывшим и будущим. И народная песня, исполненная Рухи Су — один из немногих источников, позволяющих облачить это сознание живой плотью искусства.

У нас еще не было предпринято сколько-нибудь серьезной попытки сделать народную поэзию Турции достоянием русской литературы. Этот шаг сделан недавно издательством «Художественная литература». Поэт Наум Гребнев и тюрколог Ирина Боролина выпустили сборник «Плач Ланн». В этой книге есть и песни (тюркю): героические, военные, разбойничьи, лирические, свадебные, шуточные. Здесь и загадки, и пословицы, и четверостишия «манн», так удивительно похожие на русские частушки. Я думаю, что удачу книги во многом предопределило сотрудничество поэта с ученым-тюркологом.

Н. Гребнев известен нашему читателю как поэт, сделавший достоянием русской культуры фольклор народов Средней Азии и Кавказа. Он отлично владеет пластикой поэтического воссоздания непривычных и выразительных образов, которыми мыслят народы Востока. Это умение не изменило ему и в новой книге переводов.

Хороша базарная корица,
Хороша и ты, моя царица;
Но свою ты сладость бережешь,
Чтоб моим страданьем насладиться.

Свободная, изысканная неприиужденность позволяет переводчику высказать поэтическую мысль так, словно она и рождена была по-русски.

Моленню собак аллах не внемлет,
Не то бы дождь костей упал на землю.

И при том поэту почти всегда удается сохранить и поэтическую интонацию и рифмовку, присущую оригиналу. Лишь иногда, особенно в суровых и грубоватых разбойничьих песнях, изысканность подсказывает ему не те слова: «озарить» вместо «осветить», «всевозможные» вместо «всякие», «воздвигнуть» вместо «поставить». Ради рифмы он подчас отказывается от лаконичности пословиц. Как всегда недостатки эти лишь продолжение достоинств книги.

Советский читатель, несомненно, примет первый сборник турецкой народной поэзии с интересом и благодарностью. С такой же благодарностью держал в руках эту небольшую, но весомую книгу и Рухи Су, один из видных турецких литературоведов Тахир Алангу — оба они видели в ней дань уважения к культуре своего народа.

РАДИЙ ФИШ

ИЗДАНО ЗА РУБЕЖОМ

СИЯНИЕ «НЕОСВЕЩЕННЫХ ДВОРОВ»

Йордан Радичков. Неосветените дворове. София, Български писател, 1966.

Имя Йордана Радичкова появилось в болгарской литературе совсем недавно, а сегодня он — один из самых популярных писателей. О его рассказах и повестях критики ведут бурные споры, его книги ищут читатели, и нет ни одного литератора, который отказал бы Радичкову в его необычном таланте и даровании. В болгарскую литературу, бесспорно, пришел оригинальный прозаик со своим миром образов, чувств, переживаний. Впрочем, только ли прозаик? В апреле нынешнего года на сцене сатирического театра в Софии была поставлена пьеса Радичкова «Суматоха», написанная по мотивам его опубликованных рассказов и повестей. И в переполненном зале нет равнодушных. Искрящийся народный юмор, ирония, а порой сатира пронизывают спектакль. Каждое новое произведе-

ние писателя своеобразно по жанру, по тону повествования, и в каждом из них мы находим образ современного человека, воспроизведенный с лирической взволнованностью, душевной мягкостью и теплотой.

И вот перед нами новая книга — «Неосвещенные дворы». По замыслу это путевые очерки о поездке И. Радичкова в Советский Союз в 1963 году. По исполнению — снова необычная книга. В ней как бы сочетается документальное повествование с лирическим дневником, психологические зарисовки — с раздумьями о прошлом, частные сравнения, сопоставления — пусть даже по контрасту! — с привычным миром родной страны. Это книга о советских людях, и в ней незримо присутствует образ солнечной Болгарии, который сопровождает путешественника на всем его пути.

Самолетом или вертолетом, лодкой или катером, пешком или машиной И. Радичков «прошел» по Якутии, Сибири и Алтаю. Он заглянул в «неосвещенные дворы» затерявшихся в тайге отдаленных поселков, встречался с людьми, добывающими золото и слюду, алмазы и серебряную пушнину, он ощутил дыхание Ледовитого океана у бухты Тикси и ходил по алтайской степи. Всюду, куда бы ни попал писатель, он чувствовал нерв нашей сегодняшней жизни. Была ли это мощная техника, которая брошена на покорение природы, или настойчивость людей, добывающих в земных недрах алмазы и золото, выращивающих в краю вечной мерзлоты салат, лук, картофель. Под пером писателя предстали «поющий лед» Якутии и дикие стада коней в степи, необъятные просторы Сибири и советский человек, овладевающий богатствами недр, созидающий в суровых условиях новую жизнь.

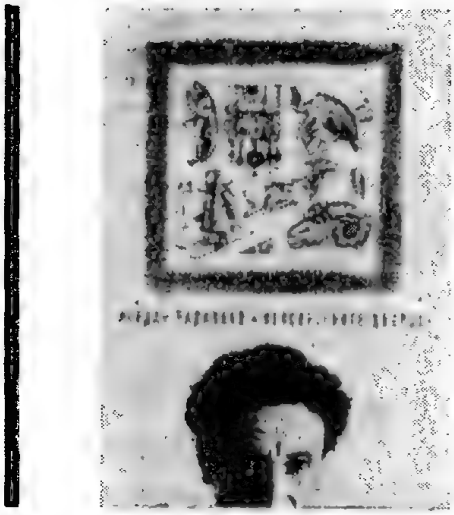
Люди с их повседневным трудом и мужеством вызывают у автора глубокое уважение. Здесь он обрел больших друзей среди русских, украинцев и молдаван, недавно поселившихся в необжитых местах, якутов и эвенков, преобразующих землю своих отцов и дедов. И дворы, где живут гостеприимные обитатели со сложившимися здесь привычками и нравами, озаряются светом завтрашнего дня. В это верит автор, и в этом он убеждает читателя. Таежные охотники и рабочие приисков, служащие совхозов, шоферы и исследователи населяют книгу Радичкова. Они и составляют то бесценное богатство, в сравнении с которым меркнет слиток золота в руках автора.

Уже завершая повествование, в одном из лирических отступлений писатель делает признание: «Некоторые скажут: посмотри на этого дикаря — люди отправляются в Париж, в Париже есть Эйфелева башня и стриптиз, там есть что посмотреть, а этот поплелся в Сибирь! Милые мои, скажу я этим людям, в Париже действительно есть Эйфелева башня и стриптизы, но мы не получим там золотой ключ от дверей, другой класс держит его у себя. Я попал в Россию, и эта страна дала мне золотой ключ от всех дверей; я прошел с ним всюду, не повстречав ни одной закрытой двери в домах... Золотой ключ этой страны сейчас у меня, и после стольких путешествий по ней я почувствовал себя человеком, которого впустили в баик и за которым никто не идет по пятам и не следит, сколько богатств он возьмет с собой».

Принятию сознавать, что наш друг почувствовал доверие, радушие и гостеприимство советских людей и это помогло ему написать умную и талантливую книгу.

Говорят, что одно из любимых изречений Йордана Радичкова — «Цели достигает не тот, кто торопится, а тот, кто не останавливается». Вспомнная эти слова, хочется пожелать писателю идти дальше по избранному пути, открывать целые миры в современном человеке, устремленном в завтрашний день.

В. ЗЛЫДНЕВ



ГРАНИЦЫ ФАНТАСТИЧЕСКОГО

Roger Caillois. Anthologie du Fantastique. Volumes I, II. Paris, Gallimard, 1966.

Каждый, кто заглянет в оглавление двухтомной «Антологии фантастики», составленной известным французским писателем и эссеистом Роже Кайюа, испытает желание ознакомиться с этой книгой. Здесь наряду с именами Гофмана и Эдгара По стоят не только имена Диккенса, Бальзака, Мопассана, но также Гоголя, Лескова и даже... Пушкина.

Уже самый перечень вещей, включенных в антологию, противоречит нашим установившимся представлениям о фантастике. В самом деле, можно ли согласиться с тем, что «Пиковая дама», например,— фантастическая повесть? И почему в антологию не вошли такие бесспорные образцы фантастики, как произведения Г. Уэллса или «Гиперболоид инженера Гарина» А. Толстого?

Конечно, антология — не хрестоматия, и элемент случайного в ней неизбежен, но все же нам хочется понять замысел составителя и установить ту закономерность, которой он подчинил свой труд. В конце концов эту закономерность удается обнаружить не без помощи самого Роже Кайюа, его очень интересного предисловия, в котором высказаны пусть не бесспорные, но оригинальные суждения о сущности фантастического жанра.

В этом предисловии, названном «От феерии к научной фантастике», Роже Кайюа объясняет, что он понимает под фантастикой и что он относит к псевдофантастике.

Роже Кайюа считает, что фантастику в собственном смысле слова следует строго отличать от феерий и сказок, с одной стороны, и от научной фантастики — с другой.

Ужас перед непонятным, так и не получившим никакого объяснения — вот обязательная черта тех вещей, которые, по мнению Роже Кайюа, характеризуют жанр фантастики. Во всех произведениях, вошедших в антологию, мы находим так называемую «фантастику ужасов». События, происходящие в приведенных повестях и рассказах, не являются реальными. Они целиком порождены воображением, фантазией человека и призваны возбудить безотчетное чувство страха. Страх вызывается вмешательством сверхъестественных сил в совершенно реальную действительность.

Нам кажется, что соединение только по этому принципу совершенно различных произведений не похожих друг на друга писателей, живших в разные эпохи, носит несколько формальный характер. Это приводит к не вполне закономерному объединению под одной рубрикой Гоголя и Бальзака, Гофмана и Пушкина. Они как бы покидают свои места в литературе, места, завоеванные определением их отношением к действительности, к своему времени, художественными особенностями их творчества, для того чтобы встретиться вне всего этого на зыбкой почве «страха перед неведомым». Именно таким образом «Пиковая дама» попадает в разряд фантастической литературы, в то время как здесь «страх перед неведомым» вовсе не лежит в основе конфликта, играя лишь вспомогательную роль. Так смешивается фантастическая литература, как таковая, с элементами фантастики в литературе других видов, с условием в искусстве. Единственный признак, по которому Роже Кайюа группирует произведения для антологии, ограничивает также возможность показать динамику фантастического жанра, то есть его развитие во времени. И хоть предисловие названо «От феерии к научной фантастике», но по нему мы не можем четко проследить, как этот путь был пройден. Не получило отражения это и в самой антологии.

Однако, несмотря на все эти спорные моменты, работа Роже Кайюа представляет интерес. Научную фантастику автор выделяет в особый разряд, не касаясь ее ни в предисловии, ни в антологии, и уж конечно не пытается свести к ней всю современную фантастику, как это делается подчас. Он показывает, как богата историческая традиция фантастической литературы, причем делает это, использовав образцы литературы самых различных стран.

М. ИВАНОВА

О ТЕАТРЕ — ДЛЯ ТЕАТРА

Friedrich Dürrenmatt. Theater-Schriften und Reden. Zürich, Arche-Verlag, 1966.

В Цюрихе вышла книга, объединившая статьи, доклады, театральные рецензии, заметки о собственных пьесах швейцарского драматурга Фридриха Дюрренматта. Книга так и названа «Статьи и речи о театре». Эти теоретические работы Дюрренматта интересны тем, что в них есть наболевшая актуальность. Продиктована она не столько знакомством с поисками коллег (Дюрренматт, по его признанию, не слишком внимательный читатель), сколько познанными на собственном опыте трудностями, с которыми сталкивает драматурга сегодняшняя действительность.

На многих страницах книги развернут тезис, в защиту которого Дюрренматт выступает особенно настойчиво,— апология комедии как единственного жанра, способного отобразить на сцене современный мир.

В обоснование своего тезиса драматург выдвигает несколько доводов. Самый важный среди них: только комедия способна передать на конкретных образах облик утратившего конкретность мира.

Что означает эта мысль?

Дюрренматт-художник отнюдь не отличается недоверием к конкретной действительности. В статьях он постоянно говорит о своем пристрастии переносить на подмостки театра игру ее ярких красок. Постановки его пьес неизменно требуют зрелищности. Однако в чем-то главном современная реальность кажется ему неуловимой: она как будто теряет осязательно-конкретный облик, становится бестелесным фантомом.

В прошлые времена, пишет Дюрренматт, когда полноправным жанром на европейской сцене была трагедия, ее герои имели перед собой осязаемого противника. Борьба двух отдельных людей была исторически значима. Победа над злом, торжество героя вносили изменение в развитие событий, способны были распрямить «зигзаги» истории. В сознании рядового современного человека — а это сознание субъективно преломляет сдвиги, происшедшие в действительности,— добро и зло странным образом нивелированы. В мире как будто бы нет виновных, нет тех, кто несет ответ: «Все не имели к этому никакого отношения, никто не хотел этого». Зло, пи-

шет Дюрренматт, все равно совершается без любого из принимавших в нем участие. Вместо лица, воплощавшего в себе полноту власти (каким был, например, царь Креон, изображенный в трагедии Софокла «Антигона»), перед современным человеком — безликая государственная машина. Как заметил однажды Дюрренматт, «дело Антигоны решают секретари Креона», да и сами Креоны неизмеримо ничтожней зла, причиненного ими миллионам.

Иными словами, не употребляя самого термина, получившего в последнее время широкое применение в суждениях о литературе, драматург говорит, применительно к проблемам театра, о процессе отчуждения человека. Как считает Дюрренматт, эта особенность действительности оказывает серьезное воздействие на развитие театра, способного воплотить в конкретных образах парадоксально незримые пружины современной жизни — только в форме столь же парадоксальной гротескной комедии. «Гротеск,— пишет Дюрренматт,— это лицо безликого мира».

Среди современных драматургов именно Дюрренматт с наибольшей убежденностью и последовательностью защищает преимущества комедии. И все же он далеко не единственный сторонник этого жанра. О значении комического на сцене неоднократно писали создатели французского «абсурдного театра». «Комическое,— признается, например, Ионеско,— прямой взгляд в лицо абсурда, содержит для меня больше отчаяния, чем трагическое. Комическое безысходно». Комедийный гротеск — одно из главных выразительных средств в драматургии С. Беккета и Э. Ионеско. Советский читатель, познакомившийся недавно с трагикомедией Беккета «В ожидании Годо», имел случай убедиться, какую существенную роль в ней играют гротескно-комические эффекты, почти цирковые диалоги, нелепые промахи героев — «черный юмор», нагруженный тяжелым философским подтекстом.

Как будто бы несомненное сходство не только в теории, но и в театральной практике.

Однако приведем суждение еще одного драматурга о значении комедии. Одним из убежденных поклонников комедии в течение всей своей жизни был Бертольт Брехт. В недавно опубликованном в ГДР сборнике воспоминаний о Брехте процитировано его высказывание о пьесах на современном материале. По мнению Брехта, такого рода материал может быть драматургически обработан только в форме комедии (свои пьесы «Страх и отчаяние в третьей империи» и «Винтовки Тересы Каррар» он считает слабее комедии «Господин Пунтила и его слуга Матти»). Только в этом жанре, полагал Брехт, может быть достигнута необходимая, с его точки зрения, дистанция по отношению к окружающей действительности *. Ирония помогает проникнуть за покров видимости: она обнажает существо явления.

Эта же мысль о дистанции, которую создает комедия, чрезвычайно важна для Дюрренматта. В одной из важнейших статей, включенных в книгу,— в «Заметках о комедии», предприняв экскурс в историю жанра, драматург рассматривает комедию как выражение духовной свободы человека, поднявшегося над постигнутой им действительностью. По мысли Дюрренматта, именно гротескная комедия предоставляет писателю великую возможность подойти к истине, не впадая в то же время в фактографичность или обнаженную тенденциозность. Комедия — это сфера творческого проявления критического разума: «она неудобна, но необходима».

Нет сомнений, что комедия, о которой говорит Дюрренматт, в существе своем глубоко серьезна, в конечном итоге — часто трагична. Комическое приобретает черты ужасного, гротескного. Смысл и задачи гротеска в современном искусстве, однако, часто различны. Сам Дюрренматт живо ощущает эти различные возможности гротеска. Он выделяет, например, гротеск, стремящийся разбудить в читателе «ужас», «странные чувства». Примеры подобных произведений не приведены. Однако очевидно, что к этому типу гротеска во многом близок современный «театр абсурда», с остротой и неоспоримой силой отразивший трагическое положение человека в «отчужденном» мире, но в то же время всегда оставляющий своего зрителя внутри, а не снаружи замкнутого круга отчаяния. Иной смысл имеет гротеск, пишет Дюрренматт, в творчестве Аристофана, Рабле или Свифта. Под пером этих великих сатириков гротескные образы превращали в неожиданно наглядное то, что не имело для их современников «лица»,— сущность, закономерности жизни. Именно такой, последнего рода гротеск и создает дистанцию по отношению к действительности в комедии аналитического склада, комедии, которую защищает Дюрренматт.

Пьесы Дюрренматта и драматургия «аб-

* Другим способом создать дистанцию Брехт считал перенесение современных проблем в условно воспроизведенное на сцене историческое прошлое.

сурда» появились на сценах европейских театров почти одновременно в 50-е годы. Во Франции «абсурдный театр» потеснил «интеллектуальную» драму Сартра и Ануя, высший взлет которой падал на годы антифашистского Сопротивления *.

В 50-е годы — десятилетие, когда недавний подъем демократических сил, мобилизованных борьбой с фашизмом, сменили настроения скептицизма, неудовлетворенности, отчаяния — в европейской драматургии подвергся сомнению ключевой момент драматургии и самой философии Сартра: идея «свободного выбора». В своих пьесах Сартр, как известно, ставит героев в ситуации, вынуждающие их принимать решение. Решения эти, правда, уже не могут, как когда-то в классицистической трагедии или в драмах Просвещения, направлять течение истории. Они гораздо более локальны. Однако и сама история, по экзистенциалистской философии Сартра, есть нечто бесконечно дробное. Жизнь, писал Сартр, состоит из ряда мгновений, из отдельных не развивающихся, а лишь «разрешающихся» ситуаций. И здесь-то человек может и должен совершить свой выбор.

В пьесах и теоретических высказываниях Дюрренматта «Двадцать один тезис» к пьесе «Физики» роль, подобная по своей значительности той, которую играет «ситуация» в драматургии Сартра, приходится на долю «случая».

В своих пьесах, насыщенных сегодняшними проблемами, Дюрренматт неоднократно пародировал античный мир с его утраченной для современного человека гармонией и ясностью, с четкими устоявшимися представлениями о вине и долге («Ромул Великий», «Геркулес и авгиевы конюшни»). Однако как будто не все составляющие этого гармонического мировосприятия подвергаются Дюрренматтом ироническому переосмыслению. Рок, некогда тяготевший над античным Эдипом, словно не отпускает и людей XX века, свободомыслящих, владеющих точными знаниями, но по-прежнему нелепо беспомощных перед несообразностями их судьбы и судьбы человечества. (Эта идея Дюрренматта находит параллель в творчестве другого швейцарского драматурга и прозаика Макса Фриша — вспомним его роман «Homo Faber»). В замечаниях к пьесе «Физики» Дюрренматт написал о трагической подвластности людей «случаю», особенно очевидно перевертывающему все замыслы человека, когда он по строго разработанному, как будто бы нерушимому плану движется к намеченной цели. Серьезные решения, которые принимают герои Дюрренматта в сложившейся ситуации, неожиданно оказываются бессмысленными в связи с непредвиденным оборотом, который принимают события. Комедиограф Дюрренматт, выступивший в иной период истории, в конечном счете как будто бы не слишком уверен в реальном значении душевной стойкости своих персонажей — в значении «свободного выбора»...

Роль случая в концепции комедии у Дюрренматта снова вызывает ассоциации с эстетикой «театра абсурда». На самом деле: совершенно очевидно принципиальное идейное значение случайностей в пьесах Беккета или Ионеско. Какая это дикая, роковая «случайность», что труп убитого человека вдруг вопреки всем законам начинает расти, неумолимо вытесняя хозяев квартиры, где он находится (Ионеско «Амедей, или Как от него избавиться», 1954 г.)! От какого «незапрограммированного» случая зависит, в сущности, судьба двух бродяг, коротающих время в бесперспективном ожидании Годо (однонменная пьеса Беккета)! Но случайности эти, в сущности, очень неслучайны: они превращены здесь в нечто им противоположное — закономерность, заранее перечеркивающую всякое целенаправленное усилие.

Вдумаемся теперь во взаимоотношение случая в жизни героя и действительности, как это понимает Дюрренматт.

В пояснениях к пьесе «Физики» автор говорит о несостоятельности позиции своего героя, попытавшегося сделать в одиночку то, что «могут решить только все вместе» (уничтожить возможность атомной катастрофы). Неспособность ученого кардинально изменить ситуацию в мире драматургически выявляется в совершенно неожиданном обороте, какой принимают обстоятельства. Случай в пьесах Дюрренматта часто «обрезает» героя, практически доказывая смехотворность его самонадеянности, ограниченность предвзятой идеи по отношению к гораздо более сложной действительности. Столкновение это трагично и вместе с тем поучительно. Действительность в восприятии Дюрренматта — и здесь он разительно расходится с концепцией «абсурдистов» — «многослучайна». Она таит в себе различные возможности, богата разными потенциями. В теоретических статьях Дюрренматт защищает насыщенную фабулу, построенную по добрым старым правилам нарастающего напряжения, как основу своей драматургической техники. В пьесах его всегда удивительно много происходит. И это живое кипение событий конечно же противоположно по своему внутреннему смыслу трагической неподвижности в пьесах «абсурдистов», где на сцене ничего не происходит уже потому, что произойти ничего не может...

Дюрренматт замечает в мире зловещее, но и доброе. Он видит обреченность одиноких попыток человека противостоять грубому натиску действительности. Однако Дюрренматт видит еще и высокую красоту подвига, радость и блеск жизни. Поэтому его серьезные, часто трагические комедии все-таки светлы по колориту. Поэтому его юмор не только настораживает, заставляет задуматься, но и содержит в себе много

* Связи и разрыв «театра абсурда» с идеями и эстетикой Сартра прослежены в статье Б. И. Зингермана «Драматургия Сэмюэля Беккета». «Вопросы театра», 1966. Сборник статей и материалов. ВТО, М., 1966.

простодушного. Решения, которые принимают близкие Дюрренматту герои, часто не приводят к практическому осуществлению их стремлений. Но их человеческое достоинство не сломлено; возможность и насущность действия не перечеркнуты. Несмотря ни на что писатель верит в человека.

«Комическое безысходно»,— говорит Ионеско. Дюрренматт считает такое заключение возможным, но не обязательным. Он видит в отчаянии только один из различных ответов, который могут дать миру люди. Ответ мог бы быть и другим: «И в наше время возможно показать мужественного человека».

Для понимания художника типа Дюрренматта очень много могут дать автобиографические заметки. Как когда-то для деревенского мальчика, сына сельского пастора, рядом с предметами обыденными и хорошо знакомыми существовал огромный таинственный мир, начинавшийся уже за соседним лесом, так и сейчас для писателя в жизни всегда есть то, что не поддается точному учету, что таит в себе богатство неизведанного. Это-то многообразие, пестроту жизни драматург и стремится перенести на сцену. Часто это влечет за собой, как не без основания замечает сам автор, ущерб для ясности концепции.

Читая книгу Дюрренматта, можно заметить несоответствие между декларированным здесь главным принципом его пьес, задуманных как драматургические «модели» сегодняшнего мира (характерная форма современной «интеллектуальной», философской пьесы),— и как будто бы противоречащим этому принципу нежеланием «класть яйцо пояснений», доводить до последней ясности собственный замысел. Не случайно, возвращаясь через много лет к переработке своих старых пьес, драматург часто вынужден еще и еще раз прочерчивать их концепцию. Хотя Дюрренматт, этот умный наблюдатель и злой сатирик, органично чувствует себя в стихии философской параболы, где детали и образы явно подчинены идейной конструкции, однако он же постоянно говорит о своей страсти к «игре», о нежелании «высказаться» со сцены, о стремлении идти за материалом, а не навязывать ему свои концепции. Среди своих учителей Дюрренматт обычно называет не только Аристофана, Бюхнера, Ведекинда, но и — что очень показательно — старого австрийского драматурга Нестроя, создателя так называемой венской народной комедии. Пьесы Нестроя, пишет Дюрренматт, имели несомненное преимущество непосредственности. Дюрренматт, искусство которого без сомнения интеллектуально, в то же время хотел бы также непосредственно отразить в своих пьесах противоречивую сложность жизни.

Однако есть здесь и еще один существенный момент.

Среди важнейших для Дюрренматта предшественников несомненно должен быть назван Бертольт Брехт. Сам Дюрренматт обычно не любит в данной связи упоминать его имя, несмотря на то что, как и большинство современных драматургов, развивает многие открытия драматической техники Брехта. Чаще Дюрренматт полемизирует с Брехтом, оспаривая возможность для современного писателя исходить из законченной мировоззренческой системы. Творчество Брехта зависимо, справедливо полагает Дюрренматт, от марксистской теории, обосновывающей возможность изменять общественные отношения. Дюрренматт в нем положении: он этой теории не разделяет. Сатирический запал драматурга направлен против хорошо знакомой ему действительности капиталистического мира, однако и к социалистическим странам он относится с неизменной настороженностью.

Лучшие пьесы Дюрренматта незаметно и неотвратимо заманивают зрителей в ловушку серьезных размышлений о самих себе, о своей стране, о комплексе тех решений и действий, которые были обозначены однажды писателем словами: «общественная совесть». Его сатирические комедии предостерегают против опасности фашизма. Он пишет о неизбежных следствиях политической безответственности рядовых «неполитических» людей, об общественном смысле таких «частных» проявлений человека, как эгоистический страх за свое собственное благополучие и безопасность. И все-таки связи между комментирующими современность «моделями человеческих отношений» (как определяет драматург свои пьесы) и реальной действительностью у Дюрренматта в чем-то не доведены до конца; соответствия намечены в общем виде; комментарий обычно принадлежит не автору, а герою, с которым не вполне солидарен автор. Мир в театре Дюрренматта не потерял способности к изменению. Однако выбор практического пути остается неясным. Концепция в пьесах Дюрренматта не доведена до последней четкости. И этим, пожалуй, также объясняется неприязнь драматурга к «высказываниям» со сцены.

Обращаясь к критикам, Дюрренматт просит обычно не подверстывать его драматургию к какому-либо литературному направлению или философской школе. Творчество драматурга действительно не поддается схематичной классификации. Сопоставления концепции современного театра у Дюрренматта с идеями других современных драматургов имело в этих заметках иную цель — показать своеобразие этого художника.

Н. ПАВЛОВА

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ

АВСТРАЛИЯ

«МОЛОЧНЫЙ БРАТ» «ЭНКАУНТЕРА»

Всем известны разоблачения связей с Центральным разведывательным управлением США английского журнала «Эикауитер»*, который существовал на средства этой шпионской организации и вел проамерикаискую пропаганду в Великобритании.

Как недавно выяснилось, на противоположном краю земли, в Австралии, существует «молочный брат» «Энкаунтера»—журнал «Куадраит», тоже «вскормленный» ЦРУ, хотя на обложке журнала черным по белому обозначено, что это «независимый» орган печати...

Роджер Миллисс в еженедельнике «Трибюи» пишет, что «Куадрант» ведет проамерикаискую пропагаиду в кругах интеллигенции, иначе говоря, служит орудием в борьбе реакции против прогрессивных идей. Печать сообщала, что честные английские писатели и деятели культуры, узнав о связях «Эикаунтера» с ЦРУ, заявили об уходе с занимаемых ими постов в редакции. В редакции журнала «Куадраит» дело обстоит несколько иначе. Питер Коулмеи, иапример, недавно назначеиный редактором «Куадранта», прямо заявил в газете «Сидней геральд», что он «во многих вопросах категорически согласеи с ЦРУ», и добавил, что «вовсе не считает, что ЦРУ плохая оргаиизация...» А Ричард Крайгер, секретарь аитикоммунистической оргаиизации «Ассоциация в защиту культуры», поддерживающий тесные связи с редакцией «Куадранта», сказал: «Если бы передо миой стоял выбор: делать иашу работу на американские деньги или отказаться от нее по моральным соображениям, я бы выбрал деньги».

* См. заметку Вл. Рубина в разделе «Культура и современность».

НОВЫЕ СТИХИ КЭТ УОКЕР

В Австралии не часто издают стихи аборигенов. Недаром с таким иитересом было встречено два года иазад появление первой поэтической книги Кэт Уокер под иазванием «Мы уходим»; оиа выдержала уже семь издаиий (см. «Иностранную литературу» № 11, 1965).

Недавно вышла иовая книга Кэт Уокер «Рассвет близок». При ее издании не обошлось без враждебных выпадов. За выраженный в ее стихах решительный протест против существующих

«На сцене Вьетнам» — таково название спектакля, идущего в «Нью тиэтр» в Сиднее. В нем выражается решительный протест против вьетнамской войны и участия в ней австралийских войск. На снимке — сцена из спектакля: символическое разделение Вьетнама. Исполнители: Джим Маклейн и Джой Экономос.

(Еженедельник «Трибюн»)

порядков поэтессу назвали «коммунистическим агентом». «Этот ярлык,— пишет Кэт Уокер в предисловии к новой книге,— автоматически приклеивается в нашей стране ко всякому, кто выражает энергичный протест против социальной несправедливости».

Тему протеста поэтесса продолжает развивать и в книге «Рассвет близок». В сборнике есть несколько стихотворений, в основу которых положены мифы австралийских аборигенов. С болью и гневом пишет поэтесса о том, до какого положения низведен ее народ, загнанный в пустыни и обреченный на вымирание от голода и болезней. Но в ее голосе нет отчаяния, пишет рецензент еженедельника «Трибюн»; в стихотворении «Рассвет близок» Кэт Уокер уверенно заявляет, что ее народ добьется равенства в гражданских правах.

АЛЖИР

«ФЁН»

Главным событием минувшего театрального сезона в Алжире местная печать считает постановку пьесы известного писателя Мулуда Маммери «Фён».

Фён — это порывистый ветер, который будоражит чувства, путает мысли, заставляет сомневаться во всем, анализировать самую суть человеческих отношений.

Пьеса рассказывает о событиях 1957 года, когда крепло сопротивление алжирского народа колониальному гнету, когда армия и полиция получили в Алжире специальные полномочия, чтобы задушить вооруженную борьбу алжирцев за свое освобождение.

В пьесе «Фён» сталкиваются два лагеря, два мира — колонизаторы и повстанцы. При всей ясности конфликта писатель не забывает о сложности человеческих характеров и взаимоотношений, пишет критик газеты «Аль-Муджахид».

Первый вариант пьесы, рассказывает Мулуд Маммери на страницах газеты «Альжери актюалите», был написан именно в те дни. Однако текст этот был потерян во время войны. Спустя несколько лет писатель вернулся к работе над пьесой.

Критика единодушно отметила игру актрисы Кальтум, получившей известность после выхода фильма «Ветер Ореса», в роли Зохры, матери героя пьесы. «Лучше смерть, чем предательство»,— говорит она сыну в решающую минуту, когда от нее одной зависит его спасение.

Постановка осуществлена французским режиссером Жан Мари Бегленом. Привлечение его к работе над пьесой М. Маммери не случайно. Во время освободительной войны Ж. М. Беглен и М. Маммери создали киносценарий «Сожженная деревня», но найти в то время средства для постановки фильма оказалось невозможно. Поэтому работа над пьесой «Фён» является в какой-то степени продолжением их сотрудничества.

АНГЛИЯ

ПРОТИВ ПРЕСТУПНОГО МОЛЧАНИЯ

Известный кинорежиссер Питер Уоткинс, автор фильмов «Игра в войну» и «Привилегия» (см. «Иностранную литературу» №№ 7 и 12, 1966 г., а также № 8, 1967 г.), недавно издал книгу тоже под названием «Игра в войну». Это антивоенная книга, в которой собраны иллюстрации, разоблачающие скрытую подготовку милитаристских кругов к глобальной ядерной войне. Уоткинс — автор сопроводительного текста к этим иллюстрациям.

«Тема книги, — пишет Ширли Тулсон в еженедельнике «Трибюн»,— разоблачение молчания. Официального молчания. Того официального молчания, с помощью которого прикрываются темпы накопления термоядерного оружия. Той пелены молчания, сквозь которую до потрясенного человечества доходят иногда обрывки страшной информации... Но самое главное в книге — описание того молчания, той тишины, которая будет царить на земле после возможной термоядерной войны...»

Отметив важность и своевременность выхода книги Уоткинса, автор рецензии пишет далее: «Эта книга, как и предшествовавший ей фильм,— отчаянная попытка Уоткинса прорваться сквозь завесу преступного молчания, пока не окажется слишком поздно».

В ЗАЩИТУ КОРОТКОГО РАССКАЗА

Газета «Морнинг стар» опубликовала несколько интервью с писателями, обеспокоенными судьбой короткого рассказа в Англии. Проблема эта возникла как результат чисто коммерческого подхода издательства к творчеству писателей. Для издательств этот жанр «нерентабелен».

Известный прозаик Уильям Сэнсом, автор нескольких романов и сборников коротких рассказов, заявил: «Издатели вряд ли будут публиковать тех, кто пишет только короткие рассказы, хотя такие случаи бывали. Меня они печатают только потому, что время от времени я приношу им романы». Однако, по мнению Сэнсома, в таком положении повинна и читающая публика, которая «любит надолго окунуться в длинный роман».

В заключение Сэнсом заявляет, что, по его мнению, трудности эти будут преодолены.

Писатель Б. С. Джонсон, автор недавно вышедшего романа «Трал», в интервью корреспонденту «Морнинг стар» Бобу Лисону заявил: «Нынешние издательские деятели взяли курс против нас, авторов коротких рассказов. Они говорят: большие романы продаются гораздо лучше... А вообще издается слишком много книг, а писателям платят слишком мало».

Сэнсома и Джонсона поддержал молодой писатель

Брайан Глэнвилл, автор коротких рассказов и нескольких романов: «Существует множество людей, которые охотно читали бы рассказы. Нужно шире публиковать их — на страницах журналов, например».

Газета «Таймс» откликнулась на выступление «Морнинг стар», приняв сторону издательств. Критик Пол Скотт в статье «Затруднительное положение авторов короткого рассказа» рекомендует молодым писателям искать применения своим талантам «в оперативной журналистике и на телевидении», где их творчество — сулит он — «будет во всяком случае выше оплачено».

ПЬЕСА «МАРАТ» НА ЭКРАНЕ

Известная драма западногерманского писателя Петера Вейса «Марат» (см. статью Е. Книпович в «Иностранной литературе» № 8, 1965), которая в Англии была успешно поставлена режиссером Питером Бруком на сцене Королевского шекспировского театра, появилась теперь на киноэкране. Одноименный фильм по пьесе Вейса создан также Питером Бруком, который уже не в первый раз выступает в качестве кинорежиссера.

По отзывам критиков, Брук придал своему спектаклю новую художественную форму, превратил его в произведение кино, а не просто снял фильм-спектакль. Однако при этом некоторые критики считают, что при перенесении на экран спектакль «утратил свою поэтическую гармонию». Правда, говорят эти критики, кино дает возможность показывать крупным планом лица актеров, их мимику, что особенно важно в этом спектакле, действие которого происходит в лечебнице для душевнобольных в Шарантоне. Однако, по их мнению, увлечение крупным планом нарушает ритм и композицию, выдержанные на театральной сцене почти с балетной точностью.

О фильме Питера Брука много пишет английская и мировая печать. Успех картины «Марат» склоняет, например, критика польского еженедельника «Фильм» к следующим обобщениям: «...почти все фильмы, о которых в последнее время много говорят и пишут и которые даже награждают премией «Оскар» («Человек на все времена», «Кто боится Вирджинии Вулф?», «Укрощение строптивой»), представляют собой экранизации театральных пьес. Возможно,— замечает критик,— что вслед за эпохой «супергигантов» вновь настает эпоха «театрального» кино?»

БОЛГАРИЯ

«ПОЭТЫ — ДРУЗЬЯ БОЛГАРИИ»

В поэтическом сборнике «Поэты — друзья Болгарии» представлено творчество более чем 120 поэтов из 23 стран, в том числе советских: П. Антокольского, П. Тычины, М. Рыльского, Е. Евтушенко, В. Соколова, В. Солоухина, М. Алигер. Переводы стихов сделаны такими известными болгарскими поэтами, как М. Грубешлиева, В. Ханчев, Е. Багряна, И. Давидков, Н. Зидаров, Н. Вылчев.

«Любая антология знакомит нас с поэзией какой-либо страны,— пишет в еженедельнике «Литературен фронт» поэт Божидар Божилов,— с ее культурой, с ее цивилизацией, но в этом сборнике вместо «страны» определяющим служит слово «дружба».

Божилов тепло говорит о советских поэтах, а также о других друзьях Болгарии: Назыме Хикмете, Десанке Максимович, Николасе Гильене, Поле Элюаре, Сальваторе Квазимодо, Мире Алечкович и др.

«Наша страна не раз привлекала внимание большого числа зарубежных поэтов,— писал рецензент журнала «Читалище»,— которые в своих стихах отразили волнения и размышления, навеянные соприкосновением с природой и людьми Болгарии, с прошлым страны, ее социалистической действительностью и перспективами развития.

В городе Велико Тырново состоялась выставка произведений болгарских художников, скульпторов, графиков. Григор Спиридонов представил на ней цикл графических работ «Апрель 1876 года» — об освободительной борьбе болгарского народа. На снимке рисунок под названием «Мы уже не покорное стадо».

(Журнал «Изкуство»)

Часть этих поэтических произведений и вошла в сборник «Поэты — друзья Болгарии».

«ВКЛАД БОЛГАР В ПОБЕДУ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ»

Под таким заголовком в издательстве Болгарской коммунистической партии вышла книга Паиайота Панайотова, в которой автор рассказывает об участии болгарских граждан и лиц болгарского происхождения в событиях Октябрьской революции в России, в борьбе за Советскую власть.

«Автор книги П. Панайотов,— пишет рецензент газеты «Народна култура»,— кандидат исторических наук, директор Центрального государственного исторического архива — пионер в этой интересной области. В течение десяти лет упорно, методично, с большой любовью и добросовестностью он разыскивал сведения о сотнях наших соотечественников, разбросанных в те годы по всем концам необъятной России.

До появления этой книги никто и не подозревал, что число болгар — участников исторических событий Октября — так велико».

С особенным интересом, пишет рецензент, читаются страницы о борьбе за власть Советов бессарабских болгар, которые еще во времена оттоманского ига нашли теплый прием в братской России. Многие из них выдвинулись и стали видными советскими военачальниками, помогали укреплять молодую Красную Армию. Так, в Первой конной армии Буденного болгарин И. Иочков был политкомиссаром бригады, а Б. Шарайков — командиром взвода. Много болгар сражалось под командованием прославленных советских командиров — Чапаева, Кикиадзе и др.

«Книга эта, вышедшая в канун большого праздника,— заключает рецензент,— рассказывает о нашем скромном вкладе в победу Великого Октября».

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРЕМИИ

Управительный совет Союза болгарских писателей присудил премии за лучшие художественные произведения 1966 года:

Богомилу Райнову — за повесть «Дороги в никуда»; Йордану Радичкову — за путевые заметки «Неосвещенные дворы»*; Павлу Вежинову — за роман «Звезды над нами».

* * *

Союз болгарских писателей и Управление «Полиграфиздата» учредили ежегодные премии за высокие достижения в области художественного перевода.

За лучшие переводы 1966 года награждены:

1. Премией Союза болгарских писателей:

Христо Радевский — за переводы русской и советской поэзии и за редактируемую им серию «Советские поэты»;

Атанас Далчев — за перевод «Конармии» И. Бабеля и «Серой совы» М. Пришвина и за переводческую деятельность в целом;

Атанас Смирнов — за перевод книги стихов К. Симонова.

2. Премией Управления «Полиграфиздата»:

Невен Розев — за перевод «Саги о Форсайтах» Дж. Голсуорси;

Пырван Стефанов — за перевод «Сервус, мадонна» К. Галчинского.

* См. рецензию В. Здравчева в разделе «Среди книг».

ВЕНЕСУЭЛА

МИГЕЛЬ ОТЕРО СИЛЬВА — РЕДАКТОР НОВОГО ЖУРНАЛА

В Каракасе произошло культурное событие большой важности: начал издаваться журнал «Папелес» — орган объединения деятелей культуры Венесуэлы «Атенео». В передовой статье первого номера говорится: «Атенео» Каракаса ставит своей целью содействие развитию культуры... Мы создали свой театр, где ставятся классические и новые национальные и иностранные пьесы; мы основали публичную библиотеку; мы регулярно организуем конференции по вопросам искусства и науки; по нашей инициативе и при нашей материальной помощи вышли в свет многие сборники поэзии, эссе и романы венесуэльских авторов и т. п. Однако у нас не было своего журнала, в котором мы очень нуждаемся».

Редактор журнала «Папелес» — известный писатель Мигель Отеро Сильва.

Уже в первых номерах «Папелеса», наряду с другими слово предоставлено писателям — коммунистам Карлосу Аугусто Леону и Хесусу Сантосу Эрнандесу, испанскому писателю Рафаэлю Альберти, мексиканскому писателю Карлосу Фуэнтесу и др.

Венесуэльская реакция сразу же начала нападки на новый журнал. Реакционная печать открыла огонь и по оформлению (кстати, очень изящному и современному), и по содержанию «Папелеса», который наградили эпитетами: «заблудший, циничный, бесстыдный, отвратительный, порнографический» и т. п. Злобной критике подверглись обложка номера второго, где помещен рисунок известного венесуэльского художника, лауреата Национальной премии по графике Регуло Переса «Партизан в огне», и стихотворение Рафаэля Альберти, посвященное Пабло Пикассо,— «Глаза».

Мигель Отеро Сильва в одном из номеров дает остроумный отпор пасквилянтам, представителям реакции.

Молодой журнал уже успел получить признание видных представителей творческих кругов Латинской Америки. Известный аргентинский писатель Хулио Кортасар, например, пишет: «...Спасибо за «Папелес» — великолепное издание. Наряду с мексиканским «Диалогосом» и кубинским «Каса де лас Американас» этот журнал мне кажется самым интересным на всем латиноамериканском континенте... Рисунки Регуло Переса — изумительны».

ЮЖНЫМ ВЬЕТНАМ

«МИСТЕР БАТТЕРФЛЯЙ» В АМЕРИКАНСКОЙ УНИФОРМЕ

Побывавший иедавио в Южиом Вьетиаме английский журиалист Ричард Уэст поиитересовался, что читают американские солдаты. Виимательное изучение полковых библиотек и сайгоиских книжных магазинов выявило миожество иитересиых фактов.

Наибольшим спросом среди солдат, по свидетельству Уэста, опубликовавшего статью в аиглийском ежеиедельнике «Нью стейтсмеи», пользуются комиксы с приключениями Бэтмеиа, Джеймса Боида, а также полупориографические издания вроде журиала «Плейбой», адресоваиные «только мужчинам».

«Любые серьезиые книги о Вьетиаме,— пишет Уэст,— не пропускаются цензурой. Издания, в которых критикуется политика США во Вьетиаме, в библиотеках получить трудио, их иет на стендах».

Зато на видиом месте любой американский солдат всегда найдет состряпанные специальио для иего так иазываемые «вьетиамские романы», в которых описываются любовиые истории, где герои — американские военные и вьетиамские девушки. Солдаты в иих изображеиы добрыми и доверчивыми. Как правило, сюжеты этих романов — вариации иа тему «Мадам Баттерфляй», с той только разницей, что американцу отводится роль любящей и доверчивой жертвы. А вьетнамская девушка превращена в жестокого, коварного врага... «Мистер Баттерфляй», пишет Уэст, и ныне одни из самых популярных книжных героев в Сайгоие. Служба пропагаиды всячески рекомеидует американским солдатам рассказы о «зелеиых беретах» — войсках особого иазиачения, карателях, которые уиичтожают иа своем кровавом пути все живое. Однако, отмечает Уэст, иаибольшей популяриостью среди американских вояк пользуется другая киига — «Как остаться живым во Вьетиаме», с глубоким знанием дела иаписаиная полковииком Робертом Риггом.

И, иесмотря на то, что чтеиие ее официальио не поощряется, твореиие полковиика Ригга тайком тщательно изучается солдатами вооружеиных сил США во Вьетиаме.

ГДР

ВСТРЕЧА СОВЕТСКИХ И НЕМЕЦКИХ ЛИТЕРАТУРОВЕДОВ

Пятидесятилетию Великой Октябрьской социалистической революции была посвящеиа состоявшаяся иедавио в ГДР коифереицня советских и иемецких литературоведов. Осиовиая тема коифереиции — взаимосвязь русской и советской литературы с иемецкой литературой. Оргаиизоваииая Институтом мировой литературы Академии Наук СССР и Институтом славистики Академии Наук ГДР, конференция собрала 150 участников из различиых университетов, высших учебиых заведений и иаучиых учреждений.

Выступавшие с докладами говорили о влияиии классической русской литературы иа литературу иа немецком языке, в частиости на Томаса Маниа и Стефаиа Цвейга, о лигературиых процессах XIX и XX веков, о ромаитизме и реализме, о судьбах ромаиа.

Особое внимание было уделено литературе XX века и влияиию Октябрьской ре-

---

Для немецкого телевидения сият фильм «Вверху плывет Большая Медведица» по одноименной повести Герберта Нахбара (см. сообщение в «Иностранной литературе» № 2, 1964). Это романтическая история двух молодых людей, которых темнота застигла на церковной колокольне. Над ними — звезды Большой Медведицы... Молодые люди рассказывают друг другу о себе и о жизни близких им людей. Главные роли в фильме исполняют Гунтер Шосс и Урсула Штаак. Активное участие в работе над фильмом принимал Герберт Нахбар. На снимке: рабочий момент.

(Журнал «Фильмшпигель»)

волюцин на тех писателей Германии, которые занимали социалистические позиции. Этому посвятил свой доклад Альфред Курелла. О творчестве немецких писателей-антифашистов, эмигрировавших в Советский Союз, говорил профессор Р. М. Самарин, особо выделивший в своем выступлении творческую судьбу Иоганнеса Р. Бехера. Докладчики прослеживали творческие связи Эриха Вайнерта и Владимира Маяковского, Фридриха Вольфа и Всеволода Вишневского, говорили об огромном воздействии на немецких писателей творчества Константина Федина. Влияние советской действительности на формирование творческой индивидуальности Анны Зегерс было темой доклада доктора Бока. О немецких писателях — строителях новой жизни (1945—1949 гг.) — говорил советский литературовед Александр Дымшиц. Специальный доклад был посвящен отражению в советских журналах современной немецкой литературы.

Докладчики много внимания уделили методу социалистического реализма в литературах ГДР и Советского Союза, проблемам гуманизма и разработке морально-этических вопросов.

«Эта первая большая встреча литераторов двух стран — новый этап нашей совместной работы»,— пишет Эберхард Дикман в газете «Нейес Дейчланд».

ФРГ

РЕШЕНИЕ ГАНСА МАГНУСА ЭНЦЕНСБЕРГЕРА

Западногерманский поэт Ганс Магнус Энценсбергер, получивший литературную премию города Нюрнберга, в своей речи при вручении ему этой премии напомнил о том, что сейчас в ФРГ, по свидетельствам юристов, ежегодно ведется по меньшей мере десять тысяч предварительных следствий по политическим подозрениям и обвинениям. Поэтому, заявил Энценсбергер, он употребит эту премию на оказание помощи «всем, кого в Федеративной Республике преследуют за политические убеждения». В частности, Энценсбергер назвал имена некоторых членов Коммунистической партии Германии, запрещенной в ФРГ.

Решение Энценсбергера, как сообщает пресса, вызвало яростные нападки на него со стороны христианско-демократической фракции Нюрнбергского городского совета. Скандал докатился до стен бундестага. Энценсбергер демонстративно не стал в него вмешиваться, но, отвечая на обвинения в том, что он будто бы исказил факты, заявил, что после реализации этой суммы он издаст отдельной брошюрой отчет о том, куда были истрачены деньги. «В этом отчете можно будет прочесть, кому была оказана поддержка. Может быть, тогда мои критики увидят, что речь идет отнюдь не о призраках».

ИНДИЯ

ПИСАТЕЛИ ПРОТЕСТУЮТ

Индийские писатели заявили протест против про-

Портрет известного писателя В. Ч. Чаттерджи работы Ш. Укила; художник подарил портрет Делийскому университету.

(Газета «Таймс оф Индиа»)

ката в Индии американских фильмов о Вьетнаме, оправдывающих агрессивные действия США. В Дели перед штабом разведывательного управления Соединенных Штатов состоялась «демонстрация молчания» при участии писателей, сообщает корреспондент индийской газеты «Патриот». Лозунги на плакатах — «Американские фильмы о Вьетнаме — сплошная ложь», «Стыдно смотреть эти картины», «Линдон Б. Джонсон — не хозяин мира», «У США нет никаких дел во Вьетнаме», «Прекратить зверства во Вьетнаме» и др.— красноречиво выражали возмущение индийской интеллигенции.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРЕМИИ ГОДА

В Дели состоялась торжественная церемония вручения премий Всеиндийской академии литературы 1966 года за выдающиеся произведения на национальных языках. «Долг писателя — помочь формированию нового сознания в том новом обществе, которое сегодня строится в Индии», — заявил, открывая церемонию, доктор Радхакришнан.

За десять лет — с 1955 по 1965 — премий удостоено сто представителей 16 национальных литератур. В этом году семья лауреатов увеличилась еще на 11 человек. Впервые, как сообщает печать, награждены премиями авторы произведений на языках синдхи, майтхили и маратхи. Среди лучших книг — новый социальный роман «Семья Ниши» известного бенгальского новеллиста Манноджа Басу; биография современного революционного поэта Муктибодха, принадлежащая перу видного писателя хинди Джайнендры Кумара; сборник критических статей «Искусство — это сама жизнь» одного из крупнейших литературоведов малаялам К. М. Куттикришны; монументальное исследование о различных эстетико-литературных школах — многолетний труд санскритолога В. Рагхавана. Премиями отмечены сбор-

ииики стихов популяриых поэтов Годаваршн Махапатра (ория), Лекхрадж Кишиичаид (синдхи) и Амбнкагири Рой Чоудри (ассамский).

ИТАЛИЯ

ДЗАВАТТИИИ О СЕБЕ И О ДРУГИХ

Вышли в свет записки писателя-сатирика и кинодраматурга Чезаре Дзаваттини, которые он в течение долгого времени публиковал на страницах журналов в виде лирического диевника. Назваиие книги можио приблизительно перевести как «Больше, чем слова».

Записи и заметки образуют вместе своеобразную романизированиую автобиографию, в которой Дзаваттиии говорит о себе и о современииках, в том числе о таких известных людях кино, как Рене Клер и Чарли Чаплин. Ои вспомииает воеииые годы в Риме, «золотую пору» иеореализма, посещение Голливуда, работу иа революционной Кубе, поездку в Голлаидию в поисках материалов о Ваи-Гоге... Но где бы ии был Чезаре Дзаваттини, все его путешествия в дальние страны иеизмеино закаичиваются иа родине писателя — иа берегах По, в родном селении Лудзара, в «красной Эмилии».

О чем бы ии рассказывал Дзаваттини, иа каждой странице ощущается присутствие автора — талантливого писателя, кинодраматурга и теоретика кино, которого иазывали «мозгом иеореализма», активиейшего прогрессивного общественного деятеля и борца за мир, неутомимого исследователя человеческих характеров и чувств,— его яркая творческая индивидуальиость, остроумиый язык.

В городе Матера (провинция Лукания) состоялась выставка полотен писателя Карло Леви. Мы воспроизводим фрагмент картины Леви «Слова-камни», в центре которой изображен писатель Данило Дольчи, ведущий мужественную борьбу против мафии.

(Газета «Унита»)

В выставочном зале «Галерея Чивика» в Турине открылась выставка произведений замечательного испанского художника и скульптора Хулио Гонсалеса, погибшего в 1942 году. Небольшая коллекция картин Гонсалеса находится в Музее современного искусства в Париже, часть из них была представлена на выставке «Виеннале» в Венеции несколько лет назад. Однако основная часть картин художиика хранилась у его дочери. Выставка в Турине вызвала особый интерес в связи с тем, что из 114 картин и скульптур, экспонированных там, многие впервые выставлены публично.

По случаю открытия выставки газета «Унита» писала: «Произведения Гонсалеса полны трагизма, как было трагичным его время; их можио назвать «Криком Испании».

На снимке: рисунок Хулио Гонсалеса «Кричащий профиль».

(Газета «Унита»)

ЖЮРИ ЗА РАБОТОЙ

Состоялся первый тур присуждеиия ежегодных литературных премий «Виареджо» и «Стрега», сообщает корреспондент газеты «Паэзе сера». Знакомство со спнсками рассмотренных произведений дает общее представление об итогах минувшего литературного года в Италии.

Жюри премии «Виареджо», возглавляемое писателем Леонидой Репачи, отобрало для дальнейших туров 67 названий из представленных на соискание премни книг — прозаических, поэтических, публицистических и научио-популяриых произведений. В числе отобраниых кииги писателей разных поколений — Риккардо Баккелли, Анны Банти, Арриго Бенедетти, Карло Кассолы, Феличе Киланти, Джузеппе Десси, Томмазо Лаидольфи, Анны-Марии Ортезе, Альдо Паллацески и др. Газеты выделяют ромаи писательницы Ортезе «Бедиые и простые» — реалистическое социальное произведение, действие которого происходит в послевоеиные годы, и повесть одиого из старейших писателей Италии, Паллацески, называющуюся «Дож». Это своеобразное,

горькое и элегическое, повествование о Венеции, в котором действительность переплетается с легендой и фантастическим вымыслом.

В первом туре голосования по присуждению другой крупнейшей премии года — «Стрега» участвовало 417 человек, образовавших очень представительное жюри, состоявшее из писателей, критиков и читателей. В финал вышло 5 авторов. По количеству полученных голосов на первом месте пока Анна-Мария Ортезе (роман «Бедные и простые») — 75 голосов.

ИРАК

ПРОТИВ ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПРОПАГАНДЫ

По сообщению корреспондента журнала «Аль-Адаб», министерство культуры и национальной ориентации Ирака запретило ввоз в страну и распространение журнала «Аль-Хивар» («Диалог»), издаваемого в Бейруте так называемым «Конгрессом свободы культуры», который служит проводником американского влияния на Ближнем Востоке.

Решение о запрете журнала «Аль-Хивар» было принято под давлением иракской общественности — после того, как в иракской прессе появилось несколько статей, требующих запретить этот орган империалистической пропаганды, как это было уже сделано в ОАР.

Кампания против журнала «Аль-Хивар» достигла наибольшей остроты, когда в Ираке узнали, что видный египетский писатель Юсуф Идрис отказался от премии, присужденной ему этим журналом. За запрещение «Аль-Хивар» выступили иракские газеты «Аль-Араб», «Ас-Саура аль-Арабийя» и «Аль-Манар». Разоблачительная статья против журнала «Аль-Хивар» и отдельных представителей иракской литературы, оправдывавших свое сотрудничество в этом издании, была помещена газетой «Саут аль-Араб». В статье прямо указывалось, что «Аль-Хивар» финансируется американским капиталом и что журнал связан с американской разведкой.

Решение о запрещении журнала «Аль-Хивар» было с удовлетворением встречено общественностью страны.

ЛИВАН

ПИСАТЕЛИ ВМЕСТЕ С НАРОДОМ

Журнал «Аль-Адаб» опубликовал заявление большой группы ливанских писателей по поводу событий на Ближнем Востоке.

В заявлении резко осуждаются действия Израиля, говорится о необходимости крепить солидарность Ливана с другими арабскими странами в их совместной борьбе.

Авторы заявления выражают решительную поддержку ОАР, Сирии и другим арабским странам. В заявлении осуждается политика потворствования Израилю, которую проводят некоторые страны и, прежде всего, США, и выражается признательность государствам, «которые во главе с Советским Союзом отстаивают и защищают права арабов».

Заявление подписали 50 писателей, поэтов и других деятелей ливанской культуры, принадлежащих к различным политическим и творческим направлениям. Среди них такие известные литераторы, как Михаил Нуайме, Сухейль Идрис, Раиф Хури, Хусейн Мурувве, Абд аль-Латыф Шарара, Адонис, Жорж Хаина, Лейла Баальбаки, Жорж Хави, Мишель Сулейман, Фуад аль-Хашаи.

* * *

По сообщениям арабской печати, с заявлениями, в которых выражается поддержка действиям правительств арабских стран, выступили также писательские организации ОАР, Сирии, Алжира и других арабских государств. Многие египетские и сирийские писатели выехали в расположение боевых частей. Гонорары за свои статьи и корреспонденции они отдают в фонд обороны. Известные египетские писатели и публицисты Тауфик аль-Хаким, Абд ар-Рахман аш-Шаркави, Хусейн Фаузи, Сахир аль-Каламави, Абд аль-Халим Абдаллах, Юсуф ас-Сибаи, Махмуд Амин аль-Алим и др. предприняли издание своих произведений, средства от продажи которых пойдут на оборонительные нужды.

«ДНИ ВО ВЬЕТНАМЕ»

Так называется книга ливанского адвоката и общественного деятеля Хасиба Нимра, выпущенная бейрутским издательством «Иляльамам» («Вперед»). Автор книги делится своими впечатлениями от пребывания в Демократической Республике Вьетнам, высказываясь в поддержку справедливой борьбы вьетнамского народа. По свидетельству ливанской прессы, книга Х. Нимра — это почти 300 страниц правдивого репортажа о героических буднях маленькой страны в Юго-Восточной Азии.

МОНГОЛИЯ

О ПОДВИГЕ СОВЕТСКОГО ВРАЧА

В 1930 г. в Монголию приехал советский врач С. М. Немой вместе с женой, врачом-педиатром. Молодые врачи были направлены в город Цэцэрлэг — центр Ара-Хангайского аймака, где они горячо взялись за дело. Преодолевая сопротивление лам, они завоевали доверие пациентов.

...Первый спасенный малыш, которого ламы своим «лечением» едва не погубили, первый в аймаке кожный диспансер, детские ясли, консультация — все это было делом рук советских врачей.

Но вскоре ламы подняли контрреволюционное восстание. Против них выступил отряд монгольских солдат. Место врача в отряде

заиял С. М. Немой. Он погиб в борьбе за счастье монгольского народа.

Но память о советском враче жива до сих пор. Поэт Ж. Шагдар написал о ней поэму; образ С. М. Немого, большого друга монгольского народа, выведен в романе писателя И. Уламбаяра.

О его подвиге писатели Ара-Хангайского аймака О. Цэнд, Б. Риичиидорж, Д. Дэнсамбу написали пьесу, премьера которой приурочена ко дню празднования 50-летия Великого Октября.

ОАР

«МИРАМАР»

Известный египетский писатель Нагиб Махфуз опубликовал новый роман под названием «Мирамар».

Журнал «Аль-Мусаввар» поместил рецензию видного критика и общественного деятеля аль-Алима на этот роман под названием «Мирамар» — новый этап в творчестве Нагиба Махфуза».

Критик считает, что роман «Мирамар» знаменует возвращение Н. Махфуза к социальной тематике после так называемого «философского» этапа, нашедшего отражение в романах «Дети нашего квартала», «Нищий» и «Болтовня над Нилом», посвященных абстрактным поискам смысла существования (правда, в романе «Болтовня над Нилом» критик находит уже первые признаки перехода к новому этапу). Действие в новом романе Н. Махфуза развертывается в Александрии в пансионате «Мирамар», превращенном его хозяйкой, престарелой гречанкой, в нечто среднее между дешевой гостиницей и домом терпимости. Среди действующих лиц романа — обитателей пансионата — бывший член буржуазной партии «Вафд», бывший феодал из королевских приближенных, молодой аристократ, лишившийся своих поместий, молодой карьерист, сумевший пробраться на ответственный пост. Этих разных по возрасту и общественному положению людей, по-разному относящихся к новому строю, объединяет одно — соперничество из-за молодой служанки пансионата Зухры, которая бежала из деревни в город, не желая выходить замуж против своей воли за нелюбимого человека.

Через отношение к Зухре, чистой деревенской девушке, символизирующей, по словам рецензента, в романе новый Египет, перед читателем раскрываются характеры действующих лиц во всей их сложности.

Повествование в романе «Мирамар» ведется от имени четырех основных действующих лиц — одни и те же события подаются под различными углами зрения.

Безусловной удачей романа критик считает образ Зухры — первой женщины-крестьянки в произведениях Н. Махфуза.

ПОЛЬША

ЧЕЛОВЕК В ТРУДЕ

Как сообщает газета «Трибуна люду», недавно в Польше были подведены итоги конкурса «Человек и труд в Народной Польше». Конкурс был организован Союзом польских художников, министерством культуры и искусства, а также Центральным Советом профсоюзов. На выставке, которая открылась во Дворце культуры и науки в Варшаве, представлено 329 произведений живописи, графики и скульптуры, отобранных более чем из тысячи произведений, присланных на конкурс.

По словам рецензента газеты «Трибуна люду» Эвы Гажтецкой, большинство художников стремилось раскрыть поэзию трудовой деятельности человека, индустриального пейзажа. «Привычные картины жизни обогащаются новым эмоциональным и эстетическим содержанием»,— пишет рецензент, называя такие работы, как «Езда» Яноша Качмарского и «Занятия молодежного музыкального кружка в доме культуры» Марии Вейцковской, портрет шахтера работы Александра Винницкого, среди пейзажей — «Дымы Островца» Александра Козырского и др.

«Кочегары» — скульптура Яна Бахалярчика.

(Газета «Трибуна люду»)

На выставке во Дворце культуры и науки, продолжает Гажтецкая, можно найти также работы, авторы которых попытались по-новому раскрыть тему человека в труде. В числе наиболее выразительных полотен рецензент называет картину «В третью смену» Марека Сапетто, а также работы Валентина Габрысяка.

В графике Гажтецкая отмечает ксилографию Збигнева Лютомского «Уборка снега», рисунок Мечислава Маевского «В поисках нефти». Воспроизводимая скульптурная миниатюра «Кочегары» Яна Бахалярчика из Познани получила вторую премию.

Выставка будет экспонироваться во всех крупных городах Польши.

«ОБ ЭТОМ Я МЕЧТАЛ ЕЩЕ В ДЕТСТВЕ...»

«Иностранная литература» уже сообщала (см. № 7, 1967) о том, что еженедельник «Культура» печатает ответы писателей на вопросы анкеты об их работе, о творческих планах и мечтах.

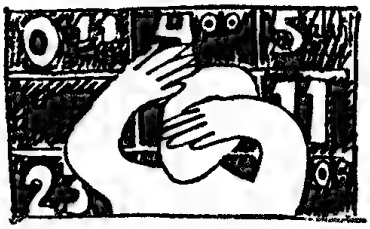
Обращают на себя внимание высказывания поэта и драматурга Станислава Гроховяка. В течение последнего года, по его словам, он написал немного. «Подлинную радость я находил в той области, которая мне ближе всего: в поэзии. Правда, стихов я тоже написал немного, но некоторые из них дали мне ощущение, что этот небогатый для меня год не был годом потерянным. У прозаика обилие творческой продукции выражается числом изданных книг, а у поэта — в ощущении внутреннего созревания и перемен. Кажущееся бездействие в этой области иногда необходимо и, в конце концов, приносит свои плоды; это похоже на терпеливость виолончелиста, который ждет, чтобы вино набрало крепости».

Гроховяк рассказал, что в настоящее время перерабатывает в киносценарий свое произведение «Партитура для деревянного инструмента». Режиссер торопит писателя, а ему хотелось бы, по его словам, «обдумать еще раз историю, которая прежде казалась простой и эффектной, а сегодня открывает новые, неожиданные перспективы». О других своих работах Гроховяк предпочитает пока не говорить.

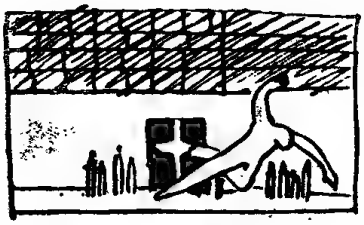
На вопрос «О чем вы мечтаете?» — Гроховяк ответил: «Хотелось бы работать без излишней спешки и когда-нибудь написать наконец толстую книгу. Или стихотворную драму в пяти актах. Об этом я мечтал еще в детстве».

НОВЫЕ ФИЛЬМЫ СКОЛИМОВСКОГО

В один из последних дней недавнего кинофестиваля в Канне представитель бельгийской кинокомпании «Элизабет фильм» пригласил небольшую группу корреспондентов, деятелей кино, писателей на частный просмотр нового фильма «Старт» молодого польского кинорежиссера Ежи Сколимовского (о нем см. сообщение в «Иностранной литературе» № 12, 1966). Однако, несмотря на закрытый характер просмотра (фильм был предназначен для другого международного фестиваля), уже на следующий день весь Канн говорил о «Старте» Сколимовского. Известная французская писательница Маргерит Дюра восторженно заявила корреспонденту радио, что это был единственный достойный внимания фильм на всем фестивале, а английский критик Ричард писал в лондонском еженедельнике «Гардиен»: «Все уходили с просмотра с убеждением, что Сколимовский не просто многообещающий молодой режиссер, но уже один из больших режиссеров».



Листки рабочего сценария режиссера Ежи Сколимовского, который снимает фильм «Руки вверх».
(Еженедельник «Экран»)



«Старт» — психологический фильм о двух молодых людях — парне и девушке, которые увлекаются автогонками. Однако гоночные автомобили, атмосфера соревнований и желание парня самому в них участвовать (он владелец велосипеда с подвесным моторчиком) — всего лишь фон для изображения того, как зарождается чувство между молодыми людьми, как парень вдруг осознает, что он мужчина...

По сообщениям польской печати, Сколимовский в настоящее время снимает в Варшаве фильм под названием «Руки вверх!». Его герои — поколение тридцатилетних, люди, которые уже «стабилизировались» в жизни. Любопытно, что у них нет имен — они называют друг друга по маркам автомобилей, владельцами которых являются: Трабант, Альфа, Рекорд, Вартбург, Застава... Место действия — тоже не совсем обычное — товарный вагон, в котором недавно перевозили гипс. Сюда попадают бывшие студенты-медики, а ныне врачи, которые собрались вместе

РУМЫНИЯ

Новая сатирическая комедия Аурела Вараиги «Общественное мнение» направлена против фальши и лицемерия. Она поставлена в бухарестском Театре комедии. На снимке: актеры Марчела Русу и Раду Белиган в сцене из спектакля.

(Журнал «Флакэра»)

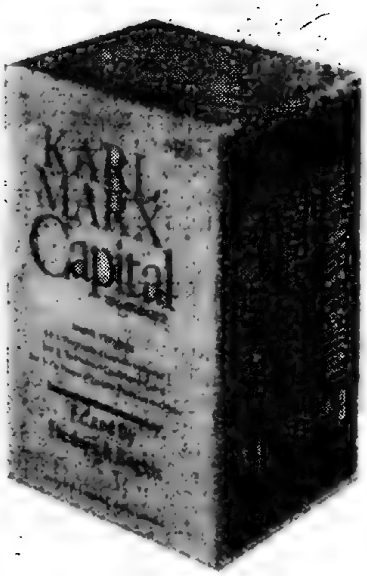
отметить десятилетие со дня выхода на самостоятельную жизненную дорогу. «Достойно ли мы живем?» — вот вопрос, который задают они себе и друг другу при встрече.

США

СТОЛЕТИЕ «КАПИТАЛА»

В сентябре 1967 г.— сто лет со дня выхода в свет первого тома «Капитала» Карла Маркса.

«Через сто лет после первого издания «Капитала»,— говорится в проспекте издательства «Интернэшнл паблишерс», которое выпустило недавно все три тома гениального творения Маркса,— эта работа по-прежнему содержит самую острую критику капитализма, которая когда-либо появлялась в печати. В течение столетия адвокаты системы свободного предпринимательства пытались время от времени опровергнуть эту кри-



тику. Сегодня подавляющая часть человечества признает авторитетность учения Маркса».

В нынешнее издание «Капитала» (воспроизводимое на снимке) внесены многочисленные уточнения, оно дополнено многими новыми указаниями и примечаниями.

«Интернэшил паблишерс» вот уже в течение 42 лет является основным издательством в США, выпускающим работы классиков марксизма-ленинизма, а также книги современных авторов-марксистов.

ХЕМИНГУЭЙ-ЖУРНАЛИСТ

«Эрнест Хемингуэй. Между делом. Избранные статьи и корреспонденции за четыре десятилетия. Под редакцией Уильяма Уайта» — таково название книги, о которой пишут многие американские журналы и газеты. Уайт — профессор журналистики в университете «Уэйн стейт юниверсити», специалист по творчеству Хемингуэя — проделал огромную работу, отобрав из обширного наследия писателя 77 статей и корреспонденций. В предисловии к сборнику он пишет:

«...Хемингуэй никогда не переставал быть художником. Он хорошо разбирался в политике и экономике, был тонким наблюдателем и умел «выкапывать» информацию. Но всегда искусство репортера оставалось у него искусством литератора. Именно этим, видимо, и объясняется то, что его необычная журналистика до сих пор привлекает своей свежестью и живостью».

«Читая эти страницы, как бы разделяешь жизнелюбие Хемингуэя, его наслаждение жизнью,— писал рецензент «Интернэшил геральд трибюн».— Он был неплохим пророком и еще в тридцатые годы предвидел очередную, значительно большую по масштабам и более жестокую войну...»

В книжном приложении «Нью-Йорк таймс бук ревью» Карлос Бейкер пишет, что в сборнике «Между делом» собраны «жемчужины хемингуэевского репортажа за период с 1920 по 1956 год, когда он изъездил три континента, описывая главные события того времени». Хемингуэй брал интервью у Клемансо, у Муссолини, он присылал репортажи с Генуэзской экономической конференции, с мирной конференции в Лозанне, писал об инфляции в Германии, о волнениях в Руре,— словом, обо всех важнейших политических событиях своего времени.

«Хемингуэй всю жизнь был журналистом,— пишет в еженедельнике «Ньюсуик» критик Сол Малофф.— Но он также всегда оставался художником, отлично знавшим, к чему стремится. В его корреспонденциях и журнальных статьях внимательный читатель найдет зародыши тех идей, которые впоследствии послужили основой для расцвета его могучего таланта».

Еще в 1936 году в журнале «Эсквайр», пишет Малофф, был опубликован рассказ о том, как старик рыбак поймал гигантского тунца, которого прикрепил тросом к борту лодки, и как через два дня рыбаки нашли старика плачущим и полуобезумевшим оттого, что акулы почти целиком сожрали его необыкновенный улов...

«Все хорошие книги похожи тем, что они более правдивы, чем реальные события, — писал Хемингуэй.— После прочтения таких книг вы чувствуете, что все это на самом деле произошло с вами и потому все это уже принадлежит вам — и хорошее и плохое, и экстаз и раскаяние, и печаль и люди, и местность и даже погода. Если вы можете, если вы способны дать такое людям, тогда вы — писатель. Потому что трудное всего добиться именно этого».

«ПРЕКРАТИТЬ!»

Лос-Анжелес недавно стал ареной грандиозной по своим масштабам демонстрации американских деятелей культуры против преступной войны американского империализма во Вьетнаме. В отеле «Амбассадор» в течение трех дней проходила «Ассамблея мужчин и женщин, работающих в области искусства и озабоченных событиями во Вьетнаме».

Участие в этой ассамблее приняли известные деятели культуры, среди них: Артур Миллер, Рокуэлл Кент, Джессика Митфорд, Рей Брэдбери, Аллен Гинзберг, Льюис Мамфорд, Альберт Мальц, Жюль Фейффер, Альва Бесси, Герберт Голд и многие другие.

Ассамблея приняла резолюцию из трех пунктов относительно политики США во Вьетнаме:

«1. Немедленно прекратить бомбардировки Северного Вьетнама.

2. Немедленно прекратить агрессивные военные действия США в Южном Вьетнаме.

3. Как можно скорее отозвать все американские вооруженные силы из Вьетнама. Это должно быть осуществлено под наблюдением международного органа, созданного с согласия всех участников конфликта, включая Фронт национального освобождения».

Однако самый важный результат работы ассамблеи — то, что фактически положено начало постоянной общенациональной организации, которая, как пишет корреспондент еженедельника «Пиплз уорлд», «будет руководить протестом в различных формах деятелей культуры». Участники ассамблеи выпустили отчет о ходе заседаний в отеле «Амбассадор»; объявлен конкурс на лучший антивоенный плакат; будет снят короткометражный фильм о Вьетнаме. Кроме того, будет начато общенациональное движение за то, чтобы все деятели культуры принесли присягу, обязуясь не соглашаться ни на какую работу, которая способствует пропаганде войны во Вьетнаме.

ПЕВЕЦ АМЕРИКИ

На 89-м году жизни скончался Карл Сэндберг, поэт «столь же американский, как Чикаго, воспетый им в нерифмованных стансах, в которых слышатся ритм и пульс, дыхание и шум города», как писала о нем в некрологе газета «Нью-Йорк геральд трибюн». Критики часто спорили, что в его творчестве должно быть поставлено на первое место — поэзия или проза. Дважды ему присуждалась Пулитцеровская премия в области литературы. В 1940 году — за часть монументального шеститомного труда о президенте Линкольне под названием «Годы войны». Этой работе Сэндберг

посвятил многие годы жизни. В феврале 1962 года, в день празднования 150-летия Линкольна, Сэндберг выступил на торжественной сессии конгресса с чтением отрывка из этого труда, о котором писали, что это «подлинно американское произведение». Во второй раз Пулитцеровская премия была присуждена Сэндбергу в 1951 году — за «Полное собрание поэзии».

Сын шведского рабочего-эмигранта Карл Сэндберг в 1912 году поселился в Чикаго, где прожил большую часть своей жизни; он работал в печати, увлеченно писал стихи. В 1914 году за цикл стихов, в который вошло одно из наиболее популярных его стихотворений — «Чикаго»,—он получил свою первую литературную награду — премию Левинсона.

Среди его наиболее значительных поэтических сборников — «Стихи о Чикаго» (1915), «Молотильщики» (1918), «Дым и сталь» (1920), «Глыбы пустынного Запада» (1922), «Доброе утро, Америка» (1928), «Народу, да!» (1936) и «Городской парень» (1955). Всеобщее признание встретила его эпопея в прозе — «Скала воспоминаний» (1950), а также более поздняя книга воспоминаний «Всюду юная поросль».

Карл Сэндберг любил народ и был любим им; творчество его было глубоко народным. «В американской литературе никто до него не искал так глубоко в руде народной речи и не находил там столько самородков»,— писал о нем американский критик Мейкен.

ТУРЦИЯ

ГИБЕЛЬ РЕЖИССЕРА

Анкарское общество друзей искусства ежегодно награждает лучшего деятеля турецкого искусства. В этом году лучшим был признан режиссер Асаф Чийильтепе, основатель и руководитель Анкарского Художественного театра. Но тридцатидвухлетний режиссер не узнал об этом решении: он погиб в автомобильной катастрофе на шоссе Анкара—Стамбул, отправляясь вместе с театром в гастрольную поездку по стране. В некрологах, посвященных гибели Чийильтепе, турецкая печать единодушно отмечает, что руководимый им театр выдвинулся за последние годы на первое место в стране.

Чийильтепе относил себя к числу последователей Станиславского. Его последние работы — инсценировка гоголевских «Записок сумасшедшего» и постановка пьесы турецкого писателя Орхана Кемаля «72-я камера» — были признаны лучшими постановками за много лет.

«БЛИЖНИЙ ВОСТОК И ТУРЦИЯ»

Под таким заголовком стамбульский журнал «Ант» поместил статью видного турецкого публициста и литературного критика Фетхи Наджи. «Израильско-арабская война,— пишет автор,— еще раз показала, что согласие Турции на присутствие иностранных войск и баз на ее территории противоречит национальным интересам страны. До тех пор пока в Турции существуют иностранные военные базы, с которых без консультации с турецким правительством взлетают военные самолеты, турецкий народ не может спать спокойно. Дело всех честных публицистов и писателей — помочь Турции выйти из агрессивного лагеря империализма».

ПРЕМИЯ «ПОПЮЛИСТ» — АНДРЕ СТИЛЮ

Премии «Попюлист» в нынешнем году удостоен Андре Стиль. Газета «Юманите» пишет, что трудящиеся Франции с одобрением встретили присуждение этой премии писателю из рабочих.

«С первого произведения до последнего Стиль показал себя острым современным писателем, чье творчество посвящено борьбе и заботам наших дней, жизни рабочего класса, в среде которого прошли его детство и юность»,— писал критик еженедельника «Франс нувель».

«Для Стили существует единственная реальность — окружающая нас действительность и интересуют его лишь наши современники,— говорится в рецензии «Юманите-диманш» на последний сборник Стиля «Голубятня».— Для него важна лишь внутренняя правда, которая проявляется через какой-то обыкновенный эпизод, ничем будто бы не примечательный, но освещенный изнутри искусством писателя. Стиль — подлинный мастер языка, в повседневности, в обыкновенном он умеет показать необыкновенное».

Еженедельник «Леттр франсэз» посвятил этому событию статью под названием «Операция — справедливость», в которой говорится: «Несправедливо, что творчество Стили в течение нескольких лет замалчивалось. Его называли «типично коммунистическим писателем», подразумевая, что, будучи коммунистом, он перестает быть художником. А то, что Андрэ Стиль — один из наиболее известных французских писателей на Востоке, что он получил Ленинскую премию, не поколебало тех, кто даже не читал его книг. Напротив, это утвердило их в предубеждении. Коммуниста Арагона давно признали как писателя. А в отношении Стиля повелось, что он «не писатель, потому что коммунист». Многие критики, отрицавшие Стиля, не замечали, не хотели видеть оригинальности его творчества, его умения проникнуть в мир труда, который для них непостижим. Они долго отказывали в признании Стилю — писателю, воспевающему людей, составляющих половину человечества... Справедливость восторжествовала!»

«ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ ЗНАКОМСТВА»

Вышедший на экран фильм молодого режиссера Жана Эсташа «Подозрительные знакомства» был встречен одобрительными отзывами прессы. Фильм состоит из двух самостоятельных, в разное время снятых короткометражных фильмов — «В сторону Робинзона» и «У Деда Мороза голубые глаза»,— объединенных одной темой: безысходностью положения трудящейся молодежи в современном капиталистическом мире. Рецензент газеты «Юманите» отмечает непосредственность, свежесть фильма, искренность, великолепное мастерство Эсташа: «В этом фильме — новый взгляд на рабочую молодежь провинции. В кино мы ее видим впервые».

Жан Эсташ рассказал о себе в газете «Юманите»:

«Чем только я не занимался до того, как попал в кино! Мне 28 лет, но трудно перечислить все мои профессии: был упаковщиком, чернорабочим, сезонным рабочим... А вот кино поглотило меня целиком.

Автобиографичен ли мой фильм? До некоторой степени. Он передает хорошо мне известную атмосферу, показывает персонажей, очень близких мне. Я сам был таким, как они. Да, верно, таким и остался. Фильм говорит о нужде. Я так его и задумал. Не о нужде в привычном для всех представлении. Обычно нам показывают трогательных и беспомощных героев — детей и стариков — и их нищету. А в фильме люди в полном расцвете физических сил, в возрасте от 18 до 25 лет. Они-то могут за себя постоять... Их эксплуатируют и, даже когда они работают, платят им очень мало. Я показал молодых людей в их взаимоотношениях друг с другом, с девушками, в кафе. А фон — фабрика, откуда они выходит только на воскресенье, когда имеют работу...»

На вопрос корреспондента об условиях работы молодых кинематографистов Эсташ ответил:

«Молодым работать в кино трудно. В нашей стране нет кинематографистов — сыновей рабочих. Затруднений много, главным образом материальных. У меня были предложения снимать фильмы, но сценарии мне не нравились. Я хочу делать м о и фильмы. А пока, чтобы жить, берусь за любую случайную работу».

КНИГА О ЛОМОНОСОВЕ

В парижском издательстве «Эдисьон сосьяль» вышла книга Люс Лажевеи «Ломоносов», посвященная жизни и творчеству великого русского ученого и поэта. В этой книге приведены многочисленные выдержки из произведений Ломоносова, а также его высказывания.

Обозреватель газеты «Юманите», приветствуя появление книги, писал: «До этой книги имя Ломоносова во Франции упоминалось лишь в энциклопедиях, а теперь французские читатели ознакомятся с великим русским борцом за свободную от религии науку, за ее связь с жизнью, за доступ народа к знаниям. Да и жизнь его увлекательна, как самый интересный роман.

Достоинство книги в том, что писательница рассматривает творчество Ломоносова и трактует его в тесной связи с историей эпохи и материалистической философией века.

Следует поздравить автора и поблагодарить за любовь и заботу, с которыми она воссоздала эту мощную фигуру и его бессмертное творчество. Легкое и про-

стое изложение делает книгу доступной всем. С ее страниц встает образ героя науки, человека исключительного ума, интеллекта и воли, который прославил не только свою родину, но и все человечество».

«ОДИННАДЦАТЬ ПОЭМ О ВЬЕТНАМЕ»

Два французских поэта — Жак Гошерон и Арман Монжо выпустили под таким названием сборник своих поэм, посвященных Вьетнаму.

Сборник издаи поэтами за собственный счет. Вырученные от продажи книг деньги переданы ими в фоид солидарности с Вьетнамом.

ШВЕЦИЯ

ПЬЕСА-ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В Стокгольме осуществлена постаиовка ноиой пьесы Пи Линда «Пока Швеции спала».

В пьесе высказыиается мысль о том, что за одиу иочь в Швеции может быть установлен фашистский режим. Автор тщательно изучил обширный газетный материал; в пьесе есть множество полигических ситуаций, аналогичных греческой; прямо указывается иа ответственность Соединеиных Штатов за переворот в Греции.

Рецеизент газеты «Ню даг» писал по поводу постаиовки пьесы: «Блестящая мысль — заставить шведов осознать, что то, что произошло в Греции, может произойти у иас посредством прямого переиесения греческих событий в нашу страиу». «Рискованным и гениальным» называет ои прием драматурга, который выводит на сцену в качестве действующих лиц шведских генералов и министров под их собственными именамн.

Властями было сделано многое, чтобы помешать осуществлеиию этой постановки. Руководителю «Стадстеатра» Сундстрёму, приступившему к репетициям, угрожали четырьмя годами принудительных работ. Шведская реакциоиая пресса прямо призывала обратиться к полиции и приветствовала решение руководства стокгольмских театров запретить пьесу «Пока Швеция спала».

И все же она была поставлена на сцене маленького частиого «Пистольтеатра». Репетиции были проведены в рекордно короткий срок, и, иопреки всем препятствиям, премьера состоилась в иазначеиный день. Спектакль имел огромный успех, который была вынуждена признать даже правая газета «Свеиска дагбладет». Успеху ио миогом способствовали актеры Марианне Нордвалл, Свен Воллтер, Тор Хартман и др.

«Некоторые могут не поверить, будто наши «добропорядочные» генералы способны на иечто подобное,— писал в заключение рецензент «Ню даг».— Но те, кто знает, как близки мы были к таким событиям и 1932—1942 гг., и помият, где были тогда наши генералы, уверены, что пьеса—очеиь серьезное предупреждение».

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

НАЦИОНАЛЬИЫЙ ТЕАТР К ЮБИЛЕЮ ОКТЯБРЯ

Корреспондеит газеты «Руде право» обратилси к литературному руководителю Нациоиальиого театра в Праге профессору Франтишеку Гётцу с просьбой рассказать о творческих плаиах театра иа ближайшие месяцы, в частности, о подготовке к юбилею Октября.

Национальный геатр покажет в иовой постаиовке пьесу Алексея Толстого «Заговор императрицы» в переработке Людвика Ашкенази, рассказал профессор Гётц. Из русских классических пьес — «Вишиевый сад» Чехова и «Грозу» Островского.

Драматург Павел Хануш пишет пьесу об участии Ярослава Гашека в событиях Октябрьской революции.

Авторы этого номера

ДАНИЭЛ ДАМАЗИУ АССЕНСАУ ФИЛИПИ — DANIEL DAMÁSIO ASCENÇAO FILIPI (род. в 1925 г.).

Португальский поэт, автор сборников стихов — «Моряк на суше» («Marinheiro em terra», 1949), «Одинокий страиник» («O viageiro solitario», 1951), «Послание к далекой возлюбленной» («Recado para a amiga distante», 1956).

В этом номере мы публикуем стихи, вошедшие в сборник «Открытие любви и другие стихи» («A inventacão do amor e outros poemas», 1961).

■

ИМРЕ ЧАНАДИ — CSANADI IMRE (род. в 1920 г.).

Перу венгерского поэта, лауреата премии Аттилы Йожефа Имре Чанади принадлежат сборники стихов — «Бремя лет» («Az Esztendök terhével», 1953), «Черти на повозке» («Ördögök szekerén», 1963) и др.

Стихи, публикуемые в номере, вошли в сборник избранных стихов Чаиади «Водоворот звезд» («Csillagforgó», 1966).

■

ТОУРИР БЕРГССОН — литературный псевдоним Торсдейна Йонссона (род. в 1885).

Исландский писатель, автор нескольких романов и сборников рассказов. В 1940 году Т. Бергссон был удостоеи литературной премии, в 1956 году за заслуги в области литературы иагражден орденом «Сокола».

Рассказ, опубликованный в номере, вошел в сборник «По земным дорогам» («A veraldar vegum», 1953).

■

СВАНТЕ ФЁРСТЕР — SVANTE FOERSTER (род. в 1931 г.).

Шведский писатель С. Фёрстер начал свою литературную деятельность в 1954 году, до этого занимался живописью, играл в джазе. Его перу принадлежат два романа и несколько сборников стихов.

В этом номере мы публикуем рассказ, вошедший в сборник новелл С. Фёрстера «Извилистая улица» («Ormarnas gata», 1960).

■

ГАРОЛЬД ГРИФФИН—HAROLD GRIFFIN.

Статья канадского публициста Г. Гриффина, публикуемая в этом номере, получена редакцией в рукописи.

МИЦОС АЛЕКСАНДРОПУЛОС (род. в 1924 г.).

Греческий писатель, участник национального Сопротивления во время второй мировой войны. Рассказы Александропулоса объединены в сборники: «Советские встречи» (1954), «Вооруженные годы» (1955), «Одна недавняя история» (1962), «Белый берег» (1966).

На русский язык переведены его романы «Ночи и рассветы» (1961) и «Горы» (1963), а также два сборника рассказов.

Статья, помещенная в номере, написана по просьбе редакции.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР **Б. С. РЮРИКОВ**

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: **С. А. ГЕРАСИМОВ, Л. П. ГРАЧЕВ, С. А. ДАНГУЛОВ** (первый зам. главного редактора), **Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, М. И. РУДОМИНО, А. Н. СЛОВЕСНЫЙ, Б. Л. СУЧКОВ, П. М. ТОПЕР, С. П. ЧЕРНИКОВА, К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора), **М. А. ШОЛОХОВ, К. ЯШЕН**

Художественный редактор **С. И. Мухин.** Технический редактор **Л. Д. Фарафонтова**

Адрес редакции: Пятницкая, 41. Телефон В 3-51-47.

А 13857. Сдано в производство 7/VII-67 г. Подписано к печати 21/IX-67 г. Бумага 70×108¹/₁₆=9 бум. л.=18 п. л. Зак. 2334.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 80 коп. ИНДЕКС 70394

К сведению читателей

ЖУРНАЛ «ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА» ПУБЛИКУЕТ РОМАНЫ И ПОВЕСТИ, СТИХИ И РАССКАЗЫ, ПЬЕСЫ И СЦЕНАРИИ — ПРОИЗВЕДЕНИЯ ПИСАТЕЛЕЙ ВСЕХ СТРАН МИРА.

Журнал будет помещать статьи, посвященные важным вопросам развития зарубежных литератур и орчеству известных зарубежных писателей. Мы систематически знакомим читателей с новинками иностранной литературы, печатая рецензии на новые книги, вышедшие за рубежом и переведенные у нас в стране. Журнал предоставляет свои страницы видным писателям, деятелям культуры, ученым для выступления по важнейшим проблемам современности. Как и в прошлые годы, читатели найдут в журнале материалы дискуссий, обзоры, полемические заметки, дневники, письма, воспоминания. Читатели ознакомятся с интересными работами зарубежных художников, графиков, скульпторов, узнают о новостях зарубежного театра и кино.

В каждом номере журнала — обширная хроника литературной и культурной жизни за рубежом.

Подписная цена

На 12 мес.— 9 р. 60 к.
на 6 мес.— 4 р. 80 к.
на 3 мес.— 2 р. 40 к.

Цена одного номера — 80 к.

В 1968 г. редакция журнала предполагает напечатать следующие произведения:

Питер Абрахамс (ЮАР)
Их собственная ночь (Роман)
Мигель Анхель Астуриас (Гватемала)
Незаконнорожденный (Роман)
Марио Бенедетти (Уругвай)
Спасибо за огонек (Роман)
Богуслав Бржезовский (Чехословакия)
Вечно влюбленные (Роман)
Мишель Бютор (Франция)
Изменение (Роман)
Уильям Голдинг (Англия)
Шпиль (Роман)
Алфредо Диас Гомес (Бразилия)
Колыбель герои (Пьеса)
Гюнтер Грасс (ФРГ)
Кот и мышь (Повесть)
Алекс Ла Гума (ЮАР)
Каменная страна (Роман)
Юлиан Кавалец (Польша)
Таицующий ястреб (Роман)
Р. К. Нарайан (Индия)
Продавец сладостей (Роман)
Пабло Неруда (Чили)
Хоакин Мурнэта (Пьеса)
Джеймс Олдридж (Англия)
Дилогия
Джованни Пирелли (Италия)
По поводу одной машины (Роман)
Нгуен Динь Тхи (Вьетнам)
Линия фронта прочерчивает небо (Повесть)
Сембен Усман (Сенегал)
Соратницы (Роман)
Карлос Фуэнтес (Мексика)
Новый роман
Тамара Хови (США)
Стремление маленькой мошки (Роман)
Кришан Чандар (Индия)
Чинары моей юности (Повесть)
Эрвин Штриттматтер (ГДР)
Листки из календаря

Редакция рассматривает также новые произведения ХОСЕ МАРИА АРГЕДАСА, ЖОАНА ГИМАРАЭНСА РОЗЫ, ПАМЕЛЫ ХЭНСФОРД ДЖОНСОН, АЛЕХО КАРПЕНТЬЕРА, ДЖОНА ОЛИВЕРА КИЛЛЕНЗА, ФРАНСИСКО КОЛОАНЕ, ХУЛИО КОРТАСАРА, ГАБРИЭЛЯ ГАРСИА МАРКЕСА, ЛАЙОША МЕШТЕРХАЗИ, УИЛЬЯМА СТАЙРОНА, АНРИ ТРУАЙЯ, ЛАДИСЛАВА ТЯЖКОГО, НИКОЛАЯ ХАЙТОВА, ЛОРЕЙН ХЭНСБЕРИ и др.

Мы предполагаем опубликовать стихи МИХАЯ ВАЦИ, РЕНЕ ДЕПЕСТРА, НЕЛЛИ ЗАКС, ЭНРИКЕ ЛИНА, ПАБЛО НЕРУДЫ, МИГЕЛЯ ОТЕРО СИЛЬВЫ, СЕНДЖОН ПЕРСА, ИВАНА СКАЛЫ, РОБЕРТО ФЕРНАНДЕСА РЕТАМАРА, ФЕЛИКСА ПИТЫ РОДРИГЕСА, ХОРХЕ САЛАМЕА, ТО ХЫУ, ХЮИ КАНА, ИШТВАНА ШИМОНА, МИГЕЛЯ ЭРНАНДЕСА.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ ОТДЕЛАМИ «СОЮЗПЕЧАТИ», ОТДЕЛЕНИЯМИ СВЯЗИ, ОБЩЕСТВЕННЫМИ РАСПРОСТРАНИТЕЛЯМИ ПЕЧАТИ.